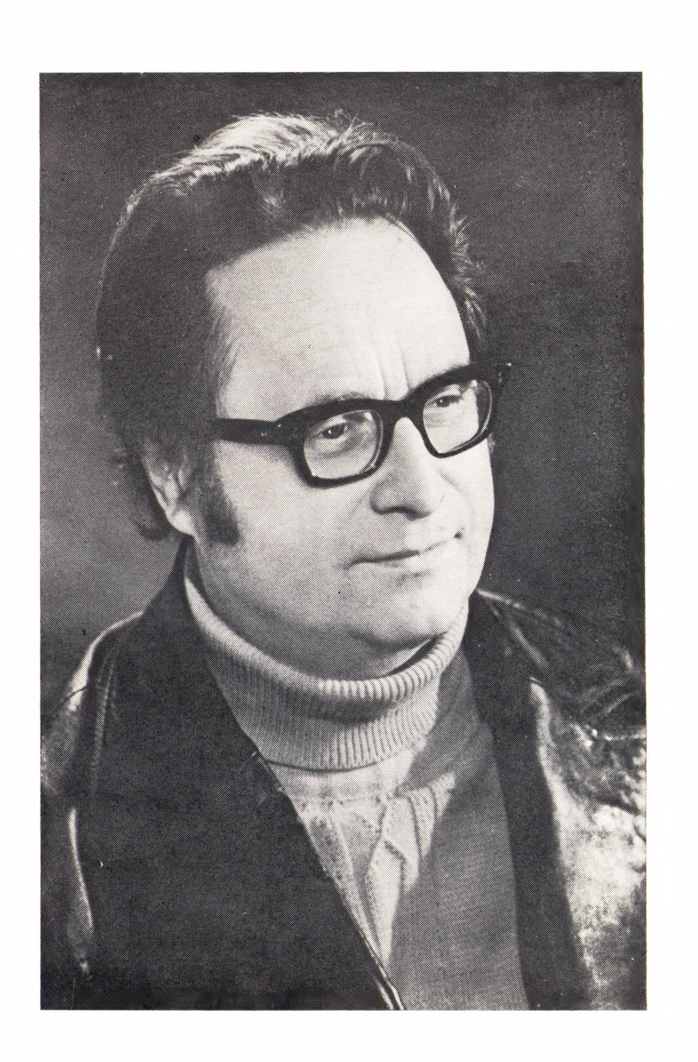
КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

Одержимые



УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА



Издается с 1967 года

Второй выпуск

КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ

Одержимые

Роман

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1983

84Р7
Л14

Послесловие В. М. Кожевникова

Л $\frac{70302-067}{М158(03)-83}$ 4702010200

Часть первая

Глава первая

1

Лавров бросился наперерез разъяренно ревущему самосвалу, едва не угодив под колесо, запрыгнул на подножку. Мотор заглох. Самосвал врезался в дровяной сарайчик и увяз в груде обломков.

Со всех сторон к неподвижной, пышущей жаром машине бежали люди. Лавров выволок из кабины шофера, что-то крикнув, толкнул его, и тот, раскрылив руки, опрокинулся на спину. Тиская в кулаке ключ от зажигания, размашисто и скоро Лавров зашагал прочь.

Следом кинулся высокий толстяк в длиннополом полушубке, заговорил рвущимся от одышки голосом:

— Глеб Леонидыч... как же вы... мог задавить...

— Я бы тогда тебе уши напрочь! — не оборачиваясь, не укорачивая шага, гневно кинул через плечо Лавров.— Распустил водителей! Сколько говорено. Заняньканись! Он такое мог наворочать! За подобные штучки всыпать, чтоб всю жизнь помнил!

Тропинка, по которой вышагивал Лавров, рассекала поселок поперек. Шеренги деревянных и металлических вагончиков-балков вперемежку с крохотными щитовыми домиками и длинными бревенчатыми бараками выстроились в три небольшие, но прямые, аккуратные и чистые улочки. В единственном двухэтажном доме разместилась контора Шанской нефтеразведочной геологической экспедиции.

Уже перешагнув порог, Лавров спохватился — нет шапки на голове. Примял пятерней взлохмаченные, будто тронутые позолотой светлые волосы. Застегнул куртку. Торопливой пробежкой пронесся в конец коридора, толкнул дверь в приемную начальника.

— Глаха! Нет вестей от Морозова?

Худенькая остроносая девушка, тихонько опустив на аппарат телефонную трубку, ответила:

— Он у вас в кабинете. И Мельник там. Целый час дожидаются.

— Кого дожидаются? Зачем дожидаются? — с ходу закипел еще не остывший Лавров и проскочил в кабинет.

У него был такой вид, что Мельник и Морозов, оборвав разговор на полуслове, обеспокоенно поднялись с дивана.

Лавров подлетел вплотную к тощему, бородатому Морозову.

— Ну?

— Туда не проехать. Поздно,— смущенно и виновато ответил Морозов.— Воротились с девятого километра. Болота уже задышали. Трактора только погубим. Вы же знаете...

— А ты не знал? Два года из-за этих болот по рукам и ногам. Сперва в новину было, потом — прошляпили. Нынче вроде все предусмотрели. Сейсмики как звери работали. Весь Заячий остров простреляли. Трубы и оборудование запасены. В марте еще тебе говорили. В чем же дело? Почему до ростепели не перевез? Ты — начальник вышкомонтажного цеха, надеяться и кивать не на кого...

Он наседал так стремительно и проломно, что Морозов совсем смешался и ничего не ответил, чем вконец разъярил начальника экспедиции.

— Ты будешь отвечать или нет? — крикнул Лавров.

— Как лучше хотел... Я думал...— бормотал Морозов.

— Мне наплевать, что ты хотел и думал! — кричал Лавров.— По-моему, ты ни шиша не думал. Иначе буровая давно бы стояла на Заячьем. Целую зиму сейсмики болото потрошили, и нá тебе...

— Виноват,— побито выдавил Морозов, пряча за спину большие, нервно подрагивающие руки.

— Кому от твоего раскаянья легче? — не унимался Лавров, хотя и понизил и ослабил голос.— Ведь это же простой на полгода... Самая крупная экспедиция, лучше всех технически оснащена, и... Да за это...

— Погоди, Глеб Леонидыч,— вмешался Мельник.— Чего ты на него давишь? Не на печи лежал. Монтажники всю зиму по полторы смены. Кто знал, что такая

весна? Начало апреля, а болота ожили. В прошлом году до мая подо льдом спали. Против стихии не попрешь...

— Хорош главный геолог.— Лавров кольнул Мельника гневным взглядом.— Нащупана отменная структура, все данные за нефть. Надо бурить. Немедленно! А мы трали-вали разводим о какой-то стихии. Нет бы меня подталкивать, лупить в хвост и в гриву, чтоб пошевеливался, а ты... Придуриваешься, иль на самом деле не варит?

Худощавое, до бронзовости обветренное лицо Мельника вспыхнуло, стали отчетливо видны морщины на щеках и в уголках блеклых губ. Лохматые кустистые брови вздыбились. Гневно сверкнули глубоко посаженные глаза. Сейчас он сказанет такое, что начальнику впредь неповадно будет срывать зло на первом встречном... Но Мельник неожиданно улыбнулся и сказал примирительно:

— Горяч ты, Глеб Леонидыч. Тебя б в оглобли...

— В пристяжных не хаживал,— отрезал Лавров, щуря левый глаз, будто ловя Мельника на мушку.— Привык в горку на своих и саночки на себе. Не то, что некоторые...

Это было уже слишком, такого Мельник не мог простить никому. На тонких, разом побледневших щеках отчетливо проступили пульсирующие желваки. Губы дрогнули, покривились в недоброй ухмылке, и он уже приоткрыл рот, чтобы выпустить очередь едких слов, да Морозов опередил, шагнул между ними, сказал просительно:

— Не серчай, Леонидыч. Что-нибудь придумаем. Попробуем еще раз...

— Пустая затея,— тут же вклинился драчливо Мельник, вращательным движением энергично потирая, словно намыливая руки.— Угробим машины. Растеряем по болотам оборудование. И пробьемся — что толку? В один заход всего не завезешь, а второго — не будет. Надо было зимой. Прохлопали. И ты, и я, и Морозов, конечно.— И, приняв молчание Лаврова за смирение, замедлил речь, сменил задиристый тон на спокойно-деловой.— Будем ставить буровую на левом крыле Марьинского свода. Тут под рукой. Не больно перспективно — зато результативно. За лето Ветров не одну тысчонку метров набурит...

— К едреной бабушке твои метры. За такой настрой...

— При чем тут настрой? — снова встопорщился, засверкал глазами Мельник.— Министерство и управление по этим показателям оценивают нас...

— Наплевать на них! — запальчиво выкрикнул Лавров.

— Против ветра плюешь!

— Приспособленчеству не обучен,— тут же отпарировал Лавров.— Не по душе твой прицел. Десять лет только то и делали, что сверлили пустые дыры. Хватит! Нужна нефть, а не цифры. Понимаешь? Живая! Сибирская! Чего меня глазами ешь? Сам-то разве не про то думаешь? Не к тому берегу гребешь? Тебя ли агитировать? Ты здесь до войны начинал. И я второй десяток разменял. Болотиной насквозь пропитался...— Отвернулся. Раздув ноздри, шумно вобрал ими воздух. Вынул из кармана пачку «Беломора». Разминая папиросу, неожиданно спокойно, но твердо сказал: — Готовь к ночи машины, Морозов. Грузи под завязку все пять тракторных саней. По два водителя. Пару резервных тракторов. И обязательно кран. Выедем в десять, по холодку. Пробьемся.

Дверь медленно отворилась. Вошел тот самый высокий толстяк в длиннополом полушубке. В руках у него меховая шапка.

— Спасибо,— сказал Лавров, забирая шапку.— Как Буянов?

— Затменье, говорит, нашло, пока не треснулся башкой о полено.

— Из таких дурь обухом, а не поленом.— Засмеялся. Кинул шапку на подоконник, прошел к столу.

Кивком Морозов поманил Мельника. Молча гуськом вышли. А тот, кто принес шапку, остался. Притворив плотнее дверь, положил перед Лавровым лист бумаги. Лавров скользнул взглядом по строчкам, поднял глаза.

— Садись, Хижняк. Чего мнешься? Мины под сиденьем нет.— Подождал, пока толстяк, скинув полушубок, уселся. Подвинул к нему папиросы: — Кури. Ты у нас всего девятый месяц?

— Точно,— высоким голосом поддакнул Хижняк.

— Не густо, конечно, но и за это время кое-что можно было узнать. Дело поправимое. Так вот, этот самый Буянов — черт бы его побрал! — когда ему пятнадцать

стукнуло, в сорок пятом, что ли, настрочил министру нефтяной промышленности Союза о выходах нефти на здешних озерах, просил специалиста прислать. Какая-то министерская дамочка ответила: специалистов — мало, дорога — длинна, проверьте сами. Буянов масляную пленку — в бутылку и посылочкой министру в собственные руки. Это была нефть. Понимаешь? В сорок восьмом, когда мы только появились, он пришел в экспедицию. Был взрывником, такелажником, слесарил. Потом пристыл к машине, и шестой год... Ни времени, ни погоды, ни бездорожья не признает. На таких мы и держимся. А ты чего тут начертал? — склонился над листком, выразительно, медленно прочел: — «Уволить по статье сорок седьмой КЗоТ, передать дело в следственные органы».— Отшвырнул листок.— Ты что, очумел? Такого парня... Не пьянчуга ведь, не сачок?

— Да прежде за ним не замечалось...— Хижняк смущенно подвигал округлыми плечами.

— С чего же он заколобродил?

— Леший знает.— Хижняк сморщился, будто на ломтик лимона зубом наступил.

— Труба дело,— огорчился Лавров.— У меня с нечистой силой никаких связей.— Раздумчиво помолчал, пошевелил ноздрями, словно принюхиваясь.— Сдается мне, тут Глаха замешана. Любовь у них. Не слыхал разве? — Сложив губы трубочкой, Хижняк небрежно фукнул.— На пороге загса забуксовали. Такое не легко снести. Глаха как рыба на песке. А Буянова вон куда кинуло...

Подпер ладонью круглый подбородок, рассеянно уставился перед собой и молчал до тех пор, пока Хижняк не кашлянул. Мгновенно построжав лицом, Лавров нацелился колючим взглядом на собеседника, жестковато заговорил:

— Ни скидок, ни поблажек Буянову. Можно его понять, посочувствовать, но не оправдать. Отбери права, молоток в руки, пусть слесарит. Надолго его не хватит. На коленях будет машину вымаливать. И уж больше, будь спокоен, не сорвется. Сибирский корешок: не шибко гибок, зато не ломок. Я с такими немцев колотил под Москвой и под Сталинградом. И вот еще что: приговор приведешь в исполнение, как воротимся с Заячьего. Буянов со своим тягачом — это, брат, сила. Дорога — сам знаешь, чем дальше, тем страшней. Сколоти летучую ремонтную бригаду, инженера туда поопытней...

— Я сам поеду.

— Хорош. Раз главный механик с нами — машины не подведут.

Тут в кабинет вошел бочком парень лет двадцати — смоляная вьющаяся бородка, смуглые щеки, шалые черные цыганские глаза.

— Проходи, Грозов. Кончилась твоя производственная практика? — Парень согласно кивнул.— Доволен? Я тебя в характеристике так аттестовал, хоть министром геологии. Кланяйся Ленинграду. Получишь диплом — к нам, как сговорились.

— Заметано.— Грозов весело оскалился.— Только я не с отвальным визитом: прощанья час не пробил.— И с ходу меняя тон на деловой: — Разрешите с вами на Заячий? В любом качестве: трактористом, такелажником, кашеваром.

— Костюмчик не жалко? — насмешливо сощурился Лавров.

— Уже оплакан и в поминальник вписан.

— Тогда хорош. Отправление в двадцать два ноль-ноль.

2

Далеко-далеко, насколько хватало глаз, простиралось грязновато-серое, пятнистое покрывало печально знаменитых Шанских болот. Шесть тысяч триста квадратных километров проседающей под ногами земли с коварными, в лютую стужу не замерзающими зыбунами, дно которых не нащупать шестом. Редкие, жидкие перелески казались инородными, неправдоподобными на этой унылой равнине. Зимой сверкающая на солнце, испещренная следами зверей и птиц неоглядная снежная гладь притягивала, манила охотников. Но стоило весеннему солнцу причернить сугробы, обнажить сухие мохнатые кочки и желтые склоны бугров, как огромное линялое пространство уже не притягивало, а отпугивало людей.

Поселковые мальчишки знали массу диковинных и страшных небылиц о Шанских болотах. Говорили, что на лесистом островке, затерянном среди топей, есть тайник с сокровищами последнего сибирского хана — Кучума. Еще рассказывали о таинственном колодце, который вовсе и не колодец, а лаз в подземелье, где долго таились главари кровавого кулацкого мятежа 1921 года.

Но больше всего ребят волновали рассказы о страшном неведомом змее, который всю зиму спит в трясине, а летом выползает, и уж тогда не попадайся, не то... На этот случай у каждого в заначке имелась не одна жуткая история, приключившаяся с незадачливым ягодником или самонадеянным охотником... Пугали друг дружку мальчишки болотами, а сами лезли туда, то за клюквой, то за брусникой, то за приключениями.

...Весь этот день солнце точило ноздреватые сугробы, и те, оседая, чернели на глазах. На закате примчался ветер из Заполярья, выдул тепло, скопившееся за день, тонким ледком окольчужил размякший снег, пригнал клочковатые серые облака и обложил ими небо. Вечер наступил раньше обычного, и был он темней, чем вчера.

Ночью на окраине поселка вспыхнуло разом множество желтых фар, и вой ветра стал неслышим из-за грохота машин. Впереди длинной рокочущей колонны катился легкий тягач АТЛ. В кабине рядом с водителем сидели Лавров и Морозов, а в кузове под брезентом — шестеро молодых монтажников, и с ними помбур ветровской бригады Крупенников.

Следом за АТЛ гусеничный трактор С-100 волочил огромные сани с дизелями для буровой. За ним его собрат тянул на полозьях высоченный штабель бурильных труб. Позади еще трое саней. В каждые впряжено по два шестидесятисильных трактора. На санях — горы металлоконструкций, баки с горючим, бревна, ящики, мешки. Чуть приотстав, ковылял раскорячистый, неуклюжий, длинношеий кран. В хвосте колонны резво пофыркивал трактор, таща вагончик с людьми.

Стальные гусеницы АТЛ дробили хрусткий молодой ледок. Подхваченные ветром льдинки царапали лобовое стекло. Встречный поток воздуха цеплялся за брезент, силясь содрать его с металлического каркаса.

— Молодцы сейсмики, добрую дорожку проторили.— Лавров распахнул полушубок, сбил на затылок мохнатую шапку, прищурился на водителя.— Смотри след не потеряй.

— Не беспокойтесь, не впервой.

— В сорочке ты родился, Леонидыч. Утром такая теплынь, а сейчас что твой декабрь. Как по заказу...

Говоря, Морозов слегка запрокидывал голову, нацеливаясь на собеседника острием бороды.

— Под такой ветродуй не в сорочке, а в малице надо. Во ломит, того гляди перекувыркнет.

— Сиби-ирь,— многозначительно протянул Морозов, снова задирая бороду.— Прежде ее каторжной называли...

— Мне Сибирь мила за строптивую необузданность. С ней всегда будь на взводе, не зевай да пошевеливайся, не то так трепанет... Да чего тебе рассказывать: до сих пор, поди, уши горят.— Веселая улыбка осветила лобастое лицо, серые глаза на миг утратили обычную колючесть, заискрились озорным лукавством.

— Тут хорошо, что к природе близко,— высказался водитель.

— От этой близости хребет трещит.— Морозов зашелся булькающим хохотком.

— Раз трещит, значит, не гибок,— подхватил Лавров.

— Гнучесть рабу нужна да холопу,— неожиданно загорячился Морозов,— а мы — повелители.

— Высунься в окошко, охладись, мастодонт. Никак институтскую пыль из штанов не вытрясешь. Надо не повелевать, а постигать природу, приспосабливаться...

— Человек — царь природы. Цари — не приспосабливаются,— не уступал Морозов.

— Человек, даже самый великий,— слуга своего времени.

— Ха! — Морозов даже подпрыгнул.— А кто же господин?

— Народ. Он един пашет и сеет, а пророки и гении — только жнут.

— С такой эрудицией философию в МГУ преподавать, а не нефть вынюхивать,— с легкой иронией сказал Морозов.

— Геолог обязательно философ,— очень серьезно и убежденно проговорил Лавров.— Мы ищем. А поиск — не только интуиция, но и теория вероятности. Иглу легче в стоге нащупать, чем среди тайги и болот найти нефтяной сосок Сибири...

Атээлка, резко качнувшись, перемахнула неглубокую впадину и стала медленно вползать на крутой склон. Мотор загудел басовитей, громче. Едва выбрались на ровное, Лавров скомандовал:

— Стоп. Поглядим, как Буянов одолеет эту колдобину,— и выпрыгнул из кабины.

Его тут же оглушил и ослепил ветер. Лавров прижался к машине, втянул голову под воротник и замер. Несколько раз глубоко вдохнул, расслабился, пошел вдоль кузова. Просунулся в щель брезентового полога, крикнул в прокуренную черноту:

— Живы?

— Еле-еле!

— Бутылочку бы для сугрева!

— Сейчас Буянов забуксует,— согреемся,— пообещал Лавров.— Кто замерз — давай в кабину, мы с Морозовым здесь поедем.— И пошел навстречу колонне.

Больше всего Лавров не любил покой, его необъяснимо угнетали одиночество, тишина. Он отказывался от одноместных номеров в гостиницах, не мог пообедать в одиночку, лучшим отдыхом считал охоту либо рыбалку. Ему недавно исполнилось сорок, а он ни разу не переступил санаторного порога, не бывал в домах отдыха, не заглядывал в больницу, да и не болел ничем, кроме обыкновенной простуды. И теперь, оказавшись на самом ветровороте, один на один с непогодой, он ощутил прилив необъяснимой радости.

Ветер хлестал по лицу, подсекал колени, валил. Идти приходилось, широко расставляя ноги и слегка балансируя руками. Когда порывы ветра были особенно сильны и пронзительны, Лавров удовлетворенно крякал. «Давай-давай,— мысленно подгонял, подзадоривал непогоду,— крути на всю катушку».

Ближе, ярче свет могучих фар. Лавров сощурился. Замедляя шаги, сошел с дороги. Подошедший трактор обдал жаром. Из кабины высунулся Валька Буянов.

— Яма впереди! — крикнул Лавров.

Качнул понимающе головой Буянов и отгородился дверцей.

Рядом с трактором Лавров шагал до тех пор, пока не перемахнули колдобину.

— Пронесло! — весело доложил Морозову.— Тронули.

Это случилось вскоре после того, как Буянова в кабине С-100 сменил Платон Ветров. Продавив заледенелый наст, сделанные из труб полозья саней глубоко, по самые перекладины увязли в грунте. Платон сразу понял, что случилось, но не остановился, не позвал на помощь, а прибавил оборотов мотору, и трактор, рванув во все свои сто лошадиных сил, зарылся гусеницами в землю. Обозленный Платон слегка попятил машину и

снова кинул вперед. Остервенело взвыв, трактор окутался вонючей гарью и дымом. Из-под гусениц летели крошки и комья рыхлого торфа. С каждым мгновением все глубже становилась ловушка, которую рыл для себя ослепленный яростью Платон. И когда АТЛ, подъехав вплотную, осветил буксующий трактор, тот зарылся так глубоко, что лег на брюхо и гусеницы вращались вхолостую. Лавров повелительно вскинул руку. Раздраженно и злобно уркнув, С-100 заглох. Обессиленную, заляпанную грязью машину обступили люди. Платон выпрыгнул из кабины и увяз почти по колено в перемешанном со снегом торфяном крошеве. Подскочил Хижняк, начал сердито выговаривать. Лавров оттянул механика:

— Потом выскажешься! Выручай трактор!

Мнения сразу разделились. У каждого нашлись сторонники, и не миновать бы затяжного жаркого спора, если б вдруг не посыпал снег и разноголосый шалый ветер не раздул на глазах настоящую метель. Люди и опомниться не успели, как он закружил над землей белые стружки и спирали, закувыркал, покатил их по равнине, свивая в охапки, громоздя в копны, которые тут же растаскивал и снова сгребал отовсюду, а колкие снежинки валили все стремительней, все гуще, свиваясь в неразрывные упругие нити...

— Отцепляй сани! Тащи бревна! Подгоняй кран!

Резкий командный голос Лаврова прорвал метельный вой, и люди, обгоняя друг друга, кинулись исполнять приказ. У трактора остался только Платон. Лавров шагнул к нему:

— Быстро в кабину. Не горячись, не ломи силой!

Гусеницы щепали бревна, вминали их в торф. Пошли в ход лопаты. Земля под торфом оказалась на диво неподатливой. Зазвенели ломы. В воздухе сшибались крапленные снегом пудовые комья земли. Люди теснились, задевали друг друга. Работали молча, с таким слепым азартным ожесточением, что Лавров то и дело предостерегающе покрикивал:

— Осторожней!

Теснота, тяжелая одежда, бешеный темп быстро утомляли, за каких-нибудь полчаса каждая лопата побывала не в одних руках. Только помбур ветровской бригады Крупенников ни разу не разогнулся. Это был богатырского сложения и силы детина, которого все называли Сенечкой. Он работал размашисто, взахлеб,

с хрустом вгоняя лопату по самый обух, и поддевал такие глыбы, что в конце концов черенок отломился.

Метель свирепела, больно стегала по разгоряченным лицам, слепила глаза, забивала рты. Две пары фар еле пробивали снеговую завесу, тускло кропя желтым светом работающих. Те задыхались, отплевывались, костерили непогоду, и раззяву-тракториста, и чертово болото, а сами все напористей долбили и раскидывали землю до тех пор, пока остывшая, припорошенная снежком машина не встала прочно на гусеницы. Тогда, побросав ломы и лопаты, принялись разгружать сани.

Вконец усталые, иззябшие люди расселись по машинам, и атээлка снова рванулась было вперед, но, слепо вильнув из стороны в сторону, тут же остановилась. Снежный поток оказался для фар непроницаемым, водитель не видел дороги. И опять сбежались все, и опять заспорили. Хижняк предложил отсидеться в вагончике, переждать метель. Лавров не согласился: заметет пробитый сейсмиками зимник, тогда попробуй-ка с таким грузом проберись по заснеженному коварному болоту. Решили выслать перед АТЛ поводыря.

— Начнем с меня,— сказал Лавров.

Пригнулся, набычил голову и, не спуская глаз с еле видимой дороги, широко и ходко зашагал, чувствуя спиной тяжелое дыхание перегретой машины.

Когда через полчаса его сменил Морозов, Лавров, помахав водителю, чтоб проезжал мимо, медленно побрел в обратную сторону, навстречу колонне. Расслабился, радуясь попутному ветру. Он знал: Морозова сменит Хижняк, потом наверняка Грозов или Сенечка, после кто-то еще, и так они будут сменять друг друга всю ночь, а может, и весь следующий день, до тех пор, пока не угомонится метель иль не покажется наконец Заячий остров — так называлась затерянная в глуби Шанских болот большая роща, в которой, если верить охотникам, всегда можно было подстрелить зайца. Теперь Лавров был окончательно уверен — что бы ни случилось впереди, они дойдут, поставят на Заячьем буровую, которая, может быть, и нащупает долгожданную нефть.

Десять лет ждал он нефтяного фонтана от каждой скважины и не отчаивался, если та, поплевав газком и мутной водицей, замирала, и они уходили от нее, как от могилы,— в скорбном молчании, торопливо и бесшумно. Даже мысленно он не изменил ни разу мечте

о большой сибирской нефти и все эти годы верил, что именно буровики его экспедиции вспорют кремневую стенку земной артерии, выпустив наружу черный яростный поток.

Время распахало широкий выпуклый лоб, оплело паутиной колючие серые глаза, вытвердило, заострило черты лица, но веры его не коснулось. Он и жену и повзрослевших дочерей заразил мечтой о смолистой, отливающей синевой, пахучей тяжелой жидкости с нерусским названием — нефть. Они знали биографии всех скважин, пробуренных Шанской экспедицией, разноцветные столбики керна стояли на туалетном столике дочерей. Мать пристрастила их к музыке, приохотила к книгам, но будущее свое обе видели в геологии...

Тут он вспомнил, как впервые привез Риту в Сибирь. Как восторженно ахала она, умиляясь первобытной глухомани, писала длинные, усыпанные восклицательными знаками письма в Москву подружкам по музыкальному институту Гнесиных. А потом жестоко заскучала по столице, по городской жизни. Поссорясь, не раз грозилась бросить его вместе с тайгой и геологией, и он не судил, не попрекал. Побушевав, погремев чемоданами, Рита корила себя за малодушие, а потом, назвав гостей, весь вечер не отходила от пианино, которое они таскали за собой по землянкам, балкам и баракам. С годами подобные вспышки становились все реже и слабее...

Вот и огни последнего трактора. Лавров зябко передернул плечами, устало остановился. Нашарил на ходу дверь покачивающегося вагончика.

Вокруг горячей печурки на чем попало сидели такелажники, трактористы, монтажники. Курили, со смачным кряком и причмоком тянули чай из алюминиевых кружек. На стук двери все оглянулись. Грозов, оскалив в улыбке крупные ровные зубы, обрадованно загомонил:

— Вот хорошо! Вовремя подоспела тяжелая артиллерия. Весь боезапас израсходовал, отбиваясь от маловеров, хребет надломил, подпирая геологическую науку.

— Кто на нее нападает? — притворно грозно спросил Лавров, присаживаясь на ящик.— Становись сюда, буду уши драть.

— Зачинай с меня и по кругу всем дери, окромя Грозова,— серьезно предложил сидящий рядом пожилой мужчина с испитым нездоровым лицом.

— Да как же ты, Качурин, на родную науку руку поднял? — повернулся к нему Лавров.

— Мутевая наука,— без улыбки ответил Качурин.

— Чем не потрафила? — заинтересовался Лавров.

— До сих пор не придумала, как водку гнать из железа,— поддел кто-то.

— На мой век и «сучка» хватит,— покривился обидчиво Качурин.— Не наводи тень на плетень, без тебя в глазах двоится.

— Опохмелись, Епифан, все станет на место,— посоветовал насмешливо тот же голос.

— Поднеси — не откажусь,— с вялой озлобленностью откликнулся Епифан Качурин.

— Дайте высказаться ему. Да тихо же! — требовательно прикрикнул Грозов. И когда стихли все: — Давай, Епифан, излагай свою платформу.

— Кабы только мою. Не один так-то думаю, только ныне не больно охотников думки на погляд выставлять. Спокойней, когда они под пазухой...

— Постой, Качурин,— прервал Лавров.— Так мы знаешь куда утопаем? Выкладывай, чем наука не угодила?

— Десять лет по ей, ровно по компасу, нефть шарим, и что? На карту глянешь — в глазах зарябит, вся изрисована. И тут и там — кругом перспективы, только колупни. А где ни пробуришь — везде шиш...

Все засмеялись.

— Складно говоришь.— Лавров недовольно хмыкнул.— Только науку обижаешь зря. Она верный путь кажет, да мы по ее указке не идем...

— Как так? — Качурин даже привстал от изумления.

И полетело со всех сторон:

— Здорово девки пляшут — по четыре в ряд!

— Выходит, мы себе враги?

— Значит, сами не хотим?

Ни улыбок, ни подначки в голосах. Даже балагур Грозов озадаченно прикусил нижнюю губу.

— Мало хотеть, надо мочь,— медленно заговорил Лавров, попыхивая папиросой.— Нефть здесь до революции пробовали искать. Едва очухались от гражданской — снова сюда. Первая экспедиция Вавилова на своих двоих все Приобье обшарила.— Помолчал. Докурил папиросу.— Мы вон, чтоб одну буровую перевезти, целый тракторный корпус подняли — тысячу лошадиных

сил. У Вавилова и десяти коняг не было. Бурили даже вручную...

— С этим ясно,— нетерпеливо перебил Качурин.— Выше себя не прыгнешь. Теперь-то почему мимо цели? И техника, и деньги, и специалисты, а нефти нет.

— Лес дремучий, зверь кусучий — страшно! — деланно трагически прошептал Грозов, изобразив ужас на лице.

— Точно,— подхватил Лавров без улыбки.— Боязно кое-кому в глухомань лезть. Там каждая буровая миллион слопает. А как завозить оборудование, технику, продукты? Нужны отчаянная решимость и риск. Но рисковать не все хотят.

— Так помести их к чертовой матери поганой метлой,— яростно просипел Епифан Качурин.

— Легче на поворотах.— Лавров успокаивающе похлопал Епифана по колену.— Метла не тот инструмент. Ты попробуй опровергни, докажи. Дорого? Неимоверно. Рискованно? Безусловно. Нужны миллиарды. Воротятся ли они? Когда? Мы отвечаем: «Скоро!» Но есть геологи и ученые, не согласные с нами. Вот и спорим. Десять лет топчемся подле Туровска да Голованева. Знали бы вы, как мы в Шанск прорывались...

— И что толку? — зло буркнул Епифан.— Третий год болото месим, северную надбавку пропиваем, а нефть...— и присвистнул.

— Неправда! — Лавров из-под прищура обварил Качурина гневным взглядом.— На двух скважинах получили нефть. Смехотворно мало? Согласен. Но все-таки получили. Стало быть, есть! Может, эта на Заячьем и гуднет первым фонтаном. Главное — начать. Потом только считай да замеряй месторождения, клади нефтепроводы, строй комбинаты...

— Точно! — возликовал Грозов. Вскочил, замахал руками.— Язык измозолил о том же, а Епифан все тянет: «Нет тут нефти»...

— Есть,— очень спокойно и оттого особенно веско выговорил Лавров.— Есть, товарищи. Поверьте.

3

Их было двое — инспектор областного комитета партгосконтроля и бухгалтер-ревизор из геологоуправления. Ни лицом, ни ростом, ни осанкой они совсем не похо-

дили друг на друга, тем не менее что-то в них показалось Лаврову одинаковым, и он с первого взгляда окрестил про себя ревизоров «близнецами». Те держались с подчеркнутым достоинством, говорили тихо. Настояли, чтоб Глаха непременно доложила начальнику об их прибытии, и лишь после этого прошли в кабинет.

Бухгалтер-ревизор из геологоуправления Самусев — невысокий, рыхлый, лысый, с орлиным носом и седыми бровями, бывал уже здесь, знал Лаврова и все-таки предъявил командировочное удостоверение и лишь после этого представил спутника:

— Прутов, Аверкий Назарович. Из партгосконтроля.

Прутов был тоже невысок, но сух, как ветка саксаула, и удивительно легок, прямо-таки невесом в ходу и в движениях, с лицом, вкривь и вкось иссеченным морщинами. Церемонно протянув свои «верительные грамоты», Прутов обидчиво поморщился, когда Лавров отмахнулся от них так же небрежно, как и от самусевских.

— Чего это вы дуэтом? — спросил Лавров, когда процедура знакомства окончилась.

— То есть? — шевельнул настороженно кочками бровей Самусев.

— Прихватили б еще из прокуратуры, получилось бы отменное контрольно-ревизионное трио,— и засмеялся, довольный собственной шуткой.

Гости даже не улыбнулись. Построжев лицом, Лавров спросил, как долетели, сносно ль устроились с жильем. Самусев сухо поблагодарил, всем своим видом давая понять, что не склонен вести какие-либо посторонние праздные разговоры, достал из кармана блокнотик, похрустел страничками, нашел нужную, близоруко ткнулся в нее и давай выспрашивать — план, скорость, себестоимость бурения, капстроительство... Тут и Прутов с самопиской нагнулся над блокнотом и тоже застрочил вопросами. Текучесть, производительность, реальная зарплата... В конце концов Лавров не стерпел и вместо ответа на очередное «как?..» столкнул с языка мину:

— Не заняться ли нам делом, товарищи?

Взрыв получился на славу.

— Так вы полагаете?..— от гнева и обиды Прутов по-девичьи зарумянился.

— Значит, мы... Выходит, мы...— оглушенно бормотал, багровея, Самусев.

— Все эти данные вы могли взять в управлении из

наших отчетов. Зачем тратить время на цифровую чехарду? Давайте так: глаза и уши у вас в норме, документы в вашем распоряжении, любой специалист — к вашим услугам. Выясняйте. Фиксируйте. Проговаривайте. Потом с выводами и замечаниями милости прошу. А сейчас — увольте. На буровой Хомякова — авария...

Встал и начал одеваться, не дождавшись мнения разгневанных ревизоров.

Закаменев лицом, Прутов резко кивнул головой, точно клюнул что-то невидимое, и, не глянув на обидчика, молча понес окостеневшую от гнева фигуру к выходу.

Следом, животом вперед, раздув ноздри, вышагивал Самусев.

— Уши бы вам надрать,— свирепо бормотнул вслед им Лавров и вдруг рявкнул: — Глаха!

Глаха тут же появилась у дверей.

— Хижняк пришел? — не оборачиваясь, спросил Лавров.

— Полчаса возле вашей атээлки снег утаптывает.

— Я к Хомякову. Вернусь к ночи завтра.

И пошел из кабинета так стремительно и прицельно, что когда Глаха, подсеменив к окну, глянула в него, Лавров уже влезал в кабину АТЛ.

— Чего кислый, не выспался? — спросил Лавров водителя.

— Сынишка слег. Врачиха второй день колдует, никак не разгадает. Про менингит лопочет, в Туровск, говорит, надо.

— За чем же дело? — нахмурился Лавров.

— Рейсовый только завтра будет. Да и лететь некому, у жены грудной на руках.

— «Некому, некогда»,— сердито передразнил Лавров.— Вылезай. Полетишь с сыном. Сегодня Ли-2 пойдет в Туровск спецрейсом. Сейчас сочиню радиограмму в управление — встретят, помогут с больницей.— Вынул из кармана блокнот, взял протянутую Хижняком самописку, торопливо набросал несколько слов.— Занеси в аппаратную. Неживенко скажешь, чтоб самолет отправил пораньше. Чего уставился?

— Вы-то как поедете?

— Ска-жи, незаменимый. Ну-ка, пусти.

Уселся на водительское место, оглядел приборы на щитке, ладонью подтолкнул рычаг, и машина тронулась.

Авария на буровой Хомякова отняла много времени и сил, месячный план экспедиции по бурению срывался. Спасая его, Лавров кинулся в бригады Ветрова и Осокина, упросил мастеров «приналечь, подкинуть скоростенку» и, обнадеженный ими, только через неделю появился в своем кабинете. Не успел раздеться, а «близнецы» уже на пороге. На сей раз встреча получилась менее официальной. Ревизоры потискали руку Лаврова, полюбопытствовали об аварии, уселись без приглашения.

— Кончился ревналет? — спросил Лавров.

— К тому клонится,— неопределенно и нетвердо ответил Самусев.

— Мы завершили ревизию,— деревянным голосом медленно заговорил Прутов, не глядя на Лаврова.— Готов вчерне акт. Прежде чем перепечатывать, хотелось кое-что выяснить...

— Хорош,— вяло откликнулся Лавров.

— Во-первых, насчет нового клуба,— тем же бескровным голосом и так же, ни на кого не глядя, продолжал Прутов.— Ни в смете, ни в плане капстроительства не значился, документации никакой. А стоит, красуется, заходи, веселись. То же с яслями. Без бумаг родились, ровно гриб в лесу. И никаких затрат по документам. Что скажете?

— Ничего не скажу.

— Как так «ничего»? — удивился Прутов.— Мы что же, в кошки-мышки...

— Две кошки на одну мышку многовато,— невесело улыбнулся Лавров, длинно, громко вздохнул.— Форму желательно соблюсти? Ну, пожалуйста. И клуб, и ясли строили всем миром, в основном в нерабочее время. Кто его мерил? Кто оценит? Смет да проектов не дождались. Сам знаешь почему. Пока они придут, нам тут нечего будет делать. А время не ждет. Молодые — старятся, дети — растут. Жизнь у всех одна...

— Ну и что же? — поспешил с вопросом Самусев.

— Ничего,— обиженно выдохнул Лавров.— Все на виду. Под клуб приспособили барак. Детясли заняли четырехквартирный дом. Никакой конспирации.

— Но стройматериалы,— тихо, вкрадчиво напомнил Самусев.— Оборудование, мебель. Их же вам не подарили?

— Ну, не подарили. Ну, не бесплатно. Ну и что?..

От фразы к фразе он возвышал, ожесточал голос. Колючий взгляд никак не мог поймать ускользающие ревизорские глаза, чтобы решить: стоит ли доказывать, объяснять, или подписать акт — и пусть убираются. Так бы он и поступил, если б вдруг не почудилось смущенное сочувствие в неуловимом взгляде. Разом пропала ожесточенность в голосе.

— За счет чего обзаводились? — спросил мягко и тут же ответил: — Бурение. Оттуда черпаем. Только из плановой себестоимости метра проходки — ни-ни. Все в норме...

— Кроме пустяков...— с наигранным смирением прибавил Самусев.

Ошибся, не разгадал ревизора Лавров и оттого мигом встопорщился, покраснел.

— А то, что все это сделано через голову, самовольно, вас не смущает? — проскрипел Прутов.

— Ни капельки! — отрезал Лавров.

— Странно. Вы не новичок. Не безусый юнец...— видимо, входя в роль обвинителя, заговорил Прутов методично и напористо. И ладошкой по столу похлопывал.— Пять лет начальником. Два выговора за нарушение финансовой дисциплины. И все неймется. Что это? Высокомерие? Безответственность? На основании каких прав? Какими принципами?..

— Правами интересуешься? Принципы нужны? — Лавров сорвался, теперь ему — море по колено. Сощурив левый глаз, прицелился в Прутова взглядом.— Ну, слушай, то-ва-рищ кон-тролер. Первый принцип — чтоб к рукам не липло, всегда чтоб чисты и рыло не в пуху. Раз.— Загнул мизинец на растопыренной пятерне правой руки, покачал ею, будто взвешивая.— Чтобы людям от того лучше жилось. Два.— Загнул другой палец.— У государства чтобы не клянчить, в карман ему не залезать.— Сжал кулак и, грозя им ревизорам: — Вот мои принципы и права.

— Хе-хе-хе-хе,— укоризненно покачал головой Прутов.— Демагогия. Высшей пробы. Не хотел у государства клянчить, а без спросу взял. Сэкономил на бурении — вбухал в ясли да в клуб, а должен был в госбюджет отчислить. Так?

— Так! Только нам той экономии не иметь, если б рабочие не знали, что на нее будем строить. Да и воротились уже те затраты, с лихвой. Чего уставились на

меня? Бывало, женщина на работе о чем думала? Только не о делах. О запертом в вагончике малыше: ну набедокурит, подожжет? Восемь часов пытки. Психовали, злобились. Не подступись. Сколько бед из-за этого. Семьи разваливались. И теперь почти сто детишек не присмотрены... Так и с клубом. Прежде холостяки выходной за поллитровку держались, а понедельник — за башку. Сейчас и кино, и лекции, и танцы. Библиотека. Бильярд. Производительность труда подскочила. Прогулов и опозданий втрое меньше. Текучесть — на спад. А трудовая дисциплина? Переложи все это на рубли и скажи — прибыль или убыток государству?

— Одну детальку не учли,— тихонько уколол Самусев.— Зарплату клубных деятелей. Их ведь семеро по лавкам. Прямо цирк! Завклубом получает зарплату механика, худрук...

— Стоило на это время и командировочные тратить! Не велик ум нужен, чтобы понять — раз нет клуба в смете, нет и заведующего в штате.— И с откровенным неприязненным укором: — Если бы домработницу, любовницу так-то, тогда хихикайте, подковыривайте...— Голос его нарастал, в нем все явственней слышались дерзкие, вызывающие ноты.— Незаконно? Не спорю. Накажете? Всегда готов... Вас бы с семьей в балок. Вчетвером на шесть квадратов. Всю зиму — консервы да сушеная картошка. И за спиной — ни дачки на взморье, ни текущего счета. Эх вы! Заматерели в канцеляризме. Чиновники!

— Партгосконтроль — не чиновничье гнездовище, товарищ Лавров.— Голос Прутова неожиданно сделался металлически звонким и гибким.

— Знаю,— грубо прервал Лавров.— И вам пора бы усвоить: главный двигатель — рабочий человек, все для него.

— Прибереги свой запал: сгодится,— одернул и пригрозил Прутов и назидательно: — Сейчас партия ведет беспощадную, истребительную борьбу с нарушителями государственной дисциплины, очковтирателями, центропупами, вроде тебя. На третий выговор не надейся. Как бы партбилетом не поплатиться...

— Партбилетом, говоришь? — Лавров привстал, полуоткрытым ртом заглотнул побольше воздуху и попер напропалую: — Мелковато плаваете, господа ревизоры, задница на виду. Я стал большевиком осенью сорок первого, в окружении. Понял? С этого кресла,— похло-

пал по подлокотнику,— хоть завтра, но из геологии...— сунул под нос Прутову фигу.— И не стращай!

Аскетически худое, обескровленное лицо Прутова стало белым. Веки подергивались, подрагивали плотно сжатые губы. Он из последних сил сдерживался, чтоб дослушать Лаврова, но едва тот умолк, как Прутов выпалил:

— Не по уму горячность! И окружение тут ни причем. Честно воевал? Спасибо. А за разбазаривание государственных средств и прочие проделки — пойдешь под суд. Что? Шибко круто? Лучше выговор с клубом? Не будет выговора. Под суд! Читал в «Правде»? Первого секретаря за очковтирательство — из партии и с работы. Заслуг у него, полагаю, не меньше твоих. Кто из нас мелко плавает — покажет время. Не заносись! Не махай руками! Над объяснительной по акту крепко подумай!

Последние фразы Прутов выговорил хотя и горячо и жестко, но сочувственно. Это смутило и обескуражило Лаврова. И вместо того чтоб негодовать, он удивленно спросил:

— Думаешь, до такого дойдет?

— Протри глаза — сам увидишь.

— Ну что ж,— спокойно и тихо, вроде бы сам себе, сказал Лавров. Помолчал, осуждающе оглядел ревизоров, вздохнул.— Кампания — наша стихия. Любой лес в щепу, только мигни. Но я верю в разум вершащих суд.— Голос его снова набрал силу и звонкость.— Спасибо за науку. Пригодится...

Глава вторая

I

Даже на роскошную столичную квартиру не променял бы Лавров этот бревенчатый домишко с гнущимися, скрипучими половицами, оклеенными обоями стенами и огромными окнами, тонкие стекла которых зябко дрожали, прогибались в непогоду. Он никогда не задумывался — за что любит свою профессию: подлинная любовь слепа и бездумна. Его радовали постоянный непокой, поиск, где расчет и риск — в обнимку, и тот особенный, волнующий неуют, когда все вроде бы случай-

но, недолговечно, непрочно, но к месту и под рукой. Геолог всегда в походе, а в поход лишнего не берут, с чужим не идут. В их мире подорвана сила и власть вещей, денег... Все «притерлись», приспособились, привыкли друг к другу, как в большой патриархальной семье: характер и вкусы у каждого свои, а интересы — общие. Не раздумывая, можешь опереться на любое ближайшее плечо. И в буднях геологов постоянно присутствует неожиданность, а без нее жизнь пресна и скучна...

Когда Лавров с дочерьми накрывал на стол, вошел радист. В радиограмме всего семь слов: «Немедленно вылетайте Туровск вместе главным геологом. Ярков». Первой была мысль: «Близнецы-ревизоры заварили кашу». Но тогда зачем Мельник? Тут положено заодно с начальником подставлять бока главбуху, а не главному геологу. Экстренное совещание? Пожалуй. Многовато заседаем. Говорим, говорим... Снаружи — о разном, а изнутри — об одном. Прилипли к языку готовые формулировки, в памяти колонки цифр завязли. Думал с девчонками вечер провести — поболтать, побалагурить — и на тебе...

Подал радиограмму Рите. Сказал притихшим дочерям:

— Давайте заявки на гостинцы.

— Себя привези,— озабоченно откликнулась жена.— Посмотри, что на улице,— не то дождь, не то снег. Только и летать в такую погоду.

Легко крутнулась на носках и, шурша шелком яркого халата, скрылась на кухне, оставив после себя аромат духов.

— Ан-2 на любую сосну сядет, с каждой кочки взлетит,— громко, чтоб слышала она, проговорил Лавров и принялся торопливо укладывать портфель.

Рита неслышно подошла сзади. Легким движением головы скинув со лба темно-каштановый завиток, сощурила яркие зеленоватые глаза.

— Не думаешь ли ты лететь без обеда?

Спросила таким тоном, что собравшийся было так и поступить Лавров сразу передумал и сказал, что в мыслях не держал подобное, и тут же принялся откупоривать высокую бутылку сухого вина.

— Последняя,— сказала Рита.— Не забудь привезти.— И без малейшей паузы: — Ты бы, Глеб, поговорил

с Ярковым. У меня не выходит из головы эта ревизия. Лучше предупредить...

— «Предупредить»,— насмешливо повторил Лавров.— Да Самусев-то и прикатил по приказу самого Яркова и действовал по его инструкции. Такой ревнаскок без ведома начальника геологоуправления?..— Отрицательно покачал головой.

— Чем ты его зацепил?

— Не знаю,— поморщился Лавров.— Мужик он вроде сносный. В деле разбирается. Одна беда — всех под себя рубит. Делай, как я! — вот и вся система.

— Никак по анархии заскучал?

— Нет. Просто сперва надо подумать — потом приказывать. Выслушай — после выскажись. Так, по-моему. Единоначалие — не единомыслие. Высокое кресло — не панацея от ошибок и даже глупостей...

— Надеюсь, ты еще не обнародовал эти мысли? — Ни улыбка, ни шутливый тон не скрыли тревоги.

— В широком плане — нет. Поделился только с товарищами на партийно-хозяйственном активе управления.

— Так я и предчувствовала! — расстроилась Рита.— Всегда тебе больше других надо! Думаешь, памятник при жизни воздвигнут? Ленинской премией увенчают?

— Не думаю,— серьезно и грустно отозвался Лавров.— Сам не пойму, как это получается. Честное слово. Просто, видно, приспело время. Подперло. Схватило за глотку. Понимаешь? Нельзя по старинке руководить геологоразведкой: без научного загляду, без хлопот и риску. Недавно с Мельником сцепился из-за ярковского курса: даешь метры и рубли, а нефть — десятое дело. Вот оттого и топчемся, боимся шагнуть на Север. Не попади я тогда к Смолину, не поддержи он, не видать бы и нам Шанска, колупались бы где-нибудь возле железной дороги. Полгода уговаривал Яркова, писал, выступал, и пока ему не позвонил Смолин... С тех пор и наперекос...

2

Они летели на Ан-2 вдвоем. Оба были немножко расстроены и озадачены неожиданным вызовом. Едва уселись, Мельник спросил:

— Зачем, по-твоему?

— Уши бы им надрать. Могли два слова добавить в радиограмме. Похоже, гость из министерства, воспитывать будут...

— Их можно понять. Деньги — давай, технику — давай, а отдачи никакой. Не по-хозяйски. Треба вразумить и подстегнуть...

— Не гони коня кнутом,— угрюмо проворчал Лавров,— слыхал такое? Нас не подстегивать, не дергать, а подкрепить материально, морально поддержать...

— За что? За обещанье и посулы? За растраченные сотни миллионов?

— За то, что не спасовали от неудач. Рвемся не в Крым, не под сень Эльбруса, а к Ледовитому, на сквознячок...

Мельник не отозвался, и оба долго молчали, не глядя друг на друга, то ли задремали, убаюканные моторным воркотаньем, то ли задумались. Но когда Мельник снова заговорил, показалось, что никакой паузы не было.

— Скажи спасибо — до сих пор не помели нас отсюда. Не открой мы в пятьдесят третьем в Сосновке газ...

— Дурное дело — не хитрое, ни ума, ни сил. После Сосновки-то в самый раз было на Север повернуть. К Сарье, к Мертвому озеру. И Вавилов туда звал, и Ростовский во все колокола о том же. А мы?

— С геологической точки зрения оно так, конечно, но с экономической... От Туровска тысяча верст тайги и болот до Мертвого озера. Ну, зацепишься ты там черт знает какой ценой. Ну, найдешь нефть, и что? Она станет дороже золота! А если не найдешь? Расточительный эксперимент.

— На такую наживку не клюю,— понимающе улыбнулся Лавров, уверенный, что его разыгрывают.— Придумай чего-нибудь поинтересней.

— Мудрое всегда банально и просто,— с каким-то необъяснимым, обидным намеком выговорил Мельник и так глянул на Лаврова, словно тот и в самом деле прописной разиня и недотепа.

— Не понимаю, куда метишь,— растерянно и уже обеспокоенно сказал Лавров.

— И напрасно! — Мгновенной вспышкой мелькнула на губах Мельника язвительная улыбка.— Трезвый, опытный геолог, а подпеваешь кабинетному теоретику Ростовскому. Север заманчив, но коварен. Ступи — и за-

вяз. И тогда только поспевай пихай в его ненасытную глотку. Все сожрет, все перемелет.

«Да неужели мы прежде не говорили об этом? Быть не может! Два года рядом, локоть к локтю, и такая метаморфоза... Кто же он? Единомышленник, друг или... Сам напросился в Шанск. Сразу с семьей в барак. Подначивает, а как ловко. Во, актер...» И уже хотел сказать что-нибудь шутливое и пустил лукавую улыбку по лицу, да Мельник вдруг из-под насупленных лохматых бровей брызнул такими острыми осколками, что Лавров зажмурился от ожегшей мысли: «Не прикидывается. Таков и есть». И сразу закипел и, перекрывая моторный рокот, загремел его яростный голос:

— Капитуляцию предлагаешь? На юге нефти нет, на север — далеко и страшно. Собирай шмутки и вон отсюда! Так? Верно я понял? — Вскочил, пребольно стукнулся затылком о какую-то железяку и оттого взъярился пуще и, размахивая кулаками, закричал: — Ренегатство! Предательство! Идеи. Друзей. Тех, кто первым, кто с нами десять лет... Сам-то ты как же? Себе на уме? Да это же... это двурушничество!

— Подбирай слова поаккуратней! — Мельник тоже сорвался с места. Он был на голову выше Лаврова, подобранней, суше, смотрел на того сверху вниз — вызывающе зло и насмешливо.— Ты эти ярлычки прибереги. А руки чешутся — клей их себе на заднее место. Тоже мне, верховный жрец! Я с вавиловской экспедицией облазил все вокруг Сарьи в сорок первом. Двенадцать лет гоняюсь по тайге за нефтяным призраком. Верю: в Приобье есть нефть. Много! Но оно не обжито, подступов — никаких. Бросить туда экспедиции — безумие. Авантюра, если хочешь! В авантюристах не хаживал, породу эту не терплю. Чего волком смотришь? Глупо, но можно самолетами туда и оборудование и людей забросить, а нефть тоже на них станешь вывозить? Наша экспедиция и то слишком вклинилась на Север. Может статься, чего тут найдем — то тут и оставим мертвым капиталом.— Перевел дух и уже спокойней, с ноткой обиды: — Уходить отсюда — глупо, недопустимо. Концентрировать средства, силы, опыт для броска на Север — вот что нужно.

— Мы десять лет только это и делали. Над нами зубоскалят. Не верят! Нужна нефть!..

— Не ори, не на митинге,— сморщившись, осадил Мельник.

— Кой черт тащил тебя к нам? — Лавров даже зубами скрипнул от негодования.— Чего не сиделось в управлении? Телевизор, ресторан, ванная...

— Не перебродил ты еще,— сказал Мельник уступчиво, примиряюще. Расслабленно опустился на сиденье. Достал папиросы.— Всем осточертел этот бег на месте. Чугунный орешек. Любые зубы выкрошит, а и разгрызешь — зернышком подавишься. Я хоть и от первого лица, а в общем-то не свою, министерско-госплановскую линию изложил. Мне самому она поперек, оттого и злюсь, себя и других дергаю. А поприжмешь сердце, вдумаешься — в их позиции есть трезвый рационализм.

Прикурил, подал пачку Лаврову. Тот нехотя взял и долго выуживал ускользающую из пальцев папироску. Протянув горящую спичку, Мельник неожиданно спросил:

— Какой бритвой бреешься?

— Безопасной,— буркнул Лавров.

— Тогда должен знать: до упора ее не завинчивают, не то лезвие пополам либо порежешься. Приходится отпускать на полоборота. И гайки так же, иначе резьба к черту. Уловил? Прешь, как бык на красное. Фанатизм всегда оборачивается идеализмом.

— Не строй из себя трезвого политика,— сказал все еще насупленный Лавров, хотя и беззлобно и миролюбиво.— Перестраховщики любят прятаться под капюшон рационалиста. Старой меркой и людей и возможности технические меряешь. Нашему народу только дай до сибирской нефти дотянуться — пригоршнями вычерпает...

— Ну-ну,— протянул иронически Мельник,— чем бы дитя ни тешилось... Думал, эти погремушки тебе уже не нужны...

— Те, кто впереди были, не считали погремушками.

Из кабины вышел пилот — большеголовый, невысокий и грузный, во рту — прокуренный мундштучок с дымящейся сигаретой.

— Хватает кислороду? — спросил шутливо.

— Пока не задохнулись, Матвеич,— обрадованный его появлением, охотно откликнулся Лавров.

— Наболтало?

— Пустяки,— поспешил успокоить Лавров. Ему очень хотелось, чтобы Матвеич подольше побыл с ними.— Надо бы эту трассу твоим именем назвать: ты ведь ее прокладывал.

— Если все тропки, что я проторил в этом небе,— моим именем, получится культ...

Самолет подкинуло, резко качнуло влево.

Матвеич скрылся в кабине.

Больше до конца пути Мельник с Лавровым не проронили ни слова.

Им забронировали места в одном номере, но Мельник от гостиницы отказался, пошел к знакомым. Лавров поселился вместе со старым приятелем, главным геологом Голованевской экспедиции Пантелеем Ильичом Русаковым. От него и узнал, что завтра секретарь ЦК КПСС будет проводить совещание командного состава геологоуправления. С ним приехали министры, руководящие работники Госплана, ученые.

От этой вести дух перехватило, будто в прорубь нырнул. «Приспело время. Или — или...»

И радовало, и тревожило долгожданное завтра, отпугивая сон...

3

Туровск — едва ли не самый древний город Сибири, но, кроме возраста, ничего примечательного не было в нем: ни памятников архитектуры, ни гигантов индустрии. Он прозябал века, как тысячи подобных ему захолустных городков. Единственно, чем похвалялись горожане, так это расположением города. Через Туровск когда-то проходил печально знаменитый Сибирский тракт; триста лет пылили по нему неугомонные русские землепроходцы, работные и служилые люди, звенели кандалами гурты каторжан, скакали по ночам перекладные тройки с опальными слугами государевыми. В воспоминаниях именитых ссыльных и прославленных путешественников не однажды описывался Туровск. В конце прошлого века писательница Лухманова блистательно живописала быт и нравы здешнего купечества, но сочинения ее вскоре забылись, не принеся славы ни автору, ни городу.

В годы Советской власти Туровск стал сначала окружным, потом — областным центром.

Облик города в описываемый период мало чем отличался от дореволюционного. Те же разномастные деревянные дома, домики и домишки, с палисадниками, высокими заборами, приворотными скамьями, тесно облепленными малоречивыми древними старухами. Зимой

дома стояли по окна в снегу, вдоль них, рассекая сугробы, змеились тропинки, такие узкие — двоим не разойтись. Весной и осенью улицы затопляла грязь, в иных местах настолько непролазная, что застревали грузовые автомобили. Летом Туровск становился серым от пыли. Вечерами все живое тщетно искало спасенья от полчищ свирепого гнуса.

Удручающе медленно, неряшливо строили и благоустраивали древний Туровск. Каждый асфальтовый лоскут дороги, каждый новый дом становился событием.

Многие москвичи и жители иных центральных городов, заслыша о Туровске, удивленно таращили глаза и, нимало не смущаясь, начинали гадать, в каком конце страны он находится. И не мудрено: в центральных газетах о нем — ни очерков, ни репортажей, разве что мелькнет иногда неприметная заметочка в пять строк петитом о трудовых успехах рыбаков либо лесозаготовителей. Объезжали Туровск стороной знаменитые актеры, ни союзных, ни республиканских мероприятий в нем не проводилось.

Лишь на несколько дней в году природа преображала захолустный городок, и тот становился по-настоящему красивым, романтичным. Это случалось на стыке весны и лета, когда окутывала деревья молодая яркая зелень, а в палисадниках и скверах расцветали сирень, черемуха, яблони. Бесконечно долго тянулись вечерние сумерки, и были они — сиреневыми, душистыми, волнующими, а ночи — короткими, белыми. В такие вечера, надев все самое легкое, яркое, нарядное, девчонки валили на улицы, на берег реки, в городской сад и там хороводились с расфранченными парнями до предрассветной темноты.

В один из таких редкостных дней и должно было состояться совещание.

Распахнутые окна номера выходили на маленькую тесную улочку, накрытую молодой пахучей тополиной зеленью. Лавров сквозь дрему слышал голоса ночной улицы, то и дело просыпался и тут же засыпал снова. Когда же близко к рассвету ватага молодежи затеяла пляску под окнами гостиницы, Лавров не только проснулся по-настоящему, но поднялся и подошел к окну.

Шестеро ломаным полукругом выстроились на высвеченной фонарем круговинке, азартно и звонко били в ладоши, притопывали, гикали, ухали, заглушая гитару, по струнам которой слепо молотил высоченный кудлатый

парень. В кругу вихрем металась девчонка в светлом коротеньком платьице. Черные длинные космы трепались вокруг головы, хлестали по бледному лицу с ярким смеющимся ртом. Сильные ноги с таким ожесточением вбивали в асфальт каблуки, что непостижимым казалось, как те не отлетели.

— Давай, Соня!

— Режь, Лучкова!

Подхлестывали парни выкриками, и она кружилась все стремительнее. Чаще, хаотичней взлетали белые руки, ноги выделывали лихие рискованные па. Обессилев, она оборвала пляску, остановилась, и Лавров наконец-то разглядел ее лицо — смуглое, большеглазое, красивое, и подосадовал: уж слишком разухабисто плясала красавица Соня Лучкова...

Утро занялось ослепительно яркое. Вдохнув глубоко и жадно за ночь остуженный и профильтрованный ароматный воздух, Лавров от удовольствия даже приостановился и сладко зажмурился. Праздничная веселость, приподнятость духа не покидали его до самого обкома. Но едва ступил под сводчатый купол вестибюля, как веселость улетучилась и он вновь испытал всегда охватывавшее его здесь смешанное чувство горделивого почтения, легкой волнующей робости и собственной причастности ко всему происходящему под этой крышей.

В области работали пять нефтеразведочных геологических экспедиций. Их комсостав собирался вместе нечасто — два-три раза в год, оттого встречи бывали всегда шумными, с объятиями, шутками и каламбурами. У Лаврова заныла рука, пока перездоровался со всеми. Привыкшего к свитеру, куртке и унтам, к размашистым, резким движениям, его, как и многих полевых геологов, несколько сковывали нейлоновая рубаха с галстуком и новенький костюм.

Совещание началось по-будничному негромко и спокойно. Речь секретаря ЦК была проста. Но каждое слово его воспринималось собравшимися с огромным вниманием, ибо говорилось оно от имени Центрального Комитета партии.

— Топливно-энергетический баланс страны напряжен. Нам недостает многих видов энергии. Небывало острая нужда в жидком топливе. Трудно поправить дело без сибирской нефти. Она нужна как хлеб, как воздух. Разведка уже обошлась государству в сотни миллионов

рублей. Не в упрек говорю это: не за тем собрались. Хочется знать определенно — когда страна получит сибирскую нефть? Сколько еще нужно времени, средств, сил, материальных ресурсов? Кое-кто пытается научно обосновать бесперспективность поиска здесь. Что скажете вы — командиры Сибирского геологического легиона? Мы ждем конкретных ответов. Без дипломатии и субординации. ЦК верит вам...

«Верит нам...» Лавров на какой-то миг вдруг увидел себя на узкой, чуть обозначенной в снегу дороге, стиснутой с обеих сторон угрюмым кедрачом. Долго шарил по деревьям глазами, отыскивая затерявшуюся в густеющих сумерках просеку. Оглянулся и обмер. Пятеро грудастых, поджарых, с взъерошенными загривками, наверное, давно шли следом. Еле успел прижаться спиной к дереву, как зверь распластался в прыжке. Топор чуть не выпал из рук: так силен был встречный удар. Кровь хлынула на унты. Тут же кинулся самый матерый, видно, вожак. Голодный жуткий посверк желтых глаз, оскаленные влажные клыки. Дотянулся когтями, вспорол полушубок, выдрал клок и отлетел с перерубленной шеей, забился в снегу. Живые растерзали раненого и ушли — нехотя, медленно, с оглядкой...

«Верят нам...» — снова плеснулось в сознании, и вот он среди болот. Водитель вернулся на буровую за подмогой, а он старательно обшаривал окрестность, выискивая объезд. Как в страшном сне, неожиданно и нелепо разверзлась под ногами трясина. Рванулся — и глубже увяз в клейком вонючем месиве. Рассвирепев, метнулся так, словно хотел из собственной кожи выскочить, и очутился по бедра в зеленовато-коричневой густой слизи. Она впилась в него множеством незримых присосков и медленно, но неотвратимо затягивала в пучину. Он распахнул куртку, лег грудью на вздыхающую, хлюпающую тину, раскинул руки. Водитель подоспел вовремя...

Опомнился Лавров, стер пот со лба. «Куда занесло... У каждого здесь за спиной подобное. Стоило через это, чтоб поверили. Укрепить, оправдать...»

К карте подошел министр газовой промышленности, прижал к груди короткую указку.

— Все сильнее ощущает недостаток в топливе индустриальный Урал. Это принудило нас тянуть туда газопровод с юга. Две тысячи сто километров! Ни метал-

ла, ни денег у нас не лишку. Куда выгоднее было подать Уралу ваш газ, но хватит ли его? Выгодно ли строить газопровод? Вы недостаточно проработали этот вопрос, слабо разведали Сосновский район. Недавно прочел статью профессора Ростовского о зоне выклинивания отложений между Сосновкой и Шанском. Интересные мысли...

Начальник Туровского геологического управления Ярков говорил — будто по жердочке над пропастью шел: осторожно и точно. Сперва нащупает, примерится, приловчится, а уж после шагнет. Обо всем высказался и ничего не сказал. На юге — геологам делать нечего. На север — слишком риск велик. Вот и балансировал — ни вашим, ни нашим. Только о строительстве газопровода из Сосновки высказался категорично, доказал расчетами, что разведанных запасов хватит. Но заключительный аккорд речи прозвучал уныло:

— Геология — наука неточная. Керн да фонтан все решают. Мы упорно ведем поисковые работы на нефть, но когда ее получим — говорить рано...

Свирепый взгляд Лаврова на миг столкнулся с ярковским, и оратор чуть подпустил мажору:

— Данные геологоразведки за то, что в Сибирской впадине нефть есть. Мы приложим...— и посыпались обещания усилить, улучшить, развернуть...

Главный геолог управления Мурзаев — молодой смуглолицый кавказец — высказался чуть оптимистичней начальника:

— Пэрспэктивы развэдки на сэвэре области огромны, но пэрспэктива в топке нэ горит и для химической пэрэработки нэ годна. Мы пока нэ нашли таких пород, которые бы обладали хорошей отдачей...

Тут в разговор включились ученые. Их было трое: дальний гость Казаркин, директор только что созданного в Туровске филиала научно-исследовательского института профессор Ростовский и его сотрудник Хитров.

Казаркин по облику типичный кабинетный «книгоед» — лысый, очкастый, сутулый, с тонкими, не по росту маленькими руками.

Роман Романович Хитров — высок, как каланча, на длинной шее — небольшая круглая голова, короткие русые волосы начесаны на лоб. Лицо курносо, большеротo, веснушчато, с оттопыренными ушами. Наивная ре-

бячья улыбка примерзла к уголкам полных губ. Ему только двадцать семь, а он возглавляет отдел. Кто приписывал преуспевание редким способностям Романа Романовича, кто влиянию тестя — видного ученого-геолога.

Внешность Ростовского ничем не примечательна: сутуловат, мешковат, медлителен. Ловким молниеносным жестом заправского биллиардиста он ощупал указку и, по-лекторски растягивая слова и замедляя речь, негромко заговорил:

— В южных районах области разведано около пятидесяти площадей, и безрезультатно. Значит ли это, что Сибирская плита бесперспективна? Помилуй бог! Нет, нет и еще раз — нет! Почему такая уверенность? Отвечу...

Начал с критериев определения потенциальной нефтегазоносности недр Сибири. Основываясь на них, разделил низменность по характеру разреза на пять регионов, выделив Среднее Приобье как район крайне благоприятный в геологическом отношении для образования и конденсации нефти, где потенциально нефтеносен весь разрез юры и мела. Чем дальше на север, тем больше шансов на успех поиска — так он сформулировал главный вывод.

— Наш Север необжит, суров, бездорожен. Разведка там непомерно дорога, трудности и лишения — на каждом шагу, но иного пути к большой нефти — нет! Она стократ окупит материальные и моральные издержки. Оседлав Обь в районе Мертвого озера...— Указка клевала и клевала карту, точка за точкой прорисовывая невидимый пунктир к Ледовитому океану...

Не успел еще раствориться в тишине глуховатый, несколько разреженный голос Ростовского, как над трибуной воинственно взлетел кулак Казаркина. Вопреки своей маломощной наружности он говорил запальчиво, громко. Безапелляционно объявил геологоразведочные работы на нефть в Сибири затеей ненужной и вредной. Аргументировал приговор палеоклиматом. Огромное холодное море, некогда заполнявшее Сибирскую впадину, было чрезвычайно бедно теми органическими веществами, из коих образуется нефть. В геологический период ее рождения севернее шестидесятой параллели температура абсолютно не благоприятствовала нефтеобразованию.

— Никакой нефти нет и быть не может! Это — бес-

спорная истина. Главный геолог управления говорил, что верит в прекрасные, перспективные структуры. Они могут быть лишь на прогнозной карте и в больном воображении. Я не однажды писал и публично об этом выступал. Пора наконец очнуться от нефтяного миража, вскружившего головы туровским геологам. Довольно швырять на ветер народные миллиарды!..

— Совершенно справедливо,— раздался негромкий бархатистый голос. Он принадлежал доселе неприметному человеку — с виду старомодному, рафинированно-хрупкому и в то же время надменно-чопорному, с беленьким клинышком бороды, удлинявшей не по-мужски нежное розовощекое лицо.

— Кто таков? — заинтересовался Лавров.

— Начальник нефтяного отдела,— пояснил Мельник.— Альфред Аристархович Протуберанцев. Милейший человек.

Тем временем «милейший человек», с полупоклоном испросив у председательствующего позволения, мягко просеменил на коротких ногах к трибуне и, встав возле, начал речь тем же негромким бархатистым голосом. Фразы у него получались округлые, обильно прошпигованные цифрами.

— Позвольте обратить ваше внимание еще на одну сторону дела, довольно немаловажную. Да, мы ощущаем весьма и весьма остро нехватку жидкого топлива, горючего и химического сырья. Но, согласитесь, было бы более чем смешно топить котельные червонцами и делать нейлоновые чулки из золотых слитков. А ведь именно это самое предлагают здесь те, кто обещает нам нефть вот тут...— небрежно ткнул указкой в крутую излучину Оби и начал излагать примерно те мысли, которые Лаврову вчера в самолете высказал Мельник.

«Что делают? Не того ждут от нас. Неправда, не так мы далеки от цели»,— все больше распалял себя Лавров, чувствуя, как распирает его, душит гневное нетерпение позлее отхлестать «милейшего» с единомышленниками — явными и скрытыми. Но вот он вышел к трибуне, и все чувства, все силы — физические и духовные — до последней капли сглотнула мысль. Она полыхала на предельном накале, поразительно быстро и легко переплавляя в звонкие разящие фразы глыбы десятилетием скопленных фактов.

— Теперь ясно, кто и почему посадил нас на голод-

ный паек. Машинный парк износился, специалистов отзывают, плановые трубы и оборудование — выбивай, сметные деньги — выколачивай. Этим мы обязаны прежде всего вам, милейший,— словцо само сорвалось с языка. Лавров поперхнулся и, маскируя срыв, почтительно договорил: — Альфред Аристархович...— а сам вонзил в него свирепый взгляд.

— Мы не скрываем своей позиции! — задиристо откликнулся Протуберанцев. Привстав и, приосанясь, вскинул руку с оттопыренным указательным пальцем, назидательно продекламировал: — Государство не намерено червонцами гатить здешние болота.— Победоносно огляделся вокруг и с неприкрытым вызовом: — Мы десять лет ссужали миллионы под ваши медовые обещания. Не хватит ли? — Язвительно хмыкнул, скользнул ладонью по клинышку бороды.— Вложи мы их в доразведку и обустройство нефтяного Поволжья, давно воротили бы в народную казну удесятеренными...

— Близорукая позиция временщика! — бесцеремонно осадил Лавров.— Это ясно всякому, кто хоть мало-мальски разбирается в геологии...

— Пока не ясно,— вклинился представитель министерства геологии.— За вашей спиной...

— За нашей спиной десять лет трудного, рискованного поиска! — Лавров повернулся лицом к геологическому начальству.— Если бы вы дали нам больше простора, маневренности, три-четыре года назад пустили на Север, сейчас разговор шел бы не о разведке, а о добыче нефти в Сибири...

— Лихо! — укоризненно воскликнуло начальство.

— Хлестаковщина,— тише, с обидной барской брезгливостью поддакнул Протуберанцев, пощипывая белый клин на подбородке.

— Неистребимый фанатизм,— сочувственно пробормотал Казаркин.

Наступило неловкое замешательство. Все ждали, что секретарь ЦК вмешается, приструнит зарвавшихся спорщиков, но тот лишь головой кивнул Лаврову, чтоб продолжал.

— Имеется ли достаточно данных сказать, что здесь скоро будут открыты крупнейшие нефтяные месторождения? Да, имеется! Посмотрите на прогнозную карту, составленную Ростовским. Красным цветом выделен ряд крупных геоструктурных элементов, к которым должны

быть приурочены большие скопления нефти. В их числе — Шанско-Сосновский район, где ведет разведку наша экспедиция. На двух скважинах мы уже получили — хоть и минимальные — притоки живой нефти. Сейчас монтируем буровую на очень перспективной структуре с мощной осадочной толщей. Предполагаемая распространенность, проницаемость пласта и все иные данные геофизики голосуют «за». Не могу утверждать, что скважина Р-6 на Заячьем острове даст первый фонтан сибирской нефти, но то, что мы на верном пути,— факт! Надо незамедлительно и круто менять стратегию поиска, его главное направление. Только на Север! Теперь и технически, и научно, и организационно это нам по силам. Я не знаток палеоклимата, но практика опровергает выводы Казаркина...

Заключительные фразы он выговорил негромко, глуховатым голосом, но с покоряющей неистовой убежденностью.

В том же ключе повел речь и Русаков, причем начал ее с утверждения, что недра не только Севера обладают высокой нефтеносностью. На него тут же наскочили Казаркин и Протуберанцев, требуя объяснить, почему же, в таком случае, все доселе пробуренные скважины оказались пустыми. Пришлось вмешаться Ростовскому и пояснить, что отсутствие нефти на юге объясняется уничтожением ее бактериологическими процессами во время нефтеобразования.

Потом выступили еще многие, и хотя не все, наверное, так же неколебимо верили в близкую нефть Сибири, но Казаркина и Протуберанцева никто не поддержал.

Мельник, который лишь вчера свирепо отстаивал те же взгляды, выступление свое начал с рассказа о том, как вчера в самолете чуть не подрался с Лавровым.

— Я помню первую структурную карту, вычерченную Вавиловым, хотя она и погибла вместе с ним. Та карта звала на Север. Да, там дебри и болота, ни дорог, ни жилья, ни связи...— И принялся живописать тяготы и трудности, ожидающие геологоразведчиков, да так красочно, что его начальные фразы стушевались, забылись, а он забирал и забирал все круче, доказывая, что поворот на Север не сделаешь вдруг, одним махом, требуется предварительный расчет, разведка, и все предостерегал.

Негодующий багровый Лавров решился было гром-

ко спросить: «Ты за что ратуешь?», да Мельник, словно учуяв это, снова резко развернулся в сторону северного направления и давай его оправдывать и утверждать. На том и закончил. Но Лавров все-таки не стерпел и, когда Мельник тяжело опустился рядом, прошипел:

— Накрутил, навертел — не разбери-поймешь...

— Диалектика,— не повернув головы, гневливо вымолвил Мельник, а сам подумал: «Не спеши скалиться. Возликовал — все в твою дуду... Не воспринимаешь никаких смешений цветов. Железобетонный ортодокс. И вчера... Поменьше бы самоуверенности да нахрапу... Праведников самовлюбленных терпеть не могу, кулаки чешутся...»

Поднялся секретарь ЦК. Легкой волной плеснулся шум и разом стих.

— Не стану таить своих позиций: я целиком на стороне верящих в большую близкую нефть Сибири. Добытые вашим тяжелым многолетним трудом данные целиком подтверждают губкинский прогноз о нефтеносности Сибирской платформы. Спасибо за то, что вы уже сделали. Ваша одержимость дает мне основания доложить Центральному Комитету: будет сибирская нефть! Знаю, как трудно живете. Был со Смолиным в экспедиции, видели землянки и балки-вагончики, ели щи из сушеной картошки и рагу из тушенки с консервированной фасолью. Вы имели все основания требовательно и резко заявить сегодня о неустроенности быта, о нехватках самого элементарного, неотложного, о никудышном культурном обслуживании. Мало того, что вам самим осточертел неуют, так вас еще за него пилят жены и критикуют рабочие. Мы непростительно отстали с обустройством. В любой иной державе при таких условиях разведка непременно бы приостановилась. Вы истинные первопроходцы. Партия высоко ценит ваше мужество и самоотверженность, верит в успех вашего многотрудного дела...

Длинно, с запинкой вздохнув, Лавров стронул с места волнением прилепленные к зеленому сукну литые грубые руки, расслабил напряженную спину.

— Я не свят дух — немедленного переворота не сулю. Доложу ЦК свои наблюдения и выводы. Отныне я ваш верный союзник, в этом прошу не сомневаться...

Взгляд Лаврова скользнул по знакомым лицам. Сколько в них неброской, мужественной, дерзкой красо-

ты. «Теперь не остановить... Дойдут. Твердокаменные...» И от мгновенно и остро пронзившей мысли, что и он с ними, и он — той же, несгибаемой породы, его окатила жаркая волна. «Завтра домой. Сразу на Заячий. Дожать монтаж, забуриться...»

Глава третья

1

Валька Буянов остервенело швырнул рашпиль на верстак, лихорадочно, будто высвобождая собственный палец, развинтил тисы и заторопился к двери, на ходу вытирая ветошью руки. Ему опостылели давно все эти поршни, болты, шестеренки — мертвые, холодные железки. Валька любил машины, яростно ревущие, содрогающиеся от клокочущей в них энергии. Вцепившись в трепетные рычаги управления грохочущего С-100 или восьмисотсильного АТТ, он всем телом чувствовал каждый удар исполинского чугунного сердца мотора, его сдержанное жаркое дыхание, спружиненную покорную силу. Валька нутром угадывал, справится ли с нагрузкой машина, никогда ее не перетруждал и обращался к ней, как к одушевленной...

Старенькая застиранная майка-футболка обвисла на худой спине множеством складок и морщин, промазученные сатиновые шаровары пузырились на журавлиных ногах. Саженными шажищами мерял он узкую, будто луженую, тропку к экспедиционной столовой, небрежно возвращал приветы встречным, не замечая их лиц. Даже с сестрой закадычного дружка Платона Ветрова, десятиклассницей Раей, поздоровался кое-как. Надо бы подзадержаться, сказать ей что-нибудь шутливое, да, пока сообразил, Рая уже отошла. И он тут же забыл о ней: снова мысли унесли его и закружились над тонюсенькой, хрупкой Глахой Семенихиной. Бок о бок со своим счастьем стояли они, а не дотянулись, не удержали, и обидно и больно было Вальке сознавать, что сам виноват в случившемся.

За день до их свадьбы надумал Платон отпуск обмыть. Гульнули. Черт нанес на рокочущий самосвал Прошки Калугина. В стенгазете того продергивали, на собраниях выговаривали за то, что мотор зазря гоняет.

«Проучим?» — «Давно пора». И Валька залез в кабину. Тут Прошка выбежал из балка: «Стой, так-распротак!» Валька давнул на газ, самосвал скакнул бодливым козлом, и понесло, закаруселило: последние два года с трактора не слазил, поотвык от руля, да и хмель...

Пока на Заячий ездили, грела надежда: пронесет, забудут. Не забыли. Права отобрали, да еще на собрании, да в стенгазете... Последняя зацепка оставалась — Глаха, а та и на порог не пустила. «С хулиганами не знаюсь! И не подходи! Видеть не могу!» За что?

Вырос Валька в таежной деревушке. Два десятка дворов посреди тайги — первобытной, нетронутой, непотревоженной. У нее свои законы — понятные и разумные: сильному — уступи, сам о себе пекись, рот — не разевай. Тайга кормила Вальку малиной, голубикой, морошкой, одаривала впрок кедровыми орехами и грибами. Маленький Валька узнавал птиц по голосам, мог подманить доверчивого бурундука, неслышно подкрасться к шишкующей белке, изловить живьем гадюку.

В деревне все перероднились, не свояк, так сват, не кум, так дядя. Жили дружно, не таясь. Работали — всей деревней, гуляли — всей деревней, дрались — всей деревней. Валька с малых лет возил копны, боронил рожь, погонял лошадей на приводе молотилки.

Тайга и деревня так слепили, сформировали неломкий Валькин характер, что десять лет экспедиционной жизни не очень приметно изменили его. Ни от земли, ни от тайги не оторвали, и, не успев прилепиться к новому месту, Валька первым делом огораживал палисадник, пересаживая туда из лесу рябину иль черемуху.

Вокруг Вальки всегда хороводились пацаны. Он катал их на тракторе, ремонтировал им велосипеды, самокаты, мог подолгу объяснять, почему у жука есть крылья, а у лягушки нет, и зачем солнце не хочет спиной повернуться. Женщины завидовали его будущей жене.

Хитрить, прятать настроение он не умел и не словом, так лицом иль голосом, но обязательно выкажет, что на уме. Его лицо — воистину для всех раскрытая книга, и не хочешь, да заглянешь и хоть что-то прочтешь. Оттого и узнала Глаха наперед самого Вальки, что он влюбился. Смотрел на нее, как на призрак, танцуя, поддерживал за талию так, словно девушка вот-вот рассыплется под его ладонью. Глаха подтрунивала над Валькой, но взглядом, случайным мимолетным касанием маленькой

руки одобряла и благодарила. И неуклюжее Валькино признание выслушала с видимым удовольствием, сама обняла его и поцеловала.

С того мгновения и закрутилась Валькина жизнь — стремительно и яро. Он всюду торопился, но не поспевал. Иногда засыпал, стоя рядом с любимой. В конце концов Глаха пожалела: «Замотался ты. Я говорила с мамой. Она тоже согласна». И в самый последний миг...

Не оттолкни его Глаха, парень куда бы легче перенес и постыдную проработку на собрании, и принудительное превращение в слесаря. Теперь же он отдалился от товарищей, не показывался ни в клубе, ни на спортплощадке и только с Платоном был по-прежнему неразлучен. Не раз приходила Вальке мысль — перевестись в другую экспедицию, уехать, начать сначала. Но за десять лет скитаний он не просто сжился, а прямо-таки сроднился со всеми, да и с таким хвостом куда двинешься? И где, на каком новом месте сыщешь другую, такую же строптивую, неуступчивую, привередливую, но любимую Глаху?

Он старался не встречаться с ней. Потому и в столовую приходил позже всех, перед самым закрытием.

Как всегда, к его приходу, кроме щей и компоту, ничего не осталось. Консервированные щи отдавали уксусом, были солоны и кислы, но Валька мигом опорожнил две миски, залпом выпил компот. Только на крыльце перевел дух, посмотрел на часы. Еще сорок минут перерыва куда деть? Неспешно закурил и, густо дымя ноздрями, спрыгнул с крылечка. На развилке тропок ударил в спину приглушенный волнением Глахин голос:

— Погоди, Валя.

Тот едва папиросу не сглотнул. Поворотился так круто — каблуки пискнули. Знать бы об этом заранее, ждать, изготовиться — можно бы кинуть небрежненько через плечо: «Чего надо?» и шагать дальше. Но все случилось вдруг. «Сама пришла, первая...»

Но Глаха, будто угадав Валькины мысли, вдруг побледнела, горделиво вздернула острый нос и, поводя худенькими плечами, намеренно высокомерно сказала:

— Ты только, пожалуйста, не думай...

У Вальки от обиды рот пересох. С трудом разлепив губы, поспешно выпалил:

— Пускай профессора думают, наше дело гайки крутить...

Задрожали полные Глахины губы, вытянулись в трубочку.

— Я бы никогда к тебе не подошла...

— Кто ж приневолил?

— Помолчи минуточку, пожалуйста! — сердито прикрикнула разобиженная Глаха.— Не ради того, чтоб на тебя полюбоваться, шла...

— И ты мне по ночам не снилась,— не стерпел опять Валька.

— Ну и хорошо! Хорошо, что не снилась! И пожалуйста! Продолжай в том же духе! Найди себе такую, которая вместе с тобой... рядышком... станет водку пить, а после... после...

Злая плаксивая гримаса исказила миловидное лицо, в глазах блеснули слезы. Сейчас она расплачется — понял Валька, и щемящая жалость пронзила его, и он уже раскаивался и сожалел о сказанном и готов был на все, лишь бы утешить, успокоить. Надо было сказать что-нибудь мягкое, отступное, но в голове — провал, ни единой подходящей фразы. Обнять бы, приласкать — не поймет, совсем разобидится.

Глянув на него, Глаха выхватила из-под рукава платочек, стерла с лица злую плаксивость и, уставясь на носки Валькиных брезентовых башмаков, гневно сказала:

— Еще раз перебьешь — уйду и больше — хоть ты умри... Скажите, какая в нем гордыня. А то, что на всю экспедицию меня посмешищем сделал,— голос задрожал от подступивших опять слез,— это нипочем? За день до свадьбы... Я и фату, и белое платье... Думала, как у людей, верила. Мне мама... да я не об том... И никогда бы не подошла. Не задавайся. Как-нибудь обойдусь без твоей милости. Сама виновата...— И неожиданно тоненько и ядовито пропела: — По-о-любила со-о-кола — оказа-а-лся во-о-роном... Эх ты. Я жду, отпросилась, а он бражничает... Видеть тебя не могу...

Чтоб не сорвалось с языка обидное слово, Валька даже губу прикусил, потому как чувствовал — права Глаха. И гнев ее и горечь — заслужил. Такое сотворил и не покаялся, не попросил прощенья. А она даже фату. Весь поселок знал. Подружки подарок купили... Сукин сын... Вот когда навалилось на него раскаяние и начало душу когтить, рвать на куски.

От боли и сострадания повлажнели Валькины глаза,

и, выждав малую заминку в ее речи, он смятенно и покаянно выговорил:

— Прости меня...— Шагнул к ней, боязливо взял ее за маленькую руку.— Сдуру тогда. Кабы знать...

Каждый миг этой неожиданной, ненужной, непростительной паузы был против него: отталкивал, настораживал, сердил Глаху, и он понимал это и силился снова заговорить, напрягся, озлился, чем окончательно расколдовал девушку, и та, опомнясь, вырвала руку.

— Больно нужны твои извиненья. Не за тем пришла!

— За чем же? — не стерпев, крикнул Валька.

— Ты не кричи! Не кричи на меня! Я не рабыня. Не жена... Он еще и кричит! Думаешь, так просто? Повинился — забылось? А если бы я не подошла сейчас?..

И снова посыпались царапучие, обидные, хотя и справедливые слова. Оглушенный Валька медленно повернулся и тут услышал:

— Лаврова уволили... Из-за тебя...

— Как уволили? — судорожно дернулся острый Валькин кадык.— Почему из-за меня? За что?

— За тем и пришла. Думал — на поклон к тебе? Возликовал? Фигушки! И не жди. Лаврова жалко. Сегодня партийцы решать станут. Мягков приехал...

— Иван Василич?

— Да. Сходи к нему...

— Да при чем же тут я?

— Не перебивай! Слушай. В приказе-то что написано? — И, замедлив речь, по-дикторски выразительно и четко: — «Товарища Лаврова с работы снять, уволить из системы управления, материал передать в следственные органы». Ну, чего уставился? За грубое нарушение финансовой дисциплины и очковтирательство — раз, за злоупотребление служебным положением, невыполнение приказов — два, за недостойные факты рукоприкладства — три. Это и есть о тебе. Будто ударил тебя, когда из кабины вытащил. Сама слышала, Мягков с Мурзаевым говорил...

— Ты что? Меня? Ударил? Да это же... это... я сейчас...

— Вот-вот. Прямо к Иван Василичу. Обскажи, как было...

— Пошел! — выпалил Валька и убежал.

2

Земля то неожиданно проседала, то вдруг вспучивалась, и Лавров, поминутно спотыкаясь, еле волочил негнущиеся тяжелые ноги, уходя все дальше от поселка в парную черноту Шанских болот.

Сегодня утром прилетел главный геолог управления Мурзаев, привез приказ по итогам ревизии. Прутов как в воду глядел: и сняли, и уголовное дело завели. У Лаврова недостало выдержки дочитать до конца, сорвался с места и наверняка наговорил бы Мурзаеву такого, о чем впоследствии не раз пожалел, если б не вошел в кабинет секретарь райкома партии Мягков. Он молча поздоровался, взял приказ, прочел. Сказал Мурзаеву: «Крутехонько поворачиваете», и полез за папиросами. Долго склеивал треснувшую папиросу, долго раскуривал, смачно и сладко причмокивая большим губастым ртом. Выпустил из ноздрей густую струю дыма, поднял глаза на Лаврова. «Утешать?» — увидел тот в устремленном взгляде. Надменно выпрямился. «Вот еще!» — сверкнуло гневно в его глазах. Обрадованный, довольный Мягков едва приметно улыбнулся и ушел в партком, кинув от порога: «Вечером соберем коммунистов, послушаем, что скажут...»

В голове Лаврова — дикое кружение необузданных мыслей. Сквозь неотступный гул в ушах то длинными, то короткими очередями пробивались отрывки фраз — гневных, негодующих, требовательных. На собрании не было ни одного безразличного. Даже всегда рассудительный, уравновешенный буровой мастер Ветров стучал кулаком по столу. Но сильней всех опять удивил Мельник. Третий год они вместе, и праздник и будни — пополам, думалось: до самого донышка постиг душу главного геолога, может безошибочно предугадать, куда и когда тот повернет, где и что скажет. На том совещании с секретарем ЦК вдруг по-иному представилось неприметное свойство мельниковского характера — жажда балансировать на острие. Прежде виделись в этом азарт, удаль, желание поиграть с судьбой в жмурки, а тут неожиданно проглянула доселе неуловимая грань, где поиск риска переходил в поиск выгодной серединной позиции, с которой в критическую минуту одинаково близко было в любую сторону. Как он кружил на совещании, куда не залетал, высматривая заветную

ничейную полосу! И сегодня на собрании Лавров ждал от Мельника той же расплывчатой, черно-белой позиции, а он рубился за Лаврова, как лихой конник в атаке — слепо и беспощадно, никакого балансирования, никакой золотой середины. И теперь Лавров покаялся, что тогда в самолете и в обкоме недобро подумал о своем главном геологе, усмотрев в его характере приспособленческую раздвоенность. Вот Мурзаев действительно блеснул сегодня умением и ловкостью эквилибриста. Сперва возвел Лаврова на пьедестал, позолотил, зажег над ним светильник и, дав вдоволь налюбоваться, одним ударом сшиб, превратив в груду золоченого мусора. Поскорбел о поверженном, посетовал на превратности судьбы и, поспешно собрав обломки, слепил из них нового Лаврова, небрежно и грубо, и чего было больше в том, возрожденном Лаврове,— добродетели или порока? — не понять. Оттого и разгневался председательствующий Морозов. «Так вы одобряете приказ?» — зло спросил он, нацелив на Мурзаева бороду, а тот, не меняя ни позы, ни тона, мягко пропел: «И да, и нэт!» Поднялся гам. Мурзаев, дождавшись тишины, невозмутимо пояснил: «Да — потому что приказ бьет по очковтирательству и самоуправству, нэт — потому что Лавров — отмэнный организатор, прэкрасный гэолог, толковый хозяйственник».

Выступление Мурзаева расклинило казавшееся доселе незыблемым единство взглядов в главном: приказ необоснованно строг, необходим его пересмотр. Сразу нашлись последователи диалектической оценки события. И только Михаил Николаевич Ветров бесцеремонно вышиб мурзаевский клин: «Ежели в этой бумаге все правильно, чего тогда ахать по Лаврову?» И принялся щепать приказ со всех четырех сторон, пока не искрошил его в труху. Заодно высек ревизоров и тех, кто их посылал и поощрял, не обойдя и не пощадя Мурзаева. С особенным, злым наслаждением разделался Ветров с обвинением Лаврова в рукоприкладстве. Напоследок мастер сказал: «Корешок-то, на котором произросли лавровские прегрешения,— наш, стало быть, дурные побеги, коли есть они, надо так обломать, чтоб самого корня не порушить. Прошу товарища Мягкова учесть это, попридержать ретивых управленцев...»

По внешности вряд ли кто угадает, что Мягков — седьмой год секретарь районного комитета партии. Не-

высок, худощав, жилист, как бурлак. Ходит и говорит неторопливо, тяжеловесно... Крупное большеносое худое лицо. Невысокий лоб всегда наморщен. Длинные, очень мягкие, тронутые сединой каштановые волосы прилизаны на прямой пробор. Во взгляде белесых немигающих глаз — затаенная боль. «Мы сегодня ровно на лавровских поминках — все о нем, и все с похвалой. Любим вдогонку. Собрать сказанное, так ему и министерское кресло — низко...» Все затаились, ожидая, что вот сейчас Мягков через «но», как через колено, сломает круто направление речи и начнет долбить, а он с чего начал, тем и кончил. «Значит, человек хороший, стоящий. Будем его отстаивать». Больше ни слова о Лаврове, лишь об уроках случившегося. Маленький коллектив, а друг другу — загадка. Иначе бы угадали, кто от имени Буянова накатал о рукоприкладстве, а от имени буровиков — о строительстве сада и клуба. «Да, шибко утонченно, не по-рабочему... Где-то тот анонимщик рядышком, под этой крышей. И ведь вслух не говорил, против не голосовал, не настаивал. Гнусная порода. Таких все время на свету, на ветерке, чтоб воздух не портили...» Горбилась земля под ногами Лаврова. Мотало его, словно одинокую ветлу в буран. Осатанелое комарье облепило лицо, шею, руки. Он не чувствовал укусов, шел и шел в дышащую прелью темноту, все дальше от родного порога, от Риты.

После собрания она скараулила его у крыльца конторы. «Ну?» — спросила пересохшим, надтреснутым голосом. «Все как надо. Успокойся. Иди домой. Поставь кофейку. Пройдусь немного. Голова по швам». — «Недолго только»,— жалобно попросила она и ушла. Пока шло собрание, наверняка кружила по поселку, не теряя из виду освещенные окна парткома. И теперь будет петлять по затемненным улочкам, подстерегая его. Ах, Рита, Рита — земной противовес всех горестей и бед. Как он мог уйти от нее в такой час? Высокомерный, надутый эгоист! Ему захотелось одиночества, а она — подождет... Те четыре часа пытки под окнами конторы, пока шло собрание,— не в счет... Все о себе. Нянькается с подбитым самолюбием, дует на него, морщится, а о Рите... Да как же он смел? Как мог...

Секунду постоял на месте, повернулся и кинулся назад. Пока добежал до крайнего балка, все пережитое за день еще раз мелькнуло перед глазами и отлетело; в пу-

стоте остался светящейся точкой немой вопрос: что будет? Но он почему-то не страшил. «Есть же обком». Только раз обращался туда Лавров — с просьбой о перебазировании экспедиции в Шанск. Первый секретарь обкома Смолин поддержал сразу и решительно. Как ни упирался тогда Ярков... Подстерег-таки, за все отплатил. На его место помоложе бы, посмелей... Этот только план гонит... «А ну, правы они? Не по карману еще клубы, библиотеки, оранжереи геологическим поселкам... Тогда — из палатки в балок, из балка — в барак, и стоп! Вершина. Предел... Кой же черт удержит тут людей? Рублем можно лишь заманить. Энтузиазм долговечен осознанный... Найти нефть — не все. Нельзя по пути к ней растерять веру в добро и человечность. От нехватки добра скудеют души, хиреют, ссыхаются. Сам добра не вижу, другим — не делаю. Мы должны быть добрыми — к товарищу, к дереву, к зверю, к машине, иначе — временщики, рвачи и браконьеры!.. Такой приказ — и хоть бы пригласили, выслушали. Ну капельку бы уважения. Не новичок. Не случайный. От помбура до начальника экспедиции. Как нагадившего щенка пинком под зад... Ярков не зацепил публично ни разу. Заглазно кольнет, в глаза — молчит. За такое уши надо вместе с головой...»

И тут все обиды перечеркнула мысль о Рите. Где-то совсем рядом она. Стыдобища. Запаниковал, разыграл психа. Такое ли было...

3

Начальником экспедиции назначили Германа Кузьмича Мельника. Тот принял весть спокойно: то ли заранее знал, то ли был уверен, что по-иному не случится.

Из пятнадцати тысяч туровских геологов Мельник был единственным, кто еще до Отечественной прокладывал в здешней тайге первую тропу к сокровищам сибирских недр. Едва в сорок шестом возобновились поиски, Герман Кузьмич, покинув солнечную Молдавию, устремился сюда и все эти годы копил силы и опыт для выхода к нефтяным рубежам, четко обозначенным еще на той, вавиловской, карте. Жирной линией там были очерчены Шанские болота, и едва возникла Шанская экспедиция, главным геологом в нее напросился Мельник, покинув высокий пост в геологоуправлении, сменив

на бревенчатый барак городскую благоустроенную квартиру. Он мог бы ее сохранить, сам Ярков предлагал бронь, но Герман Кузьмич отказался: с жильем было невероятно трудно, многие управленцы ютились на частных квартирах и в гостинице. Этот благородный акт стоил Герману Кузьмичу недоуменных ахов друзей и жестокой ссоры с женой.

Добровольный переход Мельника в глухоманную экспедицию, да еще главным геологом, удивил многих.

— Чего молчал до сих пор? — попенял Ярков, подписывая приказ.— Не тебе бы к Лаврову в подчиненные, а наоборот.

— Шесть лет отходил в оглоблях начальника, холка еще не зажила, похожу в пристяжных.

— Темнишь, Герман Кузьмич. Надумал в науку? — высказал догадку Ярков.

— Пускай другие крошат зубы о науку. Мое дело — разведка. Вот распечатаем нефтяную бутыль...

— Чур, на двоих! — наигранным, по-ребячьи капризным голосом воскликнул Ярков, скаля в улыбке ядреные крупные зубы.

— Тогда на троих, Лаврова из песни не выкинешь...

— На троих одну — маловато.— Ярков согнал смешливые морщинки к холодным несмеющимся глазам.— Не зря говорят: третий — лишний.

— Смотря кто третий...

С тем и ушел и долго крест-накрест мерял шагами свой кабинет, обдумывая предстоящее. Лицо его было непроницаемо спокойно, лишь в глазах светились то досада, то гнев, а то наполняла их строгая решимость, но заглянуть туда не смог бы никто из-за косматых, низко нависших бровей. На ходу Мельник закладывал за спину руки или потирал их энергично. Так и вышагивал, пока не позвонила переполошенная жена...

Три года почти минуло с той поры — долгих и трудных. Оказалось, не просто сработаться с Лавровым, а заслужить уважение и доверие его подчиненных — еще трудней. Слишком обнаженно откровенен, прямолинеен был Глеб Лавров. Никаких недомолвок не признавал. Ничего не стоило ему брякнуть на людях: «Уши оборвать этому Яркову», а то и похлеще мог высказаться о своем верховном. Герман Кузьмич попытался было образумить Лаврова, но тот на первом же заходе отсек: «Людей не за кресло чтут».

Неделями пропадал Мельник у сейсмиков, нащупывая скрытые болотами нефтяные ловушки. Не ошибся Вавилов, объявив этот район перспективным. Шаг за шагом, скважина за скважиной неумолимо и точно приближались они к первому настоящему месторождению. Все приметы были налицо. Скважины плевались газом, сочились нефтью. Близость победы возбуждала, пьянила. Геологи работали ожесточенно. Особенно напористо, на диво слаженно и ритмично трудилась ветровская буровая бригада. Неумолимого, жесткого Ветрова дополнял и уравновешивал его помощник — богатырь и добряк Сенечка Крупенников.

И не случайно ветровцев послали на Заячий остров, и они начали разбуривать заманчивое поднятие, недавно оконтуренное сейсмиками. Мельник почти не сомневался — он распечатает сибирскую нефть, станет первооткрывателем. Логично и справедливо: кто более, чем он, имел на это право?

Пока несколько дней шла передача дел, Мельник даже не подходил к креслу начальника, отсылая просителей к заместителю либо к главным специалистам. Но вот акт подписан и он остался наедине с Лавровым. Сели напротив, с разных сторон маленького столика, приставленного к письменному. Оба долго молчали.

— Пора мне,— со вздохом, негромко и затрудненно выговорил Лавров, не шевелясь.

— Сиди. Покурим напоследок,— Мельник протянул папиросы.

Устало и безвкусно Лавров затянулся несколько раз.

Бесшумно вошла унылая Глаха, молча подала Лаврову телеграфный бланк и, скорбно поджав губы, тут же удалилась. «Глубоко возмущен случившимся. Написал в министерство и «Правду». Верю торжество справедливости. Надеюсь поработать вашим руководством. Обнимаю. Ярослав Грозов».

— И верно: дурные вести не лежат на месте. До Ленинграда допрыгнули. Вчера Русаков прислал соболезнование.— Лавров кисло улыбнулся, сунул телеграмму в карман.

— Куда теперь? — участливо спросил Мельник.

— Посижу недельку под домашним арестом, пожду у моря погоды.

— Скучное занятие,— посочувствовал Мельник. Подождал отклика и, не дождавшись, осторожно, как бы

взвешивая на лету слова, высказался: — Подскочил бы к Яркову. Крут, но отходчив. И зла не помнит. Опять же приятно — гордец Лавров с поклоном...

— Уши бы тебе надрать,— угрюмо пробурчал Лавров. Прищурясь, быстрым колким взглядом исподлобья нацелился в собеседника, с наигранной деловитостью сказал: — Спинной материал не рассчитан на поклоны, чуть — и трещит. Надавить — хрустнет. А без хребта...— Сожалеюще причмокнув, качнул головой.— Не ждал от тебя: вроде бы не флюгерной породы.

Окатил Мельника пытливо-насмешливым взглядом, но тут же сник, снова стал уныл и строг, а обиженно встрепенувшийся было Мельник успокоился, лишь в голосе зазвучала нотка снисходительного превосходства:

— Протри глаза. Корчагины уже не в моде. Время не то.

— Нет, Мельник,— негромко и как-то нехотя возразил Лавров.— Тут мы на разных берегах. Прямодушие и отвага будут в чести, покуда не выродятся люди. Заступить дорогу злу, подставить плечи под чужую беду — это, брат, вековечная черта русского характера. Не случайно именно в России полыхнула революция...

— У каждого времени — свои герои и песни. Наш век трезвого реализма, точного расчета. Ты здорово подотстал от...

— Кто из нас отстал — решит время,— сердито перебил Лавров, тиская кулаки, будто разминая что-то.— Твой рационализм бездушен, а новый мир надо сперва в человеческих душах выстроить.

— Ну, ортодокс! Ха-ха-ха! Очнись наконец! Попробуй-ка на «ура», одним энтузиазмом одолей тайгу! Без буровых станков, вездеходов, вертолетов, миллионных вложений. Не от большого ума воротим нос от расчетов. Мало, скверно считаем. На глазок, на авось! Кондовая наша безответственность.

— Стоп! — властно скомандовал Лавров, вскинув руку.— Значит, в этом гвоздь всех наших бед?

— Да! — громыхнул ответно Мельник.— Распустили вожжи, раскрутили гайки...

— Ошибаешься, Мельник.— В голосе сожаление, сочувствие, укор.— Глубоко и жестоко! Погоди. Я коротко. Корень наших бед не здесь,— постукал себя пальцем по лбу,— а тут,— прихлопнул ладонь к груди.— Наш единственный двигатель — сознательность! Да, пока терпим

издержки, теряем барыши. Но принуждением, страхом хозяина мира из человека не сделать. Этой штукой,— показал кулак,— все запросто. Только строящим коммунизм погонялы не нужны. Потому Ленин на передний план всегда выдвигал сознательность, воспитание...

— Теперь за твое будущее я спокоен,— прервал Мельник, не пряча насмешки.— Выгонят из геологии — пойдешь в пропагандисты.

— Коммунист — всегда пропагандист, не словом, так делом.

Заглянув в холодные колючие глаза, Мельник сказал с затаенным вызовом:

— Без амортизаторов далеко не уедешь: растрясет.

— Язык вокруг больного зуба вертится. Слыхал такое? — устало улыбнулся Лавров, опустил глаза.— Положим, я-то переживу, выкарабкаюсь, а вот разным делягам да бюрократам мой урок только руки развяжет. То ли раздолье им теперь! Гони план — и вся недолга!

Дохнуло холодом лицо Мельника, острые льдинки сверкнули из-под лохматых бровей. Излюбленным жестом, будто намыливая, сильно потер длиннопалые руки.

— Стоило подниматься до таких теоретических высот, чтоб колупнуть ярковский приказ?

— Стоило,— выдохнул Лавров.— Ничего не бесследно! Ни слово, ни дело.— Набрал полную грудь воздуха. Встал. Протянув руку: — Успеха тебе. Если ветровская скважина даст фонтан, пришли пузырек.

— Куда? — отчужденно спросил Мельник.

— Решил в расход меня? — не скрыл обиды Лавров.

— Сам за себя решай,— холодно обронил Мельник.

— Хорош! — сказал, будто выстрелил, Лавров. И ушел.

4

Смолин мог подолгу стоять у окна кабинета, смотреть на площадь и думать. Верткая, цепкая мысль его не знала покоя, крутилась и двигалась, перемалывая факты, события, явления жизни, проникая в их суть, предугадывая перспективу, делая практические выводы. Мозг работал даже во сне, иногда он просыпался с готовым решением сложнейшей задачи, над которой бился не один день.

В этот высокий светлый кабинет сбегались все нити управления огромной областью. Сюда адресовали жалобы обиженные, посылали просьбы нуждающиеся, спешили с заковыристыми вопросами, неразрешимыми проблемами начальники областных ведомств. Отсюда ждали подсказки, совета, указания руководители округов, городов, районов. К этому порогу шли рабочие и писатели, студенты и профессора, земледельцы и военачальники, чтобы исповедаться, очиститься от сомнений, зачерпнуть свежих сил и бодрости.

Слово его было последним, мнение — решающим, потому что он возглавлял областной комитет партии.

Когда в Туровске случались перебои в снабжении, в магазинах выстраивались очереди за мясом, рыбой или иными продуктами, усталые, рассерженные люди недобрым словом первым поминали Смолина. Измученный шофер грузовика, безнадежно засевшего в грязи на одной из туровских улочек, непременно хоть раз да помянет Смолина. И богомольная бабка, оскорбленная кощунственными проказами парней у церковной паперти, обязательно пробормочет эту фамилию и попеняет ему мысленно и вслух за то, что распустил молодежь.

Он работал по двенадцать, по четырнадцать часов в сутки, неделями колесил по необъятной области на лошадях, автомобилях, катерах, выступал с речами на собраниях, пленумах, митингах. Порой уставал так, что не помогали ни прогулки, ни ледяной душ, ни кофе. Тогда он уезжал на воскресенье в лес или забирался в глубинку — к лесорубам, рыбакам, геологам.

В глаза его никогда не хвалили, подчиненные — из боязни прослыть подхалимами, руководители — по каким-то иным соображениям.

Тысячи дел — неотложных и важных — терпеливо ждали, молили, требовали его вмешательства. Пять телефонных аппаратов — «вертушка», внутренний, городской, междугородный — надрывались на столике в приемной, где, поглядывая на часы, теснились ждущие встречи... А когда в пустых и гулких обкомовских коридорах дремотно замирала тишина и умолкали горластые телефоны в приемной, Смолин начинал разбирать бумаги, скопившиеся за день в секретарской папке...

За любым делом — будь то строительство, весенний сев, лесозаготовки или народное образование — всегда стояли живые человеческие судьбы. Пятнадцать лет он

на профессиональной партийной работе, с тысячами людей вплотную сталкивала его судьба, казалось, всяких повидал — ан нет, то и дело подвертывался такой характер, что нельзя было не подивиться его необъяснимой противоречивой сложности. Надо было быть подлинным душеведом, чтоб не только безошибочно угадать, что доминирует в человеке — добро или зло, но и предвидеть, какому из этих начал принадлежит будущее. Факультета душеведения нет даже в высшей партийной школе, книг о душе не издают, опытом постижения чужих душ не делятся. Вот и приходилось на ощупь, на свой риск решать: делец или деятельный? Рвач или рачительный? Склочник или правдолюб? Трус или осторожный? Иногда получалось, а иногда — нет. Просчет стоил слишком дорого: душевные раны неисцелимы... А кто застрахован от ошибок?

Стоя у окна, Смолин щурился от яркого солнечного света, отраженного серым асфальтом площади, и думал о судьбе бывшего начальника геологоразведочной экспедиции коммуниста Глеба Лаврова.

Несколько дней назад о случившемся в Шанске подробно рассказал по телефону Мягков. Прочтя протокол партийного собрания, акт ревизии и приказ, Смолин вдруг вспомнил первую встречу с Лавровым. Года три назад. Зимой. За полчаса до какого-то совещания. Первые же фразы геолога заинтриговали настолько, что Смолин поручил вести совещание своему заместителю. Три часа проговорили они тогда о перебазировании лавровской экспедиции в район Шанских болот, положив тем начало поворота геологопоисковых работ. Смолин не раз уже объяснялся с Москвой по поводу бесплодной траты средств на разведку нефти в Туровской области, выслушал немало неприятного. Советовался, думал, спорил. Он понимал и оправдывал нетерпенье многих столичных руководителей, но решительно противился свертыванию разведки в области, особенно после открытия Сосновского газового месторождения. Постепенно он стягивал в область сторонников северного направления. Переманил из Ленинграда Ростовского, добился открытия в Туровске филиала геологического НИИ, подогревал и поддерживал всячески рвущихся на Север. Потому и ухватился за предложение Лаврова, заставил Яркова создать экспедицию в Шанске...

Смолин приехал туда на третьем году существова-

ния экспедиции, на встречу с избирателями. Обошел поселок, съездил на буровую, порадовался порядку, укрепился в добром мнении о Лаврове. Нравилась его непоказная прямота и что не жаловался ни на что и ни на кого, ничего не просил. Обычно, встретясь с кем-то — в самолете, в кинотеатре, даже в больнице,— Смолин обязательно должен был выслушивать обиды, жалобы, просьбы, и тут уж не отмолчаться, ибо молчание его всегда истолковывается просителем в собственную пользу...

Встреча проходила в новом, только что выстроенном клубе. «Неужто Ярков раскошелился?» — подивился Смолин. Тут бы и поведать о том, как строился клуб, заполучить алиби на черный день, но Лавров лишь ответил улыбчиво: «Бывает — и медведь летает».

Понравилось Смолину и то, как Лавров открыл встречу. Не умилялся, не славословил, деловито и кратко объявил: «К нам приехал кандидат в депутаты товарищ Смолин. Кто он — вы знаете. Биографию расскажет доверенное лицо»,— и предоставил доверенному слово.

— Пойдемте ко мне, похлебаем ушицы. Лучшее средство с устатку,— предложил Лавров после встречи.

Обычно Смолин отклонял подобные приглашения, а тут согласился и вместе с Мягковым пошел хлебать уху. Дома Лавров был тем же — простым и чуточку угловатым. Не упрашивал выпить да отведать, не сюсюкал, в рот не глядел.

Узнав, что Рита пианистка, Смолин заспорил с ней о современной музыке, одобрил ее «прожект» музыкальной школы в поселке, упросил поиграть и долго с неподдельным удовольствием слушал мелодии Чайковского. Рахманинова, Шопена.

С тех пор Лавров о себе не напоминал до недавнего совещания с секретарем ЦК. И вот...

— Просите Лаврова,— сказал Смолин секретарше и медленно пошел к двери.

Перехватил короткий колючий лавровский взгляд и, не приглашая проходить, не предлагая садиться, с ходу сердито заговорил прямо у порога:

— Почему не пришли до сих пор? Захотелось в великомученики? Уязвленное самолюбие не позволило переступить обкомовский порог без приглашения?

«Ни то, ни другое»,— хотел ответить Лавров, но в са-

мый последний миг слова эти прилипли к языку. «Прав он. Не Мягков, все бы еще выжидал, копил обиду».

Смущенно порозовев, набычив голову, через силу выдавил:

— Пожалуй, так.

Облегченно вздохнул, потеплел взглядом Смолин. Кивком головы пригласил проходить, указал на кресло. Сел напротив. Лавров неотрывно смотрел на секретаря. Большой выпуклый лоб казался тяжелым, асимметричным, глубоко посаженные глаза медлительны и цепки, губы строго поджаты, и только круглый, надвое рассеченный морщинкой подбородок смягчал суровость лица, делая его добрей и проще.

— Всякую болезнь легче предупредить, нежели излечить. Зачем этот рискованный эксперимент? Не думал, что вы столь непомерно, недопустимо самолюбивы...

Он выговаривал, как нашкодившему мальчишке,— строго, но в то же время снисходительно, и эта снисходительность сильней всего угнетала Лаврова, и чтобы разом покончить с этим, сказал:

— Виноват. Не примечал прежде за собой такого. Первый и последний раз...

— Какие уроки извлекли? — спросил Смолин.

Сколько раз Лавров задавал себе примерно тот же вопрос, переосмысливал, переоценивал происшедшее, спорил с Ритой, а готовых формулировок не припас. Пришлось на ходу изобретать их, укладывая разметанные волнением мысли в короткие, четкие фразы. Оттого заговорил необычно замедленно, напряженно подбирая слова.

— Во-первых... надо решительнее, смелее ломать старые представления о быте и обустройстве геологов...— Замешкался, словно решаясь на что-то, и, видимо, решившись, заговорил жарче, торопливее: — Без партизанщины тут не обойтись. Особенно спервоначалу. Надо живым примером доказать, фактами уломать тех, кто командует сметами, планами, лимитами...

— За партизанский эксперимент вас с работы сняли, отдают под суд, а вы? Прямо отрицание отрицания.

Но Лавров, вроде бы и не слыша этого замечания, продолжал так же горячо и в том же направлении:

— Геологи теперь хотят жить по-другому. Их бытовые потребности вместе с возможностями круто скакнули вверх. Кое-кто оказался не подготовлен к этому. Вот

суть конфликта. Чтоб поспеть за временем в производстве, мы в струну вытягиваемся. Зато в сфере обслуживания далеко от века отстаем. Быт никак не организуется. Кругом стихия. Самого элементарного не хватает только потому, что мало заботы о человеке. Негде, нечем занять женские руки. Это бьет по семье. Да и оседлость и приживаемость оттого...

— Ну а второй урок? — подтолкнул Смолин увлекшегося собеседника.

— Не прятать разногласий. На свет божий, на всенародный суд их. И не в одиночку за правду...

— Ваша правда стала поперек закона.

— А если закон устарел?

— Воинствующий анархизм!

— Может быть. Но, по-моему, это борьба будущего с прошлым. Жизнь нельзя подгонять под законы, надо их приноравливать...

— Не законы — а к ним должны приспосабливаться,— Смолин выделил голосом последнее слово.

— Я не мастер формулировок. Вот в чем существо...

И Лавров повторил то, что сказал тогда «близнецам»-ревизорам о своих принципах хозяйствования: чтоб к рукам не липло, чтоб народу лучше, чтоб у государства не клянчить.

Смолину был симпатичен этот человек — открытый, прямой, преданный делу. Наверное, следовало бы пожестче приструнить его за анархистские замашки, пресечь тяготение к своеволию, но секретарь обкома не сделал этого. Сейчас, при развороте геологоразведки на необжитый Север, как никогда будут нужны именно такие — отчаянные, решительные, рисковые. Планирование, производство, быт, идеология, психология — все втянуто в эту битву. Кое в чем мы действительно отстали от времени. Нынешний комсостав геологов не нуждается в мелочной опеке, она только мешает им, раздражает и дергает. Найти здесь нефть, взять ее — по силам лишь подлинным революционерам, твердокаменным большевикам, соединившим в себе размах, отвагу и деловитость...

— Мы — за эксперимент,— сказал Смолин,— за новаторство. За новый быт геологов. Но против анархизма и самоуправства. Мы — за революционную ломку отжившего, консервативного, но против авантюризма. Грань между полюсами ищите сами. Ни рецептов, ни

апробированных схем у меня нет. Тут главный компас — чувство ответственности, неумолимый самоконтроль, коллегиальность. На совещании вы очень страстно отстаивали необходимость выхода в район Сарьи и Мертвого озера. Недавно мы на бюро решили создать новую, седьмую, экспедицию для разведки в районе Мертвого озера.— Встал, подошел к огромной карте области, занимавшей полстены. Лавров поднялся следом.— Вероятно, здесь где-то,— очертил концом ручки кружок на карте.— Все придется с нуля, в чрезвычайно трудных условиях. До ближайшей таежной деревушки — сто сорок верст, до Туровска по воде почти полторы тысячи. Сейчас середина лета. Надо поспеть к зиме не только завезти необходимое, обустроиться, но и забуриться. Недавно Казаркин — помните, знаток палеоклимата? — послал в ЦК объемистую и по форме убедительную записку. Кое-кто в Госплане ухватился за нее. Риск, сами знаете, щекотливое дело. Вот и запели: ненужно, безнадежно, неоправданно. Заглушить их голоса сможет только рев нефтяных фонтанов. Мы возлагаем исключительно большие надежды на новую экспедицию. Ответственнейшее, сложнейшее дело это областной комитет партии поручает вам, товарищ Лавров. Ваше мнение?

— Спасибо,— только и выговорил Лавров.

— Это будет для вас и для нас отличный экзамен. От души желаю успеха.— И протянул руку...

Глава четвертая

1

Давно отпылал закатный пожар, слинял прощальный румянец с клочковатого облака, а июньское небо над Туровском все еще по-дневному светло и прозрачно. Белый воздух казался густым, словно жидко разведенные белила. В такой вечер люди спешили из домов на улицу, на берег реки.

Река Туровка, давшая названье городу, не широка и мелководна, большие суда по ней не ходят. Вода в реке — темно-коричневая, почти черная, ни для рыбы, ни для питья непригодная из-за отходов и нечистот, которые сбрасывают в нее.

В белые летние вечера крутой склон высокого берега

был облеплен людьми. Отсюда открывался такой неоглядный вольный простор, так много было здесь свежего, остро и волнующе припахивающего смолой и дымком воздуха, так тревожно и зазывно гукали катера, трубили пароходы, плескалась взбитая судами волна, что человека постепенно наполняли какие-то неосознанные желанья. Уйти бы, улететь, уплыть. А куда? Неизвестно. Встретить бы кого-то, молча пойти следом. А кого? Неведомо. Еще хотелось... Ах, да чего только не хочется в белую июньскую ночь на берегу устало ропщущей реки... По темной, почти черной, в чешуе мазутных колец воде плыли пароходы, баржи, катера. Река тащила на себе многие тысячи тонн грузов, покряхтывала натужно, посапывала, сердито плюхала в берег...

Зачем сюда занесли его ноги, какими улочками — Лавров не помнил, не замечал. Шагал себе, пока не очутился у реки. Постоял на крутояре, оглядел облепленный людьми склон и медленно побрел тропинкой. Наткнулся взглядом на небольшое бревнышко, присел на краешек, и тут же подсели две девушки. Одна — высокая, полная, не особенно складно, зато крепко и надежно скроенная, другая — чем-то неуловимым похожая на Риту. То ли от этой схожести, то ли еще почему-то, но только появление этой девушки обрадовало, и Лавров сдвинулся на самый край бревна и замер, вроде бы задумался, а сам неприметно косил на сидящую рядом.

Соседство Лаврова, похоже, нимало не смутило девушек, и они продолжали свой разговор. Сначала очень тихо, почти шепотом, потом погромче, и Лаврову вскоре стало отчетливо слышно каждое слово. Он было устыдился, хотел встать или кашлянуть, но тут похожая на Риту сказала: «Буровик он, в Шанской экспедиции», и Лавров замер.

— Хитрюга ты, Лидка,— очень низким грудным голосом говорила та, что была крупней и, по виду, старше.— Верно говорят про тихое болото. Сколько замужем и хоть бы обмолвилась, даже на распределении комедию устроила. Ее оставляют на кафедре, а она — хочу в Шанск. И тут этот запрос из экспедиции. Я думала, крашеная из облоно зацелует тебя, утопит в слезах умиления. Как она заголосила: ах, патриотка! ах, энтузиастка! А эта патриотка нырнула под крылышко к законному супругу. Жмот твой буровик. Не разорился б, поди, на свадьбу!..

— Я сама не захотела,— ответила Лида. Поднесла к лицу полынную веточку, понюхала, прижала к груди.— Сеня очень добрый. Совсем нежадный...

— Да он, поди, раза в два старше тебя? — язвительно полюбопытствовала подружка.

— Нет,— без улыбки, тихо и мягко возразила Лида.— Всего на четыре года. Просто любит... даже не верится...

— Какой-нибудь Квазимодо? — не унималась подруга.

— Обыкновенный. Даже симпатичный, и очень. Лицо доброе. Глаза — большие, очень ласковые. А ресницы! Как наклеенные. И волосы сыпучие, волнистые...

— И ты в него безумно влюблена,— в тон ей заговорила подружка.

— Не знаю,— с обескураживающей откровенностью призналась Лида. Помолчала, подумала и неуверенно: — Наверное. Мне хорошо с ним, легко. Сразу забывается плохое. Вроде и не было ни сиротства, ни детдома... До сих пор стесняется меня. Вбил в голову, что плохо говорит, мало читает и оттого, мол, скучно с ним. Сколько кинофильмов посмотрела, книг прочла, а такого, как Сеня, там не встретила.

— О чем же вы с ним говорите?

— Обо всем. Говорю-то больше я, он слушает. И как! Смотрит в рот и не дышит,— тихонько, счастливо засмеялась.— Ты, говорит, как снегурочка: покрепче обними — растаешь. Все у него хорошие, все — добрые. Прямо идеальные герои. А уж мастера своего, Ветрова...

Чуть не подпрыгнул Лавров, услышав эту фамилию, и разом все понял. Да ведь это — жена поммастера Сенечки Крупенникова. И тут же вспомнил, как писал на нее запрос в облоно. Тихоня-увалень, а какую девушку околдовал. Вот уж действительно — свои законы у любви. Рядом с ним она и впрямь снегурочка. Лаврову неудержимо захотелось подать Лиде руку, назваться, сказать, что он тоже из Шанска, знает и уважает Сенечку. Но тогда откроется, что он подслушивал. Да и не из Шанска он вовсе — из безымянной экспедиции, которая скоро прилепится где-то возле Мертвого озера. Не могли придумать название потеплей, помягче... Завтра сюда Хижняк с Морозовым прилетят. Оба вызвались на новое место. Займутся комплектованием, сборами, а он — к Мертвому озеру, выбирать место для поселка. Главное — люди. Ветрова бы с бригадой. Хорошо, Валь-

ка Буянов не отстал... Зацепиться до холодов, подобустроиться, начать бурить...

Лавров осторожно поднялся и побрел, и чем дальше уходил от реки, тем стремительнее и яростнее атаковали его думы о завтрашнем дне. Если бы начать готовиться к этому броску загодя, зимой... Исподволь собрать людей, накопить материалы и технику и с началом навигации неспешно и расчетливо двинуть к Мертвому озеру. Теперь вся надежда была только на аллюр, как любил говорить отец, обязательно поминая при этом деда — красного кавалериста.

— Здравствуйте, товарищ Лавров.

«Тебя только не хватало»,— мелькнуло в сознании, и непроизвольная ухмылка скривила рот, в глазах сверкнули злорадные мстительные огоньки. А Прутов, как ни в чем не бывало, тянул сухую ладонь, смотрел приветливо, даже обрадованно, вроде и не по его акту случилась вся эта катавасия. Ни подвоха, ни фальши на иссеченном морщинами, сухом, бескровном лице не усмотрел Лавров и потому легонько пожал протянутую руку, буркнув негромко:

— Здоров.

— А я, знаете ли, искал вас. Был в гостинице. Хотел завтра в управлении скараулить,— заинтересованным тоном заговорил Прутов и пошел рядом, всем своим видом показывая, что не намерен скоро откланяться.

Подобная бесцеремонность покоробила Лаврова. Еле сдержал гнев, но все же не до конца совладав с собой, сказал ревизору:

— Интересуетесь итогами ревизии?

— Нет,— нимало не смущаясь, деловито и сухо ответил Прутов.— Я первым прочел приказ Яркова и тут же опротестовал его Смолину.

— Вы? Смолину? — Обалдело захлопал глазами, резко поворотился к спутнику и удивленно продолжил: — Вы написали...

— Написал,— спокойненько подтвердил тот.— Чего-чего — писать, слава богу, умею. Всю жизнь тем только и занимаюсь, даже на войне штабным писарем. Каждому свое. Пойдемте. Чего мы стали? Я о чем хотел поговорить-то?.. Сейчас вы комплектуете личный состав новой экспедиции. Предлагаю свою персону экономистом или бухгалтером, как душе угодно. Чего вы опять на меня уставились? Не ожидали? Я полагал — вас ничем

не удивить. Да тут и поражаться нечему. Вы — увлекающийся, азартный, заводной, вам просто необходим противовес. И вот он — перед вами. Лучше не найдете. Сухарь, скопидом. Но финансы — знаю, производство — изучил, немножко...

— Пенсии высокой захотелось иль славы?

И опять Прутов не смутился, не обиделся.

— Пенсию бы неплохо, конечно, да до нее восемь лет еще. К славе смолоду равнодушен.

Этот саксауловый сучок начинал нравиться Лаврову, и он уже не кололся взглядом, не хмыкал, не кривил губы. Спросил заинтересованно и мягко:

— С семьей намерены?

— Детишки давно на ногах. Сами папы и мамы. Оставлю квартиру дочке и с женой в ваше распоряжение. Между прочим, она двадцать пять лет командует детсадом. Лучший в городе. Не будет обузой. Все равно ведь на новом месте какой-нибудь детский комбинат отгрохаете, не глядя на категорический запрет Яркова...— И засмеялся, да не скрипуче, как тогда, в Шанске, а молодо и легко.

— Хорош! — подытожил Лавров.— С завтрашнего дня и тебя и жену — на довольствие. Надо срочно, хоть из-под земли, раздобыть все для экспедиции. Хижняк с Морозовым помогут. Отменное трио получится. Дирижерскую палочку в твои руки. Будешь заместителем начальника по хозяйственной части. Докажи на деле, как можно и закон соблюсти, и быт наладить.

— Сделаю,— по-военному четко заверил Прутов, чем окончательно расположил к себе Лаврова.

— Жену назначаю заведующей детгородком. Он займет первый настоящий дом, который мы построим. Второй — школа. Третий — клуб. Согласен с такой программой, товарищ зам?

— Нет,— улыбнулся Прутов.— Третьим будет столовая, потом баня, а уж после — клуб.

— Принимаю поправку,— весело оскалился Лавров, пожимая руку своему заместителю по хозяйственной части, и тот свернул в переулок.

Прямо на Лаврова двигалась кучно ватага молодежи. Чуть впереди качающейся небрежной походкой вышагивал парень с гитарой, грубо и размашисто колотил по струнам и что-то неразборчивое сипел. Рядом, кусая уголок яркой газовой косынки, грациозно и легко вы-

ступала та самая девушка, которая тогда ночью танцевала под окнами гостиницы. Он сразу узнал ее и, когда поравнялись, сказал негромко:

— Здравствуй, Соня.

Девушка приостановилась, встретилась растерянно-пытливым взглядом с подобревшими, но все еще чуточку колкими глазами Лаврова и, выпустив из зубов косынку, задиристо ответила:

— Здравствуйте, таинственный незнакомец.

Парни обступили полукольцом. Лавров, вроде не замечая, не глядя на них, сказал:

— Мне бы поговорить с тобой.

— Ступайте! — приказала она парням.— Сейчас догоню.

Когда те, нехотя, вперед затылками, отошли на несколько шагов, спросила:

— Откуда вы меня знаете?

— Красивые у всех на виду.

— Хороша Маша, да не ваша.

— Не о том жалею, что не моя, а о том, что ничейная.

В голосе отчетливо прозвучала нота сочувствия. И это нежданное болезненно-острое сочувствие обожгло Сонину душу, зацепило в ней самую потайную и чуткую струну. Девушка сникла, но тут же горделиво выпрямилась. Облизнув полные, чуть вывернутые губы, тряхнула копной пышно начесанных смоляных волос и требовательно:

— Кто вы?

— Геолог, Глеб Лавров. Глеб Леонидович, если хочешь. Прости, что так вот, с ходу, лезу в твою жизнь. Но что делать, когда еще встретимся? Эта шушера,— кивнул на поджидающих парней,— не для тебя. Негодная, дешевая оправа для такого рубина. Сама-то не видишь, что ли? Неладно получается, Соня. Зазря красоту и молодость транжиришь...

Соня кинула разухабисто, намеренно желая зацепить:

— Не зарься, не купишь.

— Покупают только то, что продается,— разгневанно отчеканил Лавров.— Язык наперед мысли скачет. Где работаешь?

Спросил требовательно, пожалуй, даже властно, с откровенным сознанием собственной правоты и превосходства.

— Учусь... в кооперативном.

— Сонька! — гаркнул недовольно и командно парень с гитарой.

— «Сонька»,— передразнил Лавров.— Уши бы этому горлопану напрочь. Какая ты ему Сонька? Они должны бояться за руку-то тебя взять. Эх ты. Цены себе не знаешь. И подсказать некому, что ли? Кончай свой кооперативный и к нам, на Север. Такие рыцари без девчат сохнут. Молиться на тебя станут...

— Пускай на иконы молятся! — Ледком подернулись черные глаза.— Топай своей дорогой, жалельщик. Плоха, да не твоя. Не улестишь, не заманишь, не надейся...

От этих слов передернуло Лаврова. Хотел съязвить, да сдержался. Покачал головой, процедил сквозь зубы:

— Опомнись, дура!

— Ты мне кто? — взвилась ужаленно Соня.— Кто? Ты мне брат? Муж? Может, любовник? — В ее глазах и голосе клокотала, нарастая, ненависть.— Хватает воспитателей без тебя. Все мастера поучать да тыкать. Обвиняют. Жалеют. Прощают. Да кто вас просит? Кто заставляет? Чего лезете в чужую душу немытыми паклями, шаритесь в ней, как вор в чужом амбаре...

Голос сорвался. Дрожа от негодования, сжав кулаки, она наступала на Лаврова.

— Замолчи! Красотой наделили, ума дать забыли! Подумала бы хоть об отце с матерью.

— Нет у меня отца. Нет! — надорванно выкрикнула Соня.— Не было. Слышишь, ты, геолог? Никакого отца! И матери нет. Ничейная. Ну? Бери меня теперь. Продавай. Закладывай...— Голос опять сорвался, она судорожно всхлипнула и отчаянно, пронзительно заголосила: — Мальчики! Чего же вы... Он же меня... он...

«Мальчики» негодующе загудели, замахали кулаками и пошли стенкой на обидчика. И быть бы драке, и ходить бы Лаврову с синяками, если б вдруг не вынырнул, словно из-под земли главный геолог Голованевской экспедиции, старый друг Пантелей Русаков. Он с ходу правильно оценил обстановку и громко, чтоб слышали все, закричал:

— Подразомнемся, Глеб? Давненько не боксировал. Сережка сзади топает.— Занял бойцовскую позу боксера, слегка пригнулся.— Смелей, ребятки! Кто первый?

Подхватив Соню под руки, парни убрались восвояси.

— Откуда ты, ангел-хранитель? — Обрадованный Лавров стиснул приятеля в объятьях.

— С неба, понятно. Из-за чего дуэль?

— Хотел спасти заблудшую душу, да чуть свою не сгубил.— Коротко рассказал о Соне.— Если вправду ни отца, ни матери... Понимаешь? Как-то она вдруг приоткрылась. Эх, черт, погибнет девка, испакостят ее эти репьи. Повидаться б с ней с глазу на глаз, потолковать бы по-доброму...

— Кто же мешает?

— Поймет ли? — засомневался Лавров.

— Поймет,— заверил приятель, хотя в суматохе даже не глянул на Соню.

— Схожу завтра,— утвердился в намерении Лавров.— Выкрою часок и повидаюсь. Каким все же ветром?

— С докладом к Яркову. Заодно спецовки выколотить. Прослышал о твоем назначении — не поверил. Вот уж воистину не было бы счастья... Сразу двух зайцев. Слушай, возьми к себе главным геологом, век буду бога молить. Надоело мозолиться вокруг Голованева. А на Север нас когда еще Ярков выпустит.

— Дело придумал, Русаков. Лучшего главного не сыскать. И таких друзей у меня негусто. Только я не возьму тебя: в другом месте ты нужней. Позарез необходим. Просись завтра же главным геологом к Мельнику в Шанскую экспедицию. Там будет первый фонтан. Голову под заклад. Но не в том суть. Присмотрелся я к Мельнику, хоть и под занавес. Сильный, упрямый, знающий, но с крепким перекосом. Нужен такой же постоянный выпрямитель. Иначе сам сгниет и дело погубит. Ты — самый подходящий для этого. Не сердись, приглядишься — сам поймешь. А пока — поверь. Дело-то наше, общее. Вот и ступай. Да и Шанская экспедиция куда с добром. Люди там — дай бог. Уговорил?

— Все-таки расшифруй...

— Сам потом разжуешь. Сговорились?

— Чего темнишь? Не чужаки...

— Уговорил или нет? — напирал Лавров.

— Незачем было замахиваться...

— Значит, не веришь?

— Черт с тобой. Согласен...— сдался Русаков.

2

Из обкома партии Ярков воротился мрачным и злым. Первой под удар начальничьего гнева угодила бухгал-

терша. Сунулась чек подписать, а Ярков прицепился: «Почему не с вечера?», «Зачем не с утра?» и пошел припоминать все прегрешения своей бухгалтерши, да чем дальше, тем свирепей становился. Так отчитал женщину, что та выскочила из кабинета с мокрыми глазами. Потом туда сунулись начальник УРСа и председатель профсоюзного теркома и тоже сразу попали под слепой ураганный разнос. Минут десять тузил их Ярков за нехватку в экспедициях спецодежды и овощей, за плохое питание в пионерских лагерях и еще бог знает за что. Причем с мужчинами Ярков вовсе не церемонился, швырялся без разбора оскорбительными словами. Больше не нашлось охотников подставлять бока под ярковские кулаки, и никто в его кабинет не входил, и по телефону ему не звонили. Все самые неотложные вопросы сделались вдруг обыденными, терпимыми, а спешные бумаги укладывались в общую кучу на столе секретарши Марии Ильиничны — дебелой женщины средних лет, белокурой и синеглазой, с длинными стрелами подкрашенных ресниц и чувственными капризными губами. В управлении даже вахтеры знали — начальник благоволит Марии Ильиничне настолько, что ее заступничество не раз спасало проштрафившегося сотрудника от заслуженной кары, а ее посредничество всегда благожелательно сказывалось на решении любого вопроса.

Положив холеные пальцы рук на клавиши пишущей машинки, снисходительно приспустив длинные стрелы ресниц, Мария Ильинична что-то выговаривала пожилому лысому мужчине, стоявшему почтительно перед столом. Слова она роняла медленно, с высокомерной ленцой, будто драгоценные камни. Но вот скрипнула дверь, уголком глаза Мария Ильинична увидела Мурзаева, и в тот же миг лицо ее преобразилось, стало приветливым и нежным, и она одарила вошедшего улыбкой.

Худощавый, смуглолицый и скуластый, Мурзаев легкой пружинящей походкой подошел к Марии Ильиничне.

— Хозяин у сэбя? — спросил он, сверкнув ослепительно белыми зубами.

Густые вьющиеся волосы его разлохматились, разметались витыми прядями вокруг крутого лба. И брови и небольшие усики были так же черны и встопорщены.

— Тут. Спрашивал вас, Кабир Усманович.

— Хорошо.— И подмигнул шало сверкнувшим глазом.— Сэрдит?

— Очень.

— Тигр. Ха-ха-ха-ха!

Он засмеялся озорно, заблестели крупные влажные зубы, забрызгали веселыми искрами глаза. Лысый проситель, миг назад унылый и безразличный, заулыбался вдруг — облегченно и раскованно, а Мария Ильинична зашлась протяжным стонущим смехом.

Мурзаев прошел в кабинет, подал тонкопалую, но сильную жилистую руку надутому, угрюмому Яркову, Наморщив тонкий орлиный нос, шумно вобрал трепетными ноздрями воздух. Обеспокоенно сказал:

— Гарью пахнэт.

Ищущий взгляд Яркова обежал стол, ощупал ковер, нырнул в корзину для бумаг. На квадратном плоском лице вспыхнуло недоумение.

— Нэрвные клэтки горят,— пояснил Кабир Усманович.— Их надо бэрэчь. Нэ такая фигура Лавров, чтоб из-за него со Смолиным бодаться.

— Откуда знаешь? —изумился Ярков.

— Зачем человэку глаза, уши и этот круглый котелок? — постукал костяшками согнутых пальцев себя по голове.

— Смолин влюблен в этого выскочку,— давая выход перекипевшему раздражению, торопливо и негодующе заговорил Ярков.— Ну, ладно. Перехватил в приказе. Черт с ним, пусть остается в геологии. И судить его никто не собирается. Но зачем из него триумфатора делать? Пусть бы походил рядовым в том же Шанске, пообтряс спесь, умерил гордость. А так что? Мало того, что я собственный приказ отменяю, так еще назначаю этого... начальником экспедиции, и куда? В район Мертвого озера...

— Имэнно! — насмешливо воскликнул Мурзаев.— Рэдкая удача. Нэ Лаврову — тэбе! Такого выдвижения нэдругу нэ пожелаю. Ты был там, у этого озера? — трагическим шепотом спросил он и выдержал длинную скорбную паузу, изобразив лицом горькое отчаяние.— Нэ зря прозвали мертвым. Пустыня! Хуже! Дикая тайга. Гиблые болота. Эге, какие болота! Смотрэть жутко. А работать? Через три месяца водой — нэ пройти. Самолет — нэгде посадить. Пока соберутся, скомплектуются — отдай полтора мэсяца. Пока доплывут — еще полмэсяца. Там — осень! И сразу холода. Тундра так дохнет...— Звонко, выразительно прищелкнул языком,

покачал сочувственно головой.— Тысчонка с гаком до Туровска, триста до Сарьи. Взорвись, сгори — никто нэ услышит, нэ увидит. Ой-ой-ой! Жалко Лаврова. Эсли он — нэ шайтан, нэ знается с прэисподней — ему оттуда нэ выпрыгнуть. Эсли же случится чудо — и зацепится, и забурится, и даст фонтан,— оно произойдет под руководством товарища Яркова и главного геолога управления. Попутный вэтер, а ты паруса свертываешь...

По мере речи Кабира Усмановича лицо Яркова, словно оттаивая, становилось мягче, добрей. Только глаза еще туманились обидой и гневом, но и тот туман редел. Сколько раз уже бывало такое: взъярится, рассвирепеет Ярков, стучит кулаком, кроет непечатными словесами, но вот явится Мурзаев, с усмешечкой, с хохоточком, по-своему повернет первопричинное событие — и то вдруг покажется разгневанному начальнику иным: не угрожающим и не обидным; и уж если не разом сменит гнев на милость, то все равно начнет остывать. Еще одно качество характера делало не только нужным, но и незаменимым Мурзаева — его умение быстро сходиться с людьми, нравиться им. Оттого он и был своеобразным полпредом геологического управления в переговорах с представителями прессы, науки и не раз искусно и неприметно играл роль амортизатора, предупреждая казавшуюся неизбежной стычку прямолинейного Яркова с таким же неподатливым оппонентом.

Сколько раз мурзаевская сообразительность и гибкость помогали начальнику на непредвиденно крутых поворотах...

— Сэйчас сюда геологыческая наука явится,— доложил Кабир Усманович без всякой паузы.— Сам Роман Романович Хитров.

— Чего ему? — отдаленным затихающим громом пророкотал Ярков.

— Тайна! — Мурзаев загадочно сощурился.— Найдем нефть, вся наука будет вокруг нее, как бабочки вокруг огня. На сибирской нефти хоть докторская, хоть кандидатская произрастет.

— Кабинетные мудрецы,— с готовностью подхватил все еще не остывший Ярков.— Дискуссии, гипотезы, теории, а решает-то все долото. Статейки кропают, толкают речи, схемы да диаграммы рисуют, а наш брат геолог по болотам ползает, жилы, нервы рвет. Выпади удача, открой мы настоящую нефть, ученые мужи первыми

завопят: «Предсказывали! Предвидели!» И докажи попробуй, что ты — не верблюд...

Любил поворчать Ярков на современную геологическую науку, и не столько из-за недоброго к ней отношения, сколько из-за личной неприязни к профессору Ростовскому, который считался одним из лучших специалистов по геологии Сибири, прослыл самым яростным и последовательным приверженцем губкинского завета — искать нефть за Уралом. Ростовский променял на Туровск Ленинград, бросил там университетскую кафедру. Пока он находился за тысячи верст отсюда, его прогнозы, наставления, советы можно было не принимать в расчет, игнорировать, даже опровергать, но когда обосновался в Туровске и после нескольких выступлений в печати, на областных партийных пленумах и активах сделался признанным, почитаемым научным авторитетом, негласным советником Смолина во всем, что касалось геологии — не считаться с профессором стало прямо-таки невозможно. Это он тогда помог Лаврову перебазироваться в Шанск, сочинил записку в Москву, по которой явился в Туровск секретарь ЦК. Недавно Смолин на областном собрании партийного актива назвал филиал института «мозговым трестом геологоуправления» и теми словами вогнал в сердце Яркова глубокую зазубренную занозу, и та все время свербила, ныла, беспокоила, и не было сил от нее освободиться. Бессилие подогревало злобу, и Ярков не упускал малейшей возможности подкусить Ростовского. И сейчас, не произнося имени Ростовского вслух, тем не менее только в него метил Ярков свои гневные стрелы, испытывая при этом ни с чем не сравнимое удовольствие.

У него крупная тяжелая голова. Над квадратным плоским лицом нависала блестящая кровля лысого черепа, окаймленного завитками светлых, будто восковых, волос. И фигура у Яркова походила на квадрат с острыми, незакругленными углами. И жесты были угловаты, прямолинейны. И говорил он негладко, лепил фразы небрежно, рвал, где захочется. То с одного, то с другого боку наскакивал Ярков на науку, а Мурзаев молчал. Нервное тонкое смуглое лицо главного геолога непрестанно менялось, все, что было в нем подвижного, шевелилось и двигалось, будто жило особенной, независимой жизнью. Но когда Ярков, всласть исхлестав безответную науку, умолк, Мурзаев заговорил спокойно:

— Э-э, Гэоргий Акимыч, зачэм бэз нужды поперек тэченья? Сил лишку? На пэнсион потянуло? С наукой можно и без любви, она нэ женщина. Общайся, советуйся, а дэйствуй, если надо, наоборот, но нэ гуди об том. Союз науки с производством — лозунг врэмэни. Нам в одной упряжке надо. Один воз вэзем. Бэз нее нам бы долго еще не ступить в Сибирь. Губкин, Коровин, Трофимук, Бакиров...— Заметил протестующий жест Яркова.— Знаю, знаю, что хочешь сказать. Были, мол, Шарский и Рябухин, есть Казаркин — тоже ученые, тоже наука, только от нее нам одни убытки. Согласен. И все же, нэ начни Губкин, нэ поддэржи Акадэмия наук, нэ было бы в Туровске нэ то что геологоуправления, а совсем никаких гэологов. Тэперь мы — слэпому видно — вот-вот нэфть за хвост сцапаем. Нэ в Шанске, так у Мертвого озера. Тут Ростовский прав на всэ сто. Тэперь нэ надстраивать — ломать забор между нами надо. Самим в науку. Вязать тэорию с практикой...

— Этого еще не хватало,— брезгливо сморщился Ярков.— И так не передохнуть. Пусть уж Ростовский формулами тешится...— И опять начал гвоздить ненавистного профессора...

Ели начальника горячие черные глаза, беззвучно шевелились губы, топорща вертикальные полоски усов, но Мурзаев молчал. Думал: «Отстал Ярков. Прозевал поворот. На науку наскакивать — головой камни бить. Чего не поделили с Ростовским? Мудрый, интеллигентный, бескорыстный старик. Глупо плевать в такой колодец...»

Кабинетная дверь слегка приоткрылась, в образовавшийся проем боком проскользнул жердеподобный Хитров. Слегка горбясь, саженными шажищами бесшумно пересек комнату, протянул через стол клешнястую длинную руку, сначала Яркову, потом Мурзаеву. Большеротое курносое лицо Романа Романовича сияло веснушками и улыбкой.

Приставив к ножке стола огромный пузатый портфель, Хитров сел и замер, словно закаменела его небольшая голова с крупными оттопыренными ушами, раздвинутым в улыбке большим ртом и прилипчивыми, глубоко посаженными глазами.

— Вам звонил Ростовский? — спросил он после долгой паузы.

Ярков лишь небрежительно фукнул крючковатым носом.

Роман Романович старался сохранять нейтралитет в нелепой, порой непристойной тяжбе Яркова с Ростовским и, поддерживая «шефа», никогда не нападал на Яркова, а не соглашаясь с начальником геологоуправления, избегал ссылок на профессора.

Резким взмахом длинной руки Роман Романович выбросил на стол пачку сигарет. Мурзаев повертел ее, прочел надписи, понюхал и только потом извлек сигарету. Длинно затянулся, выдохнул с дымом:

— Гдэ берешь?

— В Москве. Как приеду, покупаю сотню пачек — и до следующей командировки.

— А я шибко люблю «Шипку»,— весело скаламбурил Мурзаев, блеснув влажными белыми зубами.— Ходят слухи, вам новую вывеску малюют? Из филиала в сувэрэнный институт?

— Была бы нефть — институт будет,— улыбнулся во весь рот Хитров.

— Нэдолго ждать,— заверил Мурзаев.

— Пустяк.— Ярков язвительно сощурился.— Не зря Ростовский...

Зазвонил телефон. Пока Ярков небрежно ронял в трубку скупые бескровные фразы, Хитров, достав из портфеля, положил на стол объемистую, в сером ледериновом переплете книгу, на обложке которой было оттиснуто: «Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Сибирской низменности». Ярков небрежно взял книгу, небрежно раскрыл, увидел на титуле «Под общей редакцией Н. П. Ростовского» и зло сморщился.

— Полезная книга,— отводя глаза от перекошенной плоской физиономии, сказал Хитров.— Гигантский материал обобщен. Все, что накопили геологи за тридцать лет...

— Кооперация! Один в тайге бурит — другой на машинке стучит! — неожиданно в рифму проскрежетал раздраженно Ярков.

— Две стороны единого целого,— как можно миролюбивее проговорил Хитров.

— Чего нужно от меня? — сердито спросил Ярков.

— На экспертно-геологический совет министерства мы готовим доклад об основных направлениях разве-

дочных работ на нефть и газ. Если согласятся с нашими выводами, их будет обсуждать коллегия и вы окажетесь непременным содокладчиком. Нам делить нечего. Надо согласовать, обговорить в обкоме и с единым мнением в министерство...

— Если затребуют, как-нибудь без подсказки...

— Погоди,— прервал Мурзаев закипавшего начальника.— Роман Романыч прав. Стэрпится — слюбится, слышал такое? Наш главк по пэрвому звонку Смолина согласился на новую экспедицию, да еще где? — в районе Мертвого озера. Поучительный пример. Нэ хочешь кувыркнуться — дэржи нос по вэтру... Ха-ха-ха!

Последнюю фразу он произнес с подчеркнуто очевидной шутливостью, лукаво щурясь, и первым захохотал над своими словами и долго еще не гасил улыбки.

— Эсли нэ возражаешь, мы с Романычэм покумэкаем. Потом тэбе покажем. Нужна единая платформа. Обком нэ допустит разноголосицы. Наука прэдсказывает — мы подтвэрждаем либо опровэргаем. Она дэлает новые прогнозы, мы снова вывэряем их долотом. Так, Роман Романыч?

— Предельно точная формула взаимоотношений геологической науки с практикой,— польстил Хитров, осветив улыбкой веснушчатое, большеротое, курносое лицо.

— Валяйте,— нехотя уступил Ярков.

Вошла Мария Ильинична и от порога доложила:

— К вам Лавров.

— Проси,— обрадованно приказал Мурзаев и, поспешно вскочив, кинулся навстречу входящему: — Поздравляю, дорогой, с новым назначением.— Мурзаев тряс и тискал руку немного растерянного Лаврова, похлопывал его по спине и не переставая скалился.

Тут и Хитров поспешил к Лаврову с поздравлением.

Пришлось и Яркову выходить из-за стола и тоже жать руку и бормотать что-то хоть и малопонятное, но зато приветливым голосом. Если бы в тот миг чуточку смущенный неожиданной встречей Лавров заглянул в глаза начальника геологоуправления, то не увидел бы там и отсвета того радушия и доброжелательства, какие слышались в его голосе. С каким мстительным, злорадным упоением Ярков сейчас выдворил бы этого зазнайку за порог. «Не соблаговолил даже, гордец, позвонить, покаяться, попросить о снисхождении. Был пере-

бор в приказе, ну и что? Попроси он — не только формулировку смягчить, а весь приказ можно бы переписать. Не попросил, не повинился. Привык по-своему да на своем. Через голову управления скакнул в Шанск, а теперь... Только рано, рано ликовать. Главный барьер — впереди, его без поддержки управления не одолеть. Каков задавала? — «спинной материал не тот». Не вмешайся Смолин, квохтать бы сейчас Лаврову перед следователем, нюхать кодексы. Тут уж либо голову долу, либо под топор. Гнуть таких, пока не поймут, где верх...»

Так думал Ярков, а говорил другое. Посетовал на превратности судьбы, подосадовал на необъективность ревизоров, порадовался, что так хорошо закончилось, и принялся выспрашивать о комплектовании новой экспедиции сначала с деланным, потом с подлинным интересом. Этот чертов задира по нутру геолог. Чем неизведанней, рискованней, тем ему милей. Ни годы, ни беды не погнули. Назад не оглядывается. Рвет и рвет... Эту-то фанатическую преданность профессии Ярков и ценил больше всего в своих подчиненных, и, слушая теперь Лаврова, начальник управления, сам того не желая и поначалу противясь этому, мягчел душой, а в его взгляде и голосе все отчетливее проступало искреннее беспокойство за успех рискового, дерзкого броска к Мертвому озеру. Под бронзовой скорлупой чиновного самодовольства и самоуверенности в Яркове зеленел еще живой росток бескорыстной братской доброжелательности, которая отличает геологов-поисковиков, всю жизнь шагающих по нехоженым тропам. В управлении все знали: Ярков со спины не замахивается, из кривого ружья не бьет. Он и на охоте-то никогда не стрелял врасплох застигнутую, неподвижную дичь — спугнет и уж потом... Только на бегу, только влет... Вот и сейчас он решил: выкинет этому отчаюге Лаврову все, что есть в заначке, но уж потом ему — ни поблажек, ни скидок...

Они сидели рядышком, курили и по-мужицки дотошно и въедливо обговаривали каждую мелочь готовящегося рискованного броска на Север.

— Ты проси, что надо. Нэ стэсняйся. Знаешь вэдь: дают — бэри. Все дадим, кромэ врэмени. Считай его на сэкунды. Крутысь вьюном. Отправляй оборудование, пэрэвози людей. Главное — зацепиться до холодов, пустить корэшки...

В голосе Мурзаева — ни тени фальши. Он и впрямь готов был всем, чем возможно, помочь Лаврову...

3

Скоро и бесследно отгорела девятнадцатая Сонина весна. Скинув белую фату, отневестилась стыдливая яблоня, растеряла, раскидала по ветру душистые ожерелья гибкая черемуха, сдуло ароматную хмельную пену с буйной сирени. И нет весны, словно ее и не было вовсе. И уже закружились над Туровском, все удлиняясь, теплые мягкие дни, суля земледельцам — пышный каравай, рыбакам — полные невода, грибникам да ягодникам — богатый прибыток. А Соне с друзьями лето обещало загородный молодежный лагерь, на берегу реки, на опушке старого бора. «Скорей, скорей»,— нетерпеливо погоняла она время. Еще один экзамен — и конец учебного года. Книжки — под кровать, заботы — туда же, и до осени на природу. Сбросить платье, скинуть башмаки, подставить горячему солнышку тело, прокалить, подрумянить его, а потом, разомлевшее, чуть орошенное потом, кинуть с разбегу в прохладную певучую реку. Плыть и плыть до полного изнеможения, чтоб ноги дрожали, карабкаясь по откосу. Рухнув в желтый сыпучий песок, раскинуться, замереть, а когда земля выпьет усталость, вернет силы — снова в реку иль взапуски побегать с парнями, дразня их, отбиваясь от прилипчивых рук. Потом забрести в укромный, огороженный и затененный деревьями уголок и там отдать себя в руки любимого. Это и есть жизнь. Это и есть любовь. Это и есть молодость...

Иногда находили сомнения, легко размывали, разрушали воздушные замки Сониного счастья. И сразу делалось одиноко, зябко и неуютно. В эти горькие минуты Соня презирала себя и чем угодно, кажется, поступилась бы ради того только, чтобы попятить время и начать все сначала, но что означало это **все** и где было его **начало** — не ведала...

И снова, который раз, ножом к горлу подступал все тот же мучительный вопрос: кто прав? Пушкинская Татьяна, тургеневская Лиза, мамины дочки — чистюльки и недотроги или она, Соня Лучкова, и многие подобные ей? Что лучше? Сохранить, соблюсти себя, донести, не расплескав, не растратив, до своего суженого-ряже-

ного или жить, как говорят мальчики, на полную катушку, любить, пока любится, гулять, пока гуляется? Ведь то, что можно пережить и почувствовать в восемнадцать, уже не испытаешь в двадцать два. Да и где тот суженый-ряженый и каков он сам-то? А годы идут, и скоро станет прахом все, что недолюбила, не посмела, откладывала на потом... Как же жить? Где тот пророк — всевидящий, всезнающий, который ответит на эти вопросы? И не солжет ли он?.. Учителя об этом не любят говорить. Если ж и заговорят, то с ужимками да намеками. И опять тычут в пример все ту же бедную Татьяну Ларину. Почему же ни в кинофильмах, ни в романах о себе подобных нет ни Лариных, ни Мышкиных? Никто не кается, не вывертывается наизнанку, не казнит себя за содеянное. Живут, как могут, как умеют. Работают, едят, пьют, любят — и вся жизнь. Просто и понятно до ужаса. Может, такая и есть настоящая-то жизнь, а той, другой — красивой и возвышенной,— где возлюбленный идет на смерть, спасая честь любимой, где ради дружбы поднимаются на эшафот, а доброе имя ценится дороже головы, той жизни, может, вовсе и нет и никогда не было, ее придумали так же, как придумали бога, и рай, и ад, и многое другое...

Откуда свалился этот геолог? Как он глядел! Как пожалел! Она с детства не любила, боялась, сторонилась жалости, беспощадно отшивала болельщиков: уж очень обижало и унижало ее показное громкое сочувствие. А этот не обидел, не унизил, потому что пожалел по-братски. По-отцовски. Соня едва не заплакала тогда, еле сдержалась. Такого с ней не бывало. Впервые встретила человека и вдруг размагнитилась, распахнулась. Захотелось исповедаться ему в самом сокровенном, задать те самые проклятые вопросы. Но рядом стояли мальчики, они не должны были видеть ее растерянной, сомневающейся. Да и этот Глеб Лавров слишком уж самонадеянный, пришел — увидел — победил. Ему такой урок тоже на пользу. Подраться им она все равно бы не дала...

В ту ночь Соня плохо спала. Вздыхала, ворочалась на твердом кочковатом матрасе, то сбрасывая, то натягивая одеяло. Вдруг ее поманили воспоминания,— и вот оно, детство... Вздрогнула, словно обжегшись, поспешно помела воспоминания прочь. Тех недалеких лет нельзя было касаться: там таилось то страшное и мерзкое,

что исковеркало, запакостило ее жизнь. Да-да! Запакостило!

— Ой, мамочка...

А тут этот проклятый геолог со своей всепонимающей отцовской жалостью... Да не нужен он ей, совсем не нужен!

Она распаляла, раззадоривала себя и все сильней злилась на непрошеного заступника и сострадателя, все лютей ненавидела его. И снова вспенились, взлохматились, перепутались противоречивые мысли и чувства... Скоро вконец измученная Сонина душа ослабла, тело, побито обмякнув, успокоилось, и сон спеленал его. Проснулась угрюмой, раздраженной, готовой сцепиться с любым, кто хоть чуть заденет словом иль взглядом. И оттого, что никто не затрагивал, нестерпимей становилась невыплеснутая злость. Полдня изнывала в душной комнате, мяла и мусолила страницы учебника. Вконец изведясь, кинулась на улицу, не зная куда и зачем, и за порогом нос к носу столкнулась с Лавровым.

— Здравствуй, Соня,— он, просветленно улыбаясь, протянул руку.— Принимай гостя.

Его невинная улыбка («разыгрывает святошу»), и дружески протянутая рука («знает, с какого боку»), и настырность («разыскал, пришел») — все залпом хлестнуло Соню по сердцу, и в ней запламенел гнев. Она едва не пульнула в самозваного гостя мерзким словцом, каким частенько при ней обменивались подвыпившие мальчики.

— Чего уставилась, как на марсианина? Что-нибудь случилось? — забеспокоился Лавров.

— Зачем пришли? Кто звал? Чего надо от меня?

— То есть как? Мне, собственно, ничего не надо...

— Тогда шагайте своей дорогой. И не лезьте ко мне, не трогайте,— отрезала Соня.

— Вот как... а я хотел... я думал...— Лавров растерянно замялся, подбирая нужные слова.

— Индюк думал — в суп попал,— бесшабашно грубо, с дерзким вызовом выпалила Соня.

Обида разом стряхнула растерянность с Лаврова, но он перемог обиду и прежним — беспечно-веселым и добрым голосом сказал:

— Пойдем провожу тебя. Куда направилась?

— Да вы что ко мне прилипли! — окончательно потеряв всякое терпенье, крикнула Соня.— Какое вам

дело, куда я направилась? Ночью не обломилось — днем заявились. Да кто вы такой?..

— К сожалению, никто,— все еще миролюбиво ответил Лавров, неожиданно улыбнулся и с веселой яростью продолжал: — А был бы кто, я б с тобой дипломатией не занимался. Ишь, как раздухарилась. Какие словечки! Каким голосом! Думаешь, красивой все позволено и простительно? Дудки! У меня жена покрасивей, а так не разговаривает. Консерваторию в Москве кончила, десять лет со мной по тайге кочует в вагончиках да в палатках, но такого не слыхивал. Распустилась! У меня дочери невесты, а ты... Тоже мне, Сонька Золотая ручка... Да я тебе сейчас при всем честном народе уши надеру. Не погляжу, что женихов целая колонна...

Он говорил это таким серьезным тоном и смотрел с такой сердитой решимостью, что Соня попятилась.

— Я не хотела,— конфузливо выговорила она.— Сорвалось.

— «Сорвалось»! — передразнил Лавров.— Это старикам простительно: у них крепленья растянуты. У тебя ничего не должно срываться.— Умолк на мгновенье. И снова улыбнулся — широко, обнаженно.— Ладно, показаковали — и будет. Не ешь меня глазищами. Не за тем пришел, чтобы читать мораль. Просто познакомиться захотел, помочь...

— Не нуждаюсь, в вашей помощи.

— Врешь! Еще как нуждаешься. Заблудилась ведь, не знаешь, как выбраться.

— Не знаю. Ну и что? — все еще не сдавалась, топорщилась Соня.

— Плохо тебе, вот ты и злобишься, своих и чужих кусаешь без разбору.

— Я бы вас всех...

— Глупая ты,— горько пожалел Лавров.

— Пусть. Каждому свое...

— Опять врешь,— бесцеремонно перебил Лавров.— Сама себе. Чтоб примириться легче, не видеть шор, узды не чуять. По духу-то ведь ты не рабыня: красота с покорностью не в ладах. Зачем ломаешь себя? Для кого? Во имя чего?

— Живу, как хочу, как нравится!

— Полно. Сперва научись боль прятать. Сама не знаешь, с чего петляешь.

Осторожно взял ее под руку и медленно повел пус-

тынной улочкой. Соня вскинула длинные черные ресницы, искоса глянула на Лаврова, и вдруг губы ее задрожали.

— Молчи,— не то попросил, не то приказал он глухим натужным голосом.— Не надо. Ничего. Ни слов, ни слез. Все на виду. Послушай меня. Потом обдумаешь, решишь. Может, и не сразу, только верю — все равно решишь, как надо. Ты умница. По глазам вижу. И характерная. Сейчас я набираю людей. На Север. В глухомань, какая тебе и не снилась. Там даже комары — романтики. Поедем. Сдавай последний экзамен и в путь. Будешь поварить. Лето проработаешь — деньжат подкопишь, с хорошими людьми познакомишься, а осенью снова сюда. Оформим в свои стипендиаты...

«Вот оно! — радость заполнила Соню.— Вырвусь, огляжусь, начну сызнова. Пока совсем не затянуло, как собаку, в колесо... А молодежный лагерь? Пляж и бор? Мальчики? Твист у костра... Уплыть с ним, не возвращаться. Жить в палатке. Тайга. Бородатые геологи. И костры и гитары там... Завтра день рождения Лорки. На мысу, с ночевкой. Уха по-рыбацки. Песни Окуджавы. Свои ребята. Понимают и любят. Любят? Хм... Потому, что с ними, потому, что уступаю. Вертят, как куклой... У геологов все настоящее — и чувства и жизнь. Вон он какой. Добрый, сильный. С пятерыми из-за меня хотел драться. Все придет. Любовь, счастье... Нет, тайга да комары — не убегут. Этого добра — навалом. Наработаюсь еще. Чего-чего, работы — хватит...»

Бодались в Сониной голове упрямые, неуступчивые, несоединимые мысли и желания, напирая друг на друга, тесня и пятясь, одолевая и уступая. Недовольна она своей жизнью, совсем недовольна. Знает, куда скользит. По маминому горькому опыту знает. Разве затем убежала от матери? Такой искала жизни? К тому рвалась и стремилась? И отец не таким был, не за то погиб. Не видела его, а знает — не таким! Есть на земле честные, чистые, прямые. Рядом, вокруг. Трудно им не по течению, зато победно и радостно! У нее тоже достанет сил. Хватит по наклонной, вниз. Этот угадал и пришел. Случись что — не уступит, не кинет. Раньше бы встретиться... Не опоздано еще, девятнадцать только... Выплакать бы все, что накипело с того момента, как поняла: мамин приживальщик — не отец, не отчим, а просто-напросто... Грязно и больно — позади. И в настоя-

щем... Балдежки, твисты. Кто первым назвал это любовью? Подлец и негодяй!.. Уехать с ним. К черту на рога...

Он что-то все говорил и говорил. Соня напряглась, вслушалась.

— Будь я моложе на полтора десятка да не женат, я просто увел бы, утащил тебя отсюда. Насовсем. Ты достойна большой любви. И она придет. Она впереди. Обязательно. Только силы душевные, чистоту, красу сбереги. Чтоб хватило потом на ту настоящую, подлинную. Не разменивайся...

— Как ее отличить, настоящую-то? — помимо воли спросила она.

— Глупая. Тебя не любили. Объятья и поцелуи — еще не любовь. Просто кровь молодая перекипает и бродит, как молодое вино. Любовь — чудо! Вечная радость. Солнце незакатное. С ней вся жизнь — праздник. И поражения — праздник. И боль — праздник. И нет силы, способной остановить тебя... Тут надо стихами. Понимаешь? Она неуловима и вездесуща. В каждой клеточке тела, в улыбке, взгляде, голосе, жесте. Вот послушай, как сказал о такой любви Пушкин! — И он прочел пушкинское «Я вас любил...».— Слышишь, какая она должна быть? Безмолвная и безнадежная. Робость и ревность... Любовь невозможно выразить словами. Ее рождает сердце и угадывает сердце. Не каждый познает это чувство. Другой весь век порхает от чужого к чужому огню. Эх, Соня! — тряхнув позолоченными завитками, крепко сжал ее локоть.— Сожми себя. Замкни, И не распускай лепестков, пока не дохнет настоящей любовью...

Слегка опустив голову, Соня шла в забытьи, чувствуя локтем крепкую, сильную руку, и страшилась и отдаляла тот миг, когда его пальцы разожмутся и она останется снова одна: не сладить ей, не совладать с привычным, не распрямиться...

Глава пятая

Профессор Ростовский считал пешую прогулку лучшим отдыхом. Каждый вечер он бродил по городу, забредая иногда в такие глухие уголки, что, опомнившись, спешил восвояси. Ходьба успокаивала. Но главное удо-

вольствие прогулки состояло в том, что на ходу легко думалось о самом разном.

Он исходил Туровск вдоль и поперек, отлично ориентировался в лабиринтах окраинных улочек, и вдруг оказалось, что в этом, непомерно длинном, неестественно гнутом, черном переулке никогда не был. Тут все было черным: дома, столбы, мостовая, небо и даже ветер, который, подвывая, безалаберно кружил в крутых изломах переулка. С противным скрежетом и тонким пронзительным скрипом медленно раскачивались распахнутые калитки и ворота, гулко бились о черные стены черные ставни. Не светилось ни одно окно. Ни скрипа шагов, ни лая собак. «Вымерли, что ли, все?» — подумал Ростовский и содрогнулся от прилива беспричинного страха. Чего он испугался? Пустоты? Тишины? И то и другое вроде бы не в диковинку. Блудил по урманам, едва не погиб в горящей тайге, дважды выиграл схватку с медведем-шатуном. И не дрожал, не ежился. А тут... Кто-то за ним следил. Неотступно и зорко. Спиной и затылком он чувствовал этот взгляд, как нацеленное дуло, и все убыстрял, убыстрял шаги. Должен же быть конец у мертвого черного переулка. Он уже не шел, а бежал, тяжело и небыстро. Сердце, огрузнев, болезненно билось у самого горла. «Да что это я?» — одернул он себя и заставил остановиться. Резко обернулся и сразу увидел два желтых, ярко светящихся глаза. Неведомый зверь, похожий на огромную кошку, не мигая глядел на него, нервно перебирая большими мохнатыми лапами, раскачивая змеевидным хвостом. Не спуская глаз со зверя, Ростовский высматривал что-нибудь подходящее для обороны — палку, доску, камень, а странный зверь, припав на передние ноги, пополз вперед. «Сейчас бросится»,— решил Ростовский, пятясь растерянно и пугливо. Зверь взгорбил хребет, подобрался перед прыжком. В доме рядом распахнулась дверь. «Туда»,— мелькнуло в сознании. Он круто поворотился и кинулся к спасительной двери, но в тот же миг на спину ему камнем пало мохнатое чудище. Острая боль прострелила затылок, и Ростовский проснулся. Ни черного переулка, ни мерзкого зверя, но боль осталась. Он долго не шевелился. В форточку влетел сырой холодок, лизнул щеку. За окном серое небо сочилось мелкими дождевыми нитями. Вчера палило азиатское солнце, на улицах было как в парной, а сегодня... Боль-

ные сосуды не выдерживают... Из затылка боль перелилась в лобные доли и так стиснула мозг, что Ростовский, охнув, поспешно повернулся на левый бок. Стало чуть легче, но тут в сердце будто заноза зашевелилась.

Ростовский глухо простонал и, прижав ладонь к сердцу, поднялся.

Прошлепал к тумбочке, достал коробочку с резерпином, накапал в рюмку валокордину, плеснул глоток воды из графинчика, запил таблетку и, шумно отдуваясь, медленно добрел до постели, осторожно лег. Вынул из-под подушки часы — половина восьмого. Кровать жены не заправлена, но пуста.

— Оля,— тихо позвал он.— Оля.

Куда ее унесло ни свет ни заря? Наверное, за молоком, оно бывает только с утра. Ах, суета сует. Сколько пустячных житейских мелочей путается под ногами: сшить, купить, отремонтировать... А доставать он не умел: считал унизительным просить. Ольга ворчала, ставила в пример знакомых. Он молчаливо соглашался, даже поддакивал, но трясти титулами ради модной заграничной тряпки или банки паюсной икры — не хотел. И Ольга часами торчала в очередях. Он принимал ее заботы с благодарностью, сознавая свою житейскую неприспособленность.

Он был неисправимый неряха. Сознавал это, каялся, но, увы... По утрам обязательно терял носки, очки, трубку, мог выйти на люди в помятом костюме и несвежей сорочке, ботинки же чистил лишь по великим праздникам и под нажимом жены. Если бы в кабинете у него стояло не пять, а десять стульев, их все равно не хватило бы для раскрытых книг, развернутых карт, портфелей, папок, галстуков, пиджаков, шляп. Каждый день Ольга проворно и бесшумно раскладывала, развешивала, расставляла все это по местам, а к вечеру в кабинете воцарялся прежний хаос. Только она знала, где лежит нужная рукопись, газета, книга...

Медленно разлепив веки, Ростовский увидел потолок в густой паутине трещин. Растанцевали соседушки. Два юных лоботряса. Не учатся, не работают. Едят папин хлеб да бражничают... Над головой загудел магнитофон: «детки» проснулись. Сейчас минут двадцать покрутят музыкальный ящик и разбегутся. А вечером магнитофон будет долго хрипеть во всю мощь. Иногда Ольга, не выдержав, поднималась наверх и внушала соседям, что

ее муж — ученый, «ему надо головой работать». Несколько дней после этого магнитофон пел вполсилы. Но потом все начиналось сызнова, и Ольга бранилась и требовала, чтобы Ростовский сменил квартиру. Но это было куда как не просто. Просить у Смолина новую квартиру не было никаких оснований. Да и какие еще там попадутся соседи...

Пришла наконец-то Ольга. Только заглянула, сразу обеспокоилась:

— Заболел?

— Голова что-то, наверное, давление.

— Иди в больницу, померяй, сделай укол и приходи полежи денек.

— Так и думаю.

— Сейчас чайку крепкого попьешь, может, отпустит немного. Погода раздурилась, что твоя осень. Да, письмо от Дашеньки...

— Из Артека?

— Ага. Доехали. Устроились. Одни восторги. Потом почитаешь. И еще от Мельника из Шанска.

— Это интересно,— забеспокоился Ростовский и, привстав, протянул руку.— Дай, пожалуйста.

— Ничего интересного. Приглашает к себе. Закончили монтаж буровой на каком-то Заячьем острове. Пишет — очень перспективная площадь. Комплименты тебе расточает за то, что зовешь их на Север. Говорит, хорошо бы взять институту эту площадь под контроль с самого начала и...

— Дельная мысль. Надо туда Хитрова.

— Вот-вот,— язвительно поддакнула.— Он быстренько соберет пенки и с тестюшкиной и твоей, конечно, помощью скулинарит докторскую.

— За что ты его не любишь?

— За то, что приспособленец, подхалим и нахал, если угодно...

Зазвонил телефон в коридоре. Ольга сняла трубку. Поздоровалась с кем-то почтительно, сказала:

— Он болен. Нет, давление. Ушел в поликлинику. Хорошо.

— Кто это? — поинтересовался Ростовский.

— Из приемной Смолина. Сказала: придешь из больницы — позвонишь.

— Не так уж я болен, помилуй бог, чтоб не позвонить сейчас.

Подошел к аппарату, набрал нужный номер.

— Ростовский беспокоит. Да-да. Хорошо... Здравствуйте, товарищ Смолин. Слушаю вас... А как же, знаю... Очень рад. Лучшей кандидатуры, по-моему, не придумать. Обязательно и с превеликим удовольствием. Нет-нет. Все нормально. Сегодня же встречусь. Непременно. До свиданья.

Поймал вопросительно-осуждающий взгляд жены, сказал извиняющимся голосом:

— Спрашивал мнение о Лаврове. Помочь просил ему, поддержать. Я быстренько сделаю укольчик и на часок в институт. Ей-богу, не больше. Потом домой и — в постель. Честное слово.

Сокрушенно покачав головой, Ольга вздохнула и пошла на кухню заваривать чай.

Глава шестая

1

Маленький краснобрюхий Ми-1, смешно задрав хвост, парил над Шанскими болотами. Вертолет держал курс на Заячий остров — так назывался сравнительно небольшой, в несколько десятков квадратных километров, незаболоченный участок, густо заросший смешанным лесом и буйным разнотравьем. Подлетев к острову, вертолет резко снизился, заскользил над деревьями, едва не сшибая верхушки.

Такая рискованная близость угрожающе ощетинившегося леса скоро надоела пилоту, и тот повел машину вверх, но сидящий рядом Мельник тут же недовольно закричал:

— Куда тебя понесло, Матвеич! Ниже! Еще ниже! Держи левее. Вон на ту прогалину...

Полчаса назад Мельник и главный геолог экспедиции Русаков вылетели из Шанска на буровую мастера Ветрова, где сегодня ударил первый долгожданный фонтан сибирской нефти.

Наконец-то свершилось!

Десять лет шли они к этому фонтану. Медленно, трудно, неуклонно. Отчаивались. Страдали. Но шли...

Седели в тридцать. Теряли друзей. Терпели упреки. Сносили насмешки. Но шли и шли...

К этому дню.

К этой победе.

К этому фонтану.

Его ждали — нестерпимо, верили в него — исступленно. Торопили буровиков. Подгоняли испытателей. Последнюю неделю только о нем и говорили в поселке.

В день испытания Шанск настороженно затих в ожидании. Люди разговаривали вполголоса. Каждый час Мельник связывался по рации с буровой. В эти минуты аппаратная походила на переполненный вагон пригородной электрички. И все-таки победная весть ошеломила.

Еще вчера в экспедицию должны были прилететь Ярков и Ростовский с именитым академиком — поборником сибирской нефти. Мельник с Русаковым второй день пританцовывали от нетерпенья, ожидая высоких гостей и желая поскорей попасть на буровую. Но когда сдавленным голосом радист прохрипел: «Есть фонтан!» и аппаратная качнулась от истошного «ура!», начальник и главный геолог, забыв о гостях, перехватили первую проходящую мимо машину и примчались на летную площадку, которую жители Шанска именовали аэродромом.

Там был только Матвеич. Он встретил экспедиционное начальство у порога вагончика, в который вместилось все аэродромное хозяйство — от зала ожидания до диспетчерской.

— Немедленно вертолет! — скомандовал Мельник, тиснув мясистую ладонь Матвеича.

— Что случилось? — переполошился тот.

— Фонтан у Ветрова. Понимаешь? — выпалил Русаков.— Пошла, голубушка! Дождались! — Облапил Матвеича, помял в крепких объятиях.— Давай на буровую!

— Фонтан?! — ахнул Матвеич.— Мать честная, да это же...

Не найдя нужных слов, порывисто обнял Мельника, потерся рыхлой щекой о загорелую, гладкую щеку.

— Давай, давай в темпе,— нетерпеливо поторапливал Мельник, похлопывая Матвеича по спине.

Тот вдруг как-то слишком поспешно отстранился, виновато отвел глаза.

— Не на чем лететь.

— Что значит «не на чем»? — крутнулся волчком Мельник.— А Ми-1?

— Вертолетчик гриппует.

— Давай к нему, Пантелей Ильич. Уговори...

— Бесполезно,— перебил Матвеич.— Я только что. Тридцать девять и две.

Лохматые брови Мельника сошлись у переносья. На запавших щеках четко обозначились желваки. Пантелей Ильич проворно вытащил из кармана пачку сигарет, протянул. Мельник выхватил одну, сунул в рот. Прикурил. Вместе с дымом вытолкнул изо рта:

— А сам?

— Я почти не летал на них.— Матвеич смущенно переступил на месте.— Не имею права. За такое самовольство... Вот на своем Ан-2 — пожалуйста. Так ведь его не посадишь там. Если бы...

— Слушай,— перебил Мельник, кладя руку на плечо Матвеичу.— Ты ведь тоже геолог. Воздушный геолог. Чего тебе объяснять? Первый фонтан. Самый первый! Это, если хочешь, революция...

— Вселенский кувырок! — подхватил Русаков.— Ради этого через что прошли? Сам же испытал, изведал, своим хребтом... Не понимаешь, что ли?!

— Ну! — Мельник требовательно заглянул в глаза Матвеичу.— Чего тянешь?

Одутловатое лицо летчика на миг словно закаменело, но вот он сделал рукой движение, будто крутнул невидимую ручку, и азартно выкрикнул:

— Айда!..

Когда до буровой оставалось несколько минут лету, Мельник вдруг попросил взять вниз, и по его требованию вертолет стал порхать от прогалины к прогалине. «Чего он высматривает?» — недоумевал Пантелей Ильич, вглядываясь в густую темно-зеленую щетину леса.

— Дай кружок над этой полянкой и на буровую,— скомандовал Мельник.

Вертолет слегка накренился, качнул хвостом и вдруг, словно сорвавшись с невидимой привязи, камнем упал на землю. Ткнулся колесами в мох, подпрыгнул, ткнулся еще раз. Что-то хрустнуло, и мотор заглох. Только лопасти винта со свистом секли зеленоватый воздух.

Первым опомнился Мельник. Протяжно и гулко кашлянул. Покосился на мучнистую, дрябло обвисшую щеку Матвеича. Оглянулся на Русакова.

— Целы?

— Вроде,— отозвался тот, шевеля плечами.

Матвеич только головой кивнул. Он последним вы-

прыгнул из вертолета, Тяжело переставляя толстые ноги, дважды медленно обошел машину. Не дожидаясь расспросов, пояснил:

— В воздушную яму влетели. Слишком низко было. Шасси сломалось...

— Можешь лететь? — перебил Мельник.

— Нет, Хорошо бы здесь шасси приварить. Вот незадача...

— Хрен с ним. Спасибо, хоть сами целы. Зацепили б винтом за дерево, тогда... Включим самоходы, дошлепаем. Где-то тут недалеко наша просека. Выйти бы только на нее.

Сквозь желтеющую зелень что-то тускло блеснуло вдали, поманило. Мельник поддал сапогом пустую консервную банку.

— Следы цивилизации.

Подошел Русаков.

— Над чем колдуем?

— Соображаю, как легче и короче добраться.

— Чего гадать! — Русаков вынул из сумки карту, расстелил на коленях.— Вот смотри, мы где-то тут,— ткнул карандашом в карту.

— Здесь,— Мельник показал пальцем.

— Пожалуй, верно.

— «Пожалуй»...— передразнил Герман Кузьмич.— Я этот остров сквозь излазил с сейсмиками. Целый месяц простукивали.

— Не зря.

— Угу.— Встряхнулся, словно вышедший из воды селезень. Распрямился.— Пошли. Хоть тут и невелик путь, а пока дошпаришь — не раз пропотеешь.— Засмеялся, потер, будто намыливая, руки.— Та-ак. Значит, профиль на ветровскую буровую будет там.— Показал рукой направление.— Верно, товарищ главный геолог?

Подошел угрюмый Матвеич.

— Чего скис? — спросил Мельник.

— Не велика радость,— пробубнил Матвеич.— Наломают мне...

— Брось. Никто не наломает. На месте починим твою вертушку. Сами живы-здоровы и машину не угробили. Чего еще? Пошли скорей. Ты с нами?

— Нельзя вертолет бросать.

— Зайцы угонят?

— Никто не угонит, но...

— Ладно,— оборвал Мельник.— Дойдем до Ветрова, пришлю тебе сварщика и слесаря. Мигом поставят твою стрекозу на ноги. Спички есть? Тогда до скорого.— Повернулся к Русакову: — Трогай...

Первым шел Пантелей Ильич. Поначалу он обходил завалы, раздвигая руками густые заросли, но потом, войдя в раж, полез напрямик.

Он любил бродить по тайге прямиком. Привычка эта не раз выходила боком. Плутал, застревал в непроходимых чащах, тонул в болотах — и все же не изменял «второй натуре». Вот и теперь забрел в такие дебри — свету не видать. Деревья тесно обступили, опутали колючими щупальцами. Под ногами угрожающе пружинила земля, хлюпала болотная жижа. Надо бы повернуть назад, выбраться на сухое, обойти гиблое место стороной, но Пантелей Ильич, прикрыв рукой лицо, пер напролом. До крови разбил губу, больно зашиб колено и обрадовался, и заторопился, увидев впереди долгожданный просвет.

Вынырнув из чащобы на небольшую, густо поросшую папоротником прогалинку, он остановился, поджидая отставшего Мельника.

Тот вышел на поляну с другой стороны. Долго отпыхивался. Расстегнул воротник шелковой серой рубахи.

— С тобой только на танке ездить. Здоров, чертила. Ломишь, как лось.

— Дурная голова ногам покою не дает.

— Самокритика — полезная штука. Давай-ка я пойду передом.

Шагая следом за начальником, Пантелей Ильич невольно позавидовал, как Мельник находит просветы в чаще, огибает бурелом, обходит топкие болотины.

Скоро они очутились в редком сосновом лесу. Красноватые стволы возносили певучие кроны к невидимому небу. Пряный полумрак плескался между деревьями. Пантелею Ильичу припомнилось старинное присловье таежников: «в сосновом бору — молиться, в березовом — веселиться, в еловом — удавиться». Он ласково оглаживал ладонями стройные, в янтарных смолистых подтеках стволы, слушал загадочный, тревожащий душу лесной шум.

Выйдя на лесную просеку, Мельник внезапно остановился.

— Аккуратно вышли,— довольно сощурился он.— Прямо на ветровский профиль. Без всяких азимутов. Перекурим — и дальше.

2

— Погоди.— Пантелей Ильич вскинул руку и застыл в несуразной позе, будто окаменев на ходу.— Тише! Слышишь? Гудит...

Вытянув шею, замер и Мельник, вслушиваясь в негромкий многоголосый напев леса. Вот он уловил какой-то инородный звук, властно и разрушительно врывающийся в слаженный хор лесных голосов. Приоткрыв от напряжения рот, поморгал выгоревшими, бесцветными ресницами, и слегка запавшие щеки его вспыхнули, будто подсвеченные изнутри. Счастливая улыбка омолодила лицо, смягчила суровые черты, разгладила глубокие морщины. Мельник хотел что-то сказать, но только махнул рукой и, сорвавшись, побежал — легко и скоро.

— Постой! — крикнул Пантелей Ильич.— Тут еще добрых три километра.— И кинулся следом...

Буровая вышка стояла в центре большой поляны, горделиво возвышаясь над неровной шеренгой деревянных обшарпанных вагончиков-балков, над кучкой беззвучно орущих, машущих руками людей. Из длинной трубы, протянутой от устья скважины, с устрашающим, все заглушающим ревом хлестал черный фонтан. Чем дальше от горловины трубы, тем все больше нефтяная струя становилась похожей на гигантский павлиний хвост. От дикого неземного напряжения этот маслянисто сверкающий на солнце хвостище колыхался, выгибался дугой, сотрясая не только сорокаметровую стальную вышку, но и, казалось, всю землю. Гремучая жидкость хлюпала, клокотала и пенилась в примятой траве. Попавшие под прицел фонтанной трубы деревья стали черными лохматыми пугалами.

С ходу Мельник врезался в толпу ликующих испытателей и буровиков, протиснулся к Ветрову. Сграбастал мастера за крутые плечи, с силой прижал к груди, прокричал в ухо:

— Сколько?

— Пятьсот! Больше! Тыща! — орал Ветров, прижимаясь давно не бритой, заляпанной нефтью щекой к бронзовой щеке Германа Кузьмича.

Тот целовал всех подряд. И его целовали, обнимали, хлопали по спине, возбужденно выкрикивали что-то бессвязное, хохотали.

Фонтан оглушительно ревел, рычал, выл... Миллионы лет эта черная жидкость протомилась в тесном каменном каземате, упрятанном в недосягаемой земной глуби. Миллионы лет копила она в себе гремучие взрывчатые силы, ища малейшую лазейку, крохотную щель, чтобы вырваться из плена. Направленная рукой геолога, стальная змея прогрызла гранитную твердь подземного купола, и нефть стремительно, неудержимо рванулась из недр планеты. Она неистовствовала, бесновалась, устрашающе рокоча, плевалась газом и горячей водой, швырялась обломками породы, орошая все вокруг крупными масляными брызгами. Казалось, теперь нет силы, могущей сдержать торжествующее неистовство нефтяной струи. Но вот, вдоволь налюбовавшись фонтаном, Мельник приказал закрыть задвижку, и один поворот чугунного колеса перекрыл путь черной пленнице, укротил ее. Фонтан сник и затих.

Оглушенные люди несколько секунд безмолвствовали, ошалело хлопая глазами. Потом кто-то крикнул: «Качать Ветрова!» и над поляной загремели голоса. Десятки сильных рук подхватили мастера, легко оторвали от земли, и он — улыбающийся и смущенный — взлетел над толпой, секунду побарахтался в воздухе и тут же ухнул вниз, но через миг снова взлетел еще выше. Потом качали Сенечку, потом бригадира испытателей.

Рация находилась в балке мастера. Туда и поспешил Герман Кузьмич.

— База! База?! Мельник говорит, Юрченко! Юрченко? Пиши. Обкомпарт. Смолину. Скважина Р-6, пробуренная мастером Ветровым, дала фонтан нефти суточным дебитом пятьсот, нет, шестьсот тонн. Открыто первое крупное месторождение. Мельник. Все. Записал? Прочти. Хорошо. Такую же радиограмму в управление, редакцию областной газеты. В министерство начальнику главка Софьину персональную радиограмму... Да-да. Тому самому. Пиши.— Продиктовал радиограмму. Самодовольно улыбнулся, слушая Юрченко.— ...Нет. Именно так. Ми-4 из Туровска возвратился? Сейчас же направляй сюда. Два ящика коньяку, три шампанского. Два и три. Найди, на то ты и начхоз. Не забудь приправу. Скажи пилоту — на обратном пути, может, придется за-

хватить Ми-1. Захватить Ми-1. Что-то сломалось. На земле, на земле. Никаких аварий. Долетели отлично. Отлично. Вылетай сам. Баяниста прихвати. Обязательно. Через два часа быть на месте. Два часа! Пока.

Небрежно кинул трубку, вышел из вагончика, сказал сгрудившимся у раскрытой двери рабочим:

— Берись за топоры. Через час чтоб столы и скамьи на всех. Наша победа!

Не успели рабочие сколотить дощатый стол, а повариха — довести до нужной кондиции жаркое, как над поляной загрохотал вертолет. Пантелей Ильич посмотрел на часы. «Во, чертов запорожец,— подумал о Юрченко,— в полтора уложился. Жох!..»

Рывком поднялся Герман Кузьмич. Шампанское в стакане игристо пузырилось, постреливало крохотными брызгами.

— То, что произошло сегодня здесь,— войдет в историю. Отныне никто не засомневается в сибирской нефти. Она есть. Живая. Натуральная. Это мы подарили стране великое открытие. Мы нанесли первое нефтяное месторождение на карту Сибири. Сколько лет жизни оставил каждый на пути к этой цели! Заслуженная, достойная победа! И первый тост за здоровье крестного отца, прославленного мастера Михаила Николаевича Ветрова, за его помощника Семена Крупенникова, за всю героическую, отважную ветровскую бригаду, подарившую Родине Сибирский нефтяной океан. Ура!

Буровики дружно рявкнули «ура!», звонко столкнулись стаканы, начался пир.

Когда Мельник провозгласил тост за здоровье тех, «кто сейчас пробирается по тайге с топором и теодолитом, кто несет вахту на буровых», Русаков вспомнил Лаврова и пожалел, что того нет сейчас здесь: и экспедиция в Шанске и буровая на Заячьем — его трудами.

От выпитого Мельник не захмелел, только гуще покраснел да глаза сделались блестяще-яркими, молодыми. Слегка наклоняясь к Русакову, сказал:

— Надо молнией, пусть очень вчерне, приблизительно, подсчитать баланс месторождения. Снимай к едреной матери всякие ограничители и жми до отказу на всю катушку. С эдаким козырем нам черт не брат.

— Пусть скважина поработает, потом уж начнем трубить. Бывает...

— Бывает — коромысло стреляет. Ха-ха-ха! Да брось ты томить душу. Сегодня победа. Давай за нее...

Выпили за победу.

— Хочу месторождение окрестить Вавиловским. В честь Сергея Александровича Вавилова. Мой учитель. Великий первопроходец. Возглавлял самую первую геологическую экспедицию в этих краях. Я с ним в канун войны возле Сарьи...— голос Мельника дрогнул.

— Слышал о нем. Говорят — талантливейший геолог и отличный человек.

— Мы щедры на похвалу умершим.

— Он ведь и погиб где-то здесь...

— Угу,— глухо, как бы через силу обронил Мельник и на миг словно провалился в другой мир: не слышал, не видел никого. Покосился на Русакова пытливым, настороженным глазом. Облегченно вздохнул и прежним, добрым, громким голосом: — Ну так как? Не возражаешь? Тогда выпьем за Вавиловское нефтяное месторождение, и пусть оно будет крупнейшим в мире. Он того стоит...

Слегка затуманенным взглядом Пантелей Ильич скользил по лицам сидящих вокруг стола. Он знал их уже всех. Знал ли? Считал Мельника покрепче нержавейки, а тот едва не прослезился, вспомнив Вавилова. Что мог он, Русаков, сказать хотя бы вот о Сенечке Крупенникове — богатыре с добрым, мягким лицом и грустными глазами? Ничего. «Трудолюбив, честен, бескорыстен» и т. д. А ведь Сенечка многим отличается от тех, кто сейчас с ним рядом. Он и тут-то не таков, как все: пьет мало, улыбается и молчит. Что у него на душе? Работает на износ. Чужой боли — сердце настежь. До смешного стыдлив. Недавно приехала жена — учительница. Приметная женщина: вся светится — улыбкой, глазами, голосом. Говорят, балует ее, как ребенка, на руках носит, а на людях стесняется взять под руку. Кругом «что» да «почему» — одни загадки. «Ни черта не знаем друг о друге».

Высказал эту мысль Мельнику. Тот только усмехнулся. А когда Русаков загорячился, доказывая, что руководитель должен уметь заглянуть в душу каждого рабочего, Герман Кузьмич, не дослушав, перебил:

— Вот разбогатеем, догоним и перегоним все Америки, тогда в каждой буровой бригаде введем должность психолога, в экспедиции откроем свой микроин-

ститут. А пока что нам с тобой не до психологии...

— Сколько же может длиться это «пока что»? — В голосе Русакова зазвучала горечь. — Стыдно глядеть на эти вагончики-берлоги. Буровики пропитались насквозь, наверное, мазутом да глинистым раствором. По две недели не моются. И в этом только мы виноваты.

Когда Мельник изумлялся, его лохматые седеющие брови взлетели вверх так стремительно, будто хотели сорваться с места.

— Ты серьезно?

— Вполне. Смотри сам. Ни душевой, ни сушилки, а котельная — рядом, лишний вагончик завезти — не проблема. Лавров давно раздобыл типовой проект образцового поселка на колесах для буровиков со всеми удобствами. Здесь не успел — у Мертвого озера построит.

Космы бровей Германа Кузьмича нависли над глубокими глазницами, и глаза стали невидимы.

— Ты эти лавровские песенки кончай,— сказал отчужденно Мельник.— Не поддержи Смолин, соцкультреформы стоили б Лаврову головы. А она, хороша ли — худа, все равно одна. Не пяль на меня глаза. Не из трусости говорю. Не приспело время. На поглядку — просто, а на деле... Это место только почеши, раззудится — рук не отнимешь. Сушилка — душевая — водопровод — телевизор... Такая цепная реакция получится — некогда будет бурить. Себестоимость метра проходки из-за накладных расходов подпрыгнет будь здоров, зато остальные показатели — головой вниз. Тут уж о первенстве не помышляй. А мне хочется, чтоб моя экспедиция была первой не только в Туровском управлении, а в Союзе! И не по клубной работе, а по бурению. Уловил?

— Но ведь люди...

— Конечно, люди. И еще какие! — Мельник примиряюще положил сухую ладонь на колено собеседника.— Геологи. Разведчики! Этим все сказано. Ты ведь войну в разведке, знаешь, что это такое. Всегда в пути. Всегда впереди. Не до комфорта. Зато зарплата вдвое, чем в благоустроенном мире...— И уже другим, напористым, даже властным голосом: — Не о баньках сейчас думать. Вокруг сибирской нефти сам знаешь какие баталии. «Миф. Фантастика. А и найдут — так дорого, далеко, нерентабельно». Чем эти козыри побьешь? Дачками? Садиками? Санаторными поселками в таежной глуши? Шиш! Только разведанными место-

рождениями. Мы вырвались в ведущие. Первый фонтан, первое месторождение — наши! Теперь жми и жми до финишной. Силы, средства, внимание — все в одну точку: бурение! Народ окрылен. Надо манить его ввысь — к новым рекордам, фонтанам, месторождениям, а не приземлять, не замыкать на душевых да тепличках. Только так! И договоримся об этом на берегу... — Помолчал, остывая, и подсластил пилюльку: — Вот разворотим, вздыбим, сокрушим,— руки Мельника со стиснутыми кулаками задвигались в такт словам, как паровозные поршни,— потом...

— Потом... — осуждающе повторил Русаков, горько улыбнувшись.

Тут за столом поднялся такой шум, что Мельник, привстав, обеспокоенно оглядел застолье. Рабочие столпились вокруг Сенечки, хором уговаривали его произнести тост.

— Давай, Семен, не робей! — азартно крикнул Герман Кузьмич, призывно поднимая свой стакан.

Тяжело поднялся помощник мастера, развернул широченные плечи, выпятил и без того выпуклую грудь. «Стукни по ней — загудит, как вечевой колокол»,— подумал Пантелей Ильич, любуясь богатырским сложением Сенечки. Кто-то сунул тому стакан с вином. В Сенечкином кулаке граненая посудина сделалась вдруг игрушечно маленькой и хрупкой.

— За нашу нефть,— негромко произнес Сенечка. — Чтоб больше ее было, быстрей пришла бы она к людям!

Скоро огромное застолье загудело, как ярмарка. Еле перебирая ватными ногами, тащился вдоль стола пьяный дизелист Епифан Качурин и выкрикивал что-то несуразное, невнятное. «Теперь Епифан загудит»,— покривился Русаков и хотел сказать это Мельнику, да тот, вдруг привстав, гаркнул:

— Молодежь! В круг! Плясовую!

Баянист рванул мехи. И над поляной закружилась все быстрей, все шальней огневая сибирская «подгорная». Вразнобой, но очень громко ударили грубые заскорузлые ладони, кто-то разбойно-пронзительно свистнул. И тут же на вытоптанную в траве плешинку выпрыгнул Мельник, с силой вогнал каблук в землю. Прошел круг вприсядку, остановился перед дочкой мастера, лаборанткой Раей, раскинув руки, попятился, приглашая девушку в круг. Вслед за Раей пошла топтать

пожухлую траву пышнотелая бригадная повариха. К ней присоединилось сразу несколько парней, и завихрился безудержный перепляс.

В самый разгар общего веселья Пантелею Ильичу вдруг взгрустнулось. Чтобы не портить настроение другим, не навлекать недоуменных взглядов и сочувственных расспросов, он вышел из-за стола и медленно поплелся к лесной опушке, блещущей яркими осенними красками. У самого леса наткнулся взглядом на глянцево-округлый бок огромного камня. Обошел его. «Ну и махина. Откуда занесло? Такими циклопы швырялись.— Присел на прохладную, будто отполированную твердь. — Мертвый, оттого и холодный. А если не мертвый? Где та черта?.. Мертвые двигают живых. Уголь, нефть, торф...»

Так задумался, что не услышал шагов Мельника. Тот молча подсел рядом. Отшвырнув окурок, лениво проговорил:

— Я — домой. Без меня допьют. Останься, проследи за испытанием. Нужен точный дебит, режим скважины. Пусть пару суток пофонтанирует.

— Минимум тысяча тонн нефти. Куда ее?

— Валяй в озерко. Потом сожжем. Чего скислился?

— Нефть задарма сожжем и озеро погубим.

— На наш век того и другого хватит, а...

— После нас хоть потоп?

— Жену тебе надо. От воздержания кровь портится... Ха-ха-ха! — Смех у него был упругий, сочный и такой заразительный, что и Русаков не сдержал улыбки.

— Высватай добрую невесту, век буду благодарить.

— Вон две каблуками землю пашут. Одна — что русская печь: горяча и неохватна. Другая, хоть и молода,— отличная девка. Ветровской породы, а тот мимо цели не стреляет... — и Мельник снова захохотал.

3

Опьяненные победой и вином, устав от песен и плясок, рабочие спали крепчайшим сном. Из раскрытых дверей балков слышалось сонное бормотанье, вздохи, сочный храп.

В небе вылупились звезды. Желтой наседкой уселась меж ними луна. Но вот верховой ветер накрыл ее серым лоскутом, и луны не стало. А облака все наплывали и

наплывали и скоро затянули все небо, погасили звезды. Стало темно. Остуженный лесной воздух был освежающе приятен. Глубоко и жадно дышал Ветров. За спиной зашуршали шаги. Мастер прислушался: «Не иначе Пантелей Ильич». Угадал.

Они недавно познакомились, но уже сдружились. Хотя и редким, но всегда желанным гостем в доме мастера был Пантелей Ильич, и ему там всячески выказывали внимание и уважение.

— Не помешаю, Михаил Николаевич?

— Что за помеха безделью.

Присев на ступеньку рядом, Русаков достал сигарету. Ветров чиркнул спичкой.

— Спят твои богатыри?

— Давно. Последнюю неделю по полторы, по две смены. А как испытание началось — сутки напролет. Один Епифан колготится. Этот не может без перебору. Недавно тут маячил. Кого-то все спрашивал: «Я открыватель иль нет?» Отменный дизелист, а вот...

— Сам-то чего не отдыхаешь?

— Не отпустило еще тут, не ослабило,— похлопал себя по груди. — Как ухнул фонтан, так у меня ровно заклинило что внутри. Десять лет ведь. Подумать только! Сколько скважин позади, и, кроме водички — ничего. И верить-то устал. На последнем пределе тянул. Не раз накатывало — кинуть Сибирь, назад на Волгу. Там и родня и дыр пустых не сверлишь. Гляну на товарищей, на Лаврова — стыдно. Опять на буровую... — Помолчал. С присвистом выпустил дым. — Пошлю ему с Матвеичем бутылку нефти. Просил, как уезжал. Матвеич-то, беспокойная душа, в Сарью напросился. Там рядом...

— Как семья? — спросил Пантелей Ильич.

— Тоже мне. Скоро письма зачнем друг дружке...

— Так ведь дома тебя не словить...

— Верно,— грустно подтвердил Ветров. — Ошалело время, сорвалось с привязи и поперло, да чем далее, тем скорей. Ни за хвост его, ни за гриву. И мы за ним вприпрыжку. Завтра снимемся отсюда, будем помогать монтировать девятую. На том конце острова. Пробурить бы еще одну до холодов. Качнуть фонтанчик.

— Понравилось?

— Надо. Отпущу своих побаниться и снова на всю катушку...

— Отвыкнет от тебя Василиса...

— Слаще буду, — хохотнул коротко. И озабоченно: — С Платоном беда.

— Чего стряслось? — обеспокоился Русаков.

— Себя потерял. Помнишь, ездил в Туровск за оборудованием?

— С Юрченко-то?

— Ну-ну. С того и началось. Все не по вкусу, не по нраву. Чисто сдурел парень: прет на рожон, по пустякам злобится. Ровно кипит в ём что-то, да чем дале, тем шибчей... — Примолк. Дососал папироску, поплевал на краснеющий конец. Кинул окурок. Вздохнул. — Я уж чего не передумал, а он...

— Влюбился?

— Угадал. Встретил там студентку и присох. Пишет ей, а она не больно отвечает. Вот и кипит.

— Так ты-то с чего затужил? Кипит — значит, любит. Готовь наряд снохе и коляску внуку.

— Фью-ю! — протяжно присвистнул Ветров. — Больно скор. Еще год ей в кооперативном техникуме. Да и полтыщи верст меж ними — не пустяк. Опять же, по всему видно, только он горит, а его Соня...

— Как-как? — встрепенулся Русаков, вспомнив белую ночь в Туровске, несостоявшуюся дуэль Лаврова с парнями. Та тоже была Соня из кооперативного. «Совпадение. Мало ли Сонь в одном техникуме».

Пронзительно и жутко ухнул филин. Еще один голос — незнакомый и непонятный, но тоже тревожный — донесся из близкого леса. Одинокая крупная капля сорвалась с невидимой тучи и звонко шлепнулась о порожек, обдав водяной пыльцой неподвижную руку Русакова.

«Хорошо, комарье отжировало, не посидел бы, не поблаженствовал», — мелькнуло в его сознании и кануло без следа, и тут же воскресли в памяти еще расплывчатые, неотграненные временем картины сегодняшнего веселья. Поплыли лица — разные, несхожие, но одинаково счастливые и веселые. Лишь Сенечкино лицо затуманено не то усталостью, не то грустью.

— Чего помощник твой нынче не весел?

— Сенечка-то? Уработался. За пятерых ворочает. Последние трое суток с буровой не вылазил. Недели две не показывался дома. А там молодуха. Да какая! Образованная, а Сенечку почитает и любит.

— Сенечку — да не любить! Побольше б таких, чище был бы мир.

Небо стало черным от туч, и все вокруг почернело, слилось, стало неразличимым.

— Дождем грозится,— сказал Пантелей Ильич.

— Пора. Загостилось солнышко. Не скажешь, что тут Север. В прошлом году о сю пору трактора посреди Шанска в грязи тонули, а нынче на каблуках девчонки бегают.

— Подождало б денька три-четыре. Вырваться бы на охоту. Забыл, с какого конца ружье заряжают.

— Скажешь. За войну, поди, на всю жизнь назаряжался. Ты ведь с начала угодил?

— На втором году. — Пантелей Ильич кивком сбросил со лба длинную прядь, со вздохом подпер кулаками голову. Долго, раздумчиво молчал, собираясь с мыслями либо решаясь: продолжить ли начатый разговор. — До войны мы в детдоме жили. Мать фельдшерила, отец работал завучем...

И сразу Русакову привиделась белоствольная роща. Березы сбегали с бугра то кучно, по три-четыре рядом, задевая и тесня друг друга, а то вразброс, поодиночке, далеко одна от другой. Казалось, они лишь приостановились на некрутом склоне, а через миг сорвутся с места и помчатся дальше.

Чем выше на взгорок, тем гуще был березняк, а на вершине бугра он расступался, окружая детдомовскую усадьбу: неровная шеренга домов, волейбольная площадка, высокий черный сруб колодца, к которому отовсюду змеились до блеска утоптанные тропинки.

— Война по Сибири знаешь как помела? Всех мужиков подчистую. И молодых и старых. Отец с братом сразу на фронт. Потом мать призвали: медик. Остался я с бабкой да сестренкой куковать. Устроился воспитателем старшей группы. Воспитанники — мои ровесники. Были такие — я по плечо. Поднатерпелся...

Память высветила хитрющую мальчишечью физиономию, осыпанную веснушками, обрамленную сосульками рыжих, давно не стриженных волос. Первейший детдомовский дебошир Костя Постников опять проворовался. «Так дальше не может продолжаться. Идет война, а ты...» — прорабатывал Пантелей нарушителя. Постников брезгливо топырил толстую нижнюю губу и молчал, всем своим видом выказывая полное небрежение к воспитателю. «Ты давал честное слово на со-

вете группы?» — «М-м-м». — «Не мычи! Давал или нет?» — «М-м». — «Здесь не молочнотоварная ферма, говори человеческим языком!» Постников дернул себя за рыжий хохол на макушке и выпустил звук, похожий на кошачье мяуканье. «Трахну по роже, вся блажь вылетит!» Плаксивая гримаса вмиг преобразила плутовское лицо. Постников разинул рот и заревел. Громко, натужным низким голосом. «Замолчи!» Постников возвысил голос и завыл, как пароходная сирена. «Катись отсюда к чертовой матери!» Постников моментально смолк и сгинул с глаз, словно сквозь землю провалился...

— Где-то в декабре меня среди ночи к директору. Тот, как обухом: «Ухожу на фронт. Принимай дела». Не помню, что я лопотал. Было мне семнадцать и три месяца. Через неделю принесли годовой отчет на подпись. Глянул — чуть умом не тронулся: триста девяносто пять тысяч! Я и одной сроду не имел. Потом привык. Получу в банке деньги, набью сумку, кину в кошевку и айда двадцать километров по лесу. Везло! И горели мы, и хвори накатывали, а все нипочем. На колбасе поскользнулся. Прислали двадцать килограммов твердокопченой дорогой колбасы. Ребятишкам скормить — в рацион не лезет. Продал сотрудникам. Меня к райпрокурору: почему ребячьи продукты разбазариваю? Объяснились. На прощанье прокурор полюбопытствовал о моем возрасте. Ох, какой тарарам поднялся! Несовершеннолетний распорядитель кредитов. Свергли меня с престола...

Русаков замолк.

Человек, вспоминая прошлое — в котором известно все: и где упал, сглупил или сподличал, и где заступил дорогу подлости,— все равно всякий раз видит минувшее по-иному, заново переосмысливает и переживает его. Наверное, поэтому воспоминания засасывали Пантелея Ильича все глубже и глубже...

— Новый директор Комаров поразил нас,— продолжал рассказывать Русаков. — Лицо дергается, руки трясутся. Галифе и расшитая петухами рубаха навыпуск. Да еще с офицерской портупеей... И портупею, и трясущиеся руки объяснили войной. Решили: контуженный. Боялись нервировать. А он и не нюхал войны. Матерый алкоголик...

Нащупал подле ступенек стебелек, выдернул, свил в кольцо. Распрямил, разгладил пальцами и снова закру-

тил колечком. Это отвлекало, успокаивало. Не думал, что та давняя рана так еще чувствительна и болезненна...

— Чтоб не голодать, решили побольше посадить картошки. С двумя воспитанниками я колесил по окрестным деревням, выпрашивали картошку на семена. Из дома в дом. Никто не отказал. Полведра, но дадут. А грязь непролазная. Спали в телеге. И эту, с миру собранную, картошку Комаров поменял на спирт. Я на него с кнутом. Удержали, не дали. Даже заплакал от обиды... — Раскурил сигарету, раз за разом затянулся, сбил вспыхнувшее опять волнение, облегченно расслабился. — Через неделю меня мобилизовали на сельхозработы. Было такое право у него. Пахал, боронил на быках, чистил конюшни, даже пас коров в ночное. Тут он и скараулил меня. Пригнал я на свету стадо, завалился, а посыльный кулаком в бок — к директору. Я матюгом. А когда в полдень явился в контору, оказалось, мне надо было за семенами ехать. Как он орал! «Саботажник. Шкурник. Вредитель. Сорвал график сева!» Тут же с работы меня и под суд...

«Беги,— сказала бабушка,— засудят»,— и заплакала. Никогда больше не переживал он подобных минут. От сознания собственной обреченности и беззащитности кружилась голова.

— Я бежал ночью, как преступник. Долго блукал по райцентру. Присел под чьими-то окнами, слышу, радио заговорило. Про партизана рассказывали. Привели его к виселице, а он запел «Интернационал». Тут и в самом деле запели. Меня ровно перевернуло. Будто кожу с меня отжившую... И больно, и легко. Как же так? Кто-то «Интернационал» под виселицей, а я от Комарова бегу? Подхватился — и к тому прокурору... Потом на вокзал, с первым воинским эшелоном — на фронт...

Брызнул ленивый прохладный дождь, застучал по крышам балков, зашуршал в траве.

— Рановато ты с подлостью столкнулся,— посочувствовал Ветров. — Дивно, что устоял.

— Подлость пакостлива, но труслива. Пуще всего она свету страшится. Надо в правду верить.

— Одной веры мало. За правду драться надо.

— Какой бой без веры?..

Дождь, набирая силу, дробно зацокотил по крыше балка, согнал мужчин с крылечка.

Глава седьмая

1

На редкость жарко полыхал над Сибирью июль. Беспощадное солнце жадно тянуло последние живые соки из земли. Та морщилась, трескалась, перегорала в зольную пыль, дымилась под колесами, крошилась под каблуками. Все вокруг было серым от пыли: дома, деревья, машины, лица и одежда людей. Занедужив от зноя, сникли хлеба, полегли, пожухли травы, обмелели до воробьиного брода речушки. Отвесные огненные лучи пробивали болотную топь до самого дна, затянутого многослойной дремотной тиной, и та дышала отвратным тленом. Тяжелый дух этот гнездился в топких густых приболотных зарослях, а на кедровых гривах сладко и хмельно пахло горячей смолой да хвоей. В зеленоватом мареве затаилась настороженная и чуточку тревожная тишина. Покраснели, стали хрусткими опавшие иглы, будто медью подернулся и ломким сделался мох. Знойно и тяжко дышал истомленный жаждой понурый лес. Все живое пряталось в тень. И только люди не искали укрытия, будто не замечая одуряющей, изнурительной духоты.

Их было немного: десятка четыре мужчин и одна женщина. Они приплыли на небольшом юрком пароходишке. Дружно, без передыху не только разгрузили посудину, но и перетащили пожитки на крутой пятидесятиметровый песчаный обрыв, известково блестевший на ослепительном солнце. Тайга подступала к самой кромке обрыва. Белыми змеями выползали из него причудливо изогнутые корневища. За крутую высь и сверкающую белизну место тут же прозвали Белым Яром.

— Бульдозер бы сюда,— мечтательно выдохнул Валька Буянов, пробуя пальцем лезвие топора.

— Сперва права получи, потом технику требуй,— беззлобно урезонил Хижняк.

— С косолапым автоинспектором и без прав объяснюсь,— не обиделся Валька.

К вечеру вырубили и расчистили небольшую круговинку, установили палатки, закрепили высоченный шест радиомачты, нарубили дров. Когда солнце скатилось с неба, из тайги потянуло легкой прохладой, а с реки

хлынула бодрящая свежесть, и люди, облегченно разогнув натруженные спины и расслабив ноющие мышцы рук, заговорили об отдыхе, на поляну слетелись тучи осатанелого комарья, согнали всех к огромному костру. Там, подле дымящихся кастрюль, крутилась потная, осыпанная пеплом Глаха. Озаренное пламенем остроносое лицо ее казалось красным, отчего белки глаз и зубы блестели неправдоподобно ярко. На огромном дощатом столе высилась гора ржаных сухарей, сгрудилась алюминиевая посуда, в пол-литровых банках — соль и сахар.

Разморенные духотой, утомленные люди ели поначалу молча, торопливо и равнодушно, но за чаем постепенно разговорились. Сначала о месте, облюбованном Лавровым для экспедиционного поселка. Выбор одобрили. Перво-наперво — под боком река, тут и рыбалка, и пляж, и зимник по реке можно пробить в Сарью. Другой плюс — болото далеко, место вокруг сухое, кедровая грива рядом, значит, будут и орехи, и ягоды, и грибы, и дичь. А то, что от Большой земли далековато, глушь да безлюдье, так к этому не привыкать было, да и лучше в глухомани с нефтью, чем под Туровском пустые дыры сверлить...

Если б не комары, начавшаяся вдруг беседа протянулась бы до полуночи. Но комарье наседало, да все злей. Даже гигантский дымокур не спасал от насекомых.

Призывно звякнула ложка о пустое блюдо. Стихли голоса. Все повернулись к Лаврову.

— Есть деловой разговор на сон грядущий,— сказал он негромко. — Не возражаете?

— Президиум бы надо для порядку,— тут же вклинился Валька Буянов, и сам засмеялся первым.

— Хорош! — подхватил шутку Лавров. — Давай персонально. Сразу президиум, секретариат...

— И мандатную комиссию,— добавил Морозов.

Посмеялись и смолкли, выжидательно поглядывая на Лаврова. Тот предложил сначала придумать название будущему поселку.

— Чего тут голову ломать? — опять первым откликнулся Валька Буянов. — Мы еще не причалили, а названье уже испекли. Сама природа придумала...

— Регламент. — Морозов позвенел кружкой.

— Так я что? Я кончил.

— А названье-то? — хохотнул Морозов, привычно запрокидывая голову.

— Раз на Белом Яру угнездились, Белоярьем и прозываться надо.

С Валькой согласились, порешив назвать поселок — Белоярье, а экспедицию — Белоярской. И сразу круто на спад покатилась волна голосов. Стало слышно, как потрескивали, постреливали горящие сучья, хрустко шипели на огне сосновые да еловые лапы, глухо позвякивала металлическая посуда в тонких проворных Глахиных руках.

Засмотрелся Лавров на дымное пламя, забылся, унесла его мысль в черную даль и опустила на громадную баржу, где в тесной каюте укладывались на ночлег Рита с девчонками. Надолго застрял бы он там, да подтолкнул легонько Морозов:

— Давай дальше, Леонидыч.

Смущенно крякнув, Лавров заговорил торопливо, короткими командными фразами:

— Вот-вот прибудут баржи с цементом, машинами, балками. Нужен причал, просека для первой улицы.

— Имени геологов,— вставила Глаха.

— Правильно! — обрадованно гаркнул Валька, взмахнув обеими руками.

— Не возражаю,— согласился Лавров.— Ни одного дерева самовольно не рубить. Для Белоярья лучшего украшения, чем эти кедры и пихты,— не придумать. Рабочий день — с рассвета дотемна. Топоры, пилы, лопаты у Морозова. Он же командует на строительстве причала и склада. Кто был на войне, знает: не поспи, не поешь, а окопчик изготовь. Нам по теплу так окопаться, чтоб зимой не охать, а бурить. Под началом Хижняка строители пекарни и бани. Третья бригада расчищает площадку для балков...

Тут же распределили всех по бригадам и разошлись. У костра остались Лавров, Морозов и Хижняк. Приспособив на коленях небольшую картонку, Лавров достал карандаш.

— Вот план поселка. Балки ставим в две шеренги,— прочертил две линии.— Здесь,— одним замахом нарисовал круг,— сохраним тайгу неприкосновенной для детгородка. И вот тут,— очертил еще круг,— у Дома культуры. Для парка. Сомкнем его с лесом. Встал на лыжи — и на природе...

— Нам бы чего добиться... — мечтательно затянул Морозов, запрокидывая голову. — Чтоб никаких времянок, никаких насыпушек-сараюшек на курьих ножках. Их только расплоди, потом...

— Точно! — Лавров пристукнул ладонью по колену. — Никакой частной собственности. Из балка прямо в благоустроенную квартиру со всеми удобствами. Лесу тут навалом. И какой! Поставим пилораму, оборудуем столярку. Школьников туда. Коммунисты и комсомольцы возглавят, поведут. Где бы, кем бы ни работал — обязан строить. Мы — впереди. С топором ли, с пилой ли, с лопатой. Тогда пойдут все. В лепешку расшибиться, а сделать, как надумали. До конца навигации Смолин обещал шесть брусчатых двухэтажных домов. Тут можно не сомневаться. В них — школу, больницу, контору, детсад.

— Бараков не надо,— вступил в разговор Хижняк. — Они, как стригучий лишай. Не открестимся...

— Понабьем мозолей! — по-мальчишески азартно и звонко воскликнул Морозов, весело щурясь, тряся бородой и даже прихлопнув довольно в ладони.

— Если б только одними мозолями отделаться,— сказал Хижняк и неожиданно погрустнел, подсеченный какой-то недоброй мыслью. Подминая ее, вызывающе спросил невесть кого: — Ну и что?

Глянул на обоих: ни улыбки, ни недоумения на лицах товарищей.

Успокоенно выдохнул:

— Люблю начинать. Чтоб первым. По целику. Не за славу, не за почести. Рубли? Нужны, конечно. Да не ради них. Деньги только сулят радость — не дают. Дышалось чтоб легко — вот да. Верилось!

— Хорош! — Лавров обнял Хижняка за плечи, притянул. — В яблочко угадал. Когда с первого гвоздя, своими руками... вот ты — голова жизни, хозяин судьбы. Не она над тобой. Ну, лягнет иногда, помнет ребра, набьет фонарь. Так от того только злее станешь. Сильней и крепче. Пока есть силенка — дави, наращивай обороты.

— Плагиат! Мои мысли! — шало завопил Морозов, и в глазах его пыхнула бесшабашная удаль. — И я хочу в сборник афоризмов. И на пьедестал рядом с Лавровым...

— Кончай цирк,— засердился Лавров.

— Эх вы! Чурбаки дубовые. Сухари ржавые. Перед ними душу настежь, а ты — «цирк»...

Голос его осекся. Ожесточенно тряхнув вздыбленной бородой, судорожно и громко проглотил что-то и, диковато прося расширенным глазом на Лаврова, снова заговорил бессвязно и обнаженно:

— Мне ни особняка, ни текущего счета, а славы — дай, хоть кроху. Не надо моим именем улицы, дружины, месторождения. Но если тут брызнет нефть, появится город, те, кто заживут в нем — прекрасно и весело,— обязаны помнить: это подарили им не просто геологи, а Буянов, Хижняк, Лавров и бородатый вышкарь Самсон Морозов. Знаю — не вспомнят, негодяи, а обманываю себя, верю — останется и мой след на земле...

— Не думал, что ты такой индивидуалист. — Лавров изумленно озирал главного вышкомонтажника. — Подай ему персональную славу. А наш общий, коллективный след всех двадцати тысяч туровских геологов тебя не устраивает?

— Нет. Отлетев от волны, капля — ничто, но и в волне она пропадает. Не хочу раствориться, исчезнуть... Может, это и бред: перегрелся сегодня...

— Зеленый ты совсем, — посочувствовал Лавров, улыбаясь прощающе ласково,— за такое — мало уши надрать. То ли счастье, когда сознаешь — неотъемлемо слит с другими, растворен в могучей волне. Та хлещет по лопастям турбины, вертит ее, гонит людям свет и тепло. Отщепи тебя от всех — ты не пылинка даже, нуль, пустота! Зато вместе, в строю — сила, преобразующая мир. Вот где корень бессмертия.

Слабея, никло к земле пламя костра, обнажая груду раскаленных огнедышащих углей. Белые космы тумана облепили поляну. Ночная тайга безмолвствовала, и трое у костра молчали.

Последние дни в Туровске походили друг на друга, как близнецы. Телефонные перебранки, метанья по базам, трестам, управлениям, сочинение смет, планов, заявок. Даже Лавров стал глотать таблетки от головной боли. Отправив баржу с первым отрядом, все трое вылетели в близлежащий к Белоярью районный поселок Сарью. Там снова беготня. Отоспались лишь в пути от Сарьи к Белоярью. Первый день на новом месте закру-

жил, замотал, и вот теперь наконец-то они отошли, и каждый задумался о своем...

Тучный Хижняк согнулся кренделем, подперев тяжелую голову ладонью правой руки и смежив веки. Короткими, яркими вспышками возникали в сознании картины недавно пережитого.

...Разгневанный Мельник энергично жестикулировал, не пряча обиды: «Ладно, бобыль Морозов потянулся за лавровской жар-птицей, тебя-то, Хижняк, куда несет? Скоро дед, а туда ж, в романтики. Только обжился, обустроился, жена при деле...»

Она как будто вросла в пол, содрогаясь от негодования. Нет, она никуда не поедет, не сдвинется, потаскалась за ним, как дурочка. Кешка кончает десятилетку, надо к городу жаться, а не к черту на кулички... Хижняк молчит, не возражает, не утешает, не сердится, и оттого она свирепеет. «Осел! Чурбак! Безмозглый идол!»

В чем-то, очень важном, жена была права. Непоседлив он, как медведь-шатун. Поживет на одном месте год-другой, оглядится, свыкнется — и одолеет его тоска, опостылит, опротивит все, погонит в неизведанное, да чтоб подальше да поглуше. Благо он — специалист дай бог всякому, трезвый, и машины до самозабвенья любит, вот и потакают, в четвертой экспедиции за десять лет... Зачем бегал? От кого?.. Вот какого ответа искала мысль, вот к какой истине пробивалась. И пробилась-таки. Да, от жены, от каменной ее рассудочности и ледяной расчетливости бегал он всю жизнь. Чужому глазу под их семейной крышей рай виделся. Прибрано, обихожено, ни в чем нужды, и про черный день запасено. Хозяйка в свои сорок пять — спелая земляничина. Живи да радуйся. А радости-то и не было. Всю жизнь жена, как зимнее солнце — и светла, и красна, да не греет. Хоть бы раз обняла — размашисто да крепко, полыхнула бы, опалила, обожгла, чтоб душа от радости вскрикнула. Все вроде через силу, по обязанности. Давно бы надо им разойтись, по-доброму, по-хорошему, да двое сыновей живым узлом связали намертво. Старший, Кешка,— длинный и тонкий, как тополенок. Из-за чуприны — лба не видно. Отцова тень. Любой двигатель с завязанными глазами разберет и соберет. И трактором и автомобилем легко и ловко управляет. В конструкторы метит. «Я лично поддерживаю папу.

Только так и надо. Поступлю на заочное отделение и буду работать с тобой в новой экспедиции». А младший заплакал: одной рукой к матери, другой к отцу тянется... А жизнь, считай, позади. Не вернуть ни дня, ни часу. Поздно. Поздно. Поздно понял он, что ни порядок, ни достаток, ни покой не заменят одной влюбленной женской улыбки, что из души в душу льется. Тысячи часов сытого равнодушного покоя отдал бы он всего за несколько минут бесшабашного, молодого веселья. Близок локоть...

Тяжело и горестно вздыхает Хижняк, но ни Морозов, ни Лавров не слышат: оба заняты своими мыслями.

Зажав бороду в кулаке, застывшим взглядом уставился на затухающий костер Морозов. Он молод, едва за тридцать перевалило. Заматерелый холостяк: ни невесты, ни подружки. Собственная персона мало занимала его, и теперь он думал не о своем затянувшемся холостячестве, а мысленно продолжал незавершенный спор с Лавровым. Ничего дурного нет в желании человека оставить на земле собственный след, проторить новую тропу. Ну что дурного в том, что ему ужасно хочется первым ступить на берег Мертвого озера? Махнуть туда на моторке по обмелевшей протоке, облюбовать местечко для буровой вышки. А как ее перевезти? Баржа не пройдет — мелко. На тракторах — болота не пустят. Только зимой, по замерзшей протоке. Но тогда до конца года не забуриться. Может, поздней осенью протока разольется и... В непогоду не смонтировать буровой. Была бы хоть одна опытная бригада монтажников. Начать бы монтаж сейчас, посуху, в тепле. Пригляделись бы, притерлись, сработались. А что, если... Задумка поначалу показалась нелепой, потом — дерзкой, но скоро так захватила Морозова, что он еле сдержался от соблазна немедленно высказать свою идею Лаврову.

— Давай спать,— тихо и размягченно сказал тот. Поднялся и, потягиваясь и зевая на ходу, медленно побрел к палатке...

Едва ранний рассвет продрался сквозь туман, как над поляной поплыл чмокающий стук топора: Валька Буянов рубил хворост для костра. Потом зазвенели ведра: парни помчались за водой.

— Может, купнемся? — хриплым со сна голосом не-

уверенно предложил Лавров, поеживаясь на рассветном холодке.

— Дело! — тут же обрадованно подхватил Морозов и по крутому откосу кинулся к реке.

Вода поначалу была обжигающе холодна, перешибла дух, но стоило проплыть несколько метров, как тело уже не зябло, щекочущая прохлада приятно возбуждала, разогревала его.

— Теперь за топоры, подразомнемся до завтрака. — Говоря это, Морозов прижал ладонь к правому уху, энергично затряс головой. — Вот, черт, не выливается. — Поджав одну ногу, смешно запрыгал...

Торопливо, взахлеб стрекотали бензопилы, дробно и сочно тюкали топоры, перекликались люди, переполошенно галдели птицы. Звуки эти, слившись воедино, подхлестывали, веселили работающих. В косых лучах взошедшего солнца сверкали, блестели, играли топоры, лопаты, пилы, влажно лоснились потные тела, броско белели свежеобтесанные стволы, груды щепы и стружки, и все это разноцветье, перемешанное с зеленью и дымом, тоже возбуждало, бодрило рабочих. И они работали все напористей, ожесточенней, одержимей. Глаха долго колотила в железку и кричала, пока наконец мужчины собрались на поздний завтрак.

2

Погода сломалась враз, как сухая лучина о колено. Вечером было тепло и влажно. Мальчишки до темноты бултыхались в устье протоки, цедили ее бреднем. На зорьке берег усыпали рыбаки, секли речную гладь витыми лесами спиннингов и переметов, караулили разноцветные поплавки. Только темень пригнала грибников да ягодников из тайги.

Вчера был первый выходной за полтора месяца непрерывной работы, и люди до упаду набродились по лесу, наигрались, напелись, накупались, веселясь и развлекаясь так же самозабвенно и яростно, как работали. Луна еще из-за леса не выкарабкалась, а сморенные геологи уже спали, и никто не видел, как потемнело небо над Белоярьем и, будто отяжелев, стало быстро снижаться. Вот оно пало на лес и скрыло, стерло его, превратив в груду черных глыб, которые на ветру слепо зашевелились, заворочались и поползли на поселок.

Подмяли его, и все вокруг смешалось, спуталось, и луна не смогла пробиться сквозь этот мрак. Знобко дохнул близкий Север — раз, другой, потом он задышал чаще, вздохи его слились, и оттуда, крепчая и набирая силу, задул пронзительный студеный ветер. Растрепал, взлохматил реку, и она, побелев от пены, забила в яр свирепой волной. И тут же эхом отозвался потревоженный кедровый бор, закряхтел, застонал натужно и жутко. Заскребли черноту струйки дождя, застучали по железу, зазвенели по стеклам. Зазмеились картавые ручьи по крутому откосу. А Север все шире разевал заиндевелую пасть, и вот уже не ветер, а всесильный ветрище с устрашающим ревом ворвался на Белый Яр, раскачал, разворошил тайгу, расплескал реку и нагнал такие тучи, что те обвальным ливнем захлестнули поселок.

Семейство Лавровых занимало балок из двух, похожих на вагонное купе, комнатушек, разделенных крошечным коридорчиком, где, тесня друг друга, разместились котел водяного отопления, умывальник, вешалка для верхней одежды и бак с водой. Справа от входа в комнате-купе хозяйничали дочери, слева — на четырех квадратах разместились кухня, столовая и спальня супругов. Полированная мебель вместе с пианино, книгами и прочими пожитками лежала в контейнерах на складе, в балке же кроме деревянных полок, заменявших кровати, стояло еще два самодельных стола и шесть табуреток.

На изломе ночи Лавров проснулся от рева непогоды. В распахнутую дверь хлестал сырой студеный ветер. «Простудится Рита»,— обеспокоился Лавров и, стряхнув сонливость, прошлепал к выходу.

Весь день вчера они бродили по тайге, набили мешок кедровых шишек, набрали большую корзину грибов, допоздна провозились с ними, и теперь Лавров еле пробирался в темноте между тазами и банками. Перевел дух у порожка, шагнул в сени и содрогнулся от стужи. «Во разгулялась. Не могла повременить. Вчера Прутов отправил из Туровска последнюю баржу с картошкой, мукой, луком и прочей снедью. Погреба не готовы. Завтра туда всех рабочих. Столовую немедленно убирать из палатки. На подходе баржа с буровыми станками и оборудованием. Морозов уехал подтолкнуть их — и будто в воду... Как пробиться монтажникам к Мертвому

озеру? Ползком и то увязнешь. Зимой по льду протоки? План по бурению тогда кувырком. Черт с ним. Ярков ковырнет на итоговом совещании: «Кукарекнули и в кусты»,— наплевать. Слезно поклониться, чтоб скинул план? «Упал он больно, встал здорово...» Нет-нет. Пока силенка позволяет... А потом? Когда этот капитал иссякнет? Да и надо ль его по таким пустякам. Чертова негнучесть. Из-за нее и в штрафбат: подождал бы госпиталь, пока комдивова «эмка» одолеет переправу... Из института едва не поперли за то, что назвал публично декана двоедушным... Так ли надо? А середины — нет. Лево либо право... Не сломится спина и язык не отсохнет, а нервы будут целы... Себя сохранишь и дело подвинешь... Вот занесло, откуда повылезло? Тут и вязнет коготок. Сперва пощадил нервы, потом брюхо... Смонтировать вышку у Белоярья? Для метров — сойдет, для нефти — к Мертвому озеру надо. Морозов недавно бормотнул о какой-то задумке. Этот попусту не балабонит. Женить бы его. Заманить сюда невест. Придумать какой-нибудь Дом быта. Тепличный комбинат. Сразу по двум зайцам. Зелень к столу, и женским рукам заделье... Зачухались с локомобилем, скорей дать свет. Дрова до холодов... Отгрузил ли Прутов сварочные аппараты и емкости? Воистину бог его послал. Тянет за троих и без шуму. Супруга под стать ему — в палатке такие ясли... Авиатрасса нужна. Смолина опять просить... Завезти хорошего врача. Заманить проектанта, чтоб сразу по генплану, не как попало... Занятный сынуля у Хижняка. Только что не ночует на стройке мастерских. Деньги завтра перевести Соне Лучковой...»

Грохотал дождь по железным стенам балка, с писком и стоном продирался в щели ветер. Бесновалась непогода, и, будто вспугнутые ею, растревоженно метались мысли. О чем бы ни были они — о тракторах, горючем, хлебе,— все равно сердцевина их оставалась неизменной — человек. Все — от него, и все — для него. И мощности, и скорости, и прибыли. Когда на душе легко — никакой труд не тяжек, ничто не помеха. По себе знал. Стоит утром повздорить с Ритой — весь день кувырком: любая малость под ногами — злит, любое слово поперек — бесит, рычит, как барбос, кулаками машет; и что отвратительней всего, так это радость, какую испытывает, когда зацепит побольней, подомнет другого. И ведь понимает, как отвратительно это злорад-

ство, презирает, казнит себя за то в душе, а все равно: где бы убедить, уговорить — знай ломит. Да еще же и досадует на обиженных: зачем терпели, покорствовали, почему не взорвались, не осадили, не одернули?..

Лютовала за порогом непогода, зафлаженным волком метался сырой ледяной ветер. От его затравленного воя зябко подрагивали голые плечи и грудь Лаврова. А он долго еще стоял в холодных продуваемых сенях, стоял и думал...

Перебесился ветер за ночь и угомонился. И дождь на рассвете стих. Но промозглый холод остался, и, кроме встопорщенной, влажно блестящей зелени, уже ничто не напоминало о недавнем благодатном тепле. Гусеницы и колеса машин за несколько часов размесили сырую землю в жидкое тесто, по которому люди пробирались с трудом, невероятно медленно и осмотрительно, как по заминированному полю. И когда через пару дней снова показалось солнце, оно уже было не прежним — жарким и неистовым, а равнодушно-теплым. Вот-вот задрапируют небо ртутные облака, осатанелым шаманом заголосит, запляшет непогода, загудят над рекой шалые ветры с Ледовитого, нанесут оттуда холоду — и не успеешь оглянуться, как устелет землю белый пух. Предвидя это, Лавров спешил залатать большие и малые прорехи, куда могла бы запустить свою лапу жестокая и вероломная северная зима. Он подымался затемно, едва заслышав пыхтенье локомобиля, в коридорчике неслышно одевался и крадучись выходил из балка. По пути к конторе к нему обязательно подстраивались либо Хижняк, либо Морозов, а то и все главные в полном составе. В разных концах поселка начинали сонно пофыркивать, сердито рокотать остывшие за ночь автомобили и тракторы. Потом, взвизгнув, запевала циркульная пила, волной наплывал густой утробный рык бульдозеров, и все эти звуки, перемешанные эхом, повисали над поселком бодрящим, маршевым гулом.

Однажды утром в эту примелькавшуюся мелодию вонзился новый, необычный звук и сразу всех обеспокоил. А когда из-за зубчатой стены бора выпрыгнул зеленокрылый Ан-2 с лодками вместо колес, все кинулись к реке. Зайдя навстречу течению, самолет лихо, ловко плюхнулся на воду, подрулил к причалу, и в объятия Лаврова угодил Матвеич.

— Почту привез, полушубки, какие-то железки, — непривычной для него, взволнованной скороговоркой сыпал Матвеич. — К вашим услугам новая авиалиния Туровск — Сарья — Белоярье. Два раза в неделю прошу любить и жаловать,— сделал приглашающий жест в сторону покачивающегося на воде самолета.

— Еще одна воздушная тропка за плечами. Молодец! — с ласковой, доброй завистью воскликнул Лавров.

— Дай бог не последняя,— растроганно бормотнул Матвеич.

— Пойдем,— Лавров потянул летчика за рукав хромовой куртки. — Расскажешь, что там, на Большой земле.

— Погоди. Сюрприз тебе,— заговорщицки понизил голос.— Да и не тебе только, всех касается,— интригуя и нагнетая нетерпение, тянул Матвеич. — Потому я и напросился первым по этой трассе, чтоб из моих рук и вовремя. — Оглядел притихших, плотно сгрудившихся людей, улыбнулся широко и щедро, вытащил из-за пазухи черную бутылку, подал: — Держи! На Заячьем фонтан. Пятьсот тонн. Ветров просил в собственные руки. Из первой пробы...

Лавров уже знал о первом нефтяном фонтане на Заячьем острове: специальной радиограммой Ярков оповестил об этом все экспедиции. Радиограмму прочли на митинге белоярцев, посвященном этому событию. Но то ли замотаны были все сумасшедшей работой, то ли еще почему-то, только долгожданное событие это обрадовать обрадовало, но не всколыхнуло и вскоре вроде бы вовсе позабылось. И вдруг теперь это уже известное и как будто пережитое так хлестнуло Лаврова по сердцу, что тот замер, не слыша и не понимая слов Матвеича. Едва не выронил неправдоподобно тяжелую посудину. Судорожно стиснул ее, прижал к груди. Хотел улыбнуться, сказать что-нибудь громко и весело, да не получилось: неожиданно дрогнули губы. Спазма заклинила горло — не передохнуть. Матвеич сграбастал Лаврова за плечи, прижал к пухлой груди и, по-ребячьи громко шмыгнув носом, пробормотал с трогательной хрипотцой:

— Твоя взяла, Леонидыч.

— Дебит? — побелевшими губами еле выговорил Лавров, чувствуя влагу на щеках, сердясь и стыдясь

своей слабости, и, чтобы скрыть ее, поспешно склонился, сделал вид, что рассматривает бутылку.

— Я же сказал — пятьсот. У меня газета, там прописано...

Лавров выхватил из кармана платок и, неуклюже, деланно сморкаясь в него, неприметно промокал глаза, испытывая при этом ранее неведомое чувство острой радости и дивной духовной приподнятости, словно бы разом побратался со всеми и стали они открыты, понятны и близки друг другу, как родные братья. Пронзенный этим чувством, Лавров отнял платок от лица, улыбнулся просветленно-счастливо и сказал не своим, высоким, гортанным голосом одно только слово:

— Победа.

Шалые глаза Морозова подернулись дымкой. Круто запрокинув голову, он завопил в небо пронзительно и что есть мочи:

— Ур-р-ра!

Сотня глоток грянула разом прославленный русский клич, и, подхваченный эхом, он покатился над тайгой, над безлюдным поселком.

Лаврова затискали, зацеловали. Он метил нефтяными кляксами восторженные, просветленные лица. У причала собралась толпа — победно ликующая, ревущая, машущая кепками и платками. Необъяснимая сила вытолкнула Лаврова на высокий пень для пароходной чалки.

— Товарищи! Дорогие! Вот она! — Поднял над головой ополовиненную бутылку.— Наша. Сибирская. Не усомнятся теперь, не попрекнут. С праздником вас! С великой победой! Первый шаг сделан. За нами слово. Даешь белоярскую нефть!..

— Да-а-е-е-ешь!

Потом что-то не особенно связное, но громко и бесшабашно выкрикивал Валька Буянов. Потом Морозов резал воздух бородой и кричал. И тут Лавров, сдернув кепку, высоким, рвущимся голосом запел «Интернационал».

Ветер с реки перебирал крутые мягкие витки тронутых позолотой волос. Торжественно суровое, обветренное лицо, высвеченное солнцем, тоже казалось позолоченным. К его голосу торопливо примыкали и примыкали все новые и новые голоса. Глаха вскарабкалась на штабель труб и вскинула над головой красную косынку.

Неспето, необкатанно, оттого по-особенному сильно и впечатляюще гремел бессмертный гимн, сплачивая этих еще не сжившихся людей, превращая разноликую толпу в монолит. Их окрыляло сейчас радостное чувство духовного единения. Все были заодно, все — рядом. И каждый увидел брата в другом, еще миг назад чужом, едва знакомом человеке и по-братски доверчиво положил руку на ближнее плечо, опираясь и поддерживая, и только добро хотел делать, и только радость сеять.

«Мы наш, мы новый мир...»

Ветер колыхал, вздымал к самому небу, кружил над рекой песню, но та, не прерываясь, гремела яростно и властно: не было силы, могущей ее порушить, как не было силы, способной остановить этих одержимых.

3

Только вечером дома вспомнил Лавров о привезенных Матвеичем газетах. Рита развернула «Северную правду» и сразу наткнулась взглядом на огромный заголовок: «Есть большая нефть!»

— Ну, слушай,— сказала она, усаживаясь поудобнее и свертывая вдвое газетную полосу.

— Это про папу? — спросила младшая. Обе сидели тут же, на отцовской постели.

— Про папу, конечно,— подтвердила Рита и, откашлявшись, начала громко читать: — «Коллектив Шанской комплексной геологоразведочной экспедиции одержал блистательную трудовую победу. 8 августа бригада мастера коммуниста Ветрова М. Н. закончила проходку скважины № 6, которая дала первый фонтан сибирской нефти. С буровой только что возвратились присутствовавшие при испытании скважины директор филиала Сибирского научно-исследовательского института геологии и геофизики профессор Н. П. Ростовский, начальник геологического территориального управления Г. А. Ярков и начальник Шанской экспедиции Г. К. Мельник. Наш корреспондент обратился к ним со следующими вопросами...»

Пока Рита с торжественной медлительностью чеканила это, Лавров мысленно успел побывать в Шанске, прошелся по улочкам поселка, постоял в бывшем своем кабинете, вновь, теперь уже со стороны, просмотрел заключительный акт того незабываемого партийного

собрания и тут же перенесся на буровую Ветрова. Подсел к старому мастеру, заглянул в глаза, потискал сухую, железной твердости руку. Спросил Сенечку взглядом, счастлив ли с Лидой? — и успокоился, и обрадовался, прочтя на лице богатыря утвердительный ответ... Откуда-то просочилась в душу грусть. «С чего бы? — обеспокоился было Лавров, но тут же отмахнулся: — Пускай». Но вот из темной дали прорвались в сознание произнесенные Ритой слова «большое промышленное значение» и разом вернули к действительности.

Только раз, и то на мгновение, Ритин взгляд оторвался от газетных столбцов, скользнув по лицу мужа, и она угадала его настроение и посочувствовала ему, но все с той же неторопливой выразительностью продолжала читать, выделяя интонацией наиболее, как ей казалось, важные места. Так она оттенила слова Ростовского: «Значение Вавиловского месторождения нельзя переоценить. Это первая большая нефть Сибири. В недалеком будущем здесь встанет новый крупный нефтепромысел страны...»

Лавров как бы одной половиной слышал и видел Риту, а другой — профессора Ростовского. Лицо его напряжено, к иссеченному морщинами выпуклому лбу прилип клок белых волос. Сухие бескровные губы шевелились, и Лаврову слышался глуховатый голос: «Голубчик, вы — счастливец. Завидую. Всю жизнь только и мечтал о том. Помилуй бог, не я один. Губкин, покойный Вавилов. Вам выпало сделать самый последний решающий шаг к нефтяному морю, да что там — океану! Мельник грозится фонтаном. Все равно это будут первые, робкие цветики. Ягодки там, куда нацелилась ваша экспедиция. Первую нефтяную жемчужину подарите отечеству вы. Простите мою велеречивость: от волнения. Располагайте мной, как угодно. Знания и опыт — все к вашим услугам...»

— «...В какие сроки закончено бурение скважины и чем характерно это месторождение?» — прочла Рита следующий вопрос корреспондента.

Отвечал Ярков:

— «Скважина номер шесть — третья на Шанской площади. Ее положение обусловлено данными сейсморазведки...— «Сейчас блеснет эрудицией»,— подумал Лавров,— ...которая выявила линию залежей и возмож-

ные скопления полезных ископаемых, так называемых коллекторов погруженной части между мульминской и треформой структурами. Эту скважину бурила бригада опытного мастера. Проходка на глубину 1523 метра была закончена за восемнадцать дней. На глубине 1488 метров был раскрыт нефтяной песчаник, мощность пласта которого достигает двенадцати метров. Седьмого августа началась перфорация, и при первом же прострелe появились признаки нефти. На другой день, 8 августа, скважина стала фонтанировать... По предварительным подсчетам, суточный дебит скважины четыреста — пятьсот тонн...»

Потом журналист спросил о людях, причастных к этому открытию. Ярков перечислил фамилии почти всех рабочих ветровской бригады, назвав первым Сенечку Крупенникова. А Лавров вспомнил нежданную встречу с Лидой и, взволнованный этим воспоминанием, пропустил мимо ушей перечисленные начальником управления другие имена, уловив лишь фамилию Мельника, повторенную несколько раз в окружении самых лестных эпитетов. Ярков аттестовал Германа Кузьмича как выдающегося борца за сибирскую нефть, который работал еще с Вавиловым и, добровольно покинув геологоуправление, возглавил Шанскую экспедицию. «Как возглавил? — кольнуло Лаврова.— Он же всего два месяца начальником...— Устыдился собственной обиды, укорил себя:— Главный геолог тоже возглавляет. Самому захотелось на пьедестал, вот и скребусь...»

Последним на неизменный корреспондентский вопрос «В чем секрет вашего успеха?» отвечал Мельник. С его слов получалось, что сразу после совещания в обкоме геологическое управление взяло курс на Север, укрепив Шанскую, а затем создав Белоярскую экспедицию. «Что значит «укрепив»? Кем? Не его ли персоной? — осердился Лавров.— Лучше бы смолчал. Вопреки управлению возникли и Шанская, и Белоярская... Знает ведь. Ловчит? К чему? И ум, и опыт, и хватка — все есть. А уж характер — через колено не ломанешь...» Когда Лавров воротился из Туровска на белом коне начальника тогда еще безымянной экспедиции, первым к нему пришел Мельник. Выставил на стол бутылку коньяку: «Выпьем за твою победу». Будто и не было меж ними того разговора и не он тогда грубо оттолкнул Лаврова: «Решай сам за себя». А потом Мельник прислал рабочих помочь

уложить пожитки, дал вертолет увезти контейнеры в Туровск, обнял и расцеловал на прощанье. И хотя ледок отчуждения растаял не совсем, но ни зла, ни обиды на Мельника не осталось у Лаврова. И теперь он лишь подосадовал: «Зачем Мельник стелется перед Ярковым?» А Мельник, словно специально для того, чтобы позлить Лаврова, даже назвал Яркова рыцарем сибирской нефти. Потом Мельник пропел хвалебный гимн профессору Ростовскому и «молодому дерзкому» Хитрову. Потом отвесил поименные поклоны всем буровикам, вплоть до дизелиста Епифана.

Рита еле сдерживала скопившуюся в душе горечь и, может быть, хоть на время, но перемогла бы себя, отмолчалась, если б не вопрос младшей:

— А где же про папу написано?

— Не лезь, балаболка,— одернула сестра, угадав смысл происшедшего.

Тут-то и сорвалась Рита, дала волю слепому необузданному гневу:

— Свиньи они! И Ярков, и твой Мельник. Не забыли даже Епифана Качурина, а о тебе ни слова.

— А что Епифан? — как можно спокойней спросил Лавров.— Чем не потрафил? Отменный дизелист. Выпивоха, правда. И что его помянули — хорошо. Ничей труд не забыт...

— Не забыт? Ха! Не разыгрывай из себя неотолстовца, не прикидывайся. Насквозь вижу!..

Ярость исказила ее лицо.

Опустив глаза, Лавров попытался остудить, утихомирить жену, сказав все так же неправдоподобно ровно и рассудительно:

— Не надо, Рита. Все это — мышиная возня. Главное — нефть пошла. Понимаешь? Не напрасно, не попусту мы...

— Знаю! Ни орденов, ни благодарностей не добивался. Тем более. Не развалились бы, не обеднели, сказав доброе слово. Безликой победы не бывает. Ее завоевывают люди. Пусть чествуют пьянчугу Епифана. Черт с ним, даже хорошо, что и его не забыли. Но почему забыт начальник экспедиции Лавров? По-твоему, это честно? Не злонамеренно? Не подло?.. Ну скажи, что я — мещанка, себялюбка, что не права...

Нет, он этого сказать не мог, потому что считал ее правой. И его больно обидело, унизило нарочитое заб-

венье, замалчивание его очевидных, неоспоримых заслуг в этом открытии. Если б только буровиков назвал поименно Ярков — шут с ним! Но ведь он самозабвенно воспел, восславил Мельника как начальника экспедиции, первооткрывателя. Конечно, и он месяцами кочевал с сейсмиками. Работал на пределе. Но зачем же на нем замыкать? А Морозов? «Да и я хоть что-нибудь же сделал полезного? Мстит Ярков мелочно, недостойно. А Мельник? Как он тогда когти выпустил! Нет, не показалось. Не больное воображение. Но ведь не подсиживал с сейсмиками. Работал на пределе. Но зачем же оговорочно. Мало ли что мог наговорить он корреспонденту в такой день! Мог и всего три фразы сказать, остальное придумали газетчики. Скулить у победной черты из-за того, что обошли почестями... На виду у любимой и детей...»

Лавров покраснел так, что щеки зажгло.

— Сядь, Рита. Из-за чего нервничать? Подумай. Ничего особенного. Ты взвинтила себя, преувеличиваешь...

— Ах, преувеличиваю. Обывательница, да? Мне не только нефть, но и деньги и почести подавай? Ты это хочешь сказать?

— Зачем так? — заставил себя улыбнуться, подпустил смешинку в голос.— Славу любят даже великие...

— Мне нужна только справедливость! — зло выкрикнула Рита.— Если б не ты, никакой Шанской экспедиции не было бы. Так? Если бы не ты, буровую на Заячьем все еще и не смонтировали бы. Так или нет? Чего молчишь? Правды — боюсь, врать — не хочу? А эти... эти...— сжала кулаки и даже притопнула,— не соизволили упомянуть тебя...

— Помянули — не помянули, в том ли суть? Эка важность! Видела, как сегодня на берегу «Интернационал» пели? Сейчас в каждом балке праздник. И черт с ним, что кто-то забыт, не внесли в список победителей, обойден наградой...

— Знаю-знаю... Все равно они — подонки. Неблагодарные. Ну ладно Ростовский, ему простительно. Он вообще имен не называл. А Ярков? Начальник управления, коммунист, а хуже базарной бабы! И Мельник в его дуду... Господи, да ведь он же...

— Увижу — уши оборву. Поглупел от славы. Но работник — отменный, организатор...

— Оставь, Глеб. Не девочка... знаю. И слава. И длинные рубли для тебя... и не только, а все равно несправедливо, обидно...— И вдруг заплакала.

Вот этого уж он не ожидал. От сострадания у Лаврова судорога прокатилась по лицу, нервный тик задергал правое веко. Он, словно прозрев, неожиданно увидел окружающее в натуральном, не подкрашенном фантазией виде. Крохотный отсек балка с мизерным оконцем, самодельные табуретки, похожий на топчан стол, тесно сгрудившиеся у плиты ведра, тазы, кастрюли. Как же он не замечал этого прежде? Привез в глушь, сунул в ящик на колесах и — приспосабливайся, привыкай. Стирай, мой, скреби и чисть. Выгребай золу, выноси помои, колдуй над банкой тушенки, чтоб из нее и первое и второе. Десять лет одно и то же пел: вот найдем нефть... Нашли. И что? Теперь что сказать? Все остается по-прежнему?.. Кто он после этого?.. Разве для нее этот спартанский быт? Здесь ее место? Это — ее удел? Мыслимо ли так бессовестно и жестоко распоряжаться жизнью близкого человека? И он еще рисуется. Петушится. Рыцаря Ламанчского разыгрывает. Нет бы почестному разделить ее обиду и боль, покаяться. Да, подло обошли, обвели вокруг пальца. Другие пожали взращенное им. Каково ей, поняв это? Пройдет еще год, еще пять. И что? Состарится сам и ее обескрылит. Десять лет раскидано по болотам, растеряно по тайге. К финишу шел первым, а победитель — другой... Неудачник! Рвал жилы, горел, кидался в драку... И даже не помянули! Был ли, не был ли — все едино! Люби свою геологию, ищи для других, за других, но при чем тут Рита? Во имя чего должна она...

— Не смей! — обидчиво вскрикнула она.— Слышишь? Не смей так думать! Не имеешь права!

Их взгляды встретились. «Любит. Верит. Понимает... Все правильно. Только так. Иного не примет. По-другому не смогу...»

Порывисто схватил ее руки, легонько и бережно стиснул в замозоленных, затвердевших ладонях, поднес к губам...

Глава восьмая

1

Два дня Морозов с Валькой Буяновым пробирались на моторке по обмелевшей протоке к Мертвому озеру, подле которого решено было ставить первую буровую. Дорогой гадали, почему коренные северяне дали озеру такое мрачное название. Сошлись на одном — в водоеме нет жизни, но, когда заплыли в него и Валька, ради интереса закинув блесну, тут же выхватил матерую щуку, пришлось признаться, что орешек не по зубам.

По форме Мертвое озеро отдаленно напоминало след огромного лошадиного копыта. По берегам — ни деревьев, ни кустарника. И кругом, насколько хватало глаз, однообразный заболоченный пустырь. Мягкая сырая болотина хлюпала, угрожающе колыхалась под сапогами, пугая красновато-серыми разводьями трясины. Только в одном месте берег озера оказался не круто, но довольно высоко приподнят. Наконец-то твердая земля. Сделали привал, сварили уху.

— Здесь бы вот и буровую,— не совсем уверенно высказался Валька.

— Специально для нее придуман бугорок,— согласился Морозов. Вбил каблук в землю, словно хотел испытать, крепка ли.— Что надо! Только до конца декабря сюда и не целься: не пустят чертовы хляби. Сиди и жди, пока мороз дорожку настелет. Не день, не неделю, почти четыре месяца! Потом месяца два с монтажом прочухаешься. Значит, этот год на холостом ходу прошлепаем. Да и пока не забурились — все временно, зыбко, неустойчиво, как на пересылке. Не согласен?

— Согласен,— недовольно поддакнул Валька, резким кивком смахивая со лба выгоревшую прядь.— Чего не соглашаться? У буровиков в кармане и нефть, и план, и премии всей экспедиции.— Помолчал чуток и, резко сменив регистр голоса, огорошил собеседника: — Пенкосниматели они. На чужом горбу выезжают.

Не ожидавший такого поворота, Морозов даже рот приоткрыл от изумления.

— Эт-то ка-ак понимать?

— Я-то думал, у тебя давно коренные прорезались,— с ходу и как бы между прочим подкусил Валька и принялся пояснять: — Сперва топографы просеки прорубят,

потом сейсмики площадь нашарят да оконтурят, монтажники вышку соберут, и тогда, пожалте, являются на готовенькое буровики. Прокрутили дырку — и...— Согнув в локте худую длинную руку, Валька прощально помахал тонкими пальцами.— Опять подавай готовую вышку. А если фонтан — кому «ура!»? Буровикам! Тех, кто им дорогу проложил, пласт унюхал, возил, грузил, варил и еще черт те чего только не делал, чтоб ладо бурилось, тех и не вспомянут. Вон как в Шанске. Все газеты жуют фамилию Ветрова. А как мы на Заячий сквозь буран пробивались — забыли...

— Не забыли, конечно. Гм-м. Тут ты кое в чем прав. Но ведь так всегда...

— То-то и оно, что всегда. Кому от этого легче? — Длинно, горестно вздохнул.— Возьми машину. Трактор, скажем. Глянешь снаружи — вся сила в гусеницах. Мнут, рушат, тянут. А забарахлила свеча в моторе — и гусеницы ни с места. Да что свеча! Проводок оголился. Резьба на болтике стерлась. И вся громадина мертва. Только когда каждая деталька напряглась, во всю мочь тянет, заданные обороты прокручивает, вот тогда машина на ходу, тогда — сила. Тогда поперек — и не думай...— Сплел непропорционально большие, тяжелые кисти, вскинул сдвоенный кулачище и, кхакнув, с силой опустил на острое колено.— Так и в экспедиции. Буровики без монтажников — что лампочка без току. Испытатели без буровиков — тоже ни с места. Один за одного, как шестерни. Ни черных, ни белых...

— Ни черных, ни белых —одни полутона? — подхватил Морозов.— Уравниловка? Круговая порука? Неоутопизм?

— Никакой уравниловки,— обиделся Валька.— Всяк за себя.— Растопырил пятерню правой руки, зашевелил пальцами, будто перебирая невидимые лады...— Каждый по силам и на своем месте. Но когда бить...— стиснув кулак, тяжеловесно потряс им,— все, как один. Ни разнять, ни разделить. И проголосовать, и козырнуть, и похлопать.— Валька жестами изобразил все, о чем говорил.— Тоже пальчики не вразброс. Вот так примерно получается...

— Инте-ересно-о! — протянул Морозов.

Видно было — зацепили его Валькины слова, взволновали, заставили думать. Что-то в них смущало, не укладывалось в привычные, устойчивые представления,

но что? Важно было выяснить это сейчас же, чтоб и Вальке показать ошибку.

— Постой-постой,— раздумчиво и вместе с тем нетерпеливо заговорил Морозов.— В одном ты прав — каждый винтик к месту, без этого машина мертва. Но ведь детали — не равнозначны. И внимание и отношение к ним, стало быть, не может быть одинаковым.

— Конечно! — насмешливо воскликнул Валька.— Есть король, есть пешки. Так, что ли? Только без пешек не бывает короля, а без королей пешки обходятся.

«Не туда повело,— подумал Морозов.— Оттолкнулся здорово, а прыгнул кувырком. Приземлить его, убрать иносказательность».

— Получается, руководителям грош цена, все вершат подчиненные. Возьми Лаврова...

— Лавров — солдат,— отпарировал Валька.

— Какой к черту солдат,— засердился Морозов,— по меньшей мере полковник.

— Суворов генералиссимуса имел, а все равно был простым солдатом...

— Генералиссимус — солдат? Не постигну сей премудрости.

— И постигать нечего, все на виду, поверху. Генералиссимус по делам да по титулу, а по духу, по жизни — солдат. Всегда в строю, в походе, из общего котла...

Морозов отвернулся к догорающему костру, пошевырял в нем прутом, выгреб уголек покрупней да пожарче, приставил к нему сигарету, раскурил.

— Значит, буровую ставим здесь. Завтра начнем монтаж. Вот обрадуются мои вышкари: истосковались по делу.

Оторопел Валька. «Не похоже, чтоб шутил». Недоуменно сказал:

— Сперва надо завезти сюда, потом монтировать.

Брызнули весельем шалые глаза Морозова, и он неожиданно расхохотался. Валька обидчиво поджал губы. Морозов успокаивающе похлопал парня по плечу.

— Слышал я когда-то такой анекдот. Поселился один в помещении, где много лет была парикмахерская. Утром чуть свет звонок. «Хочу побриться». Пояснил. Не успел от двери отойти — звонок. «Мне бы постричься». Объяснил. Только шагнул, опять звонят, и опять побриться. Почти насильно усадил почуявшего неладное клиента перед зеркалом, развел мыло и ну намыливать. Одни

глаза оставил. Потом его за шиворот и к двери. Распахнул и орет: «Запомни, здесь только мылят, а бреют — вон, напротив!» И поддал в соответствующее место. Ха-ха-ха! Так и у нас. Здесь будем только ставить, а монтировать — в Белоярье.

— Чего вы мне голову морочите: то здесь, то в Белоярье...

— Торопыга ты. Волюнтарист!

— Что еще за зверь? — насторожился Валька.

Внимательно выслушал пространное пояснение.

— При чем тут я?

— Бесчувственный ты, вот при чем,— с невеселой шутливостью ответил Морозов.— Девушка ради тебя родителей и подруг кинула, всем пренебрегла, а ты?

— Что я? — разом встопорщился, насупился Валька.

— Не ершись. По-дружески. Уважаю вас, бродяг, обоих, оттого и нос сую в чужой монастырь. Испокон веков так ведется: первый шаг за мужчиной. Случись наоборот, сам же пожалеешь: уважают и любят гордых. По себе знаю. Значит, решено?

— Что решено? — совсем потерялся Валька.

— Монтируем буровую в Белоярье. Немедленно. Выберем площадку у протоки. Как разольется осенью, вышку на понтоны и сюда на бугорок. В ноябре можем забуриться. Как?

— Собранную вышку на понтонах? — изумился Валька.

— Да еще под красным флагом...— Улыбка заиграла на губах, заискрился взгляд. Он вскочил, растопырил руки.— Представляешь? Хлещет дождь! Ветрина! И сквозь непогоду... по волнам... сорокаметровая махина с флагом наверху...

— Кто-нибудь делал такое? — Валька облизнул высушенные волнением губы.

— Никто, по-моему.

— Во всем мире?

— Может, и в мире. Может, нужды не было.

— Как же ее на понтоны?

— Вот об этом давай вместе думать. Ты в технике зубр. Шевели извилинами, решай!

— Сделаем! Чтоб мне провалиться, сделаем!..

2

Яд обиды не скоро и не бесследно выветрился из Лаврова. Нет-нет да и царапнет душу, кольнет, замутит, и станет мир серым и нудным, и тоска вцепится в глотку, и злость нальет кулаки свинцовой кровью, зажелезит голос, холодным и жестким сделает взгляд. Когда накатывала тоскливая полоса, Лавров, чтоб не сорваться, не зацепить, не обидеть кого-нибудь, спешил к неотложному делу и, захваченный им, постепенно остывал, отходил, благо чем ближе к зиме, тем больше становилось таких жарких, безотлагательных дел.

На Севере не раз бывает так: в самый разгар календарной осени ордынской сворой налетят холода, сомнут, стопчут, закуют в лед, завалят снегом все живое, и воцарится свирепая зима. Сграбастает врасплох — навек запомнишь. Помощи ждать не от кого. До Туровска — тысяча, до районной столицы Сарьи — триста. Дорог — никаких. Надейся только на себя. Штопай, латай, заделывай, запасай на семь месяцев на тысячу ртов...

Лавров приметно сдал. Охрип, проступили подковки под ввалившимися глазами. Научился на ходу выслушивать, приказывать, убеждать. Помощники понимали его с полуслова, по взгляду, по жесту.

Почти каждую ночь гремел аварийный рельс. Баржи перли нескончаемой вереницей. На берегу — некуда плюнуть: мешки, ящики, механизмы. Крана не было. Разгружали вручную.

Прибыли разом обещанные Смолиным все шесть комплектов двухэтажных домов. В два дня сгрузили, а потом собирали — всем миром. Школа, больница, ясли, контора обзавелись настоящей крышей.

Всего не хватало новоселам. Рабочих рук, кирпича, стекла, цемента и распроклятой сметно-проектной документации, из-за которой планы обустройства висели на волоске. Пришлось выкручиваться, изобретать на свой риск.

Когда банк в Сарье задержал зарплату, в магазине и в столовой ввели кредит. По молчаливому согласию рабочих в поселке установили сухой закон.

На последнем духовном и физическом пределе работали белоярцы. Иногда кто-нибудь срывался, костерил правых и виноватых, грозился немедленно уехать отсюда навсегда, но, остуженный молчанием товарищей,

скоро стихал и снова брался за топор иль за отвертку.

Каждый вечер Лавров по рации связывался с Туровском, закидывал Прутова неотложными поручениями: отправь детсаду игрушки, проверь, где баржи с дизтопливом, выбей к празднику фруктов, добудь автопокрышек и т. д. до бесконечности.

Иногда Прутов просил подкрепленья. Тогда в обком Смолину летели телеграммы. И сельхозснаб выделял нужные запчасти, а облпотребсоюз отправлял белоярцам овощи и овощные консервы.

Но вот наконец-то Прутов и сам появился в Белоярье и принял с ходу на свои неширокие плечи все, что вобрало в себя неохватное слово «быт». Этот невесомо сухой человек оказался двужильным. Он говорил спокойно, ровно, полуприкрыв глаза и чуть покачивая головой, но попятить его было прямо-таки немыслимо. В старомодной хромовой куртке, высоких сапогах и кожаной фуражке, с горящим взглядом, Прутов походил на комиссара гражданской войны, и, видно, за то его сразу прозвали продкомиссаром. Скоро все в глаза и заглазно так и стали называть его. Продкомиссар — и только. Выговаривая кому-нибудь впервой за нерадивость, непослушание или иное прегрешение, Прутов норовил сделать это незаметно и неслышно. Но стоило нарушителю пренебречь замечанием, проштрафиться вторично, и продкомиссар круто менял тактику. Теперь он заговаривал с провинившимся обязательно на людях, громко, апеллируя к собравшимся. Потому оступившиеся вторично сами искали встречи с Прутовым наедине, спешили покаяться и тем избежать публичной проработки.

Рабочий день в экспедиции начинался короткой планеркой в кабинете начальника. На нее сходились главные специалисты и руководители всех цехов: бурения, вышкомонтажного, механического. Обговаривали неотложные дела, распределяли силы и технику, обсуждали спорные вопросы. Бывало, дебаты затягивались, тогда Лавров переносил спор на вечер: световой день становился все короче, погода все неустойчивей, а недоделок...

Но в этот раз Лавров изменил своему правилу и не только не прервал затянувшийся спор, но и сам включился в перепалку. Всех удивило предложение Морозова: смонтировать буровую здесь и по осеннему паводку

протокой перевезти к Мертвому озеру. Первым его атаковал продкомиссар:

— А если не будет паводка?

— Кто подарит понтоны?

— С берега вышка сама спрыгнет?

Отбиваясь, Морозов рассвирепел, и когда от него потребовали гарантий, что в пути вышка не кувыркнется, он выхватил из кармана какую-то бумажку и завопил:

— Вот тебе гарантия! На! Держи! И подпись, и гербовая печать!

Все притихли. Прутов взял листок, деловито развернул, всмотрелся.

— Теперь другой разговор,— вернул бумагу Морозову.— Я согласен. Пусть экспериментирует.

Никто так и не узнал, что это была за «гарантия», потому что никому ее больше Морозов не показывал. Зато продкомиссар из непримиримого оппонента превратился вдруг в такого же яростного поборника морозовской задумки, и они уже вдвоем стали отбиваться от сомневающихся и возражающих. Поднялся такой тарарам, что обеспокоенная шумом Глаха дважды заглядывала в кабинет.

В разгар перепалки в кабинет вошли Матвеич с Мягковым.

— Откуда? Какими судьбами? — обрадовался Лавров, схватив за руки гостей.

— Смешной вопрос,— ворчливо, не без самодовольства ответил Матвеич.— Само собой — с неба. Привез почту, мясо, какие-то тряпки...

Говоря это, он неторопливо поздоровался с каждым за руку. То же проделал и Мягков.

— Помешали? — спросил он смущенно притихших геологов.

— Наоборот,— поспешил успокоить Лавров,— как всегда, в самый раз. Мы тебя частенько вспоминали. Как прижмет с чем-нибудь, так и помянем, пожалеем, что далеко...

— Дошла твоя молитва до бога. Позавчера избрали первым секретарем Сарьинского райкома партии. Похоже, в Сарье будет опорный пункт геологоразведки на Севере. И не снилась, поди, ей такая метаморфоза. Того гляди столицей сибирских нефтяников станет. Так мне Смолин сказал, когда сюда агитировал.

— Как там Шанск? — спросил Хижняк.

— Гремит! Вчера третья скважина дала фонтан. Ученые и корреспонденты не вылезают оттуда. Недавно в газете появилась статья Мельника. Не дошла еще до вас? Смело и умно ставит вопросы. Всыпал своему министерству и Госплану за осторожничанье и перестраховку.

— Под таким прикрытием только и похрабриться,— одобрительно, без иронии высказался Прутов.

— От фонтанов до промыслов — далеко. Надо сперва узаконить Шанск как нефтяную провинцию. Потом... туда даже реки нет. Как взять нефть? Строить пятисоткилометровый трубопровод на Туровск, а оттуда в цистернах? Прежде чем отважиться на такое, планирующие органы...— Не договорив, Мягков безнадежно махнул рукой и сел.

Все ожидали, что-то еще скажет секретарь райкома, а тот сосредоточенно жевал мундштук погасшей папиросы, морщил бугристый лоб и молчал. Расстелив на столе карту, Лавров стал рассказывать о делах экспедиции:

— Вот Мертвое озеро. Это все — болота. Летом абсолютно непроходимые. Здесь будет первая буровая. Отсюда всего шестьдесят километров по прямой, но... Протока совсем обмелела, даже катер не пройдет. Вот лабиринт. Из него был только один выход. Ждать холодов и по зимнику... Но сегодня предложили неожиданный вариант.— Повернулся, подтолкнул Морозова взглядом.— Сам рассказывай.

Остывший Морозов изложил свой план предельно коротко и внятно.

— И что же вы? — заинтересованно спросил Мягков.

— Рискнем,— твердо ответил Лавров.— Если ударят ранние холода и не управимся с монтажом до заморозков, попробуем перевести на санях вышку по зимнику. Все равно экономия...

— Управимся,— заверил Морозов, привычно запрокидывая голову.— Дней за двадцать максимум.

— Смотри, береги уши.

— Главная загвоздка — понтоны,— словно бы продолжая давно начатую речь, буднично тихо заговорил Прутов.— Сегодня лечу с Матвеичем в Голованево. Там есть в затоне. Пригнать успеем, но зимовать здесь! — Уперся взглядом в Мягкова.— Согласятся ли речники?

На всякий бы случай телеграммку от райкома начальнику линейного пароходства...

— Подпишу,— не раздумывая согласился Мягков.— Смолин только что из Москвы. Готовится документ об усилении геологоразведочных работ... Ваш бросок на Север одобрен. Окопались вы, на первый взгляд, недурно. Теперь раскручивайте бурение. Как с аэродромом?

— Зимой будем на лед принимать, летом — на воду. А вот весной и поздней осенью...— Лавров безнадежно причмокнул.— Да и на воду только Ан-2. Добрая стрекоза, да маломощна, малогабаритна...

— Ну смотри,— Матвеич погрозил кулаком,— пожалеешь.

— Ты еще не ушел? — Лавров засмеялся.— Куда как хороша твоя «Аннушка», дай бог ей здоровья. Но нам надо Ли-2 и покрупнее самолеты, иначе — задохнемся...

Первым выскользнул из кабинета Морозов и затрусил к монтажникам. С подписанной телеграммой неслышно скрылся за дверью Прутов, поманив Матвеича. В несколько минут кабинет опустел. Остались Лавров с Мягковым наедине.

Выжидательно посматривая на гостя, Лавров лениво размял папиросу, старательно продул мундштук. Мягков тоже сунул папиросу в рот и зажег спичку, да не прикурил... Желтый огонек лизнул сложенные щепотью пальцы, зашипел и погас. Вместе с обгорелой спичкой Мягков машинально положил в пепельницу и нераскуренную папиросу и разом отдалился от этого кабинета и от собеседника, забыв, где он и зачем здесь. Такое уже не раз случалось. Сидит на совещании, слушает, выступает, спорит и вдруг — будто в иной мир провалится: несколько минут сидит с отчужденным лицом и опрокинутым взглядом, болезненно трудно, медленно перемалывая какие-то думы, которые, видно, одному — не по силам, а поделиться — нельзя.

Скользнув взглядом по лицу секретаря райкома, Лавров поспешил напомнить о себе и как-то развлечь, развеселить собеседника.

— Прижился Русаков?

— Что? — Мягков вздрогнул.— А-а. Да-да. Пришелся ко двору. Стоящий работник и человек, по-моему...

— Отменный. Эталон геолога. Романтик, трудяга и в шутке смыслит...— Расплылся в улыбке, потеплев лицом и взглядом.— Как-то я попал в бригаду по про-

верке Голованевской экспедиции. Русаков там главным геологом был. Полетели мы с ним на базу сейсмиков. С нами журналист из области и товарищ из министерства. Забросил нас вертолет к избушке-развалюшке у озера, посреди тайги. Условились: через три дня прилетит сюда же. Вернулись к сроку — нет вертолета. Связались с экспедицией. «Нелетная погода. Ждите». Ждем день. Ждем два. Ждем три. Приели консервы, перетравили анекдоты. Тоска. Тут Русаков и сманил нас на озеро, порыбачить, пообещав геологическую уху. Снасти оказались в избушке. Соль на спине выступила, пока мы лунки выдолбили. Министерский гость пластом лег. Померзли часа два, а поймали — кошке закусить мало. Но Русаков все-таки затеял уху. Танцует вокруг плиты, грохочет кастрюлями, а мы по углам курим да над ним труним. А как запахло лавровым листом, москвич не утерпел, давай стол накрывать. Голодной слюной изошли, пока дождались ухи. А она получилась дивно до чего хороша. И лук там, и перчик. Хлебали, пока не употели. «Вы кудесник,— сыто и довольно басил столичный гость.— Из топора такую ушицу...» — «Зачем из топора? Из осетра»,— смеется Русаков. «Что за осетр?» — поддерживает шутку москвич. «Геологический».— «Так давайте его на стол»,— подначивает и журналист. «Извольте».— И вынимает из кастрюли жирную разваренную курицу. Это надо было видеть...

3

На небольшой полукруглой поляне в полусотне метров от протоки горделиво высилась буровая вышка с красным флагом наверху. Издали многотонная махина казалась изящной и легкой.

Четыре рокочущих тупорылых трактора, капризно пофыркивая и поплевывая черным дымком, как рассерженные хвостатые жуки, вертелись вокруг буровой. Кешка Хижняк вцепился в стальной хвост, и рокочущее чудище, вмиг присмирев, попятилось.

Парень ловко накинул петлю троса на крюк в головке спаренных полозьев, схожих с высокими нартами. Умиротворенно уркнув, трактор подволок их к оси в металлической опоре вышки. Тут же ее громадной клешней подцепил раскорячистый кран. Звякнула защелка — и буровая, накренясь, стала на нарты. Потом, таким же

способом, под нее с другого боку и спереди подвели еще две пары сдвоенных полозьев. На них и предстояло великанше перебраться на понтоны и вскарабкаться на бугор подле Мертвого озера.

Морозов и секунды не стоял на месте, вертелся вьюном между машинами и людьми, командуя взглядом, словом, взмахом. Вышкари и трактористы следили за ним, мгновенно и точно исполняя каждую команду. Но Морозов огорченно хмурился и все поглядывал на стремительно темнеющее небо. Вот-вот зарядит дождь, размесит, расквасит все, и тогда эта затея окажется мыльным пузырем. Он торопил монтажников, рабочие спешили из последних сил. Целый месяц работали они, как одержимые, сваривали, клепали, гнули, на ходу изобретая и проверяя крепления, подъемники, растяжки, с помощью которых можно было перетащить и закрепить вышку на понтонах.

Ночами тоже работали при прожекторах. Многие спали здесь же в вагончике.

Поставленная на нарты стодвадцатипятитонная пирамида казалась неустойчивой, набравший силу ветер так ее качнул, что у Морозова внутри похолодело.

— Давай, давай! — крикнул он Вальке Буянову.— Живо цепляйте!

Шесть гусеничных тракторов впряглись в сани, по два на каждые. Торопливой пробежкой Морозов облетел упряжку, оглядел, ощупал крепления, выскочил наперед, вскинул над головой красный флажок, и, оглушительно взревев стосильными моторами, трактора задрожали от сдерживаемого напряжения.

Флажок описал огненную дугу. С хрустом и скрежетом впились сверкающие гусеницы в землю, до звона натянув толстенные тросы. Сорокаметровая громадина качнулась и медленно, величаво поплыла. За ней на привязи тащились «страхующий» трактор и неуклюжий кран. А кругом врассыпную шагали монтажники.

К рычагам ведущего С-100 прирос Валька Буянов и задеревенел от напряжения. Только ввалившиеся покрасневшие глаза двигались, следя и за отражением вышки в зеркальце, и за напарником-трактористом, и за Морозовым, который, размахивая флажком, горделиво семенил впереди. Сейчас ему повиновались все, беспрекословно и слепо.

И от сознания этого и от удачи (опередили непогоду,

выдержали самодельные сани, пошла!) ему было необыкновенно хорошо.

Когда сани въехали на трап, загрохотали лебедки, пронзительно заскрипели блоки, и вышка, круто накренясь, стала медленно сползать к воде, на лбу Морозова проступил пот. Страховой трос натянулся струной, два трактора еле сдерживали клонящуюся пирамиду, за которой, замирая и бледнея, следили десятки людей.

На середине прогнувшегося, жутко поскрипывающего трапа вышка запнулась и стала падать.

— А-а! — прорвался сквозь грохот моторов чей-то вопль.

Несколько человек, пригибаясь, кинулись врассыпную.

Саженными скачками несся к вышке Валька Буянов. За ним, чуть приотстав, спешили напарники.

Еще не осмыслив происшедшее, Морозов знаком остановил лебедки и тут же скомандовал обратный ход подстраховывающим тракторам. Те разом попятились, натянули трос, не только удержав, но и выровняв вышку. Сваренные трубы, по которым скользили полозья, разошлись в одном месте, и полоз увяз в щели.

«Разойдутся трубы, провалится полоз — катастрофа»,— мелькнуло в сознании Морозова. Схватив Вальку за рукав, скомандовал:

— Цепляйте трактора к задкам саней. Рывок назад!

Выдернув заклиненный полоз, снова замерли трактора, и опять взвыли лебедки — спуск продолжался. Коварная ловушка еще раз сработала. Все повторилось. Притащили сварочный аппарат, заварили щель. И громче прежнего заголосили лебедки... Приняв буровую, с громким всплеском осели в воду понтоны. Их тут же облепили люди, спеша надежно укрепить буровую. А Морозов уже скомандовал грузить машины, оборудование.

И тут пошел дождь. Сперва мелкий, но вскоре посыпал гуще, а когда понтоны медленно отвалили от берега, хлынул такой ливень, что разом поглотил и тайгу, и поселок, и провожающих.

К ночи задул встречный сиверко, стало круто холодать, вперемежку с дождем повалил мокрый снег и началась такая падера — свету не видать. Непроницаемый ледяной мрак пал на протоку. Пришлось кинуть якоря.

Маленькое суденышко приютило немногих, большинство рабочих вместе с Морозовым остались на понтонах под мокрым, задубелым от холода брезентовым колпаком.

Будто седеющие исполинские космы, ветер крутил, мял и комкал струи дождя, со снегом смешанного. Глухо гудела, постанывая, непогода, все плотней окутывала зябнущих людей живая пелена воды и снега. Стремительные перекрестные струи секли брезентовый колпак, залетали под него, кропя студеной влагой тесно сгрудившихся людей. Поначалу, пока еще не выветрился жар физического и нервного перенапряжения, монтажники и трактористы подшучивали над непогодой, подтрунивали друг над другом. Но вот сырой холод угнездился в колышущейся палатке, исчезли улыбки и шутки. Все угрюмей становились лица, глуше голоса. И то, что какой-нибудь час назад казалось крепким спаянным коллективом, вдруг стало на глазах превращаться в кучку усталых, озябших, отчужденно-хмурых людей.

Морозов видел это. Он клял себя за то, что не завершил монтаж на два-три дня раньше, что не знал сейчас, как подступиться к этим угрюмым разобщенным людям, приободрить их. В институте его научили управлять сложными машинами, сваривать, клепать, ковать, угадывать составные части сплавов, понимать законы плавкости, упругости, вязкости, сопротивляемости материалов и еще многому, очень нужному и полезному. Но там ему не преподали даже азов человековедения...

Повернув голову, Морозов встретился с понимающим, сочувствующим взглядом Вальки Буянова, растерянно улыбнулся. Привлекая внимание рабочих, Валька громко кашлянул.

— Заснули, бедолаги, иль замерзли?

— Чего тебе? — неохотно отозвался кто-то.

— Костерок бы сообразить. А? Махонький такой. Чтоб только дух живой да пламя. Ну чего уставились? Зады приморозили? Давай шевелись. Железо есть. Сварганим поддон. Досок до черта. Щепай — не перещепаешь. Человек — бог огня. Слыхали такое? Сейчас как гуднет — сразу тепло и весело. Картошечки сварим, чайком побалуемся. Ну? Крутись!

И закрутились. А как начали мастерить жаровню под костер, разгорячились. Притащили в палатку лампу-подсветку. Застучали молотки. Одни гнули жесть, дру-

гие рубили доски. И вот загорелось пламя. Его тесно обступили, тянули руки.

А когда над огнем забулькало ведро с картошкой и в нос шибануло аппетитным парком, вовсе повеселело под мокрым брезентом. Та же качка, тот же холод, та же сырая мгла вокруг, а люди не те.

Выудив из кипящего ведра картофелину, Валька долго перекатывал ее из ладони в ладонь, дул и приговаривал:

— Вот она, кормилица. С пылу, с жару. Сам бы ел, да деньги надо...

Подхватили Валькин запев, и пошло:

— Сибирский ананас.

— Второй хлеб — никогда не приедается.

— Тоже сказал — «приедается». С середины зимы на консервах да на сушеной картошке...

— Свою растить надо...— Валька разломил горячую картофелину, рассовал в протянутые руки. Кинул остатки в рот. Сморщился. Крякнул.— Сыровата... Нам бы добрую полянку раскорчевать. Я и местечко приглядел. Картошечку, лучок, репку посадить. Смеходурство получается. Трактора есть. Земля есть. Руки — вот они. И климат вполне терпим. Ей-богу. Я тут пытал одного деда из-под Ниновки. Километров сто от нас, не больше. Так у них вся овощ своя. И молоко, и мясо тоже...

— Давай мы огороды городить, а дед пусть нефть ищет,— подначил Кешка Хижняк.

— Чепуху жуешь. Овес от конопли не отличишь, а туда же. Когда жизнь в норму войдет, времени для огорода здесь куда больше, чем у деревенского жителя. При нашей-то технике шутя на круглый год запасемся зеленью, от пуза будем лопать...

— Ты куда нас тянешь? — ввязался бригадир монтажников.— Мы кто? Мы рабочий класс. Кумекаешь, что это такое?

— Ну, кумекаю, кумекаю,— недовольно буркнул Валька.— Нам в Белоярье не гостевать, а хозяевать. Без хлеба с приварком не похозяйничаешь.

У бригадира объявились сторонники. Пока спорили, дошла картошка. Тут уж не до дискуссий. Потом и чай вскипел. Заварили покруче, подсластили вволю и долго блаженствовали, потягивая ароматную горячую жидкость, радуясь теплу, которое с каждым глотком все шире разливалось по телу.

Вместе со всеми Морозов с причмоком тянул из кружки чай и думал: «Теперь они — опять локоть к локтю. Молодец Буянов! Настоящий рабочий...»

Кружил над протокой свирепый северный ветер, раскачивал вышку, кропил ее ледяным крошевом. Но люди на понтонах, казалось, не замечали ни холода, ни ветра. Сгрудясь вокруг костерка, они судачили то о житейских мелочах, то о государственных и даже мировых проблемах. Говорили и спорили все, охотно и жарко, с непременной шуткой да занозистой подковыркой.

Едва, раздерганные ветром, поредели тучи, распахнув серо-голубое окно над протокой, как рабочие высыпали из-под провисшего брезента. Снова бойко застрекотал катерок, вышка тронулась и поплыла, царапая низкие ватные облака трепещущим красным флагом.

Глава девятая

1

Неумолимо, неуловимо время. Попридержать бы его, оглядеться, да куда там! Вот и спешим за ним всю жизнь, тянемся из последних сил. А не тянуться нельзя: отстал — пропал. Идущий в ногу со временем — уже вожак, а кто хоть мыслью забежал наперед — пророк. Ни шуток, ни заигрышей не приемлет оно, гляди да поглядывай, не прозевай крутой поворот, а то — вон из седла. Бывает, вчерашняя истина — сегодня уже ложь, а тот, кого еще недавно осмеивали как лжепровидца, становится признанным авторитетом. Таковы метаморфозы времени. Не всякому по зубам они...

Вот какие мысли роились в голове профессора Ростовского после долгожданного разговора с начальником нефтяного отдела милейшим Протуберанцевым.

Разговору этому предшествовало многое...

Почти полгода назад, когда первый фонтан первого Вавиловского загремел по стране, большущая группа ученых под руководством Ростовского наконец-то закончила исчисление прогнозных запасов нефти и газа в Западной Сибири. По самым предварительным, очень осторожным данным, получалось, что сибирские недра таят в себе 120 миллиардов тонн углеводородов, значительно больше, чем все доселе известные запасы страны.

Цифра обрадовала и ошеломила.

Всю жизнь Ростовский шел к этой фантастической цифре с десятью нулями. По малому камушку мостил неоглядную дорогу к подземным кладам Сибири. Нет, он был не первым и даже не сто первым, а, всего верней, последним из тех, кто без роздыху, всю жизнь пробивался сквозь тайгу и болота, через невежество и консерватизм к сибирской нефти.

Трубачом в этом великом походе был знаменитый российский путешественник и естествоиспытатель Петр-Симон Паллас. Написанную почти двести лет назад книгу Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства» Ростовский читал, как сказку: столько в ней было приблизительного, непроверенного, недосказанного. Но именно Паллас начертал первые неуверенно-робкие штрихи будущей геологической карты Сибири. Тонкие пунктирные линии его стали четкими и непрерывными под рукой Эверсмана и Миддендорфа. Эти три провозвестника нефтяного будущего Сибири смогли заглянуть под сизые мшаники и серые торфяники, увидев там, на недоступной тогда человеку глубине, скальные породы палеозоя и допалеозойских возрастов. То был подземный горизонт, непроницаемый гранитный фундамент, на котором покоилась многослойная толща останков всего живого, что за миллионы лет собрал океан, когда-то плескавшийся в гигантской Сибирской впадине. Это космическое по размерам и возрасту кладбище было мощнейшим аккумулятором углеводородов...

Через сто лет после Палласа русский бунтарь, неутомимый таежный скиталец следопыт Иван Черский и Эдуард Мартенс новыми данными подкрепили вывод своих предшественников: в недрах Западно-Сибирской низменности таятся несметные сокровища.

Контуры геологической карты доводили Карпинский, Высоцкий, Краснопольский и многие иные мужественные пионеры-первопроходцы — и ныне поминаемые и преданные забвенью. И как только на этой карте чья-то рука неуверенно, крохотными буквицами вывела **нефть**, поставив рядом огромный вопросительный знак, в поиск сразу включились практики, и уже в 1903 году горный департамент установил подесятинную плату за разведку на нефть в районах Приобья. А в 1911-м купцы Понамаренко получили дозволительное свидетельство на раз-

ведку нефти где-то в районе Сарьи. По их заданию инженер Пуртов с горсткой смельчаков обследовал этот район, взял пробы грунта с шестидесятиметровой глубины и отвез в Омск...

Долго и напрасно разыскивал Ростовский следы Пуртовской экспедиции: их смыла первая мировая война...

В 1932 году на Урало-Кузбасской сессии Академии наук СССР Ростовский услышал пророческие слова главного нефтяника Страны Советов академика Ивана Губкина: «Пора начинать систематические поиски нефти на восточных склонах Урала». Многие сочли эту идею несостоятельной, приняли ее в штыки. Даже мировой авторитет Губкина не оградил его от критических наскоков. Ростовский, тогда еще совсем молодой, начинающий ученый, сразу стал в ряды яростных поборников губкинской идеи.

Шли годы. Пухли каталоги статей, монографий, исследований, утверждающих сибирскую нефть, но подступы к ней так и оставались неведомы, ибо искать их следовало в первобытной глухомани, среди неприступных урманов и гиблых топей, а страна ни материально, ни технически не готова была к такому поединку с тайгой.

Весной тридцать четвертого вместе с экспедицией Вавилова ушел в колючую нехоженую мглу крохотный отряд студентов Ленинградского горного института во главе с молодым доцентом Ростовским. Вот тогда он впервые понял, что такое сибирская тайга, познал ее вероломный, жестокий характер, проклял и влюбился в нее на всю жизнь. Как они тогда хлюпали по болотам, блудили, тонули, голодали! Оборудование тащили на себе. Господи, какое это было оборудование! Смешно и больно вспоминать. Из тайги вырвались, как из преисподней,— живые мощи, обглоданные комарьем, оборванные, заросшие щетиной, с сумасшедшими глазами. В тощих рюкзаках — только дневники, карты выходов нефти, пробы грунта. Все это легло на чашу весов, где решалась судьба губкинской идеи, и те чуть-чуть колыхнулись в пользу академика.

На будущий год — снова тайга и снова качнулась чаша. По крупицам собирались силы для решающего штурма. И вот уже XVIII партсъезд записал в своей резолюции: развернуть геологоразведочные работы в восточных районах страны. Наркомтоп на поиск нефти

отправил в Приобье первую крупную оснащенную геофизическую экспедицию, наметил точки опорных скважин. Родился Западно-Сибирский геологоразведочный трест...

Война помешала... Снова тоскливо и тихо стало в вековых заболоченных чащах.

Но едва отгремели бои, на желтой грубой бумаге военного времени была отпечатана книга Ростовского «Перспективы нефтегазоносности Западной Сибири». А вскоре возникла Туровская нефтеразведочная экспедиция, встала первая опорная скважина.

Короткой жаркой вспышкой промелькнула молодость Ростовского. Лето — в тайге, зиму — в лабораториях и читальных залах. С капитанскими шпалами в петлицах всю войну — от звонка до звонка — прокомандовал саперным батальоном. Только на тридцать восьмом году обзавелся семьей. Ну что ж, каждому свое. Лишь об одном жалел — рано износился: скачет кровяное давление, и сердце давно сбилось с ритма, иногда так защемит, только «скорая» и выручает. Зато же и счастлив он! Не велико ли, не редкостно ли счастье оказаться среди тех, кто ныне поднимает знамя победы великой двухсотлетней баталии за сибирскую нефть?! И на знамени том, потрясая самих победителей, сияет гигантская цифра — 120 000 000 000!..

«Не загнули ли мы, товарищи?» — дрогнувшим голосом спросил тогда Ростовский соавторов расчета. Те молчали. Тогда Роман Романович Хитров бросился успокаивать супер-шефа (так он называл профессора за глаза). «И все-таки лучше пересчитать»,— предложил Ростовский.

И снова горячка. Ни дня, ни ночи покоя. Никаких выходных. Все наново, сызначалу, с азов. Нет, они не увлеклись, не завысили, получалась та же двенадцатизначная цифра. Ростовский понес свои выкладки в обком партии. Смолин за ночь прочел все, а утром: «Я верю вам, Никита Павлович, надо выходить с этой цифрой на союзную орбиту».

В Министерство геологии отправили записку Ростовского с предложением утвердить выдвинутые им прогнозные запасы нефтегазовых залежей Сибирской платформы. Записка как в воду канула — ни слуху. Прошел месяц, два, три, а из Москвы никаких вестей. Ростовский засыпал письмами столичных единомышленников:

«Позондируйте, где застряла бумага. Не пора ли звать на подмогу обком?» Единомышленники гудели в унисон: «Изучают. Проговаривают. Согласуют. С обкомом повремени, пригодится в решающий миг». Прошло еще немало дней, прежде чем в кабинете Ростовского зазвонил междугородный телефон.

— Дорогой Никита Павлович,— запела протуберанцевским голосом трубка. И Ростовскому почудился вдруг тонкий запах духов, который всегда исходил от милейшего Альфреда Аристарховича.— Рад возможности лично поприветствовать вас. Давненько не бывали в столице. Надеюсь, не здоровье тому причиной?

— Помилуй бог. Здоровье хоть не отменно, да жить можно,— с веселым, беспечным радушием отозвался Ростовский, а сам тяжелел взглядом, предугадывая недоброе.

— В наши годы не до гарцеванья, не до турнирных поединков... хе-хе-хе. Как говаривали отцы...

«Не тяни, выкладывай!» — повисло на кончике языка Ростовского, но он прищемил недобрые слова зубами, а дослушав длинный монолог до конца, спросил опять-таки прежним беспечным голосом:

— Как погодка в Москве?

Милейший Альфред Аристархович пространно живописал московскую погоду, посетовал на холода, на мелкоснежье, изложил виды на будущий урожай фруктов в своем дачном саду. Потом стал жаловаться на чрезмерную занятость и перегрузку, которые так затянули рассмотрение записки Ростовского. И только после этого неспешно и ловко стал расстилать соломку, готовя местечко, куда бы можно было с наименьшими повреждениями свалить профессора.

— ...Я хотел уклониться от неприятной миссии, в конце концов, свет клином на мне не сошелся, могут и другие передать вам коллективное мнение экспертов и руководства по поводу ваших расчетов, но — увы: воля начальства. Так что не посетуйте, не обессудьте, как говорили в старину...

Давно разгадав маневр милейшего, Ростовский многозначительно и как-то оскорбительно небрежно хмыкнув, мысленно поостерег его: «Легче на поворотах — гужи лопнут». Но тот, решив, что закрючил надежно, подтолкнул открыто:

— ...Вы назвали фантастическую цифру. Принять ее

значило бы перецентрировать не только геологоразведку, но и всю энергетику страны, сместив ее центр в Сибирь...

— Совершенно верно! — не качнувшись от коварной подножки, нанес ответный удар Ростовский.— Только так и надо действовать, если думать всерьез о будущем...

«Ах вот ты как, старый упрямец? Нет бы свалиться на мягонькое и лапки вверх, так ты еще упираешься. Ну, получай».

— Нет решительно никаких оснований принимать ваши прогнозы всерьез. Самые блистательные прожекты стоят вдесятеро меньше архипосредственной реальности...

— Шесть фонтанов в Шанске — уже не прогноз. Вот-вот откупорим новое месторождение у Мертвого озера. Это тоже будет не иллюзорная, реальная нефть.— Прижав трубку плечом, вставил в мундштук сигарету, прижег ее.— Уверен, Белоярская платформа станет вдесятеро, а может статься, стократ мощнее, нежели Шанская. Вы просто чуточку поотстали от времени, дорогой Альфред Аристархович.— Он выговорил последнюю фразу почти по слогам, зло, с нажимом.

— Вернее всего — вы забежали, Никита Павлович. Нефть в Белоярье,— что алмазные горы на Луне. Ими можно лишь любоваться. Помните ту лисицу — око видит, зуб неймет...

— Прикажут сверху — дотянетесь,— обозлясь, высказался Ростовский напрямки.— Вас ведь не затраты, риск смущает. Боитесь первыми «а» сказать. Привыкли под диктовочку, по циркулярчику...

— Дорогой Никита Павлович.— В голосе Протуберанцева смешались обида и гнев.— Мы с вами не обсуждаем работу планирующих органов. Позвольте все-таки высказаться о вашей записке...

«Наверное, стал как перезрелый помидор, и кулачок сжал, и глаза от елея очистились. Привыкай, голубчик, теперь мы — не просто провинция, а нефтяная провинция»,— подумал Ростовский, подливая масла в огонь:

— И жаль! Почаще бы вас на ветерок, чтоб равнялись не с тем, что было, а что должно быть...

— Позвольте все-таки высказаться о вашей записке. Через несколько минут коллегия, а завтра улетаю в Куйбышев. Так что уж вы, пожалуйста, наберитесь терпения...

Новые нотки — жесткие и властные — неузнаваемо

изменили голос. Ростовский обрадовался: теперь-то милейший выложит все без оглядок — и не ошибся...

— Вашу записку одни рассматривают как скороспелый продукт ура-патриотического местничества, другие склонны объяснять ее карьеристскими мотивами, третьи считают авантюризмом, но никто, я подчеркиваю, никто из официальных экспертов и руководства не принимает ваши выводы всерьез. Не дает вам покою магелланова слава. А тут эти фонтаны. Нефть ударила в голову, как пошутил наш председатель...

«Сейчас и тебя клюнет в темечко»,— мелькнуло в сознании Ростовского. Сказал с неприкрытым вызовом:

— Я попрошу обком направить эту записку...— он назвал фамилию секретаря ЦК, который приезжал в Туровск на совещание с геологами.

— Спекулируете на том, что стране нужна нефть...

— Понимаем, что нужна,— резко поправил Ростовский, выделив голосом первое слово.— И не только понимаем. Но и санкций не ждем. И ответственности не боимся!..

От фразы к фразе он говорил все громче, чувствуя, как затылок наливается огненной болью...

— Не спешите. Создана авторитетная комплексная комиссия. Завтра она вылетает в Туровск.

...Но вместо комиссии пришел приказ из министерства: «...совместно с геологоуправлением пересчитать и доложить приемлемый вариант».

Долго раздумывал, колебался Ростовский, прежде чем решился сократить вдвое цифру прогнозных запасов. Он знал: пока сломаешь рогатки Протуберанцева и тех, кто с ним и за ним, пройдет не месяц и, может статься, не год. Если же они признают хотя бы половину названной цифры, и то Сибирь по запасам станет на первом месте, будут развязаны руки, чтобы добиваться скорейшей разработки Вавиловского и форсировать разведку площадей вокруг Мертвого озера. Сто двадцать миллиардов не уйдут: расчеты и доказательства не поржавеют. Сейчас важнее добыть первую тысячу тонн, чем затевать изнурительную свару за признание пусть и очень важных, но всего лишь теоретических выводов...

В новой записке, которую вместе с Ростовским должны были подписать Ярков и Мурзаев, прогнозные запасы определились в пятьдесят миллиардов тонн.

2

— Дураков теперь нема! — с неприязненным самодовольством воскликнул Ярков.— Нет, ты послушай, Кабир, чего они предлагают,— небрежно перекинул через стол несколько скрепленных листов.— Пятьдесят миллиардов! Слышишь! Не пять, не десять — пятьдесят! Знай, мол, наших, и никаких гвоздей. Как их назвать?

— Впэредсмотрящими,— без улыбки ответил Мурзаев.

— А мы кто же? — ужаленно крутнулся Ярков.— Обозники?

— Узколобые практики,— бесстрастно откликнулся Мурзаев.

— Ты что? Перебрал вчера? — голос Яркова зарокотал июльским громом.

— Спроси его,— Мурзаев кивнул на Хитрова, который принес на подпись записку Ростовского.— Вэсь вэчэр вчэра просидели вмэсте... Нэ хмурься: на корте. Были свидэтелями позорного краха нашего «Геолога». Шэсть — ноль. И кому? «Речнику»!

— Как?! Опять? — Ярков с размаху припечатал кулак к столу.

Не без оснований он почитал себя крестным отцом и благодетелем единственной в области классной хоккейной команды «Геолог». По его приказу из разных городов сманили опытных игроков, зачислили в штаты экспедиций, исправно выплачивали зарплату, премиальные и отпускные за то, чтобы те забивали шайбы. «Геолог» сразу сделался любимцем болельщиков, а вчера второй раз подряд позорно, с сухим счетом продул любительскому «Речнику».

Разгневанный Ярков приказал немедленно вызвать председателя профкома, тренера и капитана проигравшей команды. Едва запыхавшийся председатель перешагнул порог, как его оглушило:

— Опять твои подопечные тебе в карман наделали?

— Вы о вчерашнем матче? — деловито осведомился догадливый профдеятель.

— О вчерашнем и предыдущем. До каких пор...

И начался разнос по-ярковски...

Прежде Хитрову никогда не доводилось присутствовать на подобных воспитательных моментах, и он со смешанным чувством любопытства и стыдливости наблю-

дал разыгравшуюся сцену, которая походила на «поединок» фехтовальщика с чучелом. На ниве любого профсоюзного работника всегда сыщутся какие угодно сорняки. Надергав их отовсюду целый веник, Ярков с мстительным наслаждением хлестал им безмолвного председателя. «Что это? За что?» — недоумевал Хитров и вдруг прозрел: да ведь профсоюзник — просто козел отпущения, а нацелены ярковские громы и молнии — в Ростовского. Своим предписанием о пересчете прогнозных запасов с участием управления Министерство геологии то ли преднамеренно, то ли случайно подставило Ростовскому роковую подножку: какую бы цифру ни предложил институт, управление с ней ни за что не согласится. Да и требование второй подписи выражало сомнение в праве Ростовского единолично представлять подобные документы.

Осознав происходящее, Хитров искренне подивился недальновидности своего супер-шефа. Помнит тысячи цифр, наименований, фамилий, часами может рассказывать о каком-нибудь открытии, а вот под ногами у себя ни шиша не видит, не может решить пустякового житейского уравнения с единственным неизвестным. Первым подписав новый расчет, подставил себя под неминуемый удар...

Когда разгневанный начальник управления начал было успокаиваться, появились капитан и тренер хоккеистов. Все началось сначала, только теперь в прицеле оказались спортсмены. Председатель профкома отступил, сел и принялся носовым платком стирать пот с ладоней.

А Мурзаев увлек Хитрова к низенькому журнальному столику, и там, не обращая внимания на происходящее, они разговорились.

— Чудит твой шеф,— сверкая влажными зубами и белками огромных глаз, сказал Кабир Усманович.— Для нэго больше — лучше, для нас — наоборот: мэньше пообещай — больше дай. Мы эти цифры нэ пэром, долотом должны написать, а оно туда-сюда нэ умеет.

— Пятьдесят миллиардов можно подписывать, не заглядывая в расчеты,— очень равнодушно, как о чем-то совсем его не волнующем, сказал Хитров и покрутил маленькой головой, не то расслабляя тугой ворот рубашки, не то разгоняя застоявшуюся в загривке кровь.

— С зажмуренными глазами даже детей дэлать рис-

кованно, а то...— подмигнув блестящим черным глазом, Мурзаев высказал остроумную, по его мнению, скабрезность и захохотал.— Прогноз — тот же диагноз. За ошибку можно головой, а она одна.

— Тогда просмотрите расчеты. Вы же геологи, не кулинары,— выговорил Хитров так же нехотя, сморщив при этом курносое веснушчатое лицо.

— Понимаем — поэтому страхуемся. Лучше меньше навэрняка, чем больше — на авось.

— Какую цифру вы предлагаете? — вяло поинтересовался Хитров.

— Три с половиной миллиарда,— почти не отделяя слов, выпалил Мурзаев.

Недавнее напускное равнодушие разом скатилось с Хитрова. Вытянув и без того длинную шею, округлил в улыбке толстогубый большой рот, согнал к губам смешливые морщинки, но, встретясь на миг глазами с Мурзаевым, понял: тот не шутил, не рызыгрывал. «Перестраховщики. Не верят в то, что сами делают. А позвони сейчас сверху, намекни — сто пятьдесят подмахнут... Три миллиарда! Насмешка. Чем в Сибирь за тремя, лучше в Поволжье за тринадцатью неразведанными. Под собой сук валят...»

Почувствовав на себе взгляд Мурзаева, Хитров поежился, вымученно улыбнулся. Кабир Усманович понимающе покачал разлохмаченными, отдающими синью черными кудрями, успокаивающе накрыл тонкой смуглой ладонью белую пухлую руку Хитрова.

— Бэрэги нэрвы. Молодой. Все впэреди. Как это? «Все пройдет, как с бэлых яблонь дым...» Слыхал про пэрстэнь царя Соломона? Случится ЧП, повэрнет его камнем вниз, там надпись: «И это пройдет». Все врэменно. Только нэрвы не восполнимы. Нэльзя так — либо лбом, либо чэрэз вэрх. Черэпок нэ расколешь, так шею свэрнешь. Иногда вокруг короче. Эти расчеты — мэлочь. Сэгодня подпишем три, завтра — тридцать, послезавтра — триста! К тому катится. Нэ нам остановить, нэ нам торопить. Мы вэзем. Бэреги мотор, чтоб на подъеме нэ сдал. Согласэн?

— От моего согласия ни сладко, ни солоно,— сказал Хитров и тут же поспешил вернуть разговор к изначальному: — Ростовский взбеленится...

— Что дэлать? Он умный. Нужный. Настоящий ученый. Бэз таких не распэчатать бы сибирскую нефть. Но

он — последний из могикан. Старая, отживающая школа. Все — к сердцу, через нэго, а оно — нэ пластилиновое. Тэперь век рационалистов. Мэльника знаешь? Вот образэц. Смэлый, но осторожный, упрямый, но гибкий, мудрый, но рассудительный.

— Канатоходцем бы ему в цирк,— смиренным тоном подкусил Хитров.

— Жизнь тот же цирк, только без арены,— спокойно и серьезно, словно не замечая подначки, ответил Мурзаев.

— Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты,— с другого боку подковырнул Хитров.

— А как иначе? — опять нимало не смутился Мурзаев.— Друзэй выбираешь, как платье: по росту и к лицу.

— Покуда нов сюртук — в чести, а там забыт и...— не унимался Роман Романович.

— Нэт. Дружба от времени нэ вэтшает. Заходи вэчэрком. Мэльник будэт. Слыхал его план?

— Краем уха. Приходил к Ростовскому советоваться.

— Во! — обрадованно воскликнул Мурзаев, озаряясь довольной улыбкой.— Наглядное подтверждение. С наукой посоветовался, с практикой согласовал. Волки — брюхо потирают, овцы — брюхо наедают. Ха!

— Рано ему из Шанска,— как бы между прочим обронил Хитров.

— В самый раз. До вэсны развэдочное бурэние перспективных структур закончит. Дальше дело промысловиков. Прилегающие площади сейсмики прощупали — нэ густо, как у...— опять выпустил непечатное присловье и, коротко, озорно хохотнув, продолжал: — А у Сарьи очень заманчивое поднятие. Не хуже, чем у Лаврова. Зато на триста километров ближе к Туровску, райцентр — под боком, населенные пункты — рядом. Вэликолэпный прицел! Придешь? Жену захвати. У друзэй не отбиваю. Ха-ха-ха!

Глава десятая

1

Всю зиму в Белоярье стучали топоры и пели пилы. Строили всем миром. Инженеры, учителя, буровики,

экономисты научились заправски орудовать мастерком, рубанком, кистью.

Не все приняли как должное негласно введенную стройповинность. Велика ли радость каждый день после работы махать топором иль таскать носилки? На иных не действовали ни пример руководителей, ни уговоры товарищей. Тогда геологи решили на профсоюзной конференции: первым получает благоустроенную квартиру тот, кто больше работал на строительстве. Первыми в детгородок принимаются дети тех, кто больше...

Главным, неодолимым препятствием оказалось отсутствие проектно-сметной документации. Ссуды, наряды, лимиты, проекты, сметы — все это находилось в сложной, запутанной взаимосвязи, порой замыкающейся в заколдованный круг. Почти все типовое — апробированное, обкатанное, выверенное — не подходило по размерам либо не выдерживало здешних холодов. Лавров хотел обустраиваться в Белоярье по-хозяйски — добротно, прочно и надолго, а его толкали к позиции временщика, говоря, что «Москва не сразу строилась», что «пока и так ладно, а поживем — увидим...».

Лавров знал генеральную линию Яркова: геолог-разведчик — временный житель, и нет нужды капитально его обустраивать. Однажды едва не сломал шею, пытаясь молча и неприметно эту линию обойти. Теперь он хотел сделать то же, только открыто и громко, и, постепенно ожесточаясь, все решительней наскакивал на тех, кто эту линию проводил в жизнь. Неудачи подогревали желание в открытую сцепиться с Ярковым, высказать ему все, о чем передумал.

В разгар зимы Лавров с главбухом почти две недели путешествовал по кабинетам геологоуправления, пытаясь добыть деньги и материалы, но плановики, снабженцы и экономисты дудели в одну дуду с начальником управления.

Готовый к взрыву, как граната с выдернутой чекой, Лавров однажды в одиннадцатом часу ночи появился у Яркова. В кабинете дурманяще пахло натуральным кофе. На тумбочке курилась ароматным парком сверкающая кофеварка. Не спрашивая, Ярков подал чашку с черной душистой влагой, придвинул коробку с пиленым сахаром:

— Пей. Одно спасенье. За день так уделаешься, без допинга на полуоборотах не тянешь.

Бросив короткий колючий взгляд на начальника управления, Лавров понял: не рисуется. Всем напиткам он предпочитал крепчайший чай с сахаром вприкуску, заваривал его всегда сам и пил не спеша, со смаком, довольно причмокивая. Он всюду возил с собой металлический чайничек, заварку и сахар. Но сегодня на чай лучше было не надеяться: дай бог к полуночи возвратиться в гостиницу. Эта неожиданная чашка кофе оказалась как нельзя кстати. Медленно, с упоением, до последней капли выпил он живительную влагу.

— Еще? — спросил Ярков.

Благодарно кивнув, Лавров протянул пустую чашку. Лениво взял протянутую сигарету, не спеша раскурил, сделал глубокую сытную затяжку и медленно, крохотными клубочками долго выпускал пахучий дым. Блаженно прикрыл на миг глаза, и тут же заплескался в ушах тягуче-дремотный гул тайги, и сквозь него еле внятно долетел отдаленный дремотой голос:

— Кончил хожденья по мукам?

«Черт знает что с ним сегодня. В глазах чисто и в голосе. Может, я отупел от маеты?» И все же ответил миролюбиво:

— Давно бы кончил, если б от меня зависело.

— Заедают бюрократы?

«Ну, начинается,— обрадовался Лавров.— Сейчас по своим местам: левое — слева, правое — справа, можно будет наконец-то начистоту...»

— А эти бюрократы,— с легкой укоризной продолжал Ярков, нажав интонацией на последнее слово,— каждый вечер толкутся здесь, гадают, как выкроить для тебя лишнюю тысчонку, откуда подкинуть технику, где раздобыть проект.

«Ловчит. Заигрывает. Только распахнись — ахнет по незащищенному. Испробовал. И задираться пока не с чего...»

— Чего ж они со мной-то на ножах?

— Попробуй-ка с тобой ласково, потакай да соглашайся, ты сразу затребуешь и Дворец спорта и филармонию. Да все на столичном уровне. А денег у нас — в обрез, материалов — концы с концами сводим. Да и дай мы тебе все, что просишь,— забуксуешь, средства заморозишь, наплодишь незавершенки на свою и нашу голову. Хозспособом много ли выстроишь? Но и это не самое важное.— Сделал многозначительную паузу.—

Нельзя обустройство на первый план. Государство кормит нас за то, что мы нефть ищем, требует метры проходки, новые месторождения, а все остальное попутно.— Опять выпятил интонацией последнее слово и с тем же нажимом еще раз повторил его: — Попутно. Понимаешь? Не смотри так: я не подводная мина. Сам в таких доспехах не один год бедовал. Все хребтом испробовал.— Вздохнул, погладил сверкающий глянец лысины.— Не сегодня, не здесь загорелся сыр-бор. Вот что улови. С чего начать? Этот вопросик знаешь с какой бородищей. Эге! Логика и опыт как отвечают? Сперва жилье и быт, потом — бурение. А на практике? Сначала забурись, потом на бегу обустраивайся. И везде так. Завод уже машины клепает, а жилье, магазины, столовые — только на ватмане. Не у тебя одного голова болит. Не самодур Ярков всему причина...

Ничего подобного не предполагал услышать Лавров от этого человека. Считал его бездушным бюрократом с заржавелыми мозгами, которого ничто не волновало, кроме устойчивости собственного кресла, а оказалось, он понимал и думал. Это настолько поразило, что Лавров сам себе не поверил и, чтобы окончательно убедиться, спросил:

— Сам-то ты в какую сторону рулишь? Люди или метры на первом плане?

— Хм, «рулишь». Ты хоть на воде-то удержись. Рулят — там,— ткнул оттопыренным большим пальцем за спину.— Наше дело — под козырек и бухти́, куда указано...

Эта обнаженная, граничащая с цинизмом откровенность разозлила Лаврова. «В простачка играет. Лежачего не бьют, вот он и лапки кверху. Прячется за широкие спины: все понимаю, но руки связаны. Демагог!» Подобрался, выпрямился, а Ярков вдруг спросил:

— Как Рита с девчонками на новом месте?

И снова Лавров потерял колею, смиряя на ходу раздражение, ответил как можно приветливей:

— Акклиматизируются потихоньку.

— Кланяйся ей. Когда домой?

— Хоть завтра. Сижу как на иголках. Хомяков кончает бурить, отличный керн. Надо быть там, а я валандаюсь, в кошки-мышки играю...

— Нельзя семь горошков на ложку.

— Хоть бы два, но наверняка.

— Какие? — вскользь осведомился Ярков, перебирая бумаги в пухлой папке.

— Школу и больницу.

— Даем же школу на двести мест, строй на здоровье.

— Через год-полтора в поселке будет две с половиной тысячи. Значит, четыреста учеников...

— Две смены по двести, и весь вопрос,— устало, но решительно отпарировал Ярков.

— Не надо двух смен! — запальчиво возразил Лавров и загорячился.— Осточертела времянка! Нам нужна двухэтажная. Односменная. На четыреста мест. С мастерскими, актовым и спортивным залами, столовой...

— Вот, пожалуйста.— В голосе Яркова усмешечка и укор.— Только что об этом говорил. Видишь как? «Нам нужна» — и точка. Да у нас и проекта-то такого нет.

— Будет! Гражданпроект обещает к весне выдать. Ты пойми, Ярков, людям в Белоярье не год жить. Пока болота прощупаем да разбурим. Десять лет минимум. Добрая треть всей трудовой жизни. Вдумайся! Летом гнус жрет. Зимой мороз гложет. В июне деревья распускаются, в августе — опадают. Да что говорить! — Боднул правым кулаком воздух.— Ладно, нам на роду написано. А молодняк? Он-то за что? Нам не только нефть — край обжить. Наши поселки — как крепости цивилизации в медвежьей глухомани. И экономичней это. Честное слово! Многоступенчатость расточительна. Балок — барак — дом без удобств и лишь потом — настоящее жилье. Подсчитай-ка, во что влетит такая чехарда? Не лучше ли из балка сразу в благоустроенный дом...

Что-то в этих мыслях было уже знакомо Яркову. Читал? Слышал? Иль сам когда-то подумывал о том же? Похоже, сам подумывал. Когда тринадцать лет назад возглавил первый отряд нефтеразведчиков в Туровской области. Он так тогда и именовался — начальник Туровской нефтеразведки. Ни денег, ни машин, ни спецовки. Трест — за две тысячи километров, и ему на ту нефтеразведку — наплевать. Целыми днями ходил побирался. Лошадей раздобыл — нет сена. Сеном разжился — нет сбруи. Чертово колесо. Не раз напивался от бессильной ярости, такие радиограммы посылал в трест — вспомнить смешно и страшно. Тогда он и мечтал о геологических чудо-поселках. Лелеял эту мечту, верил в нее, жил ею... Всего тринадцать лет... целых тринадцать... Та фантастическая ярковская мечта для

этого уже реальность. А промежуток меж ними всего в десять лет. Сбросить бы этот десяток. Стать вместо него начальником Белоярской. С такой техникой да при деньгах он бы еще подтер нос Лаврову. У Мельника тоже техника и деньги, а в смете нового поселка — ни одного капитального объекта, все подчинил производству. Засосут Лаврова клумбочки и дачки, провалит план. Не двужильный ведь, два воза не свезти. Мельник не дурак...

— А силы, силы где? — с какой-то непонятной болью выкрикнул Ярков.— Тебе не только строиться — и геофизикой, и бурением заниматься...

— Не твоя забота. Утверди смету, выдай титул, профинансируй, остальное — берем на себя. Опекунов и нянек не надо, сами...

«Ах, «сами-сами», чертов зазнайка. Задира. Нахал! Ни башки, ни кулаков не жалеет. Каков будет, когда нюхнет славы? У Мельника на языке — мед, в глазах — лед, сверху вниз норовит взглянуть, а уж, кажется, чего ему не сделал? Как этот зауросит под гул фонтанов? Вишь, как взглядывает — насквозь и глубже. Маг-ясновидец. А вот я тебе козу заделаю...» И не обронив ни слова, Ярков занялся приготовлением кофе. Вытащил из тумбочки кофемолку, всыпал горсть зерен, смолол, засыпал в кофеварку. И все это неспешно, молча, деловито. А когда наконец, покончив с этим, поднял глаза, в них блеснула несвойственная ему добродушная лукавинка, обескуражила, смутила изготовившегося к бою Лаврова.

— Мне глянется твоя затея. Глянется. Это точно. Такой орешек, между прочим, не всякому по зубам. Ты — поперешный, может, и разгрызешь. Только учти — никаких тебе стройтрестов, строительно-монтажных участков не будет. Это уже твердо. И не канючь! Деньги дам, в титул включу, и школу двухэтажную, и больницу, и чего там тебе еще? — Лавров отрицательно качнул головой.— Столковались. Стройматериалы сам выколачивай. Рабочую силу изыскивай. Провалишь, на следующий год — ни шиша. Справишься — планируй Дом культуры и стадион. По рукам? — и протянул короткопалую сильную руку.

— Спасибо,— растроганно бормотнул Лавров.

— Кушай на здоровье. Только косточкой не подавись,— подмигнул улыбчиво и многозначительно.— Зав-

тра с утра заходи с Мурзаевым, обсудим планы сейсморазведки и бурения на будущий год. Там болота страхолюдные. Значит, буровые все лето на приколе?

— Нет! — запальчиво возразил Лавров и даже привстал.— Не будет этого. Найдем. Придумаем. Вышку на понтонах сообразили, и тут Морозов с Буяновым...

— Который чуть тебя не придавил?

— Тот самый. Сейчас только и разговору — как летом бурить? Не может быть...

— Ну-ну. Дай бог вашему ягненку волка задрать. Надумаешь что — не мурыжь в сейфе. В пакет и сюда. Договорились?

— Хорош!

Стрелки настенных электрических часов давно перешагнули полночь и начали отсчет новым суткам. На пустынных черных промороженных улицах Туровска — ни души. А эти, словно забыв о времени, сидели друг против друга, уставясь в лежащую на столе геологическую карту, и разговаривали. Когда разговор неприметно снова вернулся к обустройству, Лавров поведал о недавней поездке в Свердловск. Там выступал он перед студентами политехнического. Человек сто пятьдесят вызвалось на лето в Белоярье строить школу и больницу.

— Вот на этот резерв я и намекал.

— Не прогоришь? — засомневался Ярков.— Обсчитал, во что обойдется помощь?

— Подсчитал,— успокоил Лавров, назвав нужные цифры.

— Надоумил кто, или сам?

— Сынишка Хижняка поехал туда на заочный поступать. Одержимый парень. Фанатик! Разговорился в общежитии, описал житье-бытье. Ребята понаслушались, засосало под ложечкой. Прислали с Кешкой письмо, хотим, мол, руки приложить. Вот я и махнул...

Спал город, окутанный стылой тишиной. Призывно и ярко светились в темноте окна кабинета начальника геологоуправления.

2

Почти три года Валька Буянов месил Шанские болота. И гусеницами, и сапогами. Болотным солдатом себя прозвал. Думал, никакими хлябями его уже не удивить. Но вот в конце ноября довелось ему в тридцатиградус-

ный мороз пробиваться с вагончиком сейсмиков на север от Мертвого озера. Ухнул Валька в неподвластную стуже трясину и едва успел выскочить из кабины трактора, который почти совсем скрылся в пузырящейся вонючей жиже. Тогда-то и понял Буянов, что Шанские болота хоть и велики и страшны, но в сравнении с этими — так себе, пустячок. Тогда и догадался наконец, почему коренные жители Севера нарекли этот район Мертвым. На сотни верст окрест ни жилья, ни следов человеческих. Даже зверь сторонится этих мест. И найдешь здесь нефть — так не подступишься к ней, не возьмешь.

Поведал Валька невеселые думы свои Морозову, а тот и сам, оказывается, давно мозги ломал над тем, что летом делать буровикам и монтажникам, как двигаться по болотам, если в них и зимой трактора тонут. Неужели с июня до октября сидеть сложа руки и ждать у моря погоды? Не за тем залезли они в эту глухомань, чтоб целое лето комаров пасти. Надо было бурить, бурить и бурить. Сейсмики прочили вокруг Мертвого озера большую нефть. С нового года в экспедиции заработает вторая буровая бригада, к весне — третья. Три бригады должны полгода простаивать? Валька не мог примириться с этим. И до того его одолели болотные проблемы, что он о них даже с Глахой не раз разговаривал.

Не много времени минуло с того вечера, когда Валька ввалился в приемную и с ходу, при подружке покаянно повинился изумленной Глахе, но и в этот короткий срок парень неузнаваемо изменился, и Глаха не успевала удивляться, открывая в нем все новое и новое. Както он огорошил ее:

— Ты не сердись. Я взял билеты, а не пойду в кино.

— Заболел, что ли? — обеспокоилась она.

— Да нет,— промямлил Валька.— Дело одно. Неотложное.

— Дело подождет,— отрезала Глаха.— Сделаешь на два часа позже.

— Да не мое дело-то... то есть не то что не мое, а не от меня зависит, хотя и я тут... в общем...— Запутавшись вконец, Валька покраснел и выпалил: — В семь совещание у Лаврова по генплану поселка...

— Так там начальники цехов да главные. Сама обзванивала. Ты-то при чем?

— Надо мне,— потерянно лопотал Валька,— интересно же!..

— Звали тебя, что ли? — не унималась Глаха.

— Чего меня звать! — засердился он, голос его стал твердым, а взгляд — прямым и острым.— Сказал Лаврову, что хочу послушать, и все...

— Сам?! — изумилась девушка и долго молчала.

Улыбнись тогда Глаха, иль скажи хоть слово насмешливое, иль жестом хотя бы выкажи небрежение — не быть бы им больше вместе никогда. Но она сказала спокойно и серьезно:

— Конечно, иди, раз надо. Кино никуда не денется.

И тем навеки завоевала Валькину благодарную душу.

Долго шел Валька к осознанию своего места в жизни экспедиции. Это чувство прорезалось как зуб, сначала невидимо и неощутимо, потом лишь прощупывалось при нажиме, потом заявило о себе непонятной болью, а после вдруг показалось наружу, блестя ослепительно и остро.

Он был всего лишь тракторист. Обыкновенный, каких в экспедиции немало. Больше всего в людях Валька почитал скромность, оттого, верно, и не афишировал своих заслуг. Мало кто знал, что это он придумал, как перетащить на понтоны буровую, он и трап склепал из труб. Даже в письмах закадычному дружку Платону Ветрову не обмолвился об этом Валька.

С Глахой он был по-прежнему нежен и малоречив. О чувствах они не говорили, выражая их по-своему: Глаха — притворно-сердитой воркотней, под которой, как мякоть под скорлупой, таилась нежность, Валька — бесконечными заботами о ней.

Встречались они не часто: трактористы работали по полторы-две смены, доставляя буровикам и сейсмикам горючее, продукты, почту...

Почти всю последнюю неделю Валька торчал в сейсмоотряде, помогая ремонтировать занедужившие трактора. Воротился в поселок поздним вечером. Наскоро перекусив, кинулся в красный уголок, а оттуда бегом в балок, где Глаха проживала с одинокой радисткой.

— Ой! — вскрикнула Глаха не то обрадованно, не то испуганно.— Как же ты? Не сказал, не предупредил...

Передернув плечами, Валька изобразил на лице виноватую растерянность, просительно-опасливо затянул:

— Собирайся скорей. Я билеты в кино купил. Места занял. Через двадцать минут...

— Здрасте-пожалуйте,— взволнованно закрутилась на крохотном пятачке.— Он купил! Он занял! Через два-

дцать минут! А я — не умыта, не одета, не причесана. Да выйди же наконец! Чего стоишь? Бессовестный! Должна же я переодеться...

Пока просидели два часа в душном, переполненном красном уголке, разомлели, и оттого мороз показался нестерпимо жгучим. Прошагали торопливо в конец шеренги металлических балков, подошли вплотную к черной стене тайги, свернули на только что пробитую окружную дорогу к причалу и пошли по ней, опасливо обходя пни и коряги, которые лезли из-под снега под ноги, цеплялись за одежду. Ветерок с реки наждачил лица, выдувал из-под пальто остатки тепла. А куда деться? В Валькином балке восемь парней холостякуют, у Глахи в купе недовольно пыхтит перезрелая рябая радистка... Страдал Валька, боялся, что Глаха домой заторопится, и удерживать нельзя: застудится. Тут его осенило, немного поколебавшись, он сказал легковесно, как бы ненароком:

— У меня ключ от конторки механика. Там такой «козел», мигом нагреется.

— Еще чего не хватало, по конторкам прятаться.— И даже фыркнула рассерженно.

— Зачем прятаться? — поспешил разъяснить Валька.— Зажжем свет...

— А я-то темный угол искала, я-то думала...

И не миновать бы ему доброй взбучки, если б он вдруг не ляпнул:

— Давай поженимся, Глаха. Лавров комнату даст. Ну, не комнату — полбалка. И ты всегда рядом, и прятаться не надо, и вообще... я ведь... сама знаешь... надоело так...

Заступила Глаха путь, взяла его за отвороты полушубка и не своим, низким голосом:

— Чего тебе надоело?

— Все,— уныло и опустошенно выдохнул Валька.— Плохо без тебя. Разве не видишь?

— Может, и не вижу,— отстранилась от парня, попятилась, но полушубка не выпустила.— Может, и не смотрю вовсе...— Неожиданно кинула руки ему на шею, прижалась к худой плоской груди и тихо, щемяще просто: — Хорошо, Валя. Согласна...

Подхватил ее Валька, оторвал от земли, прижался щекой к щеке и зашептал ей в маленькое ухо, и от слов его жарко и сладостно стало Глахе до слез, и она все крепче сжимала Валькину шею.

3

Он с разгону наскочил на Лаврова, отлетел, едва не упав.

— Буянов? Ты что? Пьян?

— Точно, Глеб Леонидыч. Насухую только. Без напитков.

— Научи, как это ты, глядишь, сотню-другую сэкономлю.

— Женюсь я... Сейчас вот... решил с Глахой...

— Поздравляю.— И насмешливо: — Ключи от машины сдай Хижняку, а то...

— За это не беспокойтесь. Сапер единыжды ошибается. Батя так с фронта писал.

— Сапером был?

— Ага.— Валька горестно вздохнул.— Как писал, так и... Только раз ошибся.

— Когда свадьба? — нарочито задорно спросил Лавров.

— Да мы хоть...

— Тогда, чур, уговор... Свадьба через месяц. Закончим еще один восьмиквартирный и вам как первым молодоженам в качестве свадебного подарка ключ от двухкомнатной с расчетом на ватагу буянят...

— Спасибо,— растрогался парень, с размаху звонко шлепнув ладонью о протянутую ладонь.

— Пройдемся маленько, освежимся,— предложил Лавров, сворачивая на проезжую дорогу.

И снова они очутились на краю поселка, и снова мрачной крепостной стеной замаячила перед ними ночная тайга. Молча миновали опушку и, шагая неторопливо в ногу, пошли в глубь безмолвного леса. Подсиненные лепехи снега облепили кедры. В просветах меж деревьями — пугающая чернота, и снег там серый, будто пеплом посыпанный.

— Когда от сейсмиков? — спросил Лавров.

— Сегодня. Еле поспел в кино.

— Не увяз?

— Я по своему следу. Целиком-то боязно. Сверху ничего, а колупнешь — жижа.

— Д-да. Подкатила мать-природа ежика, откуда ни зайди — колется.

— Могли бы вы сейчас точно указать, где надо будет бурить Хомякову весной и летом, если болота по-

зволят пройти? — торопкой взволнованной скороговоркой начал Валька и осекся.

— Можем, Буянов. Посидим, подумаем, обговорим с управлением и выдадим все точки. А что дальше?

— Дальше так будет,— азартно подхватил Валька.— И еще как будет! Слушайте сюда.— Наклонился, поднял сучок, колупнул им снег.— Вот тут последняя зимняя буровая Хомякова. Так? Следующая пускай здесь.— Еще раз ковырнул заветренную снеговую корочку.— И тут еще.— Новая вмятинка появилась на белом бугорке.— Весной и летом к этим двум не проехать: болота не пустят. Но если сейчас приготовить туда дороги...

— Какие? — перебил Лавров.— Не осилим. На обыкновенные лежневки ни духу, ни денег не хватит...

— При чем тут лежневки? — непонятно на что осердился Валька. И опять затараторил, заспешил: — Отец рыбалить зимой страсть как любил. А на морозе промок — пиши пропало. Так что он удумал? Валенок окунет в воду — и в сенки. Тот за ночь тонким ледком покроется, не промокнет, а тепло в нем. Не понимаете? Берем мы эту дорогу,— соединил бороздкой две вмятинки на сугробе,— и теперь же начинаем с нее бульдозерами снег с мохом вместе сдирать. Выпадет — снова с мясом его. Опять насыплет — опять соскребем.

— Зачем?

— Чтоб болото глубже промерзло. Без снегу-то при здешних холодах оно и на полтора и на два метра, а то и глубже. Чем не бетон? Понимаете? Потом, как к весне повернется, промороженную дорогу закроем тем же мхом да песком. Теплоизоляция, значит. Наверняка половину лета можно будет по этим ледянкам и буровые возить, и все, что надо. А где вышке стоять, таким же макаром наморозим фундамент...

— Слу-у-ушай, Буянов! Да ты понимаешь?.. Да у тебя золотая голова...

— Ну что вы... ну вот...— засмущался Валька,— может, и не получится...

— Не получится — уши оборву собственноручно. Завтра на планерку. Придадим тебе пару бульдозеристов, и двигай свою идею. Молодчина!

Приказом по экспедиции был создан еще один цех — дорожный, и возглавил его Валька Буянов.

Часть вторая

Глава первая

1

Густая и клейкая предрассветная тишина обволокла деревья, затопила таежные прогалины и буераки, подмяла ночные звуки и запахи.

Тайга затаилась, как рысь перед прыжком.

Сверху, через окна, прорубленные в чаще бесчисленными озерами и болотами, робко сочился рассвет.

Посветлело небо и над круглой болотиной. Обступившая ее мрачная стена леса вдруг ожила. По поляне, все ниже припадая к земле, заметались косматые тени. Туман, по-гадючьи шипя, пополз вверх, навстречу рассвету.

Утро раздергало туман в клочья. Болотина озарилась неярким сероватым светом. Тускло зажелтели березы, закраснели осины. Над темной порослью багульника раскрылился пожухлый папоротник.

В угрюмом молчании сонного леса послышалось скрытое движение пробуждающихся живых голосов, которые, капля по капле стекаясь, сливались в единый поток. Протрубит журавль иль подаст сигнал дрозд-деряба, и поток прорвется наружу, захлестнет тайгу.

Откуда-то из неведомой дали принесся неясный звук, отдаленно похожий на лягушачье кваканье,— простонал лось.

Громко фыркнула лосиха. Самец тут же откликнулся густым, низким рыком.

Тревожный шум стремительно приближался к поляне. Напролом сквозь завалы и чащи мчался лось, ослепленный зовом бунтующей плоти. С треском, похожим на выстрелы, ломались сучья. Звонко хрустел валежник. Мягко шлепались в мох кедровые шишки.

Самец был матерый, темно-бурый с проседью, в светлых «чулках», с белым подбрюшником. Загнанно дыша, он подбежал к неглубокой бочажине, с разбегу ткнулся в нее носом. Желтая вода заклокотала вокруг лосиных губ.

Зверь пил недолго. Сердито колупнул копытом податливую землю, вытянул шею и застонал. В помутневшем взгляде огромных немигающих глаз, в надрывном утробном реве сивого великана — яростная, нестерпимая страсть.

На поляну валкой рысцой выбежала молодая лосиха. Сивый подлетел к ней, обнюхал и заревел еще громче и надрывнее, на весь лес трубя о сжигающей его любви, вызывая и предостерегая соперника.

Тайга безмолвствовала.

Сивый протрубил умиротворенно и смолк.

Лосиха стояла неподвижно — расслабленная, ожидающая. Всхрапнув, самец положил ей на спину тяжелую голову...

Тут из лесной глуши, как запоздалое эхо, донесся хрипловатый рев: отозвался соперник.

Дрожь прокатилась по могучему телу сивого. Глаза стали красными. Лось грозно рыкнул. Невидимый соперник тут же откликнулся: принял вызов.

Он был моложе и стройней. Светло-желтый, с гладкой, блестящей шерстью. Большие, будто вытесанные из черного камня рога казались невесомыми на гордо вскинутой голове.

Старый самец ринулся навстречу сопернику. Ослепленная любовью молодость бесстрашна. Длинные тонкие ноги желтого будто вросли в мох. Только на взгорбленной холке шевелилась шерсть, вставая дыбом.

С грохотом сшиблись разлапистые рога. Точеные ноги желтого почти по бабки ушли в землю.

Самцы дрались все ожесточенней. Эхо разносило по тайге надсадный храп, сопение, стук рогов. В воздухе мелькали комья земли, мох, листья. Срезанные ударами копыт, падали тонкие деревца. Скоро лесная поляна была вся искорежена и перепахана.

Опыт и сила были на стороне старшего. Яростно сопротивляясь, молодой медленно отступал.

В последний, решающий удар матерый самец вложил всю свою силу. Смертельно раненный желтый лось забил копытами, рассыпая вокруг кровавые брызги, упал

бездыханным. От удара рога сцепились намертво, и павший пригнул к земле победителя. Тот попытался было вскинуть голову, но тяжесть поверженного гнула ее к земле. Сивый еще раз рванулся, и опять мертвый не пустил живого.

Подошла лосиха, пугливо прядая ушами. Собрав все силы, сивый поднял на рогах тело сраженного и тут же, будто надломившись, рухнул наземь.

Они лежали лоб в лоб. Молодой и старый. Живой и мертвый. Победитель и побежденный.

Лосиха уходила робко, с оглядкой. И чем дальше отдалялись ее неуверенные шаги, тем больше слабел великан. Когда же следы лосихи растворились в монотонных вздохах тайги, сивый безжизненно распластался на земле: смирился, сдался...

Поднялось над тайгой солнце. Над неподвижными, будто сросшимися телами зароилось наглое воронье, скликая на пир любителей даровой поживы.

Первыми пожаловали муравьи. Облепили лосиные головы. Сивый отфыркивался, встряхивая рогами, отчего шевелилась и голова соперника. Мертвый враг оказался страшнее живого.

К вечеру сивый забеспокоился. Поводя большими встопорщенными ушами, вылавливал из разноголосого гула затихающей тайги подозрительные звуки, пугливо вздрагивал, косился по сторонам.

Ночью на поляну набрел медведь. Сивый рванулся и даже привстал на передние ноги, но повисшая на рогах двадцатипудовая туша вновь его уложила...

Смерть примирила соперников и соединила навеки.

Сколько весен прошумело над намертво сцепленными скелетами лесных великанов? Пять?.. Десять?.. Двадцать пять?..

На этот вопрос и силился ответить Русаков, разглядывая лосиные скелеты. Он вырос в тайге, знал звериные повадки и живо представил себе разыгравшуюся здесь трагедию. Но когда это было, ответить не смог. Да и так ли уж это важно — когда... Он устал, захмелел от хвойного духа и уже не мог одолеть дремоту. Приставив ружье к лосиным рогам, Русаков повалился рядом. Подложил сцепленные ладони под голову, поворочался, приминая траву, и враз расслабил натруженные мышцы.

Аромат пожухшего багульника слегка туманил го-

лову. Подле уха что-то невнятное шепелявила осочка, потрескивала крыльями зависшая над головой стрекоза, с еле уловимым шорохом ложились на траву отжившие листья. Разгорался погожий день.

Над поляной, оглушительно хлопая крыльями, пролетел глухарь. Сел на березу. Приклеился черным пятном к желтым кружевам. Тут и неопытный охотник ни за что не промажет. Русаков потянулся было к ружью, да раздумал. Шут с ним, пускай еще поживет. Перезимует, дождется весны, всласть натокуется с расфуфыренной глухаркой. Улетел бы скорей, не дразнился.

Над ухом тоненько и нудно зазвенел комар. «Жив еще»,— подивился Русаков, выжидая миг, пока комар сядет, чтоб прихлопнуть его. От этой крохотной летающей твари летом ни сна, ни покою геологам.

Зевнув протяжно и сладко, Русаков потянулся так, что суставы хрустнули. Чертовски хорошо! И в голове, и в теле дремотная пустота.

Он спал и не спал, хотя веки были плотно сомкнуты, а в ушах загустел тягучий вздох прогретой солнцем осенней тайги. Не раскрывая глаз, нашарил бугорок, придвинулся, положил на него голову и тут же заснул.

Проснулся Пантелей Ильич в поту. Привстав, огляделся.

Исчезло ружье. Похититель оставил следы: пустую пачку «Беломора», стежку в траве. Нахал! Знает, что по таким следам в тайге вора не ищут.

Сколько лет Русаков бродил по урманам, а такого не случалось. И здесь уже второй год доживает, всю тайгу вокруг поселка вкривь и вкось излазил, ни разу не натолкнулся на чужого человека. Неужели свой, из экспедиции? Видно, не зря поселковые бабы страшатся в одиночку за грибами да за ягодами ходить. Летом сюда кто только не залетает. Едут и едут. Хорошие и плохие... Жаль ружье. Бельгийская двустволка. Как перышко, а бой преотличный, да еще один ствол нарезной. Незаменимая вещь для таежника. А главное — отцовское. Сколько лет берег и...

Ругнулся, достал из кармана курево.

— Не надо ль огоньку? — раздался за спиной насмешливый знакомый голос.

Из травы поднялся Мельник с пропавшим ружьем в руках. Расставил циркулем ноги в бродних с голенищами до самых бедер.

— Здоров ты спать. Из обоих стволов отсалютовал, не ворохнулся. Не почуешь, как косолапый слопает.

— Подавится. У меня косточка сибирска, мужицка,— отшутился Пантелей Ильич.

— Я по правому берегу Кедровки шел. В такую трясину запоролся — еле ноги унес. Набрел на эту поляну и... Заколдованное место.

Молча выслушал рассказ о смертельном поединке двух великанов. Спросил, болезненно морщась:

— Когда это случилось?

— Кто знает... Пять, а может двадцать пять лет назад.

— Двадцать пять. Да-да. Четверть века.— Вцепился в отросток рога, стиснул его, заскользил по поляне цепким ищущим взглядом. Невнятно пробормотал: — Похоже. Очень...

Не расслышав слов Мельника, по-своему истолковал его волнение Пантелей Ильич.

— Этому повезло,— низким глуховатым голосом сказал он, кивнув на меньший скелет,— в бою погиб.

— Да-да. Повезло,— механически повторил Мельник, снова обшаривая поляну глазами.— Отсюда до Кедровки...

— Максимум пять километров,— подсказал Русаков.

— И ползком дотащишься.

— Не пробовал,— улыбнулся Русаков.— Да что-то и не хочется...

— Таким способом только от смерти либо к ней,— очень медленно проговорил Мельник и неожиданно бодро спросил: — Где твои трофеи?

— Вот.— Русаков кивнул на лосиные скелеты.

— Не богато. Я подстрелил тетерку и пару рябчиков. Приглашаю на банкет. Фирменное блюдо — боровая дичь на вертеле. Правда, с напитками...

— Есть спирт.

— Тогда за дело,— излюбленным движением потер кисти рук.— Беру на себя жаркое. Ты — костер и сервировку стола.

Аккуратный костер кучерявился ярко-красными завитками пламени, озорно постреливал искрами. Сладкий запах хворостяного дыма мешался с ароматом сосновой смолы и багульника.

Развалясь на куче свежих веток, мужчины аппетитно покуривали. Пантелей Ильич искоса поглядывал на

соседа. Герман Кузьмич небрежно швырнул в костер погасший окурок и, не меняя позы, глядя куда-то мимо собеседника, заговорил:

— Завтра в Туровск. Опять баталия с Ярковым. Конец навигации, а половина грузов не завезена. Снова на самолетах и глину, и цемент, и трубы. Плакала себестоимость. Второй год доходит, как мы из Шанска сюда перекочевали, а за что ни дерни — то и рвется. Как новое месторождение здесь застолбили, Ярков златые горы обещал, теперь пару тягачей не выколотишь. Легки и скоры мы на посулы.— Помолчал. Повернулся на бок, поймал взгляд Русакова.— Вчера опять Мурзаев звонил. По твою душу. Никак не подберет начальника Юргинской экспедиции. Пришлось поцапаться, хоть и старый друг. Привыкли на готовенькое...

— А я-то думал: баба с воза — кобыле легче.

— Не набивай цену, не похвалю.

— И не надеюсь. Просто решил, что поднадоел тебе.

— Ты — не сахар, это точно. Поперешный мужик. Любишь против шерсти. Скоро мы три года в одной упряжке, а все не притерлись.

— Был у меня друг фронтовой. Отар Гоциридзе. Отменные тосты произносил. Вот такой, например... Один бедуин лег спать под деревом, привязав скакуна к стволу. Ночью вор увел скакуна, оставив взамен дряхлую клячу. Проснулся бедуин — вай-вай! Вскочил на клячу, поскакал по следу похитителя. И вот диво — нагнал вора. Увидел тот погоню, давай понукать жеребца. Хлещет плетью, рвет удила, а скакун еле ноги переставляет. До слез обидно стало бедуину, что дохлая кляча догоняет его чистокровного арабского рысака. «Эй! — закричал он вору.— Ты — старая баба, а не наездник. Тебе только ослов пасти. Пощекочи жеребца за ушами». Тот послушался. Скакун взмыл и пропал с глаз... Выпьем за то, чтобы рядом всегда был кто-то, могущий пощекотать нас за ушами.

Раскатисто и громко, во все горло хохотал Мельник.

— Отменный тост. Только я не жалуюсь на нехватку погонял. И понукают, и хлещут, и щекочут. Хватает стимуляторов. Направь свой заряд на...

— Поиск новой структуры.

— Точный прицел. В Белоярье уже пятое месторождение открыли. И какое! Лавров их как блины печет. Будь они на полтысчонки поближе к Туровску да у Лав-

рова другой характер, давно бы там началась добыча.

— Он не карьерист, это точно,— с вызовом сказал Русаков.

— При чем здесь карьеризм? — встрепенулся Мельник.— Просто он копун, все рассчитывает да обосновывает. Не спешит к финишу, а конец — делу венец.

— Хороший конец не спасет плохое начало.

— Спасет! — решительно возразил Мельник, сверкнув неприязненно взглядом.— Еще как. Копни историю, там таких примеров...— И, осуждающе покачав головой, с неподдельным сочувствием: — Идеалист ты. Прямо музейный экспонат. И ведь не птенец желторотый. Скоро сорок. А за спиной? Буровой мастер, начальник партии, главный геолог экспедиции. Пятнадцать лет...

— Завидная память...

— Кадры надо знать,— выговорил Мельник.

— По анкете...— Русаков пренебрежительно хмыкнул.

— И по анкете,— жестко отчеканил Мельник, задетый, видимо, за живое.— Без нее — как с завязанными глазами. С каждым пуд соли не съешь, а тут все-таки...

— Чем «все-таки»,— Пантелей Ильич сделал ударение на последних словах,— да еще из бумаг, лучше уж ничего. Тут хоть предвзятость исключается и...

— Не согласен.— В уголках тонких губ затеплилась улыбка.— Не будь анкет — откуда историки и писатели станут черпать материал для жизнеописаний героев?

— Пусть и заполняют анкеты претенденты в герои... Будешь в управлении — позондируй насчет душевых, сушилок и прочего комфорта буровиков. Решили ведь: на новом месте — новый быт, а живем втрое хуже, чем в Шанске. В Белоярье вон давно ни балка, ни барака.

«Носится с Белоярьем, как кот с пузырем»,— неприязненно подумал Мельник, но смолчал: не хотел ни словом, ни тоном выдавать неприязнь, а скрыть ее — чуял — не сумеет. Только по раздутым вздрагивающим ноздрям да шевелящимся желвакам можно было бы угадать его настроение, но Русаков в это время наблюдал поединок муравьев. То ли из разных кланов были они, то ли что-то не поделили, только дрались упорно и беспощадно. Русаков дунул на забияк, и те разбежались в разные стороны. Мягко улыбнувшись, он прикрыл глаза, поудобнее развалился на ветках, задумался.

Круг солнца медленно катился по зубчатому хребту бора, перепрыгивая с верхушки на верхушку, косые солнечные лучи подзолотили воздух. Тихо. Только в такой тишине и думается по-настоящему...

— Мечтаем? — Герман Кузьмич, привстав, принялся подкидывать в костер огарыши.— Давно наблюдаю за тобой. Хотел угадать, о чем ты думал,— не получается. Вся эта телепатия — обыкновенное шарлатанство.

— И слава богу. Мои мысли — моя святыня. Если мы в самом деле научимся читать чужие мысли и управлять ими — конец человеку. Обнаженное тело сковывает, смущает его. Обнаженная мысль — убьет...

Улыбаясь то ли словам собеседника, то ли ласковому теплу, которое струили раскаленные кусочки древесины, Герман Кузьмич деловито и старательно сгребал в кучу алые угли затухающего костра.

— Черт знает откуда у тебя такие сантименты,— сказал, не гася улыбки и не прекращая, видимо, приятного ему занятия.— Сюда бы картошечки. Вот были б печенки!

— В другой раз напечешь.

Мельник по-мальчишечьи лихо присвистнул.

— Разбежался! В этом году такого разу больше не будет.— Оторвал взгляд от костра, повел по сторонам, говоря: — Хорошее местечко!..

Вдруг вздрогнул. Слегка побледнел, напрягся, то ли высматривая что-то, то ли думая. Небрежно швырнул прут в костер. Кинул туда же, уже сердито, елбвую шишку, раздраженно стер смолу с рук.

— Болота кругом. Хоть криком изойди — никого...

— Тут до нашей дороги к буровым рукой подать, самое большое — десяток километров.

— Теперь да.

— Ты о чем? — Русаков недоуменно захлопал длинными желтыми ресницами.

— Хочу запомнить эту полянку.— Вынул из полевой сумки карту, склонился над ней.— Место все-таки историческое. Кажется, здесь...

— Тут,— подтвердил Пантелей Ильич, заглядывая через плечо Мельника.

На том месте, где только что был прижат его палец, Герман Кузьмич поставил жирную точку.

— Давай заодно окрестим местечко.

— Наречем Судной поляной.

Сивые лохмы бровей Германа Кузьмича взлетели вверх.

— ...Эти двое так и остались не рассуженными,— пояснил Пантелей Ильич.— Даже смерть не смогла рассудить.— Погладил отбеленный временем отросток рога.— Любовь не вина, за нее мала любая плата...

— Уговорил.—Мельник ровными буковками написал на карте «Судная».— По прямой до Пионерского километров тридцать пять.

— Напрямки здесь и танк не пролезет.

— Можно по Кедровке на плоту. Она чуть ниже Пионерского в Обь впадает.

— Новый путь из варяг в греки.— Русаков засмеялся.

— Все дороги ведут в Сарью,— раздумчиво произнес Мельник.— Построим там настоящий город нефтяников...

— Надо строить на месте нашего Пионерского. Река — рядом, тайга — под боком, нефть — под ногами.

— Ты и название новому городу придумал?

— Придумал,— не замечая иронии собеседника, с готовностью откликнулся Пантелей Ильич.— Славгород. Город трудовой рабочей славы. Всенародное признание заслуг многих поколений геологов, которые через такое чистилище пробились к сибирской нефти...

— Да ты — трибун! — искренне подивился Мельник.— Вот не думал. Название вполне приемлемо. Будь моя воля решать, я так и назвал бы — Славгород.

— Кто знает,— с непонятной грустью тихо проговорил Пантелей Ильич и вздохнул.— Может, ты и будешь решать. Конь под тобой добрый, в седле сидишь крепко. Взлетишь на такую высоту, что...

Кисло сморщась, Мельник прервал:

— Двинем домой. Пока выберемся на дорогу...

2

Машины в условленном месте не оказалось.

— Что за хреновина...— закипел усталый Мельник.

— Машина не человек, лопнуло чего-нибудь, и вся недолга. Пойдем навстречу.

Они неторопливо шли серединой еще не наезженной дороги, запинаясь за корневища. В лесу был уже полумрак.

Герман Кузьмич чертыхался, но Пантелей Ильич мол-

чал: он любил вечернюю тайгу с ее неясными вздохами, шорохами, жутким лешачьим уханьем. И, заслышав отдаленный шум двигателя за спиной, Русаков не обрадовался, а подосадовал: жаль было расставаться с покойным таежным привольем. Но вот и Мельник уловил рокот мотора и сразу остановился.

— Живем, Русаков! Какая-то техника сзади.

— Атээлка. С буровой Ветрова или Грозова.

— Давай перекурим, подождем.

Оба были уверены, что, заметив экспедиционное начальство, водитель тут же остановит машину. Но легкий тягач АТЛ, едва не зацепив Мельника гусеницей, пронесся мимо и запетлял по дороге.

Взбешенный Герман Кузьмич выстрелил сразу из двух стволов. Когда лес поглотил гул выстрелов, послышалось приближающееся урчание мотора. АТЛ медленно пятился задом. Водитель, высунувшись из кабины, ловко маневрировал машиной между пеньками.

За рулем оказался буровой мастер инженер Ярослав Грозов, и заготовленная Мельником обойма резких слов так и осталась нерасстрелянной. Он знал этого отчаянного острослова и балагура еще по Шанской экспедиции, где тот проходил производственную практику. Ярослав отказался от инженерной должности, напросился буровым мастером и не упускал случая подкусить начальство. Потому-то Герман Кузьмич наигранно весело спросил:

— Чего мимо поперся?

— Мираж! Понимаете? Еду. Вдруг возникает волшебный образ...

— Юной феи,— подсказал Пантелей Ильич.

— Почти. Объем бюста — сто восемьдесят, бедер — двести пятнадцать. Неотразимое, пленительное существо! Маячит перед ветровым стеклом, зовет и манит... Хорошо — выстрелили, а то газовал бы до самого Пионерского.

— Почему сам за рулем? — поинтересовался Герман Кузьмич.

— Дизель забарахлил. На вахтовую не поспел. На этой коняге,— похлопал ладонью по кабине,— цемент привозили. Отправил водителя с вахтой, наверное, уже в состоянии невесомости... Живой пример практической целесообразности овладения смежной профессией...

В кабине АТЛ умещалось трое. Герман Кузьмич поманил Русакова: «Полезай!»

— Нет, я в кузове.

В углу кузова кто-то сидел спиной к кабине.

— Добрый вечер,— поздоровался Русаков, высматривая местечко, где бы удобнее присесть.

— Здравствуйте, Пантелей Ильич,— откликнулся высокий девичий голос.— Садитесь рядом. Тут брезент.

— Рая Ветрова, что ли?..

— Угу.

— Как ты в машину Грозова попала?

— Мимо ехал — подхватил.

— Поздновато возвращаешься.

— Зато с комфортом.

— Почему не в кабине? Боишься Ярослава околдовать?

— Он сам кого хочешь околдует. Тесно там. Как в клетке. А тут...

— Зимой, поди...

— И зимой езжу в кузове. Люблю мороз. И...

— Чай с вареньем?

— По себе судите?

— Точно. Неравнодушен к этому продукту.

— Не думала, что вы — сладкоежка.

— Соленое, острое и сладкое — моя страсть. Борьба противоположностей... Отец на буровой?

— Дома.

Сам не зная зачем, помимо воли, спросил вдруг о бригадных делах и смутился своего вопроса: уж больно нелепым показался он в такой обстановке. Но Рая, видимо, восприняла вопрос как должное, охотно ответила:

— Нормально. Если что не ладится, отца с буровой на канате не утянешь.

— Это так,— согласился Пантелей Ильич, удобно вытягивая ноги и прижимаясь спиной к борту.

Кузов подкидывало, трясло, качало, но Русаков, казалось, и не замечал болтанки.

— Хорошо поохотились? — спросила Рая насмешливо.

— Отлично,— ответил он как можно бодрее.

— Дичь вертолетом отправили?

— Своим ходом ушла.

— Стоило в такую даль?

— Стоило! Я тоже обожаю сквознячок. И мозгам, и нервам необходим. Да и думается в одиночестве лучше.

Гусеницы АТЛ утюжили дорогу. Посреди лобового стекла кабины торчали два железных кронштейна, похожих на бычьи рога. Как только в голове Мельника родилось такое сравнение, рога-кронштейны сразу же принялись угрожать ему, подстерегая миг, чтобы боднуть. АТЛ круто задирал нос, и рога молниеносно устремлялись на Мельника. Машина ныряла в выбоину, и он сам летел на рога. Надо было все время быть начеку, не спускать глаз с опасных железяк. Это раздражало, и, когда, с разгону налетев на пень, АТЛ вдруг остановился и кронштейн больно боднул Германа Кузьмича в щеку, он так отогнул рог в сторону, что металл треснул.

Ярослав насмешливо сощурился, но проговорил менторским размеренным голосом:

— Социалистическая собственность — основа нашего благосостояния.

— От этой собственности без глаз останешься,— пробурчал Мельник.

— От собственности — без глаз, а у слепого — какая собственность?

— Не выдуло из тебя институтскую пыль. Кругом законы да формулы...

— Предпочитаете беззаконие? — саркастически-деловито осведомился Ярослав, толчком ладони переключая скорость.

— По законам да по формулам только в книгах.

Дорога пошла ровней, накатанней. Звонче и бодрее запел мотор. Свет фар на миг выхватывал из темноты гигантские дуги склонившихся над просекой берез, огромные стволы поверженных деревьев, лежащие на обочинах то беспорядочной кучей, друг на друге, то в одиночку. Это кладбище лесных великанов вызвало у Германа Кузьмича восторг. «Наворочали, черти! Всю тайгу кувырком. Машины не выдерживают, а люди тянут...»

Кузов АТЛ — как палуба штормующего корабля. Рае это нравилось. Она довольно улыбалась и вполголоса мурлыкала песню без слов, приплетая к ней все новые мелодии.

Ревел мотор, тарахтели гусеницы — Русаков не слышал песни, да если и услышит... Он не похож на других. Рядом с ним и беспокойно, и тепло. Девчонки за глаза зовут его Дон Кихотом. И вполголоса пропела:

На турнире, на пиру и на охоте
Ходят слухи об отважном Дон Кихоте.
Тря-ля-лля-ля-лля-ля-лля-ля...

Ах, этот Дон Кихот. Смешной и милый. За что его так прозвали? Наверное, за вежливость. Кругом только и слышишь мать-перемать, а этот чертыхнуться не умеет...

3

Поселок Пионерский прилепился на некрутом правом берегу большой полноводной реки. Два года назад тут была тайга — глухая, заболоченная, нехоженая. Деревья стояли у самой воды, полоща в ней вымытые рекой корневища.

За два года тайга заметно потеснилась, отступила, оставив после себя шеренги пней, царапучие коряги, топкие болотинки.

Люди пощадили несколько десятков кедров и сосен за величие и красоту, и те одиноко возвышались над поселком — молчаливые и строгие, как обелиски.

В центре Пионерского красовалось единственное двухэтажное здание конторы геологической экспедиции. Его с трех сторон обступали добротные брусчатые бараки, в них разместились столовая, магазин, школа, жили инженерно-технические работники и рабочие. А вокруг, не соблюдая никакого порядка, вспугнутым заячьим выводком разбежались деревянные и металлические балки, крохотные дощатые насыпушки, игрушечные бревенчатые избенки. На речном берегу кучно сгрудились землянки «копай-города».

В поселке жили самые разные люди. С тех пор как по стране прогремела весть о Вавиловском месторождении, а потом, несколько месяцев спустя, все узнали о еще более мощном и далеком Мертвоозерском, сюда, в доселе безвестные, глухие районы Сибири повалили и неугомонные непоседы-изыскатели, и любители приключений, и привычные к скитаниям неприхотливые бродяги.

Были и охотники за длинным рублем, они ехали на

год-два, подзашибить деньгу на «Волгу» или на кооперативную квартиру. Сибирь всех встречала одинаково неприветливо и неласково. На много верст окрест — ни дорог, ни следа человека. Семь месяцев зима, лютая и вьюжная, остальное время года — либо непроходимая распутица, либо духота, пыль до неба да проклятое комарье и гнус. Крепкие телом и духом не только не замечали этого, но еще и находили в окружающем прелесть и очарование. Слабые ломались, как сухой камыш на ветру. Ожесточившись, озлобясь, они проклинали весь белый свет и устремлялись назад, в обжитые края.

Все же приток был сильнее отлива. Это чувствовалось и в Пионерском. Особенно после статьи Мельника в «Известиях», где тот живописал, как его экспедиция перебралась из Шанска на дикий берег реки, как строился поселок и в то же время бурилась первая скважина, которая дала фонтан нефти. А тут вскоре появился Указ о награждении большой группы сибирских геологов. В числе удостоенных высшей награды были буровой мастер Ветров и Герман Кузьмич Мельник.

Наплыв новоселов в Пионерский бывал особенно велик в летние месяцы, когда туда можно было добраться по воде сравнительно легко и дешево, со всем скарбом, чадами и домочадцами — как только и любит путешествовать русский мужик...

И сейчас на полянке под окнами конторы Пантелей Ильич увидел целый табор новоселов. Горели костры. Сонно плакали дети. Сердито гомонили бабы. Недовольно ворчали мужики. Но вот таборный шум поутих и стал отчетливо слышен уверенный старшинский баритон начхоза — так называли Юрченко, заместителя начальника экспедиции по хозяйственной части. Проныра, но свое дело знает. Вон как напористо и громко убеждал он обступивших его людей. Те хоть и неохотно, а все-таки соглашались. Этот кого хочешь убедит, в игольное ушко пролезет, сквозь любую стену пройдет. Мастак...

Где-то в темном лабиринте балков утомленно урчал тракторный двигатель. Водитель, наверное, «на минутку» заскочил к приятелю и застрял, а мотор работает и работает, ожидая раззяву-хозяина.

Долго Пантелей Ильич лавировал темными переулочками, пока наконец набрел на пышущий жаром, рокочущий ДТ-54 с тележкой дров.

Едва выключил мотор, как в раскрытом барачном

окне напротив вспыхнул свет. В желтом квадрате оконного проема возникли двое. Девушка в легком халатике крепко прижалась к парню и на мгновенье замерла. То ли почудилось Пантелею Ильичу, то ли в самом деле долетел до него тихий женский вздох: «Приходи!» У Русакова даже мурашки затанцевали между лопаток, и он непроизвольно зажмурился и уже не видел, как парень, расцепив ее руки, легонько оттолкнул и пропал. Через миг он появился на крыльце. Скакнув через три ступени, подбежал к трактору. Сердито окликнул:

— Кто тут?

— Разводящий влюбленных водителей.

— А-а... Пантелей Ильич.

— Не зря ты, Платон, в армии служил — за полминуты собрался.

— Я и не разбирался. Так... разговаривали...

— Мирное собеседование при лунном освещении. Чего не женишься? Соня Лучкова — славная девчонка.

— Пока в городе училась — локти изгрыз. Думал: только кончит — сразу в дом, молодой хозяйкой. Теперь, когда рядом, и можно...

— За чем же дело?

— Сам не знаю,— удрученно и тихо ответил он.— Вроде все просто: протяни руку — бери, а тянуть-то некуда: стена. Не обойти, не перескочить...

— Не понимаю. Мудрено глаголишь.

— Какая уж мудрость! — И раздраженно, с едкой досадой: — Голимая глупость!

— Чего вам не хватает? — изумился Пантелей Ильич, передернув плечами.

— Чего не хватает — того ни украсть, ни купить, ни занять,— проворчал нехотя Платон.— Чужая беда в рукавице умещается. Все норовят подсыпать сольцы, колупнуть, а и без того печет, спасу нет...

— Извини,— смутился Пантелей Ильич.— Сорвалось ненароком...— И поспешил загладить оплошку деловитым вопросом.— Домой дрова?

Не сразу перестроился Платон. Помолчал. Вздохнул протяжно и забубнил примирительно-извиняющимся голосом:

— Зима на пороге. Кубов двадцать сожрет. Вас подвезти?

— Дотопаю. Только что с твоей сестренкой приехал. Как отец?

— В норме.
— Кланяйся ему.

Постоял, послушал удаляющийся утробный рык трактора и пошел, медленно переставляя отяжелевшие ноги. По мере того как затихал тракторный гул, становились слышны все новые и новые голоса.

Скоро полночь, а поселок не спал: выходной день, да и погода, как на заказ,— настоящее бабье лето.

Из распахнутого, ярко освещенного окна барака доносилось треньканье гитары, молодой голос пел нарочито громко и браво.

«Во, ловкач, уже успел!» — поразился Пантелей Ильич, узнав голос Ярослава Грозова, и приостановился, вслушиваясь в незнакомые слова:

В тайге геолог как щука в воде,
Как груздь малосольный в кадушке.
Геолог не кинет друга в беде
И не изменит подружке...

Гитара зазвучала в ином, более высоком регистре, темп мелодии стал маршевым. Заглушая громкие аккорды, Ярослав выкрикивал речитативом:

А ну-ка, ребята!
Сожмем кулаки.
Пылает заря рассвета.
У нас за плечами
Не рюкзаки,
На наших плечах — планета...

«На все хватает черта,— с доброй завистью подумал Пантелей Ильич.— И слова и музыку сам сочиняет. Силушки через край».

4

У дверей насыпушки металась черная тень, крошил тишину свирепый крик:

— Открой, гадина! Возьму дрын, сколупну халупу. Кому говорю?

— Епиша! Да уймись ты. Ребятенок перепужал,— слышался из-за двери плачущий женский голос.

Пьяный кинулся за угол, вынырнул с жердью в руках. Подскочил к оконцу, размахнулся.

— Стой, Епифан! — Пантелей Ильич с разбегу вце-

пился в жердь.— Сдурел. Детей уродами хочешь сделать?

— Ты что за указ?..— Епифан ринулся на Русакова.— Ружьишко прихватил? Я на твою пушку с прибором... Понял? Стреляй!

Из аккуратненького, будто игрушечного домика, что притулился чуть наискосок от епифановской насыпушки, вышел помбур ветровской бригады.

— Сенечка! — обрадованно и призывно крикнул Русаков, пятясь от наседавшего Епифана.

Огромный спокойный Сенечка медленно пошел прямо под занесенную жердь.

— Расшибу в бога, в душу...— взревел Епифан.

Сенечка ловко выбил жердь из рук скандалиста. Легко подняв Епифана на руки, внес в насыпушку и, как мешок с мякиной, кинул на широкий топчан, в углу которого сбились в кучу четверо перепуганных, заплаканных ребятишек. Худая плосколицая женщина — жена Епифана — стояла подле детей, запахивая на груди полы плаща, накинутого поверх ночной сорочки.

Притиснув широченной ладонью буяна, Сенечка выговаривал ему, как нашалившему ребенку:

— Чего тебе неймется, не спится? Ни себе, ни людям покою. Да не брыкайся! — Повернулся к Русакову, смущенно озиравшему убогую обстановку.— Идите, Пантелей Ильич. Я посижу. Сейчас захрапит.

— Пусти,— неожиданно тихо и ясно выговорил Епифан.— Хочу с начальством по душам покалякать. В кои веки зашло в мои хоромы. Да пусти же...

— Отоспишься — потом поговорим,— сказал Русаков, пятясь к порогу.

— В твоем кабинете? А я хочу здесь. Жена! Примай гостя.

— Незваным отродясь не хаживал по гостям. Ты сперва позови.— Пантелей Ильич шагнул в дверь.

— Я позову, позову,— грозился вслед Епифан.

У раскрытых освещенных дверей Сенечкиного домика застыла женская фигура.

— Не волнуйтесь, Лидия Георгиевна,— сказал, подходя, Русаков.— Сейчас ваш супруг явится.

Вздохнув расслабленно, женщина все еще не освободившимся от испуга голосом сказала:

— Это ужасно! Мог ведь набезобразничать, покалечить...

— Запросто,— уныло согласился Русаков.— Хмельной заяц на волка бросается. Пьянство — беда наша. Еще какая! Настоящее бедствие. С ним и бороться надо, как со стихией,— всем миром и до победы. Да по корням рубить, не сучки сшибать.

5

В окнах горел свет. Мать ждала. Беспокойная душа. Может просидеть, ожидаючи, до рассвета.

Еле скрипнуло под ногой крыльцо, а мать уже загремела запором. Приняла ружье, налила теплой воды в рукомойник и захлопотала над столом.

Невысокая, полная, с поразительно белыми, гладко зачесанными волосами, она была не по годам моложава и подвижна. Пока Пантелей Ильич переодевался да полоскался под умывальником, мать накрыла на стол.

— Выпьешь с устатку?

— С удовольствием.

Брусничную настойку мать изготовляла по собственному рецепту. Напиток был в меру крепок и ароматен. От удовольствия и чтобы польстить ей, Пантелей Ильич смачно причмокнул, облизал губы. Мать понимающе улыбнулась.

— Ешь. Больше не получишь.

Он ел, а она сидела напротив, подперев ладонью щеку. Иногда они обменивались немногословными фразами или короткими понимающими взглядами.

— Только приехал?

— Часа два блукал по поселку. В замочные скважины заглядывал, чужой жизнью любовался.

— Хороша?

— Мед с полынью вперемежку. Путаники.

— Гладко да прямо — что за жизнь... Как поохотился?

— Отменно. Спину не разогнуть, и ноги деревянные.

— Стрельнул хоть раз?

— Будь под рукой вертолет, я бы явился с богатыми трофеями.— Пантелей Ильич рассказал о давнем трагическом поединке двух лесных великанов.— Сцепленные рога были бы достойным украшением жилища охотника.

— Не трогай их,— обеспокоенно попросила она, лицо ее погрустнело.— Не тревожь. Пускай спят.

Взгляд матери скользнул вверх, к двум рядом вися-

щим портретам в одинаковых рамках: отец и старший брат Пантелея Ильича. Оба в гимнастерках без погон: не дотянули до сорок третьего.

— Еще рюмочку.

— Ладно уж...

Пятнадцать лет они вот так живут. Где только не побывали за это время. В Татарии, на Алтае, десятый год кочуют по сибирской тайге. Сколько раз приходилось начинать все с самого начала. С палатки, с землянки, с балка. Чуть обживутся — обрастут домашним скарбом, установят мало-мальски четкий жизненный распорядок и... опять на новое место.

Мать никогда не вспоминала покинутое гнездо, не скорбела, расставаясь с насиженным углом. Наоборот, готовясь к переезду, оживлялась, становилась необычно шумливой и веселой, что-то зашивала, распарывала, сколачивала, увязывала, напевая при этом одно и то же:

Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая.
Помирать нам рановато:
Есть у нас еще дома дела...

До прошлого года она работала фельдшером. Редкую ночь не беспокоили: то преждевременные роды, то травма или иная какая неотложная болячка. Теперь на пенсии, а все равно идут. За советом, за таблеткой, за скорой помощью. И мать радешенька, принимает да еще и благодарит за то, что не забывают о ней.

— Письмо от Люси,— сказала она, убирая посуду со стола.— Наташенька переболела скарлатиной. Я так и чуяла: что-то неладно. Ныло и ныло сердце,— приглушенно и монотонно ворковала мать.— Валерий в декабре защищает. Скорей бы. И боюсь: вдруг провалится.

— Не провалится,— поспешил успокоить Пантелей Ильич.

— Дай бог. Люся перейдет на одну ставку. Совсем замоталась. И он...

— Давай спать...

— Ты ложись: устал. Я посижу немножко, почитаю.

Сейчас она усядется в кресло, укутает ноги пледом и прикинется читающей. А утром закладка останется лежать на той же странице.

О чем думает она по ночам наедине с собой?

Ему скоро сорок, а мать по утрам, провожая на рабо-

ту, непременно проверит, сухие ль у него носки, есть ли курево, чист ли носовой платок. По каким-то ей одной видимым приметам она безошибочно определяет настроение сына, угадывает его желания...

Мягко хрустнуло кресло. Послышались осторожные, крадущиеся шаги. Пантелей Ильич зажмурился, громко и редко задышал носом.

Постояв в изголовье, мать подоткнула одеяло, переставила пепельницу на тумбочку у кровати. Уходя, прошептала со вздохом:

— Господи благослови.

«Не верует богу, а поминает по десять раз на дню. Привычка крепче веры...»

6

Небрежно швырнув гитару на кровать, Ярослав встретился взглядом с маленькими, затекшими глазами сидящего напротив Матвеича.

— Чего раскис, батя? Трахнем еще по единой.— Налил свою рюмку, плеснул в почти непочатую Матвеича.— Бывай! — И одним глотком опорожнил посудину.

Покосился на рюмку Матвеич, потянулся к ней, но, будто ожегшись, отдернул руку. Бессильно склонил крупную голову, опустил плечи, словно неживые, намертво прилипли к столешнице кисти рук. Видно было — подмял мужика какой-то необоримый недуг.

Пересилив сострадание, Ярослав сказал прежним, озорным голосом:

— Хватит паниковать, батя. Ну прихватило сердчишко в неположенном месте в неназначенный час — и что? Все чин чином: долетел и посадил. Еще не потухла твоя звезда.— И с ходу пропел: — «Гори, гори, моя звезда, гори, звезда приветная. Ты у меня...» — оборвал песню на полуслове.— Завтра отдашь свое бренное тело в руки прославленных эскулапов, и они возвратят его человечеству обновленным. Сейчас новое сердце вставляют, а уж твое так починят — не скрипнет.

— Вряд ли починят,— с тяжелым придыханием негромко возразил Матвеич.— Это ведь не первый звонок. Только прежде на земле...— Вскинул голову, и в голосе заструилась горделивая обида.— Не думай, не смерти — ненужности своей страшусь. Как представлю: все во-

круг мимо, а я никому — душа в пятки. На войне не трусил, а как-никак девяносто боевых вылетов. Четыре раза штопали. И в гражданке когда летал... Здешнюю тайгу вдоль и поперек... Первым в Сарью прилетел. На Шанск и на Белоярье трассы прокладывал. Заполярье исколесил. Бывало: погода, непогода — даешь. Ни трасс, ни посадочных, ни радиомаяков... На глазок, на ощупь. Вертолетов-то еще не было. Два раза разбивался. В болоте тонул... Все чепуха... А тут...— Сграбастал над левым соском рубаху. Жамкнул в кулаке. Длинно выдохнул.— Рвалось бы сразу на куски... Не дай бог угодить в ограниченно годные к жизни... Это, Ярослав... Страшнее пытки не придумаешь... Стенокардия! Слово-то страшное, как паук. Наш врач говорит: «О полетах забудь. Самое большое — оставят начальником здешнего аэродрома». Значит, крылья напрочь. Сиди в вагончике, с пролетающими самолетами переговаривайся, посадку и взлет на своем птичнике разрешай — и все.— Выпил рюмку. Сердито отставил.— Начальник Пионерского аэропорта. Ха! Звучит? А колупни — трухлявый гриб. Есть такие: белые, круглые, как мячики,— дедушкин табак называются. Тиснешь, он пых! — и только желтая пыль... Хоть бы раз в месяц дозволили. Всего бы часок за штурвалом...

— Подлечат, еще полетишь,— заверил Ярослав.

— Нет.— Матвеич медленно покачал головой.— Нет, друже. Себя не обманешь. Хоть бы отставку оттянуть да еще немножко пожить по-человечьи. Чарку с тобой выпить, с ружьишком по тайге. Годок бы еще...

— Разнылся. Слушать тошно. Знаешь, сколько живет на земле, как ты говоришь, ограниченно годных? Может, каждый второй. И как живут! В полный накал! Жизнь — ди-ивна-ая штука.

— Брось, Ярослав. Какой из тебя утешитель? Тебе двадцать шесть, все гаечки на месте. Не скрипят, не болтаются. Любая высота, любая перегрузка — нипочем... А я свое отказаковал. Да не жалею...

— Не жалею,— подхватил Ярослав с ходу и повел, как песню:

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Прикрыл глаза Матвеич, положил щеку на ладонь и замер. Вот Ярослав умолк, а в комнате все еще жила волнующая теплота волшебных строф. Растроганный Матвеич грустно улыбнулся и, просветлев лицом, тихо выговорил:

— Чудно́.— Будто разглаживая рябь морщин, потерся лбом о ладонь.— Ровно обо мне, для меня. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» А? Удивительно!.. Оглянешься — верно сон. Когда ж это было?..

Он не впервые исповедовался, и Ярослав отлично знал всю жизнь бывшего аса бомбардировочной авиации дальнего действия, бывшего майора, бывшего летчика гражданского воздушного флота, бывшего... Все у него бывшее, все в прошлом, а ведь нет еще и пятидесяти.

Была у Матвеича и семья — жена да две дочери. Юридически он и сейчас числился отцом и мужем. Правда, дочери сами давно мамы и разлетелись из семейного гнезда. С женой же он не виделся лет десять, с той поры, как его перевели в гражданку и он напросился сюда, в необжитый таежный край, оставив в Брянске просторную уютную квартиру и не пожелавшую расстаться с ней жену. Он и теперь аккуратно, каждый месяц, переводил ей деньги. Раз в год, в День Победы, жена присылала ему обыкновенную открытку, на которой вместе с поздравлениями умещались все новости, какие скопились за год.

Года три назад Матвеич пережил первый сердечный приступ — недолгий, не особенно сильный. Потом приступ повторился раз, другой. Знакомый врач выписал микстуру, снабдил таблетками и посоветовал прекратить полеты. С той поры Матвеич стал сторониться Туровска, избегая больших аэродромов, порхал на своем Ан-2 по глухим таежным поселкам. Болезнь не отцепилась, но и не особенно докучала. Он настолько приспособился к недугу, приноровился, что даже позволял себе иногда посидеть с приятелями за бутылкой, провести ночь подле тетеревиного тока или в утином скрадке и в то же время исправно нести свои служебные обязанности.

И вот, когда летели на Заячий, смирившаяся вроде болезнь вероломно ударила в спину. В самый трудный миг, когда вертолет ухнул в воздушную яму и надо было молниеносно отреагировать, подать рычаг на себя —

вдруг так «заклинило» сердце, что Матвеич опомнился только на земле. Счастливо еще отделался тогда. Спасибо Мельнику. Помог заштопать машину, начальнику авиауправления расхвалил Матвеича, просил отметить его в приказе, и в интервью по случаю первого фонтана наговорил о нем много лестного. Надежный человек Мельник, оттого и Матвеич держался подле. Первым прилетел в Пионерский, напросился в авиаотряд, который там разместили. Вчера снова прихватило в полете. Еле посадил машину. Ждать третьего раза...

Завтра бывший пилот бомбардировочной авиации дальнего действия Гавриил Матвеевич Кремлев отбывал на лечение, и Ярослав, прихватив бутылку горячительного и гитару, забежал попрощаться с приятелем да и застрял. В шесть утра выезжать на буровую, а как оставить расстроенного Матвеича наедине с грустными мыслями? Парень пел песни, читал стихи. Обрадовался, когда старый летчик наконец-то стал вспоминать летную молодость: выплеснет наболевшее — оттает.

Ярослав внимательно слушал прерывистую речь Матвеича, незаметненько вопросами подталкивал его. Старый летчик в конце концов разговорился и скоро так разошелся, что выпил еще одну рюмку, задымил сигаретой, и его обвислые, рыхлые щеки подернулись розовым налетом.

— Не раскрутись тут теперь нефтяная горячка, я бы не так и за штурвал цеплялся,— оправдывался Матвеич.— А то, сам посуди. Десять лет с геологами. И аэрофотосъемку, и сейсморазведку, и...— махнул рукой,— кого только не перевозил. Всю тоску их в себя вобрал. И когда палит фонтан за фонтаном — в кусты? На прикол? Я как бутылку с Заячьего Лаврову привез, так он, веришь ли, заплакал. Там на берегу я многое понял...

— Вот добурю скважину, ты к тому времени из Туровска воротишься, махнем к Лаврову в гости. Он меня в Сибирь влюбил, заставил в здешнюю нефть поверить. Я и ехал-то к нему. А тут Мельник экспедицию на новое место. Мурзаев с Ярковым уговорили в Пионерский. За два года прирос, да еще... Эх, батя...

Давно уснул поселок. Потухли огни в домах, бараках и балках. Расцеловав Матвеича на прощанье, Ярослав неспешной развалочкой потопал к «копай-городу», где у него была собственная, самолично построенная и по последнему слову техники оборудованная землянка.

В полусотне метров от нее под ноги парню подкатился глухо урчащий ком. Призывно свистнул Ярослав, и вот уже собачьи лапы забарабанили по его груди.

— Руслан... Дружище... Заждался? Ну, будет, будет. Пойдем, старик, спать...— ласково бормотал Ярослав, ероша собачий загривок, легонько почесывая пса за ушами.

Глава вторая

Они столкнулись у самолетного трапа.

— Приветствую вас, Никита Павлович.— Смолин, слегка наклонив голову, подал руку.

В салоне уселись рядом. Пока не закончилась посадочная сутолока, оба молчали. Но вот самолет оторвался от взлетной, набрал высоту, пассажиры разделись, расположились в креслах каждый по своему вкусу, задымили папиросами. Ростовский повернулся к Смолину.

— Вы ведь не курите?

Смолин подтверждающе кивнул.

— Тогда я индивидуально подымлю с вашего разрешения...

— Пожалуйста. Когда-то я тоже курил. И как! На фронте, бывало, из зубов не выпускал. Спокойно мог сутки без хлеба, а без табаку — никак.— Помолчал, еле приметно улыбнулся.— Потом раз — и бросил. Как говорят — отрубил...

— Значит, была весомая причина,— высказал догадку Ростовский.

— Никакой. Просто поспорил с... женщиной и бросил.

— Слово, данное любимой, дороже жизни.

Вставил сигарету в мундштук. Сладко, с ребячьим причмоком затянулся, выдохнул затяжку под ноги и только после этого поднял глаза на секретаря обкома.

— Вас не шокировали мои слова о любимой? Почему-то у нас принято думать, будто партийный работник, да еще высокопоставленный, не подвластен обычным человеческим чувствам. Он не может страстно любить, ревновать, страдать, мучиться! То есть быть человеком во всем и до конца. Оттого и кажется многим, что партийный деятель всю жизнь только то и делает, что руководит...

— Это отчасти так и есть. Партийный руководитель

в поступках своих сообразуется не столько с чувствами, сколько с интересами дела.

— Позволю усомниться безотносительно к присутствующим. Убежден: в любом поступке человека всегда есть чувство. Может, оно не доминирует, но обязательно влияет, как-то оживляет, очеловечивает, эмоционально окрашивает и слово, и жест, и действие. Кто утратил либо подмял чувства, тот — помилуй бог! — не сможет быть настоящим политруком: бесчувственный не расшевелит, не воспламенит чужую душу. Неувлекающийся — не увлечет, неверующий — не приохотит к вере. Возьмите наше дело. Скоро два года, как геологи снялись из Шанска, и уже на новом месте, в Пионерском, открыли отличное месторождение. За это время Лавров вокруг Мертвого озера разведал четыре прекрасные нефтеносные структуры, одна одной лучше и мощней, а мы не только не начали промысловой добычи, но все еще не можем утвердить перспективные запасы низменности. Спорим, треплем нервы, страхуемся. Это же надо додуматься! Вместо ста двадцати миллиардов тонн запасов Ярков и Мурзаев, промурыжив нас почти год, подписали только три... Я встречался с министром геологии, показывал первичные документы. Он поддерживает нашу точку зрения. Думаю, на коллегии Яркову придется попотеть, и здорово. Сейчас меня не это волнует. Пора наконец-то утвердить Вавиловское месторождение в Госкомитете по запасам и начинать в Шанске промысловую добычу. В Пионерском и Белоярье пока еще идет выяснение, накопление, и о добыче там рано говорить. Но в Шанске! Помилуй бог! Три года ухлопано на комиссии, проверки, пересчеты. Сибирская нефть все еще только на бумаге, в расчетах. Пора ее материализовать, пустить по трубам и цистернам. Тогда от нее никому не отмахнуться. Одно дело цифра, другое — живая нефть...

— Как целесообразней, по-вашему, ее взять?

— Только по трубе Шанск — Туровск, а отсюда цистернами на нефтеперегонные.

— Согласен,— поддержал Смолин.— Мы этот вариант фактически уже проработали. Качество и запасы нефти таковы, что, по нашим подсчетам, трубопровод окупится в первые же три года.

— Потом, когда начнется добыча в Белоярье и Пионерском, нашей нефти не миновать выхода в европейскую магистраль, и труба из Шанска войдет, как приток,

в магистральный нефтепровод, скажем, Белоярье — Туровск — Альметьевск...

Ростовский надолго умолк, мечтательно глядя куда-то из окна лайнера.

— Надолго в Москву? — спросил Смолин.

— Нет,— тут же откликнулся Ростовский, будто и не было этой длиннющей паузы.— Хочу провести, так сказать, глубокую разведку, выяснить отношения, а потом непременно к вам. Тут без дальнобойных не обойтись. Протуберанцева не легко сдвинуть...

— Простите, перебью вас. Давайте-ка сделаем вот как. У вас расчеты с собой?

— Портфель трещит.

— И отлично. Завтра я условлюсь в Госплане о встрече. Нагрянем вместе. Вы подготовите официальную бумагу. С какой цифрой думаете входить? И почему только по Вавиловскому, а еще два, открытых Шанской экспедицией?

— Я включаю и их в Вавиловское...

Неспешно, как на институтской кафедре, Ростовский обосновал по категориям цифру запасов сводного месторождения, с которой, по его мнению, следовало входить в Госкомитет.

— Ну что ж,— как бы подводя итог разговору, высказался Смолин.— Проработали вопрос вы добротно. Это облегчит дело. Готовьте записку. В какой гостинице остановитесь?

— Я у друзей. Не люблю гостиниц.

— Тогда инициатива за вами. Найдете меня в «Москве». Звонить лучше вечером, где-нибудь после десяти.

— Неудобно, право, за день-то вам и так...

— Пустое, Никита Павлович. Скоро все, что связано с нефтью, станет главным, определяющим работу всех областных организаций, в том числе и обкома. Недавно разрешили нам создать отдел геологии. Будет отличная, постоянно действующая связь с вами, геологоуправлением и экспедициями. Кого, по-вашему, можно бы назначить заведовать этим отделом?

Ростовский раздумчиво согнал морщины на лбу, поворошил пятерней волосы и долго молчал. Смолин не торопил: тоже думал и, наверное, о том же — о предстоящей баталии за признание Вавиловского месторождения и его разработку.

Совсем недавно протуберанцевские сторонники яро-

стно наскакивали на всякого, кто доказывал, что нефть в Сибири есть. «Узаконить» Вавиловское значило признать несостоятельность своих прежних позиций, но не «узаконить» — нельзя: за спиной Вавиловского шеренга месторождений, открытых Белоярской и Пионерской экспедициями, а на прогнозной карте ослепительная цифра с десятью нулями. Признать Вавиловское значило начать его немедленную разработку, строить в болотной глухомани промысел и город, тянуть на полтысячи километров нефтепровод. Страшно дорого. Недопустимо рискованно! Протуберанцевы не привыкли, не хотели рисковать...

Все это Смолин понимал и оттого готовился к трудной борьбе. И не зря готовился: борьба разгорелась острая, непримиримая, с каждым днем в нее втягивались все новые и новые силы...

Глава третья

1

Стылую тишину раннего серого утра проклевывало размеренно-редкое «тюк-тюк-тюк». Издали казалось, какая-то настырная пичуга методично и неторопливо долбит и долбит неподатливую древесину. Это Михаил Николаевич Ветров спозаранку плотничал на своем дворе.

Вкусно пахло сосновой смолой и хворостовым дымом, который серой пеной выплескивался из печной трубы и медленно растворялся в прохладном сыром воздухе. Здесь, на вершине голого косогора, особенно остро чувствовалось холодное дыхание близкого Севера. Но Ветрову было жарко. Воротник легкой фланелевой куртки расстегнут, рукава закатаны за локоть. Сухое жилистое тело разгорелось от работы, и его приятно холодил залетавший сюда ветер.

Отложив топор, мастер взялся за комель. Нутряно натужно кхакнув, он оторвал лесину от земли, повернул обтесанной стороной вниз. И снова поплыло окрест размеренное и четкое «тюк-тюк-тюк...».

С низовьев реки наползли тучи. Ледяными глыбами сгромоздились над поселком, угрожающе провисая все ниже и ниже. Ветер переменил направление, задул с севера и, скоро окрепнув, заледенел и понесся с подвывом.

Заломил верхушки соснам, разлохматил озябшую черемуху в палисаднике. Встревоженно загудели телефонные столбы, жалобно загнусавили провода. Взвизгнула сорвавшаяся с защелки дверь сарая. Рассерженно закаркала взъерошенная ворона, еле удерживаясь на качающейся ветке. Пропитываясь влагой, воздух густел на глазах. Волглая пелена тумана затянула окрестности.

Влажное топорище по-налимьи скользнуло в ладонях, Ветров едва не рассек ногу.

— Наработался, язви тя...— буркнул он, досадливо морщась.

Собрав щепу в охапку, неторопливо двинулся к высокому, добела выскобленному крыльцу.

На коврике из морской травы выстроилась шеренга разномастной обуви. Ветров пристроил с фланга свои сапоги и зашуршал шерстяными носками по гладкому, словно навощенному полу.

«Куда ты!» — мысленно прикрикнул он на кота, нацелившегося вскочить на диван, где еще спала Рая. Ее обезоруживающая прямота и искренность порой пугают Ветрова и в то же время притягивают. Это — примета его характера. Он сызмальства тоже был вот таким — прямодушным, открытым... Был? Почему был? До каких пор был? Больной, безответный вопрос подвернулся не впервые, и мастер, морщась, поспешил от него отделаться. Это оказалось нелегко. Коварный вопрос как поплавок — чем глубже и сильней топишь, тем неожиданней и стремительней выныривает. Тогда мысль закружила вокруг больного места, осторожно прикасаясь, оглаживая, ощупывая. Но с чего, зачем надумывает, наговаривает на себя? Каким был — таким остался. В его годы характер не меняется. Ну, меньше стал нос совать в дела, которые не касаются бригады. Так на нее-то еле сил хватает: слава богу, пятьдесят семь. Не лезет в драку с начальством? Не из-за чего. Без драки дают все, что нужно, и даже сверх. Да и хватит... Потихоньку зализал, загладил, унял боль, и разом полегчало, и снова мысли сами собой вернулись к дочери. В невестах не засиделась бы... Платону двадцать пять, а все холостякует. Блудлив, как котище. Заманил сюда Соньку Лучкову из кооперативного, чуть свадьбу на первой неделе не открутил. Такая кого хочешь присушит: огонь. Потом и без свадьбы... Не помолвлена, не расписана, на гла-

зах у всего поселка — и хоть бы хны. А ему приспело о жене, не о полюбовнице думать. Вот и встала костью в горле — ни выплюнуть, ни проглотить. Пора бы и к берегу...

Крадущейся походкой вышел из комнаты, тихонько притворил дверь. Долго стоял. Подхватил с подоконника газету, бочком присел на стул, неуверенно и непрочно, поминутно ерзая, беспокойно переступая ногами. Скользил взглядом по строчкам, а сам все острее досадовал на непогоду, оторвавшую от работы, и думал, какое бы в доме найти заделье для своих беспокойных рук. Обрадовался, вспомнив просьбу жены сделать новую крышку для кадки. Поспешно сунул ноги в валяные калоши и шмыгнул в теплые сени, где в углу была оборудована настоящая мастерская.

Чтобы растянуть удовольствие, Михаил Николаевич долго измерял горловину кадки, перебрал целый штабель досок, выбирая подходящие.

Скоро мастер забыл про ненастье и про недочитанную газету. Он самозабвенно строгал, пилил, сколачивал, хотя и мастерил сущую пустяковину.

До того увлекся — не слышал, как за спиной распахнулась дверь. В сени ввалился Платон. Пока он, сопя и отфыркиваясь, раздевался и разувался, с задубелого мокрого плаща натекла целая лужа. Небрежно голиком размазал ее по полу.

Бросив короткий взгляд на сына, Михаил Николаевич безошибочно определил: кипит. Не поворачивая головы, равнодушно осведомился:

— Сыро?

— «Сыро»! — передразнил сын. Долго и сердито тер носовым платком мокрое красное лицо.— Болото и есть болото. Чуть трактор не утопил, мать его... Еле атээлкой вытащил. Какому дураку втемяшилось строиться здесь? Посуше не сыскал.

— Тут скрозь болота,— успокаивающе проговорил Михаил Николаевич.— Обратно же река рядом. В нашем деле не пустяк. А что не больно как это комфортно, так за то тебе надбавку платят.

— А-а! — зло скривился Платон.

— Не акай! В другом месте ты на своем тракторе боле полутора сот — умри — не выбил бы. А здесь три, а то и четыре выколачиваешь...

— Ну и что? Разве рубли — главное в жизни?

— Чего еще тебе не хватает? — искренне подивился Михаил Николаевич.

Положил готовую крышку на верстак, огладил ее ладонью, удовлетворенно хмыкнул. Покосился на сына. Эх, как его распирает. Попала вожжа под хвост.

— В самом деле не пойму, с чего икру мечешь? Сыт. Одет, как этот самый, жельтмен. И рыбалка, и охота под боком...

— Да лучше в робе ходить, баланду хлебать, чем гнить в такой дыре! — все сильнее распалялся Платон.

— С баланды Соньке мил не будешь.— Михаил Николаевич с намеком рассмеялся.

— При чем тут Соня? Бельмо на глазу. Чем не потрафила?

— По мне хоть с телеграфным столбом милуйся. В твои годы можно бы и о семье подумать. Накотовался, поди, хватит.

— Может, я на ней жениться собрался...

— Валяй! Дураков не пашут, не сеют — сами родятся. Попытай у ей — какой ты по счету. Да и сейчас не только твои следы на ее порожке...

— Врешь!

— Не ори. Думаешь, мне не обидно? Красивая баба. Что спереду, что сзаду. Полюбовница из ее хороша, а жена... Жена на всю жизнь одна, и ты у нее один должон быть... Ты ведь и сам с того бесишься. Боишься рубить — больно будет. А как иначе? Такие узелки не развязываются. Их только сплеча...

Это были не первые недобрые слова о любимой, и все равно Платон слушал их, сжав кулаки и зубы. Сейчас он ненавидел всех: и отца, и Соню, и ее завистливых товарок, которые разносили по поселку слухи.

Ох эти подружки! Недавно одна на танцах шепнула Платону: «Чего на Соню косишься? Не убежит!» — «Убежит — догоню».— «Еще бы! Королева красоты».— «Чем не королева? Завидно?» — «Завидно. Верно. Другая раз оступится — всю жизнь кашляет. А этой хоть бы что, из какой лужи сухой и чистенькой выскочила».— «О чем ты?» — «Придуриваешься или не хватает?» — И желчно засмеялась.

Ни разу не пытал он Соню допросами: что было — то было, быльем поросло. Ему казалось, в главном не ошибся: любит его, верна ему. А вот услышал от отца

о следах на порожке, и... Что ни день, то обязательно кто-нибудь подольет маслица в огонь. Сволочи. И так хоть беги... Ничего не мило. Все из рук валится.

Понял Ветров-старший, какую занозу вогнал в самое сердце сына, но не раскаялся, хотя и пожалел в душе, и, чтобы как-то остудить Платона, сказал вроде сам для себя:

— Во разгулялась погодка. Ни с того ни с сего...

Нахохлившийся Платон сидел на краешке чурбака с наковальней и курил, глядя под ноги. Наверное, и не расслышал отцовских слов.

Задубелой ладонью Михаил Николаевич смахнул с верстака опилки и стружки, взяв веник, стал подметать пол. Мел тщательно, несколько раз водя по одному и тому же месту, все до единой опилочки из щелей вымел.

— Уеду я,— глухо обронил Платон.

— Куда это? — сразу встревожился отец.— В теплые края захотелось?

— Уеду. К Лаврову в Белоярье.

— Ха! Нашел другой климат. Там болота почище наших. Зимой трактора тонут. И холода позлей.

— Зато живут по-людски. И Дом культуры, и стадион, даже кафе настоящее.

— Так уж тебе стадиона не хватает? — язвительно поддел отец.

— Не меряй всех своим аршином,— свирепо огрызнулся Платон.— Не всяк твою мерку примет. Тебе ведь что надо? План да зарплату. День и ночь вкалывай, и в грязь, и в мороз, а толку... Одна комнатенка на пятьдесят квадратов, в ней и клуб, и кинотеатр, и Дворец спорта, и танцплощадка. С девчонкой негде посидеть. Зимой поморозишься, летом комары сгрызут. Надоело!

— «Надоело!» — передразнил Михаил Николаевич, сердясь.— Легкой работенки захотелось. Есть давай вкусно, одевай стильно, а работать...

— Не от работы бегу...

— От дела не бегу и заделья не ищу. Так? Да в твои годы работа — лучшее удовольствие. Мне шестой десяток, а силком не заставишь без дела сидеть. Человек до той поры себя уважает, пока работает. Головой ли, руками ли. Тебя бы к нам, на буровую. Вот где ребята вкалывают. По всему управлению только две бригады по двадцать тысяч метров пробурили. Наш Грозов и Хо-

мяков у белоярцев. А мы — двадцать пять. В этом году, коли так пойдет, может, до тридцати дотянем. При наших глубинах да грунтах это всесоюзный рекорд. Чуешь? И никто не скулит...

— Знаю, как вы рекорды ставите.

— Как?! — Михаил Николаевич отшвырнул кружок, выгнул побагровевшую шею и, будто изготовясь боднуть сына, пошел на него.— Как? Бей, раз замахнулся!

— Не кипятись.— Платон попятился к двери.— Никто не спорит, как черти работаете. Только если бы вам не подмазывали, о двадцати пяти... и не мечтай! Не правда? Одну скважину не сдали, а новая буровая уже ждет. Другие мастера неделями простаивают. То испытатели зазевались, то монтажники не поспели. Труб не подвезли, цементу не хватило... Да мало ли... А у тебя как по маслу... Может, не так?

Ничего подобного Михаил Николаевич не ожидал. Такое доселе никто не говорил мастеру. Крикнул:

— Чего замолчал? Вали! Все, что под руку.

— Правда — вот и злишься.

— Молчи! — Дрожащими руками шаркнул по верстаку, расставил рядком инструменты.— Правда. И что? Прежде чем мы такого добились, сколь потов пролили? Своим хребтом, вот этими руками.— Вскинул перед грудью растопыренные руки, потряс.— Не за красивые глаза. Не по кумовству.

— Другие не мене тебя хрип гнут. Дай-ка Ярославу Грозову такие условия — он запросто двадцать пять набурит.

— Твой Грозов — щенок! Молоко на губах! С института пришел — сразу мастером. На готовенькое. Пускай с мое поработает...

Потоптался Платон и снова присел на край толстенного чурбака. Он не жалел о сказанном. Это отцу за следы на Сонином крылечке. Тоже ляпнул... Не из пальца же высосал: не таков. Стало быть, есть огонек, от которого народился этот ядовитый дым...

Враждебно покосился на отца. Лезет с поучениями. И обязательно о рублях... Будто деньги Платону с неба валятся. Руки от мозолей что копыта... Три сотни! Не ради них пластается. Не любит валандаться, и силенка дай бог: жамкнет полено — сок брызнет. Не ради славы. За нее, видать, тоже надо расплачиваться. Еще как! Бывало, отец за дело лез в драку с любым начальством.

Тогда в Шанске как за Лаврова кинулся! Все его касалось. Теперь дальше своей буровой не заглядывает. Все больше помалкивает. Зато в президиумах... Ни себя, ни других не щадит на работе. По неделям на буровой. Чуть что и — вон из бригады!

Из-под насупленных бровей Михаил Николаевич сверлил сына гневным взглядом и думал: «Зажрался. Плюнул в душу отцу. Из-за Соньки. Дернула нелегкая за язык. Василиса в уши надудела, а если брехня?.. «Уеду». От себя не ускачешь. Да и куда от экой-то волюшки? Река, лес, чистая водица, а уж воздух... Блажит. Накрепко присушила Сонька. Может, и к лучшему, что сказал. Продерет глаза обида, сам увидит... Наверное, и теперь видит, с того и злобится на весь свет... А ну как впрямь к Лаврову лыжи навострит? Черкнуть Леонидычу, чтоб в случае чего от ворот — поворот... Потихоньку бегут к нему. Съездить в Белоярье, поглядеть, что за рай... Захватит Соньку, и махнут вдвоем... Надо же было сказануть такое... С чужого голосу прокукарекал. Наслушался отцовских завистников...»

— Айда-ка лучше в сарай, пошаркаем дровишек. Все равно делать нечего,— сказал примирительно Михаил Николаевич.

Молча поднялся Платон и стал натягивать сапоги.

Едва Михаил Николаевич взял в руки пилу, как разом отлетело все, что миг назад волновало. Он пилил истово, весь отдавшись работе. Размеренно-монотонное «вжиг-вжиг, вжиг-вжиг» веселило мастера.

Пила для Платона была маловата и легка. Он с такой силой тянул на себя зубастое полотно, что отец еле поспевал за ним. Глухое неумолчное шипенье пилы раздражало. Платон прятал глаза под насупленными бровями, то и дело сердито подергивал плечами, стряхивал налипшие на пиджак опилки.

Оба упрели так, что спины задымились паром, но о передышке ни тот, ни другой не заикнулись. Так и гоняли певучую пилу до тех пор, пока Рая не позвала к столу.

Хозяин обедал дома редко, оттого и стол был накрыт по-праздничному. Тут и вареное, и печеное, и жареное. Притягательно поблескивала потными боками бутылка спирту.

Грузная, но легкая на ногу хозяйка дома все подо-

двигала мужу тарелки с разной снедью. Тот неторопливо разлил огненную влагу по стопкам.

— Выпьем, Платон, за... вот черт, выскочило из головы. Есть такое страусиное слово. Страус-ква, что ли... Ну, это когда все по-старому остается...

— Мало тебе русских слов...— прыснула Рая, но все же подсказала нужное.

— Так, так,— нимало не смутясь, подхватил Михаил Николаевич,— верно, дочка. Значит, за эту самую — статус-ква.

Поговорили о поселковых новостях. Незаметно завладев разговором, Рая стала пересказывать полученное из Белоярья письмо от Глахи Буяновой.

— Сынишку родила. Не нахвалится. Валька на заочный в наш институт поступил. Увидимся на сессии. Трактор не бросает — и кончу, мол, не брошу. Представляете, начальник дорожного цеха и тракторист в одном лице? Это только Валька Буянов может. В партию недавно приняли. Глаха пишет — не узнать. Серьезный стал, степенный и даже поправился. Это Валька-то...

Каждую фразу Рая сопровождала таким выразительным жестом, что им наверняка и без слов можно было выразить мысль. У девушки были удивительные руки — нервные, чуткие.

Только поначалу Платон заинтересованно вслушивался в Раин рассказ, потом иные мысли овладели им. Хмель не замутил голову парня, только взвинтил его, накалил. Он вдруг словно в собственную душу глянул и наконец-то понял, чего недоставало в жизни, отчего мир потускнел, утратив былую притягательность.

С той самой ночи, как увидел Соню в Туровском парке, увел втихаря от долговязого шлепогуба, который полчаса топтался с ней посреди пустой танцплощадки, с той ночи начались душевные муки Платона. Порой он молился на далекую Соню, порой бешено ревновал. Вырвавшись на день, летел в Туровск и целый день не выпускал Сониной руки. Тогда бы и пожениться им... Зачем уступила? А и он-то хорош! Чуял ведь, не случайный узелок меж ними. Не было такого прежде и не будет. И собственное счастье... своими руками... на потеху ее завистницам и сплетницам? Ну нет! Отец в одном прав: такое надо с маху решать. Сейчас придет и от порога: «Выходи за меня замуж...» Сейчас же... Пока не остыл, не засомневался опять...

Представил, как зарумянится, заполыхает ее смуглое лицо, как заискрятся озорные черные глаза, как бросится — горячая, желанная — к нему на шею, и уже не смог усидеть. Сорвался со стула, заспешил, как на пожар.

— Мать честная, забыл... Надо сбегать за прокладкой.

Глянул на сына Михаил Николаевич и не сдержался, громко захохотал.

— Ты чего? — насторожился Платон.

— Я-то думал, Соня только блины да пирожки, а она и прокладки стряпает.

— А тебе что? И стряпает! — Распахнул дверь в сени, сорвал с вешалки еще не просохший дождевик.

— Женился бы на ней, первая невеста в Пионерском. От женихов отбою нет. Умна, красива и себя блюдет,— съязвила мать.

— Уговорила! — уже из сеней крикнул Платон.

— Ково это он? — встревожилась мать, бледнея.— Шутит либо вовсе ошалел?

— Не троньте его, мама,— просительно проговорила Рая.— И почему вы так против?

— Да ты чего плетешь, чтобы в наш дом...

— Зря вы,— со вздохом выговорила Рая,— красивая, вот и завидуют, плетут, кто во что, брешут.

— Без ветра лист не колышется,— с каким-то показным, неколебимым довольством высказала мать чужую мудрость.

— Смотря какое дерево,— уязвленно откликнулся Михаил Николаевич.— Осина и в затишье не знает покою.

— Ну, потакай, потакай,— заворчала осуждающе жена.— Нет бы приструнить по-отцовски. Красота-то поверху, а изнутри — тьфу.

Михаил Николаевич жестоко и беспощадно судил сына сам, но не терпел, когда это делал кто-то другой, даже жена, оттого и неожиданно прикрикнул властно:

— Хватит об этом! — Глянул в окно.— Чудило Платон, в экую непогодь поперся. И впрямь, видно, любит...

— На водке любовь-то их замешана,— по-бабьи тягуче запричитала жена.— У Соньки, поди, все даровое, вот и опаивает. Сгубит парня, ей-богу, сгубит. Из-за этой проклятущей водки...

2

Косой встречный дождь вперемешку с крупой сек и колол лицо. Лида прятала его за поднятым воротником, щурилась и у самых дверей Епифановой насыпушки налетела на Русакова.

— Ой, извините.

— Лидия Георгиевна? Сюда же? — прокричал Пантелей Ильич, поворачиваясь спиной к ветру.

— Сюда.

Они прижались к стене, норовя укрыться от дождя под крохотным козырьком невысокой покатой крыши. Лида перевела дыхание, платочком старательно обтерла лицо.

— В гости или по делу? — спросил Пантелей Ильич.

— Мой ученик здесь. Совсем отстал. Одни двойки. Не знаю, как и подступиться. Хочу вот с родителями поговорить, выяснить условия...

— Чего там выяснять, отец — горький пьяница. Сами видели недавно. Если б не ваш муж...

— Нужно что-то предпринять...

— Конечно, нужно, только что? Давайте поглядим, подумаем вместе, авось да небось...— И постучал в дощатую дверь.

У стола с книжкой в руках сидел мальчик. Увидев вошедших, испуганно вскочил.

— Сиди, Володя, сиди. Ты один, что ли? — спросила Лида.

— Не...

На нарах заворочались трое младших, с любопытством рассматривая пришедших.

— А мама с папой? — продолжала расспрашивать Лида.

— Мамка на работе. Папка только с буровой. В баню ушел. Скоро придет. Садитесь.

В комнатке пахло луком, рыбными консервами и еще бог знает чем.

Высмотрев на стене черный кругляшок, Пантелей Ильич щелкнул выключателем. Под потолком вспыхнула большая лампочка, и сразу все вокруг завопило о нерадивости хозяев: плохо пригнанная, скособочившаяся дверь, провисший фанерный потолок, заплатанные стекла окон, голый щелявый пол, разномастная грубая мебель.

— Раздевайтесь,— уныло предложил Володя.

Достав из кармана горсть конфет, Лида угостила малышей. Присела к ним, чувствуя на себе неотрывный Володин взгляд.

— С кем остаются братишки, когда ты в школе? — с грубоватой мужской ласковостью спросил Пантелей Ильич, подсаживаясь к столу.

Вздернув сперва одно, потом другое плечо, Володя удивленно округлил глаза и нехотя ответил:

— Одни.

— Отец часто пьет?

— Когда дома.

— Дерется?

Мальчик громко проглотил слюну, вздохнул.

Тут появился хозяин. Он был уже слегка навеселе. Кинув в угол авоську с бельем, потянулся здороваться.

— Здравствуйте, Епифан... Простите, не знаю вашего отчества,— засмущалась Лида.

— У меня никакого отчества. Я в деревне вырос. Там раньше как? Справный мужик — значит, Мирон Иваныч, Савелий Егорыч. Победнее — Трофимыч или Андреич. Тех, кто еще похуже жили, запросто по имени называли — Сидор либо Ермолай, без всякого отчества. А голоштанников — Рянка, Мотька, Епишка. Навроде Жучки, значит. Кто свистнул, к тому и беги. Епишкой и зовите. Не обижусь, жалобы в партком не сочиню...

Лида растерянно переводила глаза с отца на сына. Пантелей Ильич бесцеремонно одернул хозяина:

— Хватит балагурить, Епифан, не в цирк пришли. Сам в гости звал, вот и...

— Помню, помню. Как же. Хоть и не в себе был, а помню. Давай, Володька, ставь закуску.

Походя отпустив сыну легкую затрещину, Епифан выставил на стол батарею банок с консервированными кабачками, помидорами, рыбными консервами, проворно распечатал их, накромсал хлеба. Достал из-под стола початую бутылку водки.

— А вы, простите, кто будете? — наигранно смиренно осведомился Епифан, подавая Лиде вилку.

Конечно же, он знал Лиду (в поселке все знали друг друга, да и жили-то по соседству), но все же Пантелей Ильич отрекомендовал гостью:

— Лидия Георгиевна Крупенникова, учительница твоего сына.

— А-а! Так это вами меня Володька пугает. Чуть что, он сразу: «Скажу Лидии Георгиевне». Думал, страшилище какое, а тут...

— Я не пью,— Лида отодвинула стаканчик.

— Не неволим.

— Что у тебя за праздник? — Пантелей Ильич накрыл стопку ладонью.

— У меня круглый год праздник. Аванс — праздник. Получка — опять праздник. Фонтан ударил, скважину сдали... да ведь не только с праздников пьют. Видал, как живу? Неделями дома не ночую — на буровой. Жена кочегарит. Володька полдня в школе, а эти одни... Бабе не робить — не прожить. Попробуй-ка, шесть ртов, тут и министерской зарплаты не хватит... Ясли и садики только в колдоговорах... Няню хотел принанять — нет для нее отдельной комнаты.

— Не канючь, не пожалею. Погляди на себя, на детишек. Ты ведь никак не меньше трехсот в месяц получаешь. Да жена сто пятьдесят. Жить можно. Все денежки сюда уходят,— Пантелей Ильич постучал по бутылке.— Сам себя в Епишки-то произвел. Не пеняй на зеркало...

— Ишь, умник! — ощерился Епифан.— Ну, прав ты. Зазря перевожу и здоровье и деньги. Но в Епишки-то... тут ты смухлевал. От правды нос на сторону. Возьми ее мужика,— навел палец на Лиду.— Поммастера. Передовик. Трезвый, как слезинка. Всем взял. Отчего ж его никто не навеличивает? Ровно блажного какого кличут — Сенечка да Сенечка. Язык присох? Так я скажу. Добрый он, Сенечка-то. Голубиная душа. А нынче добрые да простоватые не в моде.

В словах Епифана Лида почуяла какую-то неясную, нехорошую правду о муже.

Пантелей Ильич ничем не выдал своих чувств. Успокаивающе погладив Лиду по руке, опять повернулся к Епифану.

— Выходит, по-твоему, кругом подлецы?

— Во всяком разе — большинство!

— Злой ты, Епифан. На себя, на других, на свою незадавшуюся жизнь. Зло тебе глаза застит, языком ворочает, кулаками движет. Может и есть у тебя причина злиться... Ты у Ярослава Грозова в землянке побывай. Погляди, как можно обустроиться, коли голова и руки трезвые да работящие. Между прочим, ему не раз квар-

тиру предлагали, отказывается, хорошо, мол, холостяку и в землянке. И ты, и жена с топором и пилой обращаться умеете. Лес под боком. Товарищи в помощи не откажут. Разве не мог простой пятистенок скатать на место этой конуры?

— Мог! Мог! Мог! Мало ль чего я бы мог. Обязаны жилье предоставить — будьте добры! И в договоре так значится. И по всем законам у рабочего должна быть крыша над головой. Должна или нет?! Молчи-и-ишь! Ишь вы!..

— Чему радуешься? Твоя правда — обязаны дать вам и доброе жилье, и ясли, и столовую. А если не дали? Будешь тут жить, только бы повод был потешить гордыню да заодно пьянство свое оправдать?

— Ты думаешь, с чего пью? С хорошей жизни? С веселья? С радости великой? — настырно вопрошал Епифан, долбя кулаком столешницу.— Может, это последнее утешенье. Горе топлю в ей... Ну, приехал я, к примеру, с работы на выходной. Там мне целую неделю в уши лебедка колотит, дизели ревут, мастер покою не дает. Он, Грозов-то, знаешь какой? Хоть и приютил опосля того, как Ветров выпнул, а то-о-же спуску не жди. Еще вдвойне за ту милость спрашивает. С шуточкой, с улыбочкой, а жмет — не перекуришь. Сюда явишься — ребятишки воют, жена ноет...

— Болтовня! Слезливый бабий треп! Сам не веришь в то, что говоришь. Да ты садись, не пританцовывай, не маши кулаками. Женщина тут, детишки. Садись!

— Мы не гордые. Постоим.

— Не пускай слюни, не разжалобишь. За правду, за справедливость ратуешь, вот и получай их.

— Ладно.— Епифан решительно отодвинул недопитую стопку.— Ладно. С этим я согласный. Твой верх. Со мной управа скорая и легкая, чуть что — сразу в бутылку тычут, от нее, мол, все беды и зло. Я плохо живу оттого, что пью. Согласный. Ну а те, что не пьют, а так же вот по балкам да землянкам? Им что скажешь? Горька правда? То-то!.. Постой. Не белю себя. Презираю и казню! Только хватит об этой водке. Не в ей корешок... Вот ищем мы нефть. И немало уже нашли. Говорят, вот-вот станут здесь города да заводы, будут жить люди. А мы-то кто? Выходит, не для себя, а для тех...

— Постой, Епифан.

— Стою, хоть дой. Только от моего стояния тебе не посластит. Был дед у меня, всю гражданскую беляков бил. Думал, вот расколотим всяких там баронов, потом заживем. Не зажил, не дотянул. Батя — комбедовец, первый колхозник, первый председатель. Сколь муки претерпел за эти колхозы. Жилы рвал, ни себе, ни людям продыху. Вот построим, вот создадим, вот запашем, потом заживем. Так и не зажил: усыпила немецкая пуля. Теперь мой черед. Вот найдем нефть, сковырнем тайгу, осушим болота, потом заживем. Опять потом... А я хочу сейчас! Теперь! Мне не надо потом. Дед верил. Отец верил. Я не хочу и не буду!.. Нет, я — не контра. На войну семнадцати лет ушел. И теперь, если случится,— бронь не попрошу. Сюда меня тоже не по этапу. Но никаких «потом», «после» мне не надо. Хочу сейчас по-людски жить. Могу работать до последней точки, но чтобы жить как положено. Хрен с тобой. На любое согласен...

— Видишь ли, тут нельзя так с разбегу...

— А-а!

— Не акай! Ты такую сборную солянку скулинарил — не вдруг расхлебаешь. Что бы ни было, как бы ни было, пьянство — последнее дело, мерзость...

— Да согласен я, согласен! — завопил Епифан, обоими кулаками грохнув по столу.— Сказал ведь. Что ты прицепился? Нашел зацепку — боишься из рук выпустить.

— Постой. Что доброта нынче не в чести, что добрых клюют и обижают — брехня. Сейчас доброта превыше всего ценится. И Сенечку зовут так не из желания унизить, обидеть, а из любви. Посмотри, как товарищи к нему относятся, к слову его прислушиваются. С бедой, с нуждой своей к нему стучатся...

Поймав Лидин взгляд, смущенно прервал речь. Женщина смотрела на него с благодарностью и восторгом. Рука ее машинально легла на голову рядом стоящего Володи и стала ласково перебирать взлохмаченные волосы, и от этой случайной ласки мальчик посветлел, подобрел лицом.

— Теперь об этом самом «потом»,— снова заговорил Русаков.— Сейчас или потом? Для себя или для тех, кто следом? Если только для себя — мы станем самоедами, сами себя слопаем. Если только для потом-

ков — тоже грустно. Значит, надо жить и для себя, и для тех, кто грядет. Но обязательно и для себя, и теперь! Жизнь — одна, желание сделать ее лучше — закономерно. К тому и стремимся. Иначе на черта самопожертвование, риск, лишения? Тут ты прав. Но путаешь, друг дорогой, без разбору — в одну кучу... То, что мы здесь, в тайге, еще не все сделали для рабочих,— верно. Нефть зовет, спешим, оставляем на завтра и то, что нужно делать сегодня. Нужно и можно! Белоярцы доказали это. Во всем поселке у них — ни балка, ни барака! У каждого — благоустроенная квартира со всеми удобствами. Вот как развернулся Лавров за те же два года, что и мы здесь обустраиваемся... Деда и отца не к месту приплел. За что они боролись — давно дало плоды. А мы-то ищем нефть для кого? Разве не для народа, не для его лучшей жизни? Тут ты мимо цели пальнул. Сколько вокруг нового! Красивого и доброго. Города, дворцы, школы, санатории. Разве они не для рабочих, не для нас с тобой?.. Здесь, даже на Севере, не только Белоярье строится. В Сарье уже многоэтажные дома. И там сегодня живут такие же, как ты... Негоже за деревьями леса не видеть... Со своей стороны обещаю сделать все, что в силах, что только возможно, чтобы и здесь, в Пионерском, жили по-людски. Теперь. Сейчас. А не потом. Хочешь — верь, Епифан...

— Архипыч.

— Вот так, Епифан Архипович.

3

Кабинет начальника Пионерской геологоразведочной экспедиции просторный, с четырьмя большими окнами. Посреди, во всю длину кабинета, вытянулся огромный прямоугольный полированный стол, тесно обставленный полумягкими стульями с высокими спинками. На стене пестрела геологическая карта. В переднем углу на специальной подставке выстроилась шеренга колбочек с образцами нефти из разных скважин. Тут же лежал большой альбом, на обложке крупными бронзовыми буквами оттиснуто: «Будни Пионерской экспедиции».

За окном бушевала непогода. Под напором сиверка дрожали и гнулись оконные стекла. Дождь барабанил по ним. Стрелка барометра елозила по кругу. Ртутный

столбик уличного термометра стремительно оседал. Вот-вот дождь заледенеет и повалит снег.

— Зза-рра-аза! — Мельник сердито пристукнул сухим, туго сжатым кулаком по сверкающему белой эмалью подоконнику.

Так же суматошно, как ветер за окном, метались мысли в голове Германа Кузьмича. «Разогнать всех синоптиков-прорицателей. Обещали до конца месяца незначительное похолодание и кратковременные осадки... Чего на них валить? Сами, поди, сейчас под дырявой крышей кантуются. Не первый год в Сибири. Не первый. Знал ее повадки. Тогда с Вавиловым так же вот. Днем — теплынь, ночью — дождишко обыкновенный, а утром загудела метель. Если б не она, все было бы по-другому... С чего меня заносит? На тысяче сит просеяно, отболело, отвалилось. Какого же... Примета старости? Кукиш с маслом ей. Еще поворочаем. Только бы дотянулся караван из Туровска с самым неотложным. Застрянет — солярки и то не хватит на зиму... Там и цемент, и машины... Говорил чертову запорожцу — лети, протолкни...»

Круто повернулся к телефону, взял трубку.

— Юрченко? Ну-ка высунь нос на улицу... Как? А-а? Сочиняй слезное прошение в небесную канцелярию... Вот прихватит ледостав на полпути...

— Не беспокойтесь, Герман Кузьмич,— уверенно забасил Юрченко.— Разве мы подводили когда-нибудь? Через три дня баржи будут здесь. Только что навел справку. Хозцех на ногах по боевой тревоге. Отбирают, что нужно для буровых. Завтра на вертолетах забросим. Не портите себе выходной. Хоть Обь из берегов, с пустыми руками не зазимуем. Все, что нужно, будет, даже с запасцем. Могу побожиться.

— Смотри у меня,— затихающим громом пророкотал Мельник. А сам подумал: «С любой сковородки спрыгнет, в любую щелку пролезет. С таким хозяйственником — сиди дома, гоняй чаи».

Но вместо того чтобы идти домой чаевничать, Герман Кузьмич по телефону связался с командиром вертолетчиков, потом с главным механиком Никитским. Непогода всех подняла на ноги, и, не дожидаясь команды, каждый штопал прорехи на своем участке, готовясь встретить нежданно грянувшую зиму. Непогода всегда несла новые хлопоты, тревоги, беспокойства, но Мель-

ник любил ее: будь то свирепая июльская гроза, либо мартовская метель, либо вот такая, как сейчас, круговерть, когда сам черт не поймет, что это — дождь или снег, весна или осень. В непогоде его волновало и притягивало движение — стремительное, не подчиняющееся никаким законам, ломающее, рвущее, сметающее все с пути.

В громовых раскатах, штормовом реве или диком завывании пурги Мельнику слышались ликующие вопли сорвавшихся с привязи страстей: все оголено, никаких амортизаторов и изоляций.

Мальчишкой Германа всегда тянуло из дому, из палатки, из-под любого укрытия — под косые очереди града, дождя, снега.

Странно, но с годами эта черта характера сохранилась в нем. И ему очень захотелось сейчас надеть стеганку, сверху накинуть плащ с капюшоном, сунуть ноги в резиновые сапоги и добраться до лесу. Вот где теперь хорошо! Гудит, кряхтит, стонет тайга под ветром. Теснятся, жмутся друг к дружке оробевшие деревья. Все живое забилось в норы, дупла и гнезда. По лесу плывет набатный гул, катится из конца в конец, и от этого гула становится тревожно и удивительно хорошо на душе. Хочется слушать, слушать, слушать ни с чем не сравнимую, жуткую и прекрасную песню разбуженной непогодой тайги...

Дверь кабинета открылась без скрипа, неслышно вошел Ярослав Грозов. Стянув с головы насквозь промокший берет, Ярослав расстегнул змейку «молнии» на груди, распахнул полы желтой куртки из синтетической кожи. Прозрачными росинками посверкивали обильно рассыпанные по бороде и усам капельки дождя.

— Чего так легко вырядился? — спросил Мельник.

— Думал, поиграет да перестанет, а она рассерьезничалась.

— Садись.

— Постою. Не хочу Юрченко огорчать. Легко ли достать такую мебель.

— По делу иль от дождя спасаясь?

— За гвоздями.

От Ярослава можно было ожидать любого подвоха, потому Мельник ни лицом, ни голосом не выразил ни малейшего изумления. Спокойно спросил:

— Много надо?

— Десятка два, подлинней и потолще. И пару горбылей.

— Не такие мы бедные, и доброго тесу не пожалеем.

— Тут горбыль в самый раз. Да и того жалко.

— Чего надумал?

— Окошечко заколотить.

Все-таки Мельник попал в ловушку, не угадал Ярославовой затеи.

— Решил со своей люкс-землянкой распрощаться?

— Перелет. Творенье рук своих не оскверню горбылями!.. Через три-четыре дня дойдем до горизонта. Испытателей уговорил, сами поможем, так что с испытанием задержки не будет. А дальше куда? Монтажники только через месяц обещают буровую. Получается «окошечко» в тридцать, ну, пусть в двадцать дней. Такой пробел никаким энтузиазмом потом не заштопать. Вот на это «окошечко» горбыли в самый раз...

Сивые лохмы мельниковских бровей повисли на самой кромке лба, вот-вот сорвутся. «Вечно эти монтажники. Одна морока с ними. Шли бы в ногу, можно план раза в полтора перескочить. Из-за них все нарекания. Как он ухитрился пробурить, по графику еще двенадцать дней. Отлично работает, чертяга. Дать бы ему зеленый свет — не устоять Ветрову. Тот силой ломит, хребет трещит, а этот играючи...» Спохватился. Глянул в выжидательно-требовательные и в то же время насмешливые глаза Ярослава, хмуро спросил:

— Что предлагаешь?

— Дней через десять заканчивается монтаж девяносто второй. Если мы поможем, уложатся в шесть. Вот и заколотим «окошечко».

— Девяносто вторая для Ветрова.

— У него еще недели на три бурить шестьдесят девятую. К тому времени, если поднажать, монтажники обещанную нам буровую закончат.

— Они не фокусники. И так на полную катушку...

— Руками — да, а головой...— Ярослав пренебрежительно фыркнул.

— Головой болты не закручивают.— Мельнику все труднее удавалось сдерживать раздражение. «Зазнайка. Под началом одна бригада, а мнит себя на капитанском мостике. Такому только дай высоту набрать».

— Была бы голова — их и раскручивать не надо.

Можно демонтировать вышку по блокам и вертолетом на новое место.

— Можно, можно,— передразнил Мельник.— Все можно теоретически...

— Не навязываю. Пусть сосут мамину титьку. Рот занят, нечем свежатинку жевать.

— Тебе бы конферансье быть...

— Запоздали с советом. Уже оформился в штат нашего Дворца культуры, который открывается после дождичка в четверг,— отпарировал Ярослав деловито, без улыбки, чем окончательно вывел Германа Кузьмича из равновесия.

И когда, не меняя тона, без всякой паузы Ярослав спросил: «Так как же с девяносто второй?» — Мельник в ответ не то кашлянул, не то рыкнул.

— Не понял, что вы сказали,— смиренно проговорил Ярослав, ладонью топорща бороду. Подождал, посмеялся глазами над рассерженным Мельником и с показным сочувствием: — Вас что-то смущает? Новизна иль неожиданность предложения? Не волнуйтесь! Нервные клетки не восстанавливаются... В кои-то веки Ветров может недельку посидеть у «окошечка». Боитесь рекордсмена травмировать?

— За мои нервные клетки не тревожься. А за товарища и тебе бы не грех поволноваться.

— Я и волнуюсь. Стыдно за него. И за вас. Кому эти липовые показатели нужны? Ну, вышел в передовики, увенчали лаврами, теперь пусть рекордов на равных добиваются. Этими поблажками из хорошего человека свадебного генерала делаем...

Препираться с Ярославом Герман Кузьмич не хотел: к чему зря кровь портить? Такого проучить можно только непробиваемым спокойствием, даже небрежным безразличием, чтоб понял: его ядовитые стрелы не страшнее ломких безобидных соломин. И лишь когда обескураженный обидно долгой паузой Ярослав понимающе хмыкнул и в глазах его загорелись злые огоньки, Мельник лениво, с зевотцей, нарочито назидательно выговорил:

— Соревнование — штука сложная. Самотеком далеко не уплывешь. Без запевалы не обойтись, а им может быть далеко не каждый.

— Сейчас,— сорвался уязвленный Ярослав,— неверящих, сомневающихся нет. И запевала должен начи-

нать не с фальшивой ноты. Соревнованию живой ветерок нужен. Ветрище! А это же — трюкачество! Один — через кусты, по оврагам, другой — по гаревой дорожке. Вот так состязание! Потому-то у доски показателей — никого и на собрания по подведению итогов силком загоняем. Надо Ленина читать почаще. Знаете, что он говорил о показухе?..

— Никак собрался меня политграмоте подучить?

— Нет.— Ярослав совладал с чувством, стал прежним — насмешливо-дерзким. Погладил бороду, снял с крючка вешалки мокрый берет.— Просто хотел напомнить вам, что вы — коммунист, да еще руководитель...

— Не нуждаюсь в твоих напоминаниях! — громыхнул Мельник.

— Это не делает вам чести,— отчеканил Ярослав.

— Ты о моей чести не пекись. Как-нибудь без опекунов...

Не то надо бы сказать желторотому зазнайке, но ничего подходящего не подвернулось на ум, а смолчать — нельзя... Мельник озлился и стегнул жестким голосом:

— Увидеть неполадки, ткнуть пальцем — ни ума, ни смелости, не обязательно вуз кончать и партбилет носить. Ты найди способ сковырнуть болячку. Ну, отдадим мы тебе девяносто вторую, посадим Ветрова на прикол, а дальше? Будут выше твои показатели, ниже — ветровские, а в целом экспедиция что выиграет? Нельзя собственное «я» ставить превыше всего. Так незаметненько в центропупа превратишься...

Со слов Мельника получалось, что Ярослав — себялюб, и шкурник, и завистник, хотя ни одного из этих слов Мельник не произнес и вообще не обронил грубого словечка, чем особенно погордился в душе и под конец даже милостыню подал обиженному, прибитому Ярославу:

— Мы любим в молодости с разбегу да наотмашь, только не всегда так можно. Направь-ка лучше свой пыл и знания на то, чтоб подтянуть монтажников. А на Ветрова не наскакивай: он и по годам и по опыту в отцы тебе.

Торжествующе умолк. Взял со стола папиросы, и уже протянул пачку Ярославу, и хотел миролюбиво сказать ему «кури», и снисходительно хлопнуть по плечу, как тот вдруг едко спросил:

— Значит, ни горбыля, ни гвоздей? И пусть вечно зияет эта вонючая дыра на нашем светлом небосводе?

«Иди отсюда!» — чуть не рявкнул разом освирепевший Мельник, но все-таки усмирил себя и медленно выцедил сквозь зубы:

— Ни хрена ты не понял. Я думал...

— Я тоже: и думал, и ошибся. Что касается перестройки монтажного цеха, то лучше всего вынести этот вопрос на сессию Генеральной Ассамблеи ООН или уж в крайности на какой-нибудь международный симпозиум. Конечно, потребуется время, тщательная подготовка. Понимаю, потому не тороплю... Благодарю за внимание. Извините за беспокойство. Желаю здравствовать...

Небрежно налепил на макушку черный блин берета и пропал за высокой, обитой красным дерматином дверью.

С хрустом развалился на части карандаш в кулаке Мельника. Если согласиться с этим наглецом, тогда ни о каких рекордах не мечтай. Хоть лоб разбей, а все четыре бригады монтажники своевременно буровыми не обеспечат. Ветров — герой, ветеран, первооткрыватель. Это вполне оправдывает исключительные условия, создаваемые для него. Нынче он, если уж не на первое место по министерству, то в первую тройку наверняка выскочит. Лучше один в небе, чем четверо на крыше... «Зазнаваться стал Ветров, никого больше, кроме меня да Русакова. Пусть покрасуется на старости. В работе-то еще напористей — это главное... Как-то бы раскачать монтажников. Крупноблочный метод попробовать. Белоярцы первую буровую на понтонах... Посмотреть бы их поселок. Расписали, раззвонили, чуть ли не лучший в стране. Зато по себестоимости и метражу Лаврову зад кажем. И разворотливости ему поучиться. Пока утвердит свои запасы, мы начнем нефть качать... Без «окон» не обойтись. От точки до точки — десятки километров. Зимой куда ни шло, а летом... Зазнайка Грозов, а с соревнованием прав. Насчет ветерка — метко и точно. Извилины в порядке...»

Что-то в Ярославе напоминало Мельнику собственную молодость, оттого, верно, и тянуло к этому отчаянному задире. Неожиданно вспомнились слова грозовской песни, которую распевала молодежь:

К черту папины квартиры,
в них и ванны, и сортиры.
Даешь таежный неуют...

Торопливо натянул стеганку, накинул плащ. Сейчас он врежется в беснующийся за окном дождь и уйдет в тайгу. Но когда окатило ледяными струями не то замерзающего дождя, не то тающего снега и зябкая дрожь колыхнула тело, расхотелось в задымленную непогодой, неприметливую, сырую тайгу, потянуло домой. Жена обещала на обед рыбные расстегаи. Чертовски приятно в такую непогодь хватить стопку обжигающего коньяку, поваляться с книжкой, вздремнуть. Это сейчас более необходимо, чем прогулка под дождем.

4

Всего на несколько минут в доме затаилась мягкая, мирная тишина. Но едва Рая занялась мытьем посуды, как сразу запела сначала что-то неразборчивое — «тра-ра-ра-рам, тирли-ли-ли», потом мотив выровнялся, выстроился в определенном порядке, и в комнате зазвучала любимая песня:

Где-то есть город,
Тихий, как сон...

Подсев к столу, Рая заученно придвинула чистый лист, сняла колпачок с вечной ручки. Медленно вывела первую строчку: «Здравствуй, милая Глаха!»

Подумала, покусала кончик самописки, снова склонилась над листом.

«Поздравляю с сыном. Завидую. Ой, как завидую! Почему не написала, как назвала? Назови Еремеем. Редкое и очень красивое имя. Еремей Буянов! — неплохо звучит. Увесисто, немного раскорячисто,— словом, чисто по-русски... Новостей у нас особенных никаких. Папа был в Сарье, видел Лаврова. Постарел тот, будто бы поседел. Верно ли это? Что касается женихов, так я пока не пекусь. Честное слово! Ужасно рада за твоего Вальку. Задаваться ему не давай. От славы у них голова кружится. Статью про него в «Северной правде» нашла. «Магистр ледовых дорог», — подумать только, как вознесли. Про ваше Белоярье прямо легенды. И про месторождения вокруг Мертвого озера, и особенно про

поселок. До дыр зачитали журнал, где напечатали очерк про вас...»

Подняла голову, глянула за окно, где мельтешила, гудя, непогода. Не смогла оторваться от суматошной пляски белесых струй, подошла к окну.

Вдруг вспомнился Рае весь, на поглядку пустой и случайный, но почему-то застрявший в памяти, разговор с Русаковым в кузове грозовской атээлки.

Первая встреча с ним случилась на том самом Заячьем острове, в погожий летний день. Рая за неделю перед этим пришла в отцовскую бригаду. Каждую свободную минуту читала, набираясь чужого опыта и знаний, необходимых для работы. Отправив пробы, только раскрыла книгу, как дверь вагончика по-кошачьи пискнула. Рая недовольно оторвала взгляд от страницы и увидела незнакомого мужчину. Курносый, обветренное лицо с мягкими чертами, пытливый цепкий взгляд. «Вы и есть лаборантка Рая Ветрова?» — «Угадали».— «Задача с одним неизвестным. Две женщины в бригаде, одна коптится на кухне, кто же другая?» Рая засмеялась, подумала: корреспондент, наверное. Когда же незнакомец в ответ на приглашение проходить сказал так непривычно прозвучавшее здесь «спасибо» и, только испросив разрешение, закурил, разгоняя ладонью дым, Рая вовсе уверовала в свою догадку. «Корреспондент», как и водится, расспросил, откуда она, когда и как попала в бригаду, нравится ли работа, дружный ли коллектив, а потом, приметив керны на подоконнике, заинтересовался, что это за штуковины. Долго и подробно Рая объясняла, зачем и как отбирают керн, как по нему определяют нефтеносность пласта, потом рассказала, как следит за правильностью отбора. «Корреспондент» вертел в пальцах разноцветные столбики, читал вслух цифры глубины, с которой была взята проба, нюхал, ахал и все спрашивал: «А этот пахнет нефтью?» Рая насмешила гостя рассказом о том, как однажды буровики на подобный вопрос столичного журналиста ответили, что керн из нефтеносного пласта не только пахнет, но горит, и в подтверждение зажгли керн, незаметно обмакнутый в бензин. «Корреспондент» хохотал так, что слезы выступили на глазах. Пришел отец. «Вы уже познакомились?» — «Вполне. Отличный лаборант у вас, Михаил Николаевич».— «Видишь, дочка, какую аттестацию дает тебе главный геолог».— «Какой

геолог?» — изумилась Рая. Тут «корреспондент» встал и представился: «Главный геолог Шанской экспедиции Пантелей Ильич Русаков...»

...Бригадная повариха и Рая удобно расселись по обе стороны большого таза, в котором трепыхались золотисто-желтые караси. Одна стала чистить, другая потрошить рыбу. «Чего вы удумали?» — спросил Русаков, подходя. «Уху»,— ответила Рая. «Тогда стойте. Дайте сюда нож. Сварю вам настоящую рыбачью. Плату за обучение переведете на текущий счет».

Пантелей Ильич сам закладывал в котел приправу и рыбу, обжигаясь и дуя в поварешку, пробовал, в меру ли солона и остра юшка.

Клетчатая рубаха с расстегнутым воротником, по локоть закатанные рукава, к потному лбу пристыли крученые пряди мягких русых волос, окурок сигареты в углу крупного большегубого рта, дымящаяся наваром поварешка в руке...— таким он и стоял теперь перед глазами девушки...

5

Посреди раскисшей вязкой дороги темнела глубокая колея. По ней и пробирался Ярослав, еле переставляя ноги, которые то скользили и расползались на твердом осклизлом грунте, а то так увязали в густом липучем месиве, что вытаскивать их приходилось с силой, разметывая по сторонам огромные комья грязи. Поскользнувшись особенно круто, Ярослав вскрикивал: «Ой-ля!» и балансировал руками, удерживая равновесие.

Сырая чернота окутывала поселок. С каждой минутой ветер становился суше, жестче и сильней. От холода дождь побелел, забарабанил ледяными дробинами по затвердевшей как панцирь куртке. С треском, похожим на звук рвущегося полотна, белые валы катились по земле, билиcь о стены балков, подсекали редких прохожих, торопливо, на ощупь пробиравшихся сквозь ревущий и стонущий ледяной хаос.

Не загадывал Ярослав идти сюда, выскочив из мельниковского кабинета. И вот незаметно вдруг притянуло к этой крохотной аккуратной избушке с неярко освещенным маленьким оконцем.

У порога Ярослав остановился в нерешимости. В такую пургу немудрено ошибиться. Времянки-насыпушки

стояли тесно, как маслята. Их и днем-то трудно отличить друг от друга, а тут...

Ветер прямо-таки озверел. Больно сек щеки и открытую шею, залезал в рукава, под воротник, но Ярослав не ежился, не отворачивал лицо, торчал столбом посреди дороги, на самом ветровороте.

Ладно ли он делает? Еще не поздно повернуть. Десять минут ходу и — свой порог. Давал ведь слово себе... Вот-вот приедет невеста из Ленинграда. Зачем же это? Поспешил успокоить себя: зайду на минутку, отогреюсь, поболтаю с Сенечкой, посмотрю...

Он только однажды входил в эту дверь.

Приблизился к оконцу. Соскреб со стекла белую студеную накипь. Вгляделся. Та самая комната. Даже дыхание перехватило. Нашарил дверную ручку да и застыл: «Надо ли?!»

Только зайти. Здравствуй и прощай. Как тогда.

Да было ли это тогда?

Может, приснилось, пригрезилось?

Было...

Он спешил на вертолетную, на ходу насвистывая зарождающийся в голове мотивчик, придумывая к нему подходящие слова. Вдруг остановился резко. «Чего это я?» Скользнул по сторонам обеспокоенным взглядом и сразу увидел молодую женщину. Почти по колена утопая в снегу, она вытаскивала из груды толстые тяжелые поленья и носила их к поленнице, сложенной вдоль стены. Ощупал взглядом хрупкую, надломленную тяжестью фигуру, увидел красные пальцы, напряженно вцепившиеся в мокрое полено, и, словно подтолкнутый в спину, сорвался с места, подбежал:

— Дайте помогу.

— Что вы! — засмущалась Лида, плотнее запахивая Сенечкину стеганку.

— Мне некогда уговаривать. Идите домой. Я уложу.

Набросился на работу с озорной яростью. Таскал дрова к поленнице такими охапками, что спина похрустывала, и через несколько минут груда растаяла.

— Умыться можно у вас?

— Конечно же.

В комнате он скинул куртку, расстегнул воротник рубахи, закатал рукава.

Умывальник Сенечка унес запаивать, и Лида поливала Ярославу из ковша. Он с удовольствием подстав-

лял под обжигающую струю литую шею, азартно фыркал, разбрызгивая вокруг воду.

Принимая полотенце, нечаянно заглянул в глубь ее миндалевидных ярких глаз и уже не мог оторваться от них. Сильными руками обнял ее за плечи, притянул...

Этот поцелуй, как взрыв, все перевернул, разметал в клочья.

— Уходите. И прошу вас... никогда больше... никогда не приходите сюда,— только и сказала она.

Он ушел, унося в душе неиспытанное ранее, необъяснимое чувство. Будто бы до того мгновенья его вовсе и не было, а настоящий, подлинный Ярослав Грозов все эти двадцать шесть лет лежал, свернувшись клубком, как замороженный китовый ус, чтобы в свою нежданную минуту, оттаяв, распрямиться, разрушить ледяную скорлупу.

На людях он был прежний — неуемный песенник и зубоскал, но наедине с Русланом затихал, становясь задумчивым, и его новые песни были минорными и протяжными. Порой на Ярослава нисходило прозренье, он осмысливал происходящее и ужасался. Нет, он был далеко не безгрешен. Многое прощал людям и себе, но волочиться за женой товарища, разваливать чужую семью (а ее в здешних условиях нелегко слепить) — это, в его представлении, было наивысшей подлостью, и за одну только мысль о возможной близости с Лидой он презирал себя... А забывшись, снова видел ее яркие, нерусского разреза глаза, полные изумления и восторга. И снова хмелел, как и в тот миг, когда притягивал ее к себе вместе с белым расшитым рушником.

Летом в столовой он краем уха услышал, как Сенечка кому-то сказал, что жена на все лето уехала к дальней родне во Владимир.

В самую рабочую пору Ярослав вымолил недельный отпуск без содержания и улетел туда же. Бродил по улицам незнакомого города, обошел все скверы и парки, осмотрел музеи, соборы, пляжи, стадионы — и зря. Невелик город, а человек в нем, как лодка в океане,— попробуй отыщи. В адресном столе Лидии Георгиевны Крупенниковой не значилось.

Тогда Ярослав зло посмеялся над собой, сочинил даже песенку «Я ищу по компасу любимую», только от этого ничего не изменилось. Все время он незримо приближался к ней. Помимо воли кружил и кружил по

спирали. И вот сегодня последний виток оборвался у двери маленького, исхлестанного ветром, засыпанного снегом домика.

«Хоть бы Сенечка был дома»,— искренне пожелал Ярослав. Они поболтали бы о разных пустяках, может, распили бы бутылку. И Лида посидела бы с ними. Он только бы глянул на нее и все понял. А чего понимать? И слепому видно: чужая жена, чужой дом, и он стоит у порога, как вор.

Глубже натянув ставший железным на морозе берет, Ярослав коротко постучал в фанерную обшивку игрушечной двери. Подождав, постучал громче.

— Кто?

— Свои.

— Что за «свои»? — встревожилась женщина, подходя к двери.

— Как вам объяснить?.. Грозов я.

— Ярослав?

— Он самый.

За дверями долгая тишина растерянности. Звякнул крючок. Ярослав протиснулся в дверь.

Здесь все осталось таким, каким было полгода назад. Тогда тоже топилась плита. Так же жался к стене тонконогий стол, накрытый клеенкой. Вокруг него на неровном полу — три стула. Платяной шкаф с полированными, кричаще сверкающими дверцами так же недоуменно глядел на пришельца огромным зеркальным глазом. На кровати то самое китайское покрывало. Вот только красивого синтетического коврика на полу тогда не было.

Хозяйка — невысокая, тонкая, с чуть заметными бугорками грудей — стояла, плотно прижавшись спиной к стене.

— Здравствуйте, Ли...дия Георгиевна,— еле шевеля онемевшими вдруг губами, выговорил Ярослав.— Заплутался в этих переулочках, совсем окоченел. Решил вот побеспокоить, отогреться.

Хозяйка пришла в себя, сказала со сдержанной приветливостью:

— Раздевайтесь, Ярослав. Сейчас подогрею чай.

— Вот это чудно. Чай не пьешь — откуда сила, чай попил — совсем ослаб...— легковесно, не думая, говорил и говорил он просто для того, чтобы не молчать, чтобы не выказать своего волнения.

Он никак не мог расстегнуть куртку: металлическая головка «молнии» выскальзывала из пальцев, Ярослав слепо нашаривал ее на груди, не в силах оторвать глаз от Лиды. Та чувствовала взгляд парня и все время норовила повернуться к нему то спиной, то боком.

Они сидели рядом, боясь столкнуться взглядами или нечаянно коснуться друг друга. Лида помешивала ложечкой дымящийся паром чай. Ярослав зажал горячую чашку в ладонях и смотрел на нее с таким выражением, словно ожидал, что из коричневой жидкости вот-вот вынырнет расколдованный им джин. Наконец парень опомнился. В два глотка опорожнил чашку, со звоном поставил ее на блюдечко. Спросил приглушенно:

— Вы не сердитесь?

— С какой стати?

— Я ведь не хотел. Честное слово. Помню ваш наказ. Само собой вышло. Не верите?

Она не отозвалась. Только шевельнула бровями и понимающе и прощающе опустила глаза.

— Ну и отлично! — обрадованно и громко выпалил Ярослав, чувствуя, как спадают с него недавняя растерянность и скованность и все происшедшее уже не кажется чем-то необычным, недопустимым. Ну что такого случилось? Посидит, поболтает и уйдет. Ей тоже наверняка осточертело куковать в этой избенке. И он заговорил:

— В такую непогодь человека тянет к теплу, к другу. Мой закадычный сейчас в Туровске, лежит на больничной койке и ждет не дождется, когда на волю выпустят. Да вы его отлично знаете. Летчик, Матвеич.— Лида согласно наклонила голову.— Интереснейший человечище! С виду — так себе, помятый жизнью мужичонка, а душа соколиная. Верит, что будет еще летать. И я верю. Такие могут только гореть...

— Я-то думала, у вас тьма друзей.

— Тут весь вопрос в том, кого называть другом.— Ярослав раздумчиво вздохнул.— Бывают друзья по несчастью, друзья по работе, друзья по привязанности к чему-то. Таких у меня предостаточно. Отличные ребята. С ними не заскучаешь. Ни в беде, ни в радости не покинут. Но... приходит пора... наступает...— Он вдруг смешался, начал запинаться, растягивать слова, чего с ним вовек не случалось.— У каждого бывает в свое время, по-своему... Тогда человеку нужен друг единственный,

неразделимый, что ли... Он — вроде бы твоя вторая половина, и лишь рядом, вместе с ним ты чувствуешь себя... ну, полноценным... Слова не те, слишком казенные. Только тогда я истинно счастлив, когда она вместе со мной, моя, судьбой мне предназначенная...

— По-моему, такой друг — вторая половина — мало у кого есть...

Взгляды их встретились.

Выражение растерянности и беспомощности появилось на ее лице. Ярослав поспешно отвел глаза. Лида расслабленно пошевелила плечами, словно с ее маленького, упругого и легкого тела только что сняли веревки.

— Не всякий ищет свою половину. Довольствуется тем, что под рукой, без хлопот, без испытаний...— Ярослав прокашлялся: пересохшее горло саднило, будто ежа проглотил. Плеснул в чашку заварки, отпил большой глоток.— А другой и отыщет, да подступиться не может, не смеет...

— Почему? — тихо спросила Лида.

— Почему? Хотите правду?

Испуг плеснулся в глазах женщины. Испуг — и ожидание чего-то необыкновенного, неиспытанного, которое и страшило и притягивало.

— Да,— выдохнула она. Кончиком языка облизала сухие губы и еще тише: — Да.

— Пока искал ее, единственную, только мне предназначенную, она уже приросла к другому... Вот и все «почему?» Как быть? Отступиться? Свыше всяких сил. Да и зачем? Чтоб не нарушать равновесия, не обижать третьего? Самоубийство! Остается одно — к черту равновесие. По живому... А это — больно. Очень.— Закрыл ладонью глаза.— И ей... И тому... И себе..— Отнял ладонь. Приблизился к побледневшему Лидиному лицу и, обжигая ее щеку дыханьем, прошептал: — Что же делать?

— Не надо... Не надо... Прошу...

Порывисто схватил Ярослав маленькую холодную руку, прижал к своей раскаленной щеке.

— Простите меня. До свидания.

Слепо толкнул податливую дверь, сдернул с вешалки куртку — и на улицу...

Глава четвертая

1

За все лето выпало недели три по-настоящему жарких, но и те были омрачены налетом несметных полчищ свирепого гнуса.

Только в середине августа комар начал пропадать, а вместе с ним пошло на убыль и тепло. Лето растаяло, как снежинка в ладони — незаметно и скоро, и уже не желанной прохладой, а зябким, нагоняющим дрожь холодком потянуло с реки. В тайге стало сумеречно и сыро, как в погребе. Оголились березы, отпылали осины, погребально отзвенели улетающие журавли. А близкий Северный Ледовитый дул да поддувал, и все сильней, все студеней с каждым днем, и вот она, зима, встала у порога, потопталась, повздыхала, поуросила, как говорят сибиряки, да и разлеглась — вольготно и надолго, на шесть полных месяцев.

В зимней тайге, как в заброшенном срубе, ни уюта, ни тепла. Но и в ней Лавров находил прелесть и не упускал возможности пройтись по зимнему лесу пешком иль на лыжах, заманивая туда и Риту с дочерьми.

За три года в Белоярье Лавров заметно постарел лицом. Седина окропила виски, прочертила глубокую белую борозду в пышных, чуть тронутых позолотой волосах. И хотя взгляд Лаврова остался прежним — колючим и цепким, в нем чаще стали загораться злые огоньки, и в голосе нет-нет да и прорвутся уркающие, раздраженные нотки. Обычно, почуя прилив раздражения, он умолкал, отворачивался, отходил в сторону, но иногда срывался и слепо рубил в мелкую щепу правого и виноватого.

Как-то Морозов, пряча глаза, посоветовал улыбчиво: «Ты бы, Леонидыч, нервишки подлечил. Попил бром или еще какую холеру. А лучше на курорт, третий год без отпуска».— «Спасибо,— буркнул Лавров.— Непременно учту твои пожелания. Ты — за порог, и вызываю «скорую»...»

Четвертую зиму встречала Белоярская экспедиция. И хотя к приходу холодов как будто было все готово — и водопровод, и канализация, и отопительная система, и запасено топливо, и отремонтирована техника,— все равно Лавров тревожился и в первый зимний воскрес-

ный день решил вместе с Прутовым обойти поселок, поискать прорехи, куда могла бы запустить когти северная зима.

С высокого конторского крыльца отчетливо просматривался весь поселок, раскинутый на всхолмленной равнине. В архипелаге крошечных зеленых островков кедрача, будто высокие волны, горбились сугробы, и по ним, как суда в рассветной дымке, плыли дома. Густо дымила на окраине труба котельной.

Несколько минут стояли молча, вглядываясь, вслушиваясь. Они знали не только каждую выбоину на дороге, каждое дерево, каждый дом, но и кто как живет в том доме.

В Белоярье не было ни отделения милиции, ни медвытрезвителя, ни камеры предварительного заключения. Две с половиной тысячи человек прекрасно обходились без этих заведений. Хотя в поселке давно отменили сухой закон и в кафе продавались не только обычные напитки, но и самые разнообразные коктейли, а в магазине никогда не убывала шеренга разномастных, украшенных звездочками и медалированными этикетками бутылок, пьяные на улицах были редкостью даже в праздники.

За три года все случайное, наносное улетучилось из экспедиции, и, хотя ее состав постоянно обновлялся, основной костяк оставался неизменным, он-то и определял физиономию коллектива.

— С чего начнем? — спросил Лавров.

— Айда по кругу. От складов до котельной.

— Хорош!

Крепко сбитый, стремительный Лавров шагал широко и твердо, ставя ногу сразу на всю ступню. Свежий снег похрустывал под его унтами. Прутов двигался легкими мелкими шажками, и снег под его бурками игриво и тонко попискивал. Годы, проведенные в Белоярье, не изменили внешне Прутова, разве что прибавили азиатской смуглости его лицу.

— Как жена? — спросил Лавров, едва спустились с крыльца.

— Спасибо. Лучше. Чуть сбили температуру, сразу из дому в детгородок. Зимний сад затеяла...

— Это в том домике со стеклянной крышей?

— Ага. Душу из меня вытрясла, пока раздобыл какие-то сверхмощные рефлекторы, чтоб солнце заме-

нили. Теперь у каждой группы и зимой свой сад будет.

— Отменно! — одобрил Лавров и улыбнулся, вспомнив, как летом детишки потчевали ягодами из собственного сада. Завидный сад. У малыша в нем — своя яблонька, папой либо мамой посаженная, своя полоска клубники. Играючи наперегонки и поливают, и полют, и рыхлят. Шефство, соревнование. Смешно вроде, а на деле — мудро и очень полезно.

— Теперь грозится бассейн строить,— не то посетовал, не то похвалился Прутов.

— Построит! — обрадованно заверил Лавров.— Честное слово.

А сам подумал: «Конечно, построит. С ее-то методой. Проголосует на родительском — и точка, закон. И попробуй ему не подчинись. Опять выставит два фанерных щита, чтоб сыздаля видно: на одном — фамилии прилежных родителей, на другом — отлынивающих. Отменный ход. И друг перед другом неловко, и детишки проходу не дают...»

— С бассейном помоги. Тут не надо тяп-ляп. Добудь проекты. Хватит им двенадцать на шесть. Буянова втрави. Он теперь отец, глава семейства, к тому же начальник цеха. Агитнет друзей экскаваторщиков да бульдозеристов — и за день котлован.

— Сделаю, Глеб Леонидыч,— с готовностью заверил Прутов.

Скользнув усмешливым взглядом по раскрасневшемуся лицу продкомиссара, Лавров долго молчал. «Пусть поблаженствует, редко ему похвала слышится, что-то да не так». А когда Прутов спустился с заоблачной выси и вновь его оплели земные заботы, Лавров заговорил о строительстве теплицы. Они давно уже присмотрели место, летом еще подвели к нему водопровод и отопление, исподволь запасли нужных материалов, заложили фундамент, сделали металлический каркас из отработанных труб и теперь оставалось застеклить.

— Рамы кончим на днях,— докладывал Прутов.— Стекло есть...

— Вот и успокой агрономшу. Проходу мне не дает.

Агрономша эта минувшей весной приехала из Казахстана погостить да и застряла тут, осела, решив, что здесь, на Севере, больше, чем где-либо, нужны людям ее агрономические познания, и без них белоярцы будут вековать на сухом да на консервированном...

Везло им на таких людей. В прошлом году прикатил мастер спорта, выпускник института имени Лесгафта, взбаламутил молодежь, каких только команд не насоздавал, вот-вот к республиканским рекордам подберутся.

Еще не просохла краска на панелях Дома культуры, а в нем уже обосновались молодожены с дипломами Туровского музучилища. Такую самодеятельность раскрутили!

«Все в людях,— думал Лавров.— В каждом заряд добра... Добро добром высекают. Ярков каждую неделю звонит — как, да что, да чем помочь. И ведь искренне. Планирует экспедицию в Варьевск, в самую тундру. На чем переломился? — загадка. Нефть окрылила?..»

— Нам бы совхозик свой маломальский,— мечтательно тянул Прутов, пытливо косясь на начальника,— поросят, кур, кролей да коровенок с полста. Выпаса сносные, сена запасем, но комбикорма...

— Слышал, что Смолин сказал об этом, когда у нас был: «рискуйте».

— Не тот заход. Надо записку Смолину, чтоб заставил облсельхозуправление оборудовать такой совхоз здесь, а потом его нам в готовом виде...

Изумленный Лавров даже приостановился.

— Хорош план! Вовремя и в точку. Уверен — Смолин поддержит. Район перспективный. Не миновать разворачивать здесь промыслы. Рабочих будет тысчонок сто, а им хлеб, да мясо, да молочко подавай. Откуда? Сочиняй бумагу. У тебя в аттестате по чистописанию-то...

— Я ж говорил...

— Помню-помню твои писарские подвиги...

Так, разговаривая, и прошли они от складов к нефтебазе, оттуда в мехмастерские, потом на электростанцию и дальше в гараж, в столярку, всюду придирчиво засматривая, ощупывая и, если обнаруживался какой-то изъян, тут же решая, как поскорей заделать. Ничего существенного, тревожного не обнаружилось. Только в одном овощехранилище начал портиться картофель, который прибыл с последней баржей, и ее разгружали под дождем.

— Завтра школьников сюда,— тут же решил Прутов.— В награду по яблоку...

У дверей овощехранилища их и настиг посыльный с известием о прибытии профессора Ростовского и трех «киношников».

2

Они представились по старшинству. Все вместе — оператор, помощник и редактор — они именовались съемочной группой Уральской киностудии. Разговор начал редактор, он же и автор сценария будущего документального фильма о геологах Белоярья.

— Нынче осенью я был у Смолина,— излишне размахивая рукой с дымящей сигаретой, говорил редактор.— Он и назвал вашу экспедицию. Я погостил тут недельку, вы в командировке были. Собрал фактаж. Сочинил сценарий. Гляньте его для начала, потом обсудим техническую сторону.

«Хозяин тайги» — назывался будущий фильм. Чем дальше читал Лавров, тем сильней хмурился. Почуяв недоброе, редактор заволновался, притушил сигарету, застегнул блузу и все время, пока Лавров читал, двигался и возился в кресле, как усаживающаяся на яйца клушка. И оператор встревожился, вытянув трубочкой толстые губы, громко выдувал из себя воздух, не спуская с Лаврова настороженных глаз. Только помощник оператора по-прежнему равнодушно ковырял спичкой в редких зубах.

— У меня два принципиальных замечания.— Лавров отодвинул прочитанные странички.

— Пожалуйста, пожалуйста,— смущаясь и бодрясь и как бы извиняясь, торопливо вставил редактор,— затем и просил прочесть.

— Первое — о числе...

— Ну, это поправимо,— обрадовался редактор,— любую цифру можно заменить.

— Вот давай и поправим. Начнем с заголовка. Вместо «хозяин» напишем «хозяева».— Сделав это, Лавров отложил ручку, снова отодвинул листы.— В таком направлении надо выправить весь сценарий.— Улыбнулся, глянув на растерянное лицо редактора.— Поймите, ребята, то, что вы задумали отобразить, не по плечу не только одному, но и десяти и сотне самых сильных, смелых и талантливых людей. Тысячи геологов в Туровской области. Целая армия! Пусть из них четверть — случайные, уходящие-приходящие, ни во что, кроме рубля, не верящие. Зато три четверти — стойких, страстных, одержимых. Вот вы мою персону всюду на первый план. И первым на Белый Яр, и первый колы-

шек, и первую точку буровой. Словом — вожак. Приятно. Спасибо за то. Но я — за коллективный портрет.— Поднялся из-за стола, подсел к маленькому столику — лицом к лицу с редактором.— Не придумай Морозов вышку на понтонах, мы бы вместо фонтана в первый год — шиш на постном масле. Без буяновских ледовых дорог нам бы и половины не разведать тех запасов, что теперь в кармане. Окажись Прутов поравнодушней, не отзовись на Кешкин клич студенты Уральского политехнического — ни Дома культуры, ни школы, ни кафе... И во всем, что вы тут увидите, есть еще и частичка Мягкова — это сарьинский секретарь райкома.— Заметил нетерпеливый жест оператора, предостерегающе вскинул руку.— Понимаю, не каждое лыко в строку, обо всех и обо всем в двух частях не расскажешь. И я не за то ратую.

— За что же? — не утерпел оператор.

— Да все за тот же коллективный портрет белоярца. Видели ребячий городок? С него и начните. Детишек оттуда насильно, с ревом. Папы и мамы спокойнехоньки, и производительность труда за последние два года на тридцать процентов вверх! План буровых работ на сто шесть. А по приросту разведанных запасов...

И снова повернул рассказ к людям. Смеясь, поведал, как агрономша досаждала ему, требуя разрешения на строительство теплиц, в одиночку хотела выкопать водопроводную траншею, носила в ведрах чернозем, отовсюду выписывала семена.

— Надумали корпус теплицы полукруглым. Отработанные шестиметровые трубы есть. Согнул пару, сварил, и готово. Верно? Теперь попробуй согни ровно и одинаково. Мы и так и этак — не выходит. Хотели на поклон к трубогибам Туровского завода. Надо было туда-сюда на самолетах эти железки везти. Стали бы они золотыми. Опять Валька Буянов выручил. В два ряда столбики полукругом врыл — вот и шаблон, трубу меж ними простым ломиком уложил — готова полуарка... Вот и суди, кто тут хозяин, кто кого ведет...

Редактор смущенно тер переносицу. Оператор что-то записывал в блокнот. Помощник зажал в зубах спичку и застыл.

— Такая же картина и в масштабе области,— немного поуспокоясь, тише заговорил Лавров.— Побывайте у Мельника в Пионерской иль у Гарифуллина в

Покинской, да в любой экспедиции! Все наши просьбы, идеи, новшества замыкаются на обкоме. Мы Смолина заглазно главгеологом зовем. Не мерил, но угадываю — половину времени и энергии он отдает геологоразведке, не раз в лобовую хаживал и на министерство, и на Госплан... Вон какой диапазон, какие масштабы...

Редактор вдруг вспомнил, что Лавров говорил о двух замечаниях, а высказал одно.

— Второе легко исправить, оно касается вступления. Вы подаете историю открытия так, будто до сорок восьмого никто никогда не задумывался о разведке Сибирской платформы на нефть...

— Да я почти дословно переписал то, что сказал мне Хитров,— с обидой и сердцем возразил редактор.

— Хитров — молодой, увлекающийся.— Лавров улыбнулся.— Вот и приблудил... Уж если вам так хочется сохранить вступление, начинайте его ну хотя бы с тридцатых годов, с первых экспедиций сюда Ростовского и Вавилова. Да вы же прилетели с Ростовским, вот и насядьте на него, он — живая летопись открытия...

Гости ушли. За окном кабинета чернота. «Рита с девчонками заждалась ужинать. Надо позвонить».

Шагнул к телефону и замер от неожиданной мысли. Нет, не по наивности Хитров ничего не сказал редактору о довоенных экспедициях. Как видно, он из тех ловкачей, которые хотели бы объявить себя сегодня первооткрывателями сибирской нефти, приписать себе все заслуги, живыми взойти на постаменты...

3

— Это вы напустили на меня киношников? — вместо приветствия сказал Ростовский, кончиком мундштука почесывая бровь и улыбаясь глазами.— До полуночи терзали. Квас выпили, клюкву приели да еще позировать принудили. Ну удружили! Не ожидал...

Остановился посреди кабинета, обозревая его с таким вниманием, словно это был древнейший, диковинной росписи дворец либо какая-нибудь трехтысячелетней давности фараонова усыпальница. И остановившегося перед ним Лаврова оглядел так же оценивающе пристально с ног до головы и снова заулыбался, да так добродушно и щедро, каждой морщинкой, каждой складочкой разом помолодевшего лица. Столько было в нем

неподдельной братской приязни и теплоты, что Лавров, миг назад и не помышлявший об этом, вдруг шагнул к профессору и крепко его обнял. Тот тоже обхватил Лаврова за талию, потерся дряблой прохладной щекой о горячую щеку. Это неожиданное проявление взаимной симпатии обоих растрогало.

— Вы бы мне, голубчик, организовали телефонный разговор с Туровском. Дважды пытался из гостиницы — не получилось.

— С нашей связью лучше не связываться,— скаламбурил Лавров, снимая телефонную трубку.

— Сейчас как раз наше время. Попробую,— отозвалась ему телефонистка.

Минуту спустя сквозь треск, попискивание, волнообразный гул прорвался еле слышный женский голос: «Вас слушают». Лавров проворно передал трубку профессору и поднялся. Уходя, слышал, как за спиной ворковал Ростовский.

— Здравствуй, Олюшка... Конечно, я... Помилуй бог, абсолютно здоров. Бодр и свеж, как юноша...

— Дома в порядке? — спросил Лавров, воротясь.

Занятый своими мыслями, Ростовский не услышал вопроса и заговорил о другом:

— Бывало, мы уходили в экспедицию, как в потусторонний мир. Канул — и ни следов, ни вестей. Где ты? Жив ли? Рация — одна, о вертолетах даже авиаконструкторы не мечтали тогда. А тайга — настоящий океан... И жутко в ней одному, и диковинно хорошо. Так хочется иногда первозданной глуши. Лежишь на рассвете, слушаешь: просыпается лес, поет река, ветер заигрывает с соснами. Вдруг дождичек пошепчет — пробормочет что-то сонное. И кажется, ты слышишь, как шагает время. Поверху. Над всем земным. Будто шелест крыл огромных доносится. И сам себе покажешься ничтожно мизерным. И вспомнится мудрость древняя о суете всего земного. Но непременно рядом же, как ее тень, озарит и порадует мысль о могуществе человеческого разума, о всесилии и неукротимости человека, а значит, и о твоем могуществе, и о твоем всесилии...

Говорил он хоть и взволнованно, но неспешно и негромко, раздумчиво, и предназначалось сказанное, вероятно, не столько Лаврову, сколько самому себе. В голосе и во взгляде профессора при этом сквозили неприкрытая грусть и усталость. Желая как-то взбодрить,

отвлечь его от тоскливых раздумий, Лавров сказал:

— Меланхолия — признак старости, учтите.

— Причем верный признак,— согласился Ростовский, словно бы и не ему адресовалось это замечание.— Я уже давно не молодечествую. И не о том жалею. Гнетет, пугает груз незавершенного. Он все больше с каждым годом от недогляду, недоумия, лени копится. Поначалу казалось — успею. Теперь ясно — не успеть! Ни сил, ни времени. Так и останусь должником...

— Напраслину наговариваете,— поспешил с утешением Лавров.— Долг наш людям не всегда на лени и недоумии произрастает. Тут честность да совестливость — всему голова. Сам себе поклажу определяешь, и по габаритам, и по весу. Можно такую — и рысью не в тяжесть, а можно — с места не сдвинешь. От совести все, от понимания: ты для людей иль они для тебя? Иной ведь иначе как земной осью и не мыслит себя. Весь мир — вокруг него, для него. Своим присутствием на планете он украшает ее, облагораживает, оттого все силы ума и сердца отдает лишь продлению этого присутствия. Боже упаси перегреться, перенапрячься, переволноваться. Ослепленный собственным сиянием, такой себялюб и не видит, что мир-то, стержнем которого почитает себя, умещается в его собственном брюхе.

— Верно,— согласился Ростовский.— Я их центропупами называю. Разновидностей несть числа, а суть одна — побольше взять, поменьше дать. В большом и малом. В том направлении только и извилины, и душевный настрой, и хребет у них...

Постепенно разговор приблизился к главному, чем жили оба,— к нефтеразведке. На столе появилась геологическая карта района, испещренная разноцветными дугами, кругами, спиралями. Жирными черными линиями были обведены разведанные месторождения. Они напоминали разомкнутый браслет из пяти колец, надетый на Мертвое озеро, подле которого три года назад Хомяков пробурил первую скважину, получив первый фонтан.

Попыхивая сигаретой, Ростовский скользил глазами по карте и молча слушал. В Белоярье не раз бывали его научные сотрудники. Наезжая в Туровск, Лавров обязательно навещал Ростовского, обстоятельно информировал его не только о каждом новом месторождении, но и о каждой вновь пробуренной скважине. Да и точки будущих скважин определялись не без участия Ростов-

ского. Между ними установились крепкие дружеско-деловые связи, которые с годами обогатились взаимной симпатией и прочно вошли в жизнь обоих. Ярков однажды попытался было высказать свое неудовольствие этим, но Лавров с ходу пресек попытку: «Своих друзей даже с женой не обсуждаю. Вам бы с ним в ногу, куда быстрей подвинулись». Ярков долго дулся, но смирился со временем и о Ростовском больше не заговаривал.

Не желание взглянуть на Белоярье привело сюда Ростовского, почти четыре часа летевшего на тихоходном «Ли» тысячу километров. От разговора в первый день отказался, сославшись на усталость, а сам затребовал и просмотрел за ночь такую кипу документов, которые и с отменным здоровьем в неделю не проштудируешь, и по всему угадывалось — что-то чрезвычайно важное и неотложное двигало Ростовским, и Лавров с нетерпением ждал, когда же профессор заговорит об этом, и, когда понял, что тот наконец-то решился, мгновенно умолк.

— Я просмотрел каротажные схемы, подготовленные к отправке, последний отчет сейсмиков и еще кучу материалов, сопоставил с лабораторными показаниями и... смотрите, что получается...

Ростовский взял из стопки чистый лист, вынул шариковую авторучку. Ловко, не отрывая стержня от бумаги, одним росчерком вычертил треугольник основанием вверх. Рассек его линиями на пять неравных частей, чем ниже, ближе к острию, тем тоньше была отсеченная часть.

— Вот так мне представляется любое из разведанных вами месторождений вокруг Мертвого озера. В них по пять нефтеносных пластов. Первые два — самые мощные. Уникальное явление. Но мы пока лишь ходим вокруг главного открытия. Вот глядите. Сейчас вы разбуриваете этот свод. Пустым он, судя по керну, не будет тоже. Значит, шестое.— Вычертил на карте еще одно кольцо ожерелья, замкнув его.— Обратите внимание на такую особенность. Мы бурим только здесь,— ткнул острием в серединку ближнего кольца,— в центре поднятия, и тут, на его крыльях.— Показал их.— Между куполами получается что-то вроде шва, межи, что ли, отделяющей эти месторождения друг от друга...

— Вы понимаете, какая штука,— отчего-то вдруг шепотом прервал его Лавров.— Мы никак не можем в верх-

них пластах нащупать водонефтяной контакт между Мертвоозерским и Мамонтовским месторождениями. Здесь и здесь бурили,— указал карандашом точки на карте.— Все нефть...

— Так-так.— Не глядя, вздрагивающей рукой Ростовский вставил сигарету в мундштук. Голос его тоже стал хрипловато-низким.— Получается, они вовсе не отдельные месторождения, а два вздутия на едином куполе.— Очертил оба одной линией.— Надо еще пробурить здесь вот и тут. И если воды не окажется... Понимаете? Тогда в этом сдвоенном никак не меньше ста миллионов будет. Это все восемь месторождений, открытых Пионерской экспедицией. Об этом-то я и думал, ради того и приехал.

— А если и между остальными четырьмя никакого водонефтяного контакта? — спросил Лавров, и глаза его загорелись алчным восторгом, неузнаваемо изменив лицо.

— Именно! — жарко выдохнул побледневший Ростовский. Скинул с влажного лба светлую прядь.— На то и рассчитывали, к тому и подводили все данные, нацелившие нас на Мертвое озеро. Уверен, эти шесть месторождений — вовсе не самостоятельны. Вся эта махина,— очертил пальцем огромный круг, вобрав в него все шесть колец.— Чуете? Не что иное, как единое месторождение. Гигантское! Крупнейшее не только в стране, но и — помилуй бог! — возможно, во всем мире. По самым осторожным подсчетам, тут миллиарда полтора. Значит, отсюда брать можно будет столько нефти, сколько ныне добывается во всей стране... Если, конечно, прогноз подтвердится, а он непременно подтвердится!..

— Так вы думаете...— все еще как будто сомневаясь на словах, но и глазами и голосом радуясь уже, выговорил Лавров улыбающимся ртом.

— Определенно! — воскликнул Ростовский.— Так и будет! — Хлопком ладони вышиб окурок из мундштука и, молодея на глазах, распрямляясь всем телом, приподнял приятно затуманенную волнением голову, азартно пристукнул по столу.— Только так!

Треньkнул телефон. Лавров покосился на него, но не шевельнулся. Будто разобиженный невниманием, телефон залился надсадным тревожным звоном. Чертыхнувшись мысленно, Лавров сорвал трубку с аппарата. Ухо опалил надломленный волненьем женский голос:

— Это из больницы... Морозова привезли... Умирает...
— Как умирает? — гаркнул Лавров.— Ты что?!

4

Беда всегда приходит вдруг.

Третий день Морозов торчал на монтаже буровой, доказывая себе и другим, что можно монтировать еще быстрее, если перевозить буровую блоками на вертолете. Затемно поднимал монтажников, по-походному быстро завтракали, и едва занимался день, и люди, и машины начинали работу.

Только что закончили установку дизелей. Морозов собрался спуститься с платформы, как вдруг увидел — трактор пятится на паропровод. Уперся ногой в кромку платформы, схватился за какую-то железяку и, повиснув над пустотой, сердито закричал трактористу:

— Куда пятишь, дурья голова, паропровод порвешь!

Тракторист не услышал, машина продолжала пятиться.

Рассерженный Морозов дернулся, нога сорвалась с платформы, и он упал боком в снег. Ойкнув сквозь зубы, скорчился от ослепляющей боли, неловко завалился на спину. Лицо стало серым, потом налилось пугающей синюшной белизной.

Сбежались монтажники.

— Не трогайте... не надо,— бормотал он поблекшим ртом,— я... сам... сейчас...— И силился повернуться на живот.

Не окажись в тот час на буровой могучего и быстрого «Урала», не видать бы Морозову больше Белоярья. Рабочие с остервенением набросились на привезенный «Уралом» груз, в несколько минут скидали его, опорожнив кузов.

Бережно подняв, усадили Морозова в кабину, скомандовали водителю: «Гони!» — и тот погнал.

Огромная машина, тревожно завывая, бешено летела серединой зимника, разметывая из-под колес комья смешанного со снегом торфа.

В углу кабины, прижав посинелые кулаки к животу, скрипя зубами, корчился Морозов.

— Куда гонишь?..— стонал он.— Зачем?.. Останови!.. Слышишь?.. Я приказываю... Гад, так-распротак... Стой же... братишка... Прошу...

Но водитель только глазом косил, следя, чтобы Морозов не свалился с сиденья. Машина перла напропалую, перескакивала ямы, подпрыгивала на буграх, срезала буфером сугробы на крутых поворотах. Морозов уже не приказывал, не просил, только глухо постанывал да иногда вскрикивал от боли.

Под снегом, куда он упал, оказался смерзшийся ком земли.

От удара у него разорвалась левая почка. Установив диагноз, молодой хирург шепнул медсестре: «Звони Лаврову. Не спасти».

Перешагнув больничный порог, задохнувшийся от шалого бега Лавров бессильно прислонился к притолоке. Подбежал бледный хирург, объяснил происшедшее.

— Что надо? — прохрипел Лавров, еле выравнивая дыхание.

— Немедленная операция.

— Какого же черта ты здесь, а не в операционной? Ждешь санкции? — рявкнул Лавров.

— При чем санкция? — обиделся хирург.— Уролог нужен. Понимаете? Уролог. Я никогда не оперировал почки. Такая травма. Немедленно уролога.

— На! — Протянул изумленному врачу связку ключей.— Бери! Кому говорят? Иди, у меня в сейфе уролог. Тащи сюда. Ну?..

Прижав растерянного врача в угол, надорванно и жарко захрипел ему прямо в лицо:

— Ты ведь знаешь, до завтра уролога не добыть. Темнеет. Из Туровска не долететь, из Сарьи — тоже...

— Не долететь,— безнадежно подтвердил врач.

— Чего же резину тянешь? Да за такого парня... Ты понимаешь? Начинай операцию!

— А если...

— Никаких если! — перебил Лавров.— Ты же... молодец. Ну? Да командуй же!

Через несколько минут в квартирах белоярцев зазвучал из репродукторов глухой встревоженный голос начальника экспедиции:

— Товарищи. Тяжело ранен Морозов. Нужно немедленное переливание крови. У кого кровь первой группы, бегом к больнице. Поняли? Бегом.

Когда он подошел к больнице, возле крыльца гудела толпа, в вестибюле, приглушенно разговаривая, тоже

теснились люди. А к больнице отовсюду бежали белоярцы...

На рассвете Морозов пришел в себя. Лавров склонился над изголовьем, тихо спросил:

— Ну как?

Глубоко запавшие глаза долго бессмысленно шарили по лицу Лаврова, наконец сухие спекшиеся губы дрогнули, и больной еле слышно вымолвил:

— Мать...

— Сегодня вызовем,— поспешил успокоить Лавров.

Голова Морозова дернулась, перекосилось лицо, с хриплым бульканьем втянув воздух, он невнятно выговорил:

— Не надо... Сердце у нее. Потом... ког... похо... роните...

— Не ерунди! — прикрикнул Лавров.

Глава пятая

1

В широкие окна боязливо заглядывало раннее зимнее утро. Постепенно оно осмелело, комната озарилась трепетным сероватым светом, и яркая многоламповая люстра начала меркнуть.

На улице тридцатиградусный мороз с поземкой, а в кабинете сухое ласковое тепло. Серебристо-серые металлические кожуха двух «голландок» пышут жаром.

Высоко поднимая длинные тонкие ноги в мохнатых унтах, Мельник прохаживался по кабинету. Свой рабочий день он начинал в семь утра, а иногда еще раньше появлялся в конторе, и пока та пустовала, пока молчали назойливые телефоны, Герман Кузьмич неторопливо просматривал деловые бумаги и либо подписывал их, либо метил короткими размашистыми резолюциями, либо подкалывал к листу небольшой бумажный квадратик, на котором писал фамилию одного из служащих и два слова: «Прошу зайти».

Сегодня он пренебрег установившимся порядком и даже не притронулся к пухлой папке с текущими делами. Заложив руки за спину и слегка горбясь, он мерил и мерил шагами ковровую дорожку.

Скоро здесь соберется командный состав экспедиции

для разговора о насущных делах, о далеких и ближних планах. Идет последний квартал года. Конец — делу венец. Надо, чтобы заключительный аккорд был мажорным и громким. Фортиссимо! Обстоятельства складывались — нельзя и желать лучше. Первенство по управлению уже в кармане. Солидную премию подкинут, не раз добрым словом помянут со всевозможных трибун. Сразу дух у людей подымется. Деньги и слава — такие крылья, кого хочешь от земли оторвут...

А ведь тогда, четверть века назад, шагая сюда с экспедицией Вавилова, он, Мельник, пожалуй, не желал ни того, ни другого... Что ж все-таки тогда двигало им? Романтика? Жажда открытия? Сознание полезности и необходимости своего труда? Черт знает. Почетно и приятно было оказаться в Сибирской экспедиции первопроходца Сергея Вавилова. «А потом? Потом?» — напористо допрашивал себя Мельник. И потом он, собственно, не думал ни о славе, ни о деньгах. И то и другое пришло вроде бы само собой. Вроде бы? Значит, и думал и... Нет, не ради барышей, не за славой кинулся он после войны в Сибирь из теплой благодатной Молдавии, напросился из Туровска в Шанские болота. А зачем? Зачем? Зачем? Ну-ка! Себе ведь не соврешь. Толчок судьбы. Стечение обстоятельств. Что угодно, только не деньги. К ним он и сейчас, пожалуй, равнодушен. Может, потому, что они есть. Пожалуй... А слава... «Слава — как ветреная красавица. Глупо отвергать ее любовь, еще глупей в нее влюбляться»,— так сказал однажды Сергей Александрович Вавилов. Мудр был...

Мягкие унты бесшумно приминали упругий ворс широкой дорожки. Мельник вышагивал с поразительной размеренностью, будто великолепно отрегулированный механизм. Восемь ровных широких шагов в одну сторону, плавный разворот через левое плечо, восемь таких же шагов обратно, и снова разворот. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Поворот. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре.

Вместе с морозным паром в открытую форточку врывались негромкие голоса просыпающегося поселка: скрип снега под ногами, ленивые гудки и рокот машин, усталое пыхтение локомобиля.

Эти звуки как бы обтекали Германа Кузьмича, не задевая его чувств, но когда донесся старшинский баритон начхоза, Мельник, не прекращая движения, не меняя

выражения лица, начал фиксировать каждое влетевшее в форточку слово.

— Куда спешишь, Харис? — пророкотал натужно Юрченко.

— К Герману Кузьмичу,— нечеткой скороговоркой откликнулся молодой сердитый голос.

— Герман Кузьмич не любит, когда по утрам беспокоят. Ему только и подумать, пока мы в постелях нежимся да кофей пьем. Что у тебя стряслось?

— Курпанов фертолет не тает. Как сапака са ним хошу. «Тай фертолет».— «Сафтра». Сафтра прихошу — «Тай фертолет». — «Сафтра». Сэлый нетеля хошу, все сафтра.

— Зачем тебе вертолет?

— Са грипам!

Юрченко захохотал так громко и раскатисто, что его наверняка было слышно в любом конце поселка.

— Ха-ха-ха! Подкинешь на мой пай корзинку маслят-подснежников, будет тебе вертолет с прицепом.

— Тьфу, шайтан...

— Да постой ты. Зачем так круто на поворотах — тяжи лопнут. Для чего вертолет?

— Два плока Сарью отправить. Капитальный ремонт. Машин, сам снаешь... Садыхаемся. А он... — тут Харис выпустил непечатное ругательство на чистейшем русском языке.

И опять Юрченко хохотал сочно и громко.

— Ай, Харис, Харис. Мусульманин, а коран не блюдешь. К двенадцати подвози блоки на вертолетную. Ми-6 пойдет в Сарью — заберет. Только давай сопровождающего, чтоб не канителиться с этими железяками. А к Герману Кузьмичу не лезь с такими пустяками. У него больших забот хватает.

— Пасипо, Прокоф Игнач...

Самодовольная улыбка наконец-то совладела с губами Германа Кузьмича, прорезала в них трещинку, покривила, спугнула нависшие на глаза крылья бровей — и те снялись с насиженного места.

Доволен был Мельник тем, с каким уважением отзывался о нем начхоз. В этом Герман Кузьмич усматривал признание собственных заслуг и почтение, коими люди платили ему за то, что он первым пробрался сюда на маленьком катере, собственноручно срубил первое дерево, поставил первую палатку, наметил первый маршрут

сейсмикам, указал точку первой буровой, составил первый прогноз нефтяных запасов района, Вряд ли в экспедиции сыщется человек, который не переступал бы порог мельниковского кабинета с какой-нибудь нуждой либо бедой. И ни один не ушел ни с чем. «Герман Кузьмич не бог, а все может» — такая поговорка бытовала среди рабочих...

Словно устыдившись собственных мыслей, Мельник нахмурился. Лицо затвердело, сомкнулись губы, брови опять прикрыли глаза.

«С бурением — в норме. Метраж, проходка, скорости, себестоимость — в ажуре. — Бездонная память выкинула десяток нужных цифр. Полюбовался ими и снова упрятал в тайничок. — С приростом запасов тоже порядок, хоть и далеко до белоярцев... А если подтвердится прогноз Ростовского с Белоярьем, синяя птица может вообще упорхнуть — там начнут добычу, и город там поставят, и нефтепровод потянут оттуда. Одна надежда: болота и расстояние отпугнут Протуберанцева и его сторонников. Но чтоб не обвинили их в недобром отношении к сибирской нефти, они непременно предпримут какой-то ответный демарш. Вот тут и стукнуть козырной, предложить свой вариант. Отсюда, из Пионерского, и ближе, и суше, и обжитее. Что касается запасов... поднатужимся, доразведаем, скинем все тормоза...»

Восемь шагов в одну сторону, восемь обратно. И мысли раскручиваются так же размеренно и целенаправленно. Никаких шараханий...

2

Обитая красным дерматином высокая дверь бесшумно приоткрылась. В щель просунулась голова Юрченко.

— Не помешаю?

— Входи, Прокопий Игнатич. — Подождал, пока грузный медведеподобный начхоз подошел. Подал руку. — Приветствую. Хорошо, что пожаловал. Есть дело.

На упитанном краснощеком лице начхоза вспыхнуло и засветилось выражение боеготовности номер один. Юрченко подобрался и замер, слегка наклонив голову: весь внимание.

Герман Кузьмич продолжал тем же доверительно-деловым тоном:

— Читал статью Смолина?

— М-м... кха-кха...

— Зайди в партком, почитай. О неиспользованных резервах. И в наш огород камушек. Нефть при испытании скважин на ветру сжигаем, а котельные привозным углем топим. Скоро пленум обкома. Вот бы там и доложить, что мы все котельные на нефть, сэкономили кругленькую сумму и так далее. Как?

— Согласен, Герман Кузьмич. Топки запросто переоборудуем, но емкостей нет. Не в бочках же нефть хранить.

— Я говорил с Ярковым. Обещал помочь. Завтра лети в Туровск и добывай.

— Сделаю, Герман Кузьмич.

— Не сомневаюсь,— удовлетворенно проговорил Мельник, хрустнул костяшками пальцев и принялся потирать руки. — Не сомневаюсь, Прокопий Игнатич. И еще...

Облегченно вздохнувший было Юрченко вновь подобрался: разговор не окончен. По тому, как Герман Кузьмич подсел к столу и жестом пригласил садиться начхоза, тот сразу понял, что теперь речь пойдет не о служебных делах, и, расслабив мышцы, грузно ухнул в глубоко осевшее под ним кожаное кресло.

— Жена отбывает в Ессентуки. Остаюсь с парнями холостяковать. Возникает проблема питания.

— О чем разговор, Герман Кузьмич.

— Ну-ну...

В кабинет вошел Пантелей Ильич, на ходу приглаживая ладонями растрепавшиеся мягкие волосы. Молча подал руку Мельнику и Юрченко. Присел с краю огромного стола, достал сигареты.

Дверь кабинета уже не закрывалась: один за другим входили приглашенные.

Первым пожаловал маленький, с белой пушистой, как одуванчик, головой главбух, которого и в глаза и за глаза все называли только по фамилии. «Иди к Будылдину, он подпишет». «Узнай у Будылдина, будет сегодня зарплата?». «Опять Будылдин акт маринует».

Следом с горящей трубкой в зубах вошел главный механик Никитский — невысокий человек, с лицом, манерами и голосом вельможи, прекрасный специалист, прозванный «машинным доктором». Сколько раз бывало такое: ремонтники с ног собьются, пританцовывая на морозе вокруг заглохшего МАЗа или ДТ-74, всех богов и чертей помянут, там поковыряют, тут подкрутят и от-

ходят, кляня и холод, и растяпу-водителя, и распроклятый двигатель. А Никитский, попыхивая трубкой, обойдет занедужившую машину, заглянет под капот, потрогает рычаги управления и скомандует: «Снимай карбюратор» или «Продуйте бензопровод». И всегда попадает в точку. Даже самые старые ремонтники не помнят случая, чтобы Никитский ошибся. Потому его авторитет непререкаем.

Тонко, пронзительно проскрипели сапоги парторга Сарина. Он, в недавнем прошлом армейский полковник,— аккуратист высшей пробы. С первых дней появления в экспедиции геологи прозвали нового парторга комкором. Сначала его называли так за глаза, теперь редко кто обращался к Сарину по фамилии или по имени-отчеству, все комкор да комкор. Привыкли и к его скрипучим блестящим сапогам, и строгому кителю...

Герман Кузьмич глянул на часы и встал. Смолкли разговоры, полетели в пепельницы окурки. В кабинете сделалось тихо.

— Я пригласил вас, чтобы решить, как перекрыть годовой план по всем показателям. Предлагаю такой порядок: выскажутся все главные, потом прения. Регламент — десять минут. Никаких лирических отступлений. Проблемы, предложения, просьбы. Договорились? Начнем с главного геолога.

Неожиданно для собравшихся Пантелей Ильич заговорил не о работе топографов и сейсмических отрядов, не о прогнозных запасах вновь оконтуренных площадей, не о темпах их разбуривания, словом, совсем не о том, о чем подобало бы на подобных совещаниях говорить главному геологу, а...

— На производственных, партийных и профсоюзных собраниях мы больше всего говорим о производительности труда, о снижении себестоимости,— начал он.— Ищем резервы. А они под носом. Мы могли бы работать намного лучше, если б разумно и в полную меру использовали эти резервы. В чем они? В улучшении бытовых условий рабочих всех категорий. Сейчас у нас с бытом плохо. Ни один пункт колдоговора и обязательств по соцкультбыту не выполнен. Ясли и детсад даже не заложены. Детишки без надзора остаются в балках и насыпушках. Люди нервничают. Вместо того чтобы о деле думать, о запертых малышах волнуются. Вот вам первая подножка производительности и трудовой дисциплине.

Клуб — одно название. Где отдохнуть, чем заняться в свободное время? Поллитровка. А утром голова с похмелья трещит. Это другая подножка и производительности, и дисциплине. Слава богу, баню построили. И в ней чтоб все перемылись — надо три недели. Столовая тянет на пределе. А как готовят? С таких обедов не запоешь. У нас почти половина работников — холостежь. Для них столовая — дом родной. План жилья замерз на половине. Самое уязвимое место. Да и что за жилье мы строим? Улучшенные бараки. Прежде казалось — по-иному нельзя, но белоярцы показали обратное...

— Не пойму, в качестве кого ты здесь? Главный геолог или профдеятель, председатель социально-бытовой комиссии? — удивленно спросил Мельник.

— Прежде всего я — коммунист.

— Спасибо. Мы думали: ты эсер или кадет. — Послышался смех. Мельник встал. — Ты нам Америки не открыл. Знаем обо всем этом. Что было бы, если бы мы главное внимание и основные силы отдавали дачкам, водопроводам и скверикам, а разведку нефти отодвинули до лучших времен?

— Но ведь белоярцы...

— Оставь их в покое! — раздраженно отмахнулся Мельник, но тут же поспешил сгладить, смягчить впечатление от собственных слов: больше всего боялся он быть заподозренным в зависти к Лаврову и, придав голосу увещевательно-недоуменный тон, пояснил: — Они нащупали уникальную структуру. Пять нефтяных пластов! Одна скважина дает прирост запасов за три наших. Так что по запасам, сами понимаете... Но тут заслуга господа бога. Что касается показателей, отражающих четкость и организованность коллектива, мы — впереди! По метражу и скоростям далеко обставили, по себестоимости метра проходки — мы недосягаемы. И это лишь потому, что все силы и средства наши уходят на главное — на разведку...

— За счет быта, в ущерб ему,— вклинился Русаков.

— Придет срок, и с бытом подтянемся,— подкрепляя сказанное начальником, пробасил уверенно Юрченко.

Не удостоив его даже взглядом, Русаков повторил последние слова Мельника и ударил по ним:

— Темпы разведки зависят от условий жизни...

Как видно, Пантелей Ильич не думал уступать или менять направление. Подмять его с ходу в такой обста-

новке не удастся. Поняв это, Мельник решил локализовать Русакова, оставить в одиночестве со своими рассуждениями, а совещание вернуть в задуманное русло.

— Кто с этим спорит? — примирительно и вместе с тем удивленно спросил он не столько Русакова, сколько тех, кто сидел вокруг огромного стола. — Бытие от сознания неотделимо. Каждый школьник зазубрил это. Только наши геологи понимают бытие по-иному, не так, как ты. Для них это не просто быт — баньки, ресторанчики, теплые сортиры,— а и, прежде всего, труд! Его общественная значимость и необходимость. Ты плоховато знаешь наших людей, ежели считаешь, что их отношение к делам экспедиции зависит от наваристости столовского борща. Наш народ закален в борьбе с трудностями. Мы — геологи, пионеры, первопроходцы! Это и тебе пора понять. Да и не все у нас так уж трещит по швам... Главное звено — кадровые и спецы — устроено сносно. Остальные... Москва не сразу строилась. Два года назад тут тайга была. Велик ли срок! Закрепимся здесь годков на десять — обустроимся. Площадь перспективная. Тогда можно глубокие корни пустить... Сейчас заканчивается доводка генплана нашего Пионерского. Даже телецентр предусмотрен. Надо, чтобы люди знали об этом, видели будущее во всей его красе...

Мельник полагал: сказанного достаточно, и был уверен, что теперь-то Русаков заговорит о том, о чем следовало говорить главному геологу, но опять ошибся.

— Сколько прогулов и опозданий в экспедиции из-за пьянки! А травмы, аварии?

— Тут нас водочка крепко бьет,— не вынимая трубки, лениво выговорил Никитский,— не один радиатор разморозила, не один мотор заклинила.

— А отчего пьют? — продолжал раздувать Русаков.

— От дурных денег,— пророкотал сердито Юрченко.

— Ты прав только отчасти,— возразил Сарин. — Главная причина — быт, база отдыха. Тебя бы с детишками в балок на одну зиму. Полвагончика на четверых, а то и вшестером ютятся. К утру стены инеем кроются, из-под одеяла нос боязно высунуть... Здесь за сто шестьдесят километров совхоз. Можно на вертолете молоко возить и картошкой там разжиться...

Будто запруду прорвало. Перебивая друг друга, горячась и переругиваясь, люди спешили высказаться о

том необъятном, многогранном, простом и сложном, пустяковом и важном, из чего складывается так называемый БЫТ, без которого немыслима жизнь человека. Сыпались предложения, советы, пожелания.

«Этот поток не сдержать, пусть выплеснется, иссякнет»,— решил Герман Кузьмич и молча слушал, записывая что-то на странице огромного настольного блокнота в деревянном инкрустированном переплете. Изредка он кидал едкие, обидчивые взгляды на Русакова. «Всю обедню испортил Пантелеймон блаженный. Попом бы, а не главным геологом ему. Мягкий, а стелет камушки. Нужный, черт, знающий. Но опасный, как подводная мина. Столкнешься — взрыв. «Помочь» выдвинуться ему на Юргинскую экспедицию — другого такого не вдруг сыщешь. Кругом «мирное сосуществование». Ни влево, ни вправо... На грани. По лезвию... Подперло с бытом. В других экспедициях — не лучше. Если бы не лавровский эксперимент с Белоярьем... Как он Яркова уломал? Иль опять Смолин? Не похоже. Ярков и в газетах и с трибун славит Белоярье, сам при той славе греется. Необъяснимая метаморфоза. Есть же у нее корешок? Както спросил об этом Мурзаева, а тот: «Я — нэ Достоевский, чужие души нэ читаю, а тут поворот в душе». Хитрит иль и впрямь Лавров околдовал Яркова? Чем? С его-то замашками?.. Кинофильм даже о них сняли. Пора выходить в ГКЗ с нашим районом, начинать хоть пробную добычу. Оттянуть, отвлечь от Белоярья... Кое-что можно подлатать и у нас. Нужен громоотвод во избежание неожиданного удара... С Белоярьем нам не тягаться по благоустройству, тут Лавров неуязвим... Форсировать доразведку площади, утвердить запасы, начать добычу. Вот единственное. Только это... Только так. Все силы — на разведку. Удвоить, утроить запасы...»

Когда гомон поутих и в голосах уже все слабее проступали возбуждение и недовольство, Герман Кузьмич устало улыбнулся и сказал, что очень рад этому неожиданному разговору, что резкие и справедливые замечания товарищей проветрили мозги ему и Юрченко. Пообещал немедленно заложить детсад и ясли, предложил провести общественную проверку выполнения колдоговора по быту, обсудив результаты на общем собрании рабочих, поручил Юрченко связаться с совхозом и попытаться наладить завоз оттуда молока.

— Теперь перекур. — Мельник захлопнул тяжелую

крышку блокнота. — Жизнь внесла существенную поправку в ход нашего совещания.

После перерыва разговор получился, как и хотел Герман Кузьмич, короткий и деловой. Все, заведомо зная о совещании, подготовились к нему, продумали, подсчитали, запаслись нужными цифрами. Мельник вновь управлял заседанием. Если оратор сбивался с заданного курса, уклонялся от темы, Герман Кузьмич негромко стучал карандашом по стакану, командовал: «К делу». При этом не забывал следить за временем, и ни одному выступающему не удалось перешагнуть регламент...

«Все сможет, если захочет,— думал Русаков,— и размах и талант — позавидуешь. Люди вокруг зажигаются. А от простого человеческого нос на сторону. Необъяснимая жестокость. Инерция прошлого? Азарт? Не хочет копировать Лаврова?.. Не любит его, даже скрыть не в силах. Лаврову бы такое можно простить: за Шанск ему чуть голову не оттяпали, а Мельнику — почет и слава. Но Глеб ни разу ни обиды, ни зависти не выказал. Не с того ль и ярится Мельник? А тут еще пятислойный нефтяной пирог. И никто пока не забыл, что первым Вавиловским месторождением мы все-таки обязаны Лаврову... Зря казнится Мельник: награда ему по заслугам... Не втолкуешь такое. Тут вера только собственному сердцу...»

3

Персональная землянка бурового мастера Ярослава Грозова была крайней от дороги, круто сбегающей песчаным откосом к речному причалу. К дороге, как ветка к стволу, прилепилась прямая, протоптанная в снегу тропинка от Ярославова порожка.

Человек, впервые ступив в землянку Грозова, невольно останавливался на пороге, пораженный внутренней отделкой этого по виду допотопного жилища. Потолок и стены были обшиты древесностружечной плитой и раскрашены в разные цвета. Пол застлан линолеумом. В углу, за самодельной ширмой из полиэтилена, прятались умывальник, портативная газовая плита и полка с посудой и кухонными принадлежностями.

Когда с предписанием Туровского геологоуправления в кармане Ярослав впервые появился в Пионерском, ему

как молодому специалисту, предложили общежитие — полбалка на двоих.

— Я уже нажился в общежитиях,— заупрямился Ярослав.

— Не принуждаем. Устраивайтесь по вкусу, хоть особняк стройте с голубым забором. — Пышные запорожские усы Юрченко задрожали от сдерживаемого смеха.

— Разрешение на аренду земельного участка прикажете получить у вас или у вашего землеустроителя? — почтительно осведомился Ярослав.

— Что еще за аренда?

— Обратитесь к толковому словарю Даля, том первый. Если располагаете временем, можно поштудировать «Капитал», вы хоть и хоз, все-таки нач.

Пока багровый Юрченко тужился над поисками достойного ответа задире, тот ушел и в тот же вечер исчез из Пионерского.

— Во! — ликовал начхоз. — Романтик. Заглянул в балок и умчался до мамы штанишки сушить.

Через несколько дней Грозов вновь появился в Пионерском и, обойдя несколько раз все его улочки и закоулки, облюбовал местечко над рекой, рядом с причалом, с краю полутора десятка землянок, которые за два года существования поселка сменили уже не одного хозяина.

Только Матвеич знал, сколько времени и сил ухлопал Ярослав, оборудуя свою землянку, как он мотался в Туровск, добывая там нужные материалы и привозя их сюда на самолетах или на попутных баржах.

Тогда они и встретились впервые на Пионерском аэродроме и познакомились, а вскоре и подружились. Щадя бюджет Ярослава, не раз Матвеич отправлял его в Туровск на спецрейсовых самолетах, и грозовские грузы перевозили бесплатно.

Сегодня после длительного успешного лечения Матвеич возвращался из Туровска. Ярослав решил устроить другу торжественную встречу. Ради этого и проснулся раньше обычного. Только открыл глаза и шевельнулся, как к кровати подошел Руслан, принюхался, ткнулся холодным влажным носом в плечо хозяина. Ярослав положил руку на собачью голову, потрепал пса по загривку, хрипловатым со сна голосом спросил:

— Подъем, что ли?

Нашарил подле подушки пластмассовую трубочку,

утыканную кнопками, нажал на одну, и в изголовье вспыхнул крохотный ночник под синим абажуром. Посмотрел на часы: половина седьмого. Матвеич прилетал в десять. Времени было предостаточно. Ярослав надавил еще на одну кнопку — загорелись настенные бра. Когда под пальцем утонула третья кнопка, яркая четырехрожковая люстра полыхнула таким ослепительным светом, что и собака и человек зажмурились.

Ярослав смахнул одеяло, спустил с тахты длинные мускулистые ноги, встал и начал пританцовывать на холодном полу. На нем были только трикотажные плавки. Высокий, узкобедрый, широкоплечий, с четко прорисованными узлами мышц на груди и руках, голый Ярослав походил на культуриста, какими их обычно изображают в спортивных брошюрах и журналах.

— Давай, Руслан, до ветру. Потом подзарядимся, примем снежную ванну — и будь здоров...

К тому времени, когда Матвеич переступил знакомый порог, у Ярослава все было готово к встрече дорогого гостя.

На больничных харчах Матвеич раздобрел, порозовел, помолодел лицом. Ярослав мял и тискал в объятиях «батю» так старательно, что старый летчик в конце концов не выдержал и взмолился о пощаде.

— А вот это мне ни-ни,— погрустневший Матвеич покачал головой и решительно отодвинул наполненную коньяком рюмку. — Полгода минимум. И курить-то не велели, да этот запрет я снял. А насчет...

— Может, чего послабее? Есть «Рымникское», так себе, подкрашенная водичка, есть и сухое...

— Нет,— не особенно твердо и нехотя, но все-таки отказался Матвеич. — Сам знаешь, каково мне утерпеть, но не могу. Ни пить, ни бегать, ни волноваться и о женщинах не думать. — Саркастически скривил полные блеклые губы и ядовито по слову выговорил: — По-кой. Режим. Све-жий воз-дух. Летать запретили. Категорически. Хотели на пенсию, да начальник управления смилостивился, оставил управлять здешним аэродромом. Как?

— Ты свое налетал с лихвой,— поспешил приободрить друга Ярослав. — Начальник аэродрома — не плохо. Будешь, как бог, один в трех лицах: начальник, диспетчер и радист. Поокрепнешь — и опять за штурвал...

Разгадав маневр Ярослава, осуждающе глянул на

него Матвеич и только рукой отмахнулся: не береди, мол, болячку. Но парень не унимался.

— Вот черт. Не по-русски получается,— громогласил он.— Что за встреча на сухую? Хайям сказал: «Отречься от вина? Да это все равно, что жизнь свою отдать! Чем возместишь вино?» Ладно, пригуби хоть красненького.

— Падать, так с коня — не с табуретки. Плесни глоток коньяку...

Истосковавшийся по домашней пище, Матвеич ел много и с аппетитом. Со смаком хлебая наваристую уху, рассказывал о лечении, о тех, с кем познакомился в больнице, не без самодовольства поведал, как в канун Октябрьской к нему пришла целая делегация из управления гражданской авиации, принесли фруктов, конфет и букет живых цветов. Поразил Ярослава сообщением о нежданном письме от жены, которая каким-то образом проведала о его болезни и, между прочим, писала, что коли Матвеич надумает скоротать остатки дней своих в Брянске, то двери ее дома всегда открыты для него.

— Вот ведь бабы. Чудной народ. Все у них наизнанку, наособицу. Десять лет раз в год открыточку — и будь здоров. А тут на тебе.

— Значит, любит,— подсказал Ярослав.

— Кабы любила — не променяла на квартиру.

— Может, тогда сгоряча сглупила. Потом самолюбие не пустило. Там и в самом деле поотвыкла. Зачерствело все, золой покрылось. А все же из виду тебя не упускала, интересовалась. Иначе бы как узнала? Стало быть зола-то поверху, а под ней...

— То-то и оно. Казню себя. Ох, как казню. Сам себе трагедию сочинил. И ее... Надо было съездить к ней... Помочь переступить самолюбие. Обоих обокрал. И ведь ничего не воротишь. Душа на куски рвется. Вот полюбишь всерьез — поймешь...

— Эх, батя...

— Да ну?

— Вот тебе и ну...

— Неуж не приглянулся? Таким парнем побрезговала?

— Замужем она.

— И ребятишки есть...

Ярослав отрицательно покачал головой.

— Тогда полбеды. Не отчаивайся. Сказал хоть ей?

— Зачем? Такое без слов...

— Твоя правда. Что же она?

— Чистая, как родник. Не думал, что такие есть еще. И муж не надышится на нее. Сенечка Крупенников...

— Да ты что?.. Сенечкина?.. Красивая баба. Лебедь!

— И зачем я не настоял тогда в управлении? Был бы сейчас в Белоярье, и никаких трагедий.

— От судьбы, как от смерти,— глубокомысленно и сочувственно выговорил Матвеич.

Задымили сигаретами. Руслан несколько раз беспокойно обошел вокруг стола, ткнулся мордой в колени Ярослава, затих.

— Чует,— сказал Матвеич.

— Еще как! — выдохнул Ярослав. — Почище любого радара или кардиологического аппарата...

Поднес к собачьему носу ломтик колбасы. Пес лизнул руку, но к лакомству не притронулся. У Ярослава защекотало в носу, от набежавшей влаги потускнели глаза.

— Может, растает все это. В молодости чего не бывает. Иногда поблазнится черт те что, а потом поостынешь...

— Нет, батя. Тут тараном пахнет. Лоб в лоб.

— Значит, она тоже?

— Если оно не фальшивит,— пристукнул ладонью по груди. С силой притиснул окурок к пепельнице. — Сенечку жалко. Свой в доску... И ее... И себя...

Сорвал с гвоздя гитару. Запел:

Уплывает месяца
лодка золотая.
Я ей вслед кричу:
— Погоди!..

4

Герман Кузьмич шел неторопливой походкой усталого человека, любуясь угасающим зимним днем.

За лесом догорало солнце. В небе еще жил день, а по земле уже крались вечерние сумерки, пятная снег синеватыми тенями. У домов и заборов тени были гуще, мрачней. Зато на открытом месте слегка затемненный сумерками пышный свежий снег матово поблескивал, будто фосфоресцировал.

За поселком снег был светлей, и, ослепленный его

блеском, Герман Кузьмич на миг зажмурился и даже приостановился, но близкий лес манил, и он снова двинулся по изузоренной гусеницами дороге.

Неправдоподобная тишина затаилась в зимнем лесу, и, боясь ее спугнуть или потревожить, Герман Кузьмич поспешил назад. Так и шел — неслышно и медленно — до самого поселка и, только вступив в него, позволил себе закурить и долго не выпускал из легких первую затяжку.

Сыновья Мельника учились во вторую смену. Жена — на курорте, в этот час никого дома не было, и Герман Кузьмич удивился, заметив свет в окнах собственной квартиры. Едва стукнул дверью, из кухни выглянуло смуглое лицо. Мельник узнал повариху экспедиционной столовой Соню Лучкову.

— Тетя Паша ушла, велела ждать. Я думала, вы в три придете, все приготовила. Садитесь скорее обедать.

Тетя Паша — пожилая сварливая чистоплотная женщина — блюла порядок в доме Мельника: прибирала, стирала, мыла, покупала продукты, но не стряпала, этим занималась сама хозяйка. С тех пор как уехала жена, обеды готовили повара экспедиционной столовой.

Раздеваясь, Герман Кузьмич невольно залюбовался девушкой. Ее цыганские глаза так вызывающе-дерзко манили и ускользали, что Мельник принялся ухаживать за ней, помогал накрывать на стол, называл ее ласково Сонечкой, норовя нечаянно прикоснуться к ее круглым налитым бедрам.

Соня понимающе улыбалась, но держалась настороже. Она наотрез отказалась отобедать с Мельником и скоро ушла. Герман Кузьмич долго еще находился в возбуждении и за едой выпил не одну, как всегда, а три рюмки коньяку.

После обеда потянуло на тахту. Мельник поднимался в шесть утра, укладывался в полночь, добирая недостающее для отдыха время послеобеденным сном.

Его разбудил телефон. «Надо было выключить»,— попрекнул себя Герман Кузьмич, не шевелясь, не открывая глаз, надеясь, что, звякнув два-три раза, телефон смолкнет и можно будет еще полежать, понежиться в дреме. Но аппарат трезвонил, как ошалелый. Раздосадованный Мельник стряхнул сонливость, не спеша поднялся, подошел к надрывающемуся аппарату.

— Слушаю.

— Товарищ Мельник?

Голос незнакомый — молодой, но уверенный. Герман Кузьмич откашлялся.

— Да, слушаю.

— Вас беспокоит Сапун, из журнала «Следопыт». Со мной корреспондент Всесоюзного радио. Скооперировались по дороге. Мы бы не стали вас тревожить, но в конторе — никого и в доме заезжих ни одной свободной кровати.

Герман Кузьмич глянул на часы: половина восьмого. «Перебрал сегодня».

— Можно вас устроить в парткабинете на диванах или поставить там раскладушки...

— Спасибо, это вполне... — затянул обмягшим голосом Сапун, но Герман Кузьмич перебил:

— Вот что! Приходите-ка ко мне. Жена на курорте, я с сынами казакую. Найдем, где переспать, а завтра организуем вам постоянное жилье.

— Неудобно.

— Пустяки. Жду. — И повесил трубку.

Корреспонденты оказались совсем зелеными: Сапуну было года двадцать три — двадцать пять, а его попутчику из Всесоюзного радио и того меньше. Но у обоих на куртках вузовские «поплавки» и, судя по манерам, немалый житейский опыт. Они быстро освоились с обстановкой, легко завязали разговор. Сначала о Ремарке, томик которого Сапун отыскал на книжном стеллаже. Потом об охотничьих трофеях хозяина. Их было немало: медвежья шкура, чучело большой рыси, разлапистые лосиные рога, голова кабана — все это поставлено, повешено и положено к месту. Между прочим, гости поведали о цели своего визита: нужен материал о людях, открывших сибирскую нефть...

— Людей найдем,— живо откликнулся Герман Кузьмич, угощая корреспондентов папиросами. — Чем-чем, людьми моя экспедиция богата. Настоящие первопроходцы, неугомонные бродяги-старатели. Возьмите бурового мастера Михаила Николаевича Ветрова. С виду неказист. Ни ростом, ни осанкой не взял, а как работает!..

И Герман Кузьмич разошелся. Назвал, сколько скважин за свою жизнь пробурил мастер, какие месторождения открыл. Не забыл и Раю с Платоном: вот, мол, каких детей вырастил, помощников, продолжателей сво-

его дела, и никаких противоречий между двумя поколениями.

Корреспонденты вынули блокноты и, не отрываясь, застрочили самописками, а Мельник, медленно прохаживаясь, неторопливо говорил и говорил. О топографах, которых здесь ласково называют топиками. Месяцами они кочуют по дикой тайге без дорог и раций, простым топором прорубая бесконечные просеки в непроходимом лесу. В крохотных брезентовых палатках пережидают они лютые бураны, без ружья выигрывают поединок с косолапым хозяином тайги. Вслед за топиками движутся караваны сейсмиков. Через незамерзающие болота, по брюхо в снегу. Бородатые, лихие, отчаянные парни, для которых дело превыше всего. На оконтуренные сейсмиками участки идут вышкомонтажники, буровики, испытатели...

С поразительной легкостью, без малейшего видимого напряжения он извлекал из своей памяти десятки нужных цифр, фамилий, дат, и изумленные, счастливые корреспонденты, забыв о куреве, еле поспевали записывать прямо-таки захватывающий дух рассказ Мельника. Парни были уверены, что им необыкновенно повезло: сам по себе в блокноты пер такой материал, какого не соберешь и за неделю журналистского корпенья...

Пришли сыновья Германа Кузьмича. Оба в отца — сухощавые и длинноногие. Поздоровались с гостями и скрылись в своей комнате. Тут хозяин спохватился, пригласил поужинать.

— Что будем пить? — спросил, улыбаясь одними глазами. — Коньяк или наш таежный напиток?

Гости, конечно, высказались за «таежный», но после второй стопки слегка разбавленного спирта изрядно захмелели.

Сам он пил неразведенный спирт.

За столом поначалу хозяин расспрашивал столичных гостей о новых книгах и спектаклях, об именитых писателях. Герман Кузьмич смеялся там, где следовало смеяться, и удивлялся там, где этого добивался рассказчик.

Когда же после нескольких чашек крепчайшего черного кофе парни протрезвели, снова заговорил хозяин.

— Сейчас к нам валом валят братья писатели. А три-четыре года назад их сюда никакими коврижками было не заманить. Хотя тогда-то нам ох как нужны были под-

держка печати, доброе слово. В то время в нашу нефть мало кто верил. Считали — зря тратим деньги и силы. Утопистами, фантастами, а то и пустобрехами клеймили. Столько лет ползали мы по тайге впустую. В шестидесятом я был начальником Шанской экспедиции. Приехал к нам представитель Главгеологии. Поглазел на болота, поворчал на комарье. Сунул нос на буровую Ветрова, посмотрел керны, и вот тебе окончательный приговор: свертываться, перебазировать буровую. Я под приказом расписался, а бурю. Мне выговор, все равно бурю. Начальник главка назвал меня хулиганом и предупредил: в трехдневный срок не выполню приказ — снимут с работы, отчислят из системы Главгеологии. А буровая гудит. В день моего снятия ударил первый фонтан! Я послал в главк телеграмму: «Скважина Р-6 дала нефтяной фонтан суточным дебитом пятьсот тонн. Это вам понятно?..»

И опять гости старательно скрипели перьями, боясь хоть что-то пропустить мимо ушей, не записать.

Взволнованный воспоминаниями, Герман Кузьмич с грохотом откинул стул, прошел к окну и долго стоял там, скользя невидящим взглядом по белым узорам на стекле.

Все это он рассказывал уже не раз. И все же, по мере повторения, повествование обрастало какими-то новыми деталями и фактами, рожденными то ли памятью, то ли фантазией, и по-прежнему его беспокоило. Всякий раз он будто зажигался заново, заново спорил, радовался победам, переживал неудачи.

Притихшие гости молча обменивались восторженно-сочувствующими взглядами, видно, слишком глубоки и болезненны были полученные рассказчиком раны...

Но вот Герман Кузьмич вернулся к столу, наполнил рюмки.

— За тех, кто не дошел до первого фонтана.

— А много таких? — шепотом спросил Сапун, осторожно ставя на стол пустую рюмку.

— Если всех собрать... — Мельник погрустнел, протяжно вздохнул,— много. Список этот надо начать с Вавилова Сергея Александровича. Первый начальник первого геологического отряда, пришедшего сюда в тридцатые годы. В сорок первом я работал с ним в районе Сарьи. Тогда он и... не вернулся.

— И не нашли?

— Если бы не война. А тут... — Мельник безнадежно махнул рукой.

— Тайга,— со значением выговорил Сапун.

— Тайга — коварная штука,— подхватил Герман Кузьмич.— Был у нас в одном сейсмическом отряде такой случай. Ночью вышел один из вагончика по малой нужде и не вернулся.

— Как? — в один голос спросили журналисты.

— А вот так. Утром, когда хватились, пошли по его следу. След-то весь в полторы сажени. Дошли до того места, где он остановился, а оттуда ни обратных следов, ничего. Кругом ровненький, нетронутый снег, а человека нет. Был и нет. И никаких следов... Между прочим, наше самое первое нефтяное месторождение я в память о Сергее Александровиче назвал Вавиловским. Есть в Пионерском и улица Вавилова. Мы не забываем тех, кто первым пытался отомкнуть нефтяные клады Сибири...

И опять Мельник говорил, а корреспонденты писали. Давно уснули сыновья, а Герман Кузьмич все никак не мог выговориться, отделаться от воспоминаний. Спохватился в третьем часу ночи.

— Заговорил я вас, ребята.

— Что вы!

— Спасибо вам.

Оборвал рассказ, придирчиво вгляделся в лица парней, не заметил на них ничего, кроме почтительного внимания, обрадованно улыбнулся.

— Эх, ребята. Когда-нибудь все, что вы увидите, услышите тут, объявят легендой. Но никакой легенды нет! Трудные, порой горькие, рабочие будни. Только так я и воспринимаю прожитое и сделанное. Работа, работа и работа! Мы исполняли долг. Не героизм, не романтика влекла сюда, а желание найти нефть, дать ее Родине и народу...

Все это Герман Кузьмич выговорил сдержанно, но в то же время торжественно, и оттого слова его затронули молодые души, во взглядах парней промелькнуло что-то похожее на завистливый восторг — так смотрели на Мельника подростки, когда он летом сорок пятого шел по улицам Москвы, возвращаясь с парада Победы. Герман Кузьмич сграбастал обоих за загривки, притянул к себе, прижался лбом к их раскрасневшимся лицам.

— Спать, бродяги.

— Два слова,— тихим извиняющимся голосом ска-

зал Сапун. — Не могу просто смолчать. Разве не подвиг, не легенда то, что сделали вы? Десять лет неудач. От одной мертвой скважины к другой? От одного бесплодного района к другому? Год за годом. Сами-то вы почему верили в успех? Что тут?

— Интуиция. Плюс показания долота.

— Но вы же...

— Первому всегда приходится рисковать.

Уже укладываясь спать, Сапун спросил:

— Почему вы не отступили? Не сдались? Что поддерживало вас в этом отчаянном поединке?

— Вера в свою правоту,— негромко, но весомо и чуть приподнято ответил Мельник. — Не для красного словца. Святая правда. Моя вера не слепа, под ней наука и практика. Сперва я верил в сибирскую нефть потому, что верил Вавилову и Губкину, потом моя вера обрела собственные крылья...

— Чем закончилась лично для вас Шанская эпопея? — все еще не унимался Сапун.

— Наградили... Неудобно было принимать. Я не скромничаю. Но я — лишь командир отряда, в котором каждый достоин был такой награды.

— М-м-мда,— протянул Сапун и торопливо записал в блокнот последнюю мельниковскую фразу...

Гости уснули сразу, а Мельнику не спалось.

У него была поразительно цепкая память. Он превосходно, до мельчайших подробностей (интонация, взгляд, жест) помнил ту встречу с представителем Главгеологии в самом начале своего управления Шанской экспедицией. Нет, представитель не предлагал тогда свертываться, перебазировать буровую, просто он засомневался, а взвинченный последними событиями Мельник сорвался, накричал на высокого гостя, и тот, разобидевшись, укатил в столицу. И начальник главка выговаривал Мельнику не за то, что продолжал бурить на Заячьем, а за бестактность. Уверенный в близком триумфе, Мельник и тому надерзил, и тот действительно сказал: «Это хулиганство с вашей стороны». Но текст победной телеграммы в главк Мельник не переврал. Да и предшествовавшие ей события исказил не преднамеренно и даже не осознанно. Просто на какое-то время покорился собственной фантазии, и та по-своему сместила акценты, перестроила факты так, что они стали несгибаемой логической посылкой той телеграммы. И будь здесь живой

свидетель происшедшего, Мельник все равно изложил бы события так же...

Утром Мельник повез корреспондентов на буровую Ветрова. Москвичей приодели в меховые куртки, ватные штаны и валенки. Весь недолгий путь в вертолете корреспонденты молчали, покоренные величественной панорамой зимней тайги.

С рабочими ветровской бригады Герман Кузьмич знакомил гостей сам, аттестуя при этом каждого:

— Верховой Петухов. Василь Демьянович. Смоленский. Заядлый охотник. Девять медведей на боевом счету...

— Поммастера Семен Михайлович Крупенников. Правая рука Ветрова. Кристальной честности. Работает за троих. Образец скромности...

— И вот так вы знаете всех рабочих экспедиции? — не тая восторга, спросил Сапун.

— Мы — разведчики. Нам без веры друг в друга — нельзя. А чтобы верить, надо знать.

Этим же вечером счастливые, переполненные впечатлениями корреспонденты покидали экспедицию.

На прощанье Сапун, смущенно улыбнувшись, сказал:

— Герман Кузьмич, еще один вопрос, традиционный. Какая у вас самая заветная мечта?

Корреспондент радио проворно пристроил на коленях портативный магнитофон, пустил его и поднес к лицу Мельника грушевидный дырчатый микрофон.

— Пока жив человек, у него обязательно есть мечта, — очень серьезно проговорил Герман Кузьмич в микрофон. — Моя мечта — огромный современный город на месте нашего поселка. С нефтехимическим комплексом, электричками, театрами, университетом. Город нефтяников, столица нового энергетического гиганта страны. И название ему — Славгород. Понимаете? Славгород! Сюда сойдутся со всех месторождений десятки трубопроводов, отсюда хлынет поток сибирской нефти. К Славгороду сбегутся отовсюду тропинки, дороги, авиалинии, речные пути, которые привели нас к очень трудной и дорогой победе. Над тайгой, над маловерами, над собственными слабостями...

Глава шестая

1

— Ой, мамочка, мама! Ой, мамочка! — причитала Соня Лучкова и то смеялась, то плакала, размазывая по горячим щекам мутные хмельные слезы.

В трудные минуты жизни Соня всегда поминала мать, поминала машинально, без чувства и без мысли.

А мать была жива. Два с половиной часа лету — и вот он, материнский порог, через который Соня не переступала уже семь лет.

Мать была еще не стара: ей едва исполнилось сорок пять, но Соня давно вытравила из сердца образ той, которая даровала ей жизнь и имя, никогда не вспоминала о ней как о живом, реально существующем человеке, хотя во всем мире у девушки больше не было ни одного родственника.

Медсестра Фая Лучкова пришла в госпиталь в самом начале войны. Робкая Фая пользовалась особым расположением раненых. Она дежурила в палате «смертников», успокаивала «психованных», уговаривала недотрог.

Все знали: не Фая — не подняться бы капитану Голованову. С ложечки его кормила и поила, сама бинтовала обожженное тело, ночами прислушивалась к дыханию: жив ли.

В июле сорок второго Голованов выписался из госпиталя и ушел «добивать фрицев», а восемь месяцев спустя родилась Соня, чернявая, как отец. Весть об этом событии не дошла до Голованова: он вместе с танком сгорел на Курской дуге.

Сочувствуют, опекают, дают льготы и назначают пенсии только законным женам и детям погибших воинов, а Фая с Соней обе были незаконные. Когда же сердобольные сослуживцы принялись хлопотать за Фаю, у покойного капитана Голованова оказалась законная жена и законный сын. Это известие ранило Фаю больней, чем похоронная.

Госпиталь переехал в другой город, а Фая с дочкой осталась. Зарплаты медсестры едва хватало на то, чтобы расплатиться с няней да выкупить скудный паек.

Тогда-то и напросился к ней на квартиру уже немолодой, лысый и тучный военпред одного завода. Жить

стало куда как легче: военпред пристроил Соню в заводские ясли, сполна приносил свой комсоставский паек.

Неплохой был мужик, ласковый, только любил погулять, да так, чтобы на всю улицу слышно было. На одной из таких вечеринок подвыпившую Фаю скараулил в сенях молодой приятель военпреда...

Так и пошло. А чтобы совесть меньше мучила, стала к рюмке прикладываться...

Соня не знала истории падения своей матери. Да если б и знала — не простила, не оправдала. Сколько слез тайком выплакала, сколько обид снесла от подруг, от соседей, от маминых товарок по работе. Едва дотянула восьмилетку и — вон из дому. Без раздумий, без оглядки. Место в общежитии гарантировал только кооперативный техникум, и она стала учиться на повара.

Училась хорошо, но назло маминым дочкам вела себя нарочито развязно: заигрывала с молодыми учителями, хороводилась со стильными мальчиками.

Семнадцатилетняя Соня не устояла, уступила парню, которого, как ей казалось, полюбила по-настоящему и на всю жизнь.

Парень ушел в армию, позабылся. Появился новый поклонник, и все повторилось.

Первым толчком к прозренью была неожиданная встреча с геологом Лавровым. Зацепил он в Сониной душе какую-то потаенную струну, и та зазвучала тревожно и жалобно, и долго беспокоило, томило Соню вспыхнувшее вдруг непонятное чувство жизненной неустойчивости, и все, чем доселе жила, утратило разом притягательность.

Потом он прислал ей деньги. Нужны они ей были, ох как нужны. Каждую копейку считала, по ночам в больницах за санитарок дежурила... Покрутила Соня в руках двадцатипятирублевую бумажку и отослала назад. И в другой и в третий раз проделала то же. Отцепился... Но брошенное им зерно вскоре дало росток, перевернуло всю ее дальнейшую жизнь.

Это случилось на свадьбе однокурсницы. Соня была потрясена, увидев, как осторожно прикасается жених к обнаженной руке невесты, как нежно целует суженую. Скинув потную руку соседа по столу со своего колена, Соня убежала. Парень настиг ее на улице. Обнял, потянулся мокрым прокуренным ртом. Она ударила его по смазливому лицу. Смахнула с ног туфли на каблуках-

гвоздиках и босиком, босиком.., по грязным тротуарам и подсыхающим лужам, по лягушиным спинам булыжников, по острой скрипучей щебенке. Бежала до тех пор, пока не задохнулась. «Все, все, все,— твердила она. — Никого не подпущу. Кончу и к геологам. Если полюбит, чтобы все по-хорошему, по-человечески... Только так...»

Вряд ли хватило бы у нее силы так именно и поступить, если б не свела судьба с Платоном. По два письма на неделю слал. А уж когда нежданно заявится в город, ни на шаг от Сони.

А как обрадовался, весь засиял, когда встретил ее на аэродроме в Пионерском. Подхватил чемодан, подсадил в кабину, подвез к самому крыльцу орса.

Работницы экспедиционной столовой встретили новую повариху так, будто всю жизнь знали и дружили с ней, даже отдельную комнатушку выкроили в общежитии.

Каждый вечер Платон прибегал к ней, уводил то в кино, то на танцы, потом не отпускал до рассвета, ласкал и целовал, и такие желанные слова нашептывал. Тут бы и остановиться, попридержать себя, не допустить, вспомнить советы Лаврова, а она...

«Любишь ли?» — тысячу раз пытала Платона. — «Люблю». — «Врешь ведь, врешь», — упорствовала, не сдавалась. «Вот... сказал же». — «Поженимся, тогда уж...» — «Лучше наоборот». И Соня опять сдалась...

«Жениться — не главное. Успеется. Не уйдет. Подружимся... Полюбимся... Поглядим...» — говорил Платон.

Забылась и эта горечь. Все вроде бы ладно пошло у них. Платон не прятал от людей свои отношения с ней, значит, любил по-настоящему и намерения имел самые серьезные. «Забеременеть бы... Сразу женится...»

И вдруг закуролесил, закуражился Платон... Не раз и до того бывало, что он приходил к Соне недовольным и хмурым. Но стоило ему заглянуть в ее глаза, услышать ее голос, как все, что только что занимало или тревожило его, моментально отлетало прочь, лицо озарялось радостью, и он ласкал и целовал Соню до тех пор, пока она обессиленно не повисала у него на руках, бессвязно бормоча: «Ой! Платон, миленький, не могу больше...»

Но теперь его как подменили. То не заходит неделю, а то нагрянет среди ночи. То ему почудится — табаком в комнатенке пахнет, то прицепится: откуда синяк на руке.

Прибежал тогда в ненастье, мокрый насквозь, грязью

заляпанный. «Сонька!» — крикнул от порога так, словно она от него навек уходила. Скинув плащ, ватник, сапоги, подхватил ее на руки, закружил. «Пойдешь за меня замуж?» — «Сам знаешь»,— выдохнула она, замирая. «Пойдешь или нет?» — зачем-то настаивал он, и в голосе его скользнули куражливые нотки, насторожив и охладив Соню, и та уже насмешливо: «Попробуй, посватай». «Я уже тебя всякую перепробовал»,— завелся Платон. И пошло, поехало. Слово за слово. И хоть до ругани не дошло, а жар выдуло.

Вторая неделя на исходе с их последнего свиданья. Несколько раз встречались на улице. «Здравствуй», — сквозь зубы кинет на ходу Платон. «Приветик»,— чересчур весело откликнется она. И, не оглядываясь, отшагивают друг от друга.

По ночам Соня не раз плакала. Но с подружками была прежней — озорной и бесшабашной...

— Ой, мамочка моя...

Кулаком стерла слезы со щек. Достала залежавшуюся бутылку из шкафа. Долго вертела в руках. Откупорила. Налила четверть стакана, подумала, плеснула еще. Поднесла стакан ко рту, да вдруг обмерла.

Может, ей показалось, почудилось? Нет-нет.

Стакан выскользнул из ослабевшей руки, ударился о пол и развалился на две половины. Коричневая жидкость растекалась лужицей. Соня прижала палец к мокрым губам. Как же не заметила? Скоро ведь два месяца? Ну конечно же, а она... Неужели? Надо провериться. Завтра же отпросится у заведующей столовой и слетает в Сарью...

— Ой, мамочка-а-а... А я-то...

Сегодня Герман Кузьмич усадил-таки ее за стол. Она и в самом деле проголодалась, да отчего и не посидеть рядом с таким человеком, как Герман Кузьмич. Соня заставила себя выпить рюмку коньяку.

В то время, когда она хохотала над какой-то байкой Мельника, в дом заглянула ее сменщица — Фрося Драчева, ключи от кладовки занесла. Как у нее глаза-то засверкали! Понесет теперь небылицы по всему поселку. Соне сразу стало не по себе. Сорвалась с места, залилась румянцем и, лопоча что-то несвязное, торопливо засобиралась домой...

Скорей бы проходила ночь. Днем, при свете, все станет другим. С этого утра в третий раз сызнова начнется

ее жизнь. Хорошая жизнь. Все дурное останется на том берегу. Утром она сбегает на квартиру к заведующей, отпросится в Сарью...

Соня не знала, что завтра ей уже не придется отпрашиваться у заведующей, потому что она сама и станет этой заведующей и на правах начальства разрешит себе поездку в Сарью, и там врач подтвердит ее догадку.

Этого Соня не знала, но зато навсегда зарубила себе: ни завтра, ни послезавтра, никогда больше не переступит порог дома Германа Кузьмича.

Слезы высохли. Черные глаза вновь озорно заблестели, мягкая улыбка раздвинула припухшие яркие губы. Соня слизнула с них соленую влагу, всхлипнула:

— Дурочка.

И приглушенно-воркующе засмеялась.

2

Солнце слепило глаза. Герман Кузьмич жмурился, но не сдвинулся с места, не задернул занавеску: не хотелось отгонять приятную дремотную расслабленность. Только что подсказал Юрченко назначить заведующей столовой эту черноглазую молодую повариху, как сразу мыслями прилепился к ней. Герман Кузьмич запрокинул голову, потянулся... Жизнь есть жизнь! Грешно и глупо отказывать себе в земных радостях. Не единой работой жив человек. Он не бабник, но и не монах... Надо что-нибудь придумать. Командировать ее в Туровск и самому туда же. Встряхнуться немножко...

Вздрогнул от дверного скрипа, мгновенно подобрался, деловито кивнул вошедшему Русакову, длинно и громко выдохнул скопившийся в груди воздух.

— Вчера с Грозовым объяснились...

— Почему он здесь? — заинтересовался Мельник.

— Не спросил.

— Что-то я его частенько в поселке вижу.

— Молодой. Присушила какая-нибудь. Бригада работает отменно, почти на неделю опережает график. Любую машину сам водит. От его наездов сюда ущерба никому... По-моему, он прав: этими поблажками мы и Ветрова унижаем и соревнование оплевываем. Сейчас половина грозовской бригады на монтаже. У монтажников язык на пупке. Кончают на три недели раньше срока. Оставшиеся на бурении по полторы смены вкалывают.

Ярослав от вышки к вышке мечется. Догонит он Ветрова. По всем показателям и без подмазки.

— Зачем ты мне это говоришь? — Мельник перебирал в папке бумаги, отыскивая нужную.

— Информирую.

— Спасибо. Может, на общественных началах возглавишь сектор информации?

— Не злись.

— Я имел счастье выслушать все это из уст самого Ярослава. Тут есть два «но». Во-первых, Ветров. Поймет ли? Ты с ним в дружках ходишь, вот и объяснись.

— Я поговорю...

— Вот-вот.— Мельник захлопнул папку.— А заодно подумай, как монтажный цех на ноги поставить. У Грозова вся бригада, кроме Епифана Качурина, не старше тридцати. Любят бригадира. За ним куда хочешь. Другие бригады, сам знаешь... Тут второе «но». Можем мы остаться без маяка.

— Ветров — крепкий мужик, походя не сковырнешь. Схлестнется с Грозовым, еще выше взлетит... А вот монтажники... Можно испробовать предложение Ярослава — крупными блоками на вертолетах. Дороги к лету надо готовить. Лежневки или ледовые, как у белоярцев...

Герман Кузьмич недовольно поморщился и снова открыл папку, давая понять собеседнику, что больше не имеет ни желания, ни времени продолжать разговор.

Рассовав по карманам сигареты и спички, Пантелей Ильич направился к выходу, да задержался на полпути.

— Нажми ты на Юрченко. Пока ни бум-бум ни с совхозным молоком, ни с яслями. И сорокаквартирный жилой только на ватмане красуется. Хоть бы материал накапливал...

— Тебя бы в госконтроль. — Чувствовалось, что Мельник с трудом сдерживается.— Это по их части — огрехи высвечивать да тыкать в них... Надо немедленно аэропорт оборудовать — раз, готовить площадку для энергопоезда — два, строить настоящие причалы и склады — три, больница нужна вот так — четыре, мастерские... — Он загибал длинные тонкие пальцы вытянутой правой руки и, когда все четыре пальца были загнуты, прижав к ним большой, кинул круглый кулак на стол.— Не мне тебя агитировать: главное — производство, а без всех этих трали-вали хоть и грустно, но можно жить.

— Но производство прежде всего от людей зависит...

— Затянул, протодьякон. Слышали уже. «Ах, тесно живут. Ах, умываются холодной водой». Но, черт возьми, за что-то платят нашим рабочим вдвое больше, чем где-нибудь в Воронеже. Там инженер получает меньше, чем у нас уборщица. Почти у каждого на сберкнижке не по одной тысчонке. Двести человек в очереди на покупку автомобиля, а у нас и всех-то работников тысяча сто.

— Слу-у-шай, — укоризненно протянул Русаков. — Уж кто-кто, а ты-то прекрасно знаешь, что такое так называемые большие заработки. Не прикидывайся удивленным. Подсчитай-ка, какие здесь дополнительные затраты. Черт знает чего только здесь не надо! Коронку на зуб поставить, рентгеновский снимок сделать — лети в Сарью. Жена не работает — детишек некуда деть. И так далее. Потому и бегут от нас, и временщиков полно.

— Спасибо за поучительную лекцию. С твоим кругозором в Госплане сидеть. — Герман Кузьмич побагровел лицом. — Те, что взад-вперед мечутся, — дерьмо, не работники. Таких ни держать, ни жалеть о них. Один смоется — двое приедут.

— А затем эти двое удерут...

— Правильно. Новых трое появится! На трудностях надо закалять людей, растить настоящих разведчиков-первооткрывателей.

— Разведчикам больше, чем другим, нужны человеческие условия. Не надо спекулировать на долготерпении и мужестве людей...

— Ха-ха-ха! — неожиданно весело и громко захохотал Мельник. — Опоздал ты родиться. Народник бы из тебя первоклассный. Ладно. Поразвлекались — и будет. Давай о деле. Подготовил предложение о новой площади?

— Надо Богадуровскую разбуривать. Великолепные прогнозы.

— Хм. Богадуровская втрое дальше Осокинской. — Мельник подошел к огромной карте на стене. — Смотри. Пока на Богадуровской забуримся, на Осокинской три скважины дадим. Производительность, себестоимость голосуют за Осокинскую.

— Сам же говорил: главное — нефть, а ее Богадуровская обещает неизмеримо больше. И туда идти только сейчас. Летом застрянешь — и вертолеты не спасут.

— Черт знает, ты как с луны свалился. Согласен:

данные сейсморазведки за Богадуровскую. Но только долото может их подтвердить. А если не подтвердит? Тогда что? Полный крах. Ни нефти, ни метража.

— Деляческий подход. — Русаков полез в карман за куревом. — Черт с ним, пусть мы проиграем по всем показателям, не получим знамя и премий, зато совесть чиста...

— Да, если мы проиграем — ни яслей, ни клуба, ни жилья не будет.

— Ловкач ты! Хочешь меня моими же кулаками.

— Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет. — Мельник самодовольно улыбнулся.

— И все же я не согласен,— упорствовал Русаков.

— С богом,— устало махнул рукой. — Завтра начнем монтаж на Осокинской. Будем ее разбуривать.

— Не узнаю тебя,— неожиданно спокойно и даже сочувственно проговорил Пантелей Ильич, машинально свинчивая гайку с болта, бог весть откуда попавшего ему в руки. — Да на Богадуровской наверняка по нескольку нефтеносных пластов. Тогда белоярцам не только метрами да скоростями, а и разведанными запасами нос подотрем...

Но и последний козырь — ссылка на белоярцев, не поколебал Мельника, хотя он и смолчал.

— Во будет взрыв! — ободренный молчанием, еще напористей заговорил Русаков. — Не только Лавров зачешется. Пока белоярцы допекают свой слоеный пирог, мы свой на стол подадим. Выскочим с запасами и первыми начнем добычу. Вот заветный рубеж! Разве дело в метрах, рублях, станко-месяцах? Юрченко вон, чтоб израсходовать отпущенные рубли, зайцев на вертолете гоняет. Мы можем переворот совершить...

— Славы на мой век хватит, могу одолжить. Ради нее не стоит такой огород городить... — Мельник выговаривал слова необычно замедленно, и были они какие-то тусклые и округлые: видно, думал он совсем не о том, о чем говорил. — С наскока шею сломаешь. Где гарантия, что на Богадуровской много нефти?

— Какие тебе еще гарантии! — не выдержал Русаков.

Мельник мимо ушей пропустил замечание.

— Ну а вдруг там и нефти-то так себе. Тогда катастрофа! — И резко меняя тон на приказной: — Начинаем Осокинскую. И никакой демагогии. Поднажмем — выйдем в первые по Союзу, тогда...

Дверь распахнулась.

— Пожар!

Несколько мгновений спустя, застегивая полушубки на бегу, Мельник и Русаков вместе с толпой мчались к пожарищу.

Горела хибарка Епифана Качурина. Видимо, слишком поздно заметили соседи беду, и теперь невозможно было подступиться к охваченному огнем строению. Розовые блики метались по сугробам. Люди лопатами швыряли в огонь снег, тот таял на лету.

Двое дюжих мужиков еле удерживали жену Епифана. Она ожесточенно вырывалась и все норовила укусить тех, кто ее сдерживал. Наконец, обессилев, женщина кулем повисла на руках мужчин, повторяя: «Сыночек! Сыночек!..»

Вот пламя пожарища огромным ярким столбом вытянулось вверх, завихрилось и, сорвав с места насыпушку, швырнуло ее оземь грудой красных пылающих головешек.

— А-а! — страшно вскрикнула жена Епифана и, вырвавшись из рук, как срезанная, ткнулась лицом в грязное месиво.

— Юрченко! — громовым голосом крикнул Мельник, отыскав взглядом начхоза.

Тот подбежал, склонился, чтобы в грохоте и гаме не пропустить ни слова.

— Пусть женщину уведут в новый пристрой к столовой. Оборудуй там комнату всем, что нужно. Врача к ней. Проследить за детьми. Помочь с похоронами.

— Сделаем, Герман Кузьмич.

— Сарин! Сейчас вертолет на буровую за Епифаном... Сам полетишь. Подготовь человека. Что тебе объяснять...

— Вылетаю,— тихо сказал парторг, не глядя на Мельника.

— Никитский! Бульдозер сюда. Расшвырять головешки. Попытайся найти останки ребенка. Все остальное убрать, чтоб никаких следов.

— Ясно.

— Русаков! Попроси свою мать...

— Она уже ушла туда.

Мельник круто повернулся, пошел в контору, поманив рукой Юрченко.

— Тот дом на Пристанской... — медленно начал Герман Кузьмич.

— Только фундамент вывели, за стены еще не брались,— угадав чужую мысль, сказал Юрченко.

— Перепланировку срочно.

— Маловат, конечно.

— Сарин завтра проведет собрание строителей. К маю детсад сдать. Потом пристроим... Надо же такому случиться. Накликал Русаков: «Без призора ребятишки...»

— Могла она не работать. Три сотни Епифан выколачивал, что твой...

— Это забудь. И чтобы...

— Да я што?..

— Нефть давай. Метраж давай. Производительность, себестоимость. А база! На соплях! — вдруг сорвался Мельник. И закипел, заклокотал яростью, зашвырял раскаленными гневом тяжкими словами.— Деньги есть — материалы не завезены. Материал добыли — документация не готова. Все есть — строить некому. Одного кирпича столько надо — за навигацию всем флотом не завезти. Ни сантехников, ни электриков, штукатуры и те наперечет. А население — как на дрожжах. За последний год втрое махнули.

Почтительно и сочувственно выслушал Юрченко разъяренного начальника и ничего не сказал, только обреченно вздохнул да махнул рукой, дескать, назвался груздем — полезай в кузов...

3

Никогда не таился, не прятался Ярослав от людей. Терпеть не мог шушуканья, заглазного наговора. Выговаривал — так в глаза. Бил — так спереди, да еще предупредив: держись! А теперь выждал ночь потемнее да поненастнее и запетлял кривыми улочками, ровно затравленный заяц, озираясь на каждый шорох. Противно это было его душе, ненавидел себя за то, а иначе нельзя. Только попади на зуб поселковым кумушкам — сразу в костную муку перетрут. Не за себя боялся: у него кости крепкие. Зубы сломают. А Лида...

Не сразу решился он на этот шаг. Долго боролся с собой, по неделям не бывал в поселке.

С Лидой ненароком встречался несколько раз на людях. Еле выговорит «здравствуйте» и, боясь столкнуться взглядом, спешит прочь...

Едва тронул дверную ручку, а Лида уже:

— Кто там?

«Ждала»,— окатило жаром. Перевел дыхание.

— Я...

Вошел. Она молчала.

— Ты не рассердишься? — Ярослав поставил на стол бутылку шампанского.

Маленькими глоточками она пила золотистую пузыристую влагу и щурилась от удовольствия. Ярослав крутил в руках полный фужер, смотрел на вино.

— Почему молчишь? — спросила она.

— Ты же знаешь. Ты все знаешь...

— Знаю.

— Можно я почитаю стихи?

— Свои?

— Нет. Мои стихи — галька, а для тебя нужны жемчуга. Вот послушай.— Полуприкрыл глаза и тихо-тихо начал:

Как полон я любви, как чуден милый лик.
Как много б я сказал, и как мой нем язык.
Не странно ль, господи? От жажды изнываю.
А тут же предо мной течет живой родник.

Помолчал немного, припоминая, и снова:

В одной руке цветы, в другой бокал бессменный,
Пируй с возлюбленной, забыв о всей вселенной,
Покуда смерти смерч вдруг не сорвет с тебя,
Как с розы лепестки, сорочку жизни бренной...

— Хорошо. Чьи?

— Рубаи Хайяма. Люблю его. В четырех строках столько мыслей, и форма — удивительная...

Отпил глоток вина.

— Ты веришь, что так бывает? Увидел раз — и все.

— Верю,— шепотом отозвалась она.

— И что?

— Не знаю.

Поднялись одновременно, молча шагнули навстречу друг другу. Она была ему только до плеча. Ярослав зарыл лицо в завитки ее волос.

— Зима на улице, а у тебя волосы солнышком пахнут. И морем.

— Выдумываешь.

Бережно усадил ее на колени.

— Погоди, Ярослав, погоди,— пьяно бормотала она и тянулась к нему припухшими от поцелуев губами.

Когда Ярослав стал развязывать концы платка на ее груди, Лида вздрогнула, напряглась.

— Не бойся,— зашептал он.— Пока не станешь моей женой... Ты ведь пойдешь за меня замуж? Станешь хозяйкой в моих хоромах. Сына родишь. Заживем...

Лида целовала его торопливыми обжигающими поцелуями и молчала.

— Чего молчишь? Рассветает, соберешься и...

— Глупый, я ведь учительница. Что скажут дети?

— Что хотят, то и скажут. Разве от этого что изменится?

— А Сенечка?

— Не любишь ведь...

— Не люблю... Но так вот... в спину... Не сердись, ты не знаешь... Ничего не знаешь... Детдомовка я. Отец на войне... мать посадили. Грузчицей работала. Распоролся мешок с горохом. В сорок седьмом знаешь как голодали? Грузчики горох по карманам, за голенища. У матери четыре килограмма выгребли. Три года присудили. Был такой указ... А меня — в детдом. Мать так больше и не видела... С первого до одиннадцатого я в отличницах ходила. Потом поступила в педагогический. Стипендия — двадцать девять, а мне — девятнадцать. И то надо, и этого хочется... Тогда и с Сенечкой познакомилась. На курсах бурильщиков учился. Влюбился, ходил по пятам: «Поженимся», а я с парнем ни разу не целовалась. Отказала. Стал каждый месяц переводы посылать. То двадцать пять, а то и пятьдесят... Приоделась. Подкормилась. Кино, театр. Летом Сенечка увез меня к своим родственникам на Алтай. Два месяца прожили в одной комнате — не тронул. Зарегистрировались — тогда уж... Предать его? За добро — подлость?

— Лида! — чуть не плача, закричал Ярослав.— Ты ведь все понимаешь? Сенечку и мне жалко. Но как быть? Если б это...

— Если бы...

Глава седьмая

1

Морозов бредил. С губ его безостановочным потоком струились бессвязные слова.

Боли он не чувствовал. Только жар и удушье мучили. И чудилось ему, что он в какой-то трубе — горячей и узкой. Ползет по-червячьи, а труба все горячей, все тесней. И воздуха в ней все меньше. Как он очутился тут? Зачем? Не помнил. Не знал. Да сейчас и не это было главным. Все существо его жило одним желанием: поскорей доползти до конца трубы, высунуться, вдохнуть полной грудью живого воздуха. Совсем близок желанный просвет, но горячие стальные стенки пластырем облепили, стиснули тело. Один бы глоточек воздуха, и он дотянется. «Ну же, ну!» — приказывал он себе и до боли, до хруста в суставах тянулся к спасительному просвету. Мутился рассудок от удушья. Слезы и пот струились по лицу. Вытянуть бы руки вперед. Стоило подумать о руках, как труба прикипела к ним — не шевельнуть. Надо бы перехитрить трубу, сжаться. И он сжался, превратился в букашку, заперебирал, засеменил лапками по раскаленному металлу. Скорей-скорей. Вот и край трубы. Дыши! Тут откуда-то долетел грохот. Он закрыл ладонями уши, а грохот — сильней. А-а, да это гремит буровая. Та самая, которую они на понтонах...

Грохотал ротор, вгоняя в землю гигантскую стальную пустотелую змею. Никто не видел, как та змея вгрызалась в земную твердь, а Морозов видел. Отлично видел, как грызло прожорливое долото земное тело. Его зазубренная головка со скрежетом и свистом ввинчивалась в породу. Вот оно остановилось, заметалось из стороны в сторону, будто голова разъяренной гадюки. «Нефть вынюхивает. Нет ее тут». Только он это знал. И зачем тащили сюда вышку? Сколько труда, волнений — все впустую. Надо всех — к черту и вон из этой болотины. «Уйду»,— решился он, резко поворачиваясь, но не смог двинуть ногой. Оказывается, ноги-то проросли, пустили в почву толстые белые корни... Вцепился в них, остервенело рвал, тянул, а они как резиновые. Из-за леса надвигался кто-то черный, громадный, страшный. Бежать. Скорей бежать. Но корни не поддавались.

Налетел обжигающий смерч. Вышка, балки, котельная — все сорвалось, завертелось, понеслось черт знает куда. Только он ни с места. Мял, гнул, качал его шквальный ветер. Из стороны в сторону. Из стороны в сторону. А от земли не мог оторвать.

Тут ураган вынес из-за леса Риту Лаврову. Скрутил

ее колобком и как перекати-поле гнал по вспененному небу. Догнать бы! Удержать. Проклятые корни...

— Рита! Ри-и-ита-а-а!!!

Надрывался он в крике и тянул руки к ней. А она хоть бы глянула, хоть бы слово обронила...

Корни вдруг стали медленно втягивать его в землю. Почернели, зашевелились: по ним из глуби заструилась нефть в его сосуды, распирая, раздувая его. Вот он стал неправдоподобно огромен, подпер макушкой облако. Жар от солнца нестерпимый — дышать нечем. Хотел прикрыть лицо ладонями, а те черны: по ним текли смоляные струйки. «Нефть прорвалась»,— испугался он и крепко сжал кулаки. Да разве ее удержишь? Из каждого кулака забил каскад черных фонтанчиков. «Зачем я держу?» Вскинул над головой растопыренные руки, и два нефтяных фонтана с ревом ударили ввысь.

— По-о-шла-а!!! — заорал он ликующе.

И вдруг почувствовал — слабеет: вместе с нефтью вытекала и его кровь, его живые соки, и чем сильней были фонтаны, тем больше слабел он, припадал к земле, как проткнутый мяч. Но от этого не убывал восторг, и он вопил:

— Да-а-а-ва-а-й!

Ревела, бесновалась земная кровь, смешанная с его кровью. Никнул, угасал он. Ни о чем не жалел, ничего не хотел. Только бы подольше продержаться на ногах, не дать иссякнуть черным ревущим потокам. Спекшимися от невероятного внутреннего напряжения и жара губами шептал Морозов:

— Давай... Давай... голубушка.

Сначала Рита не вслушивалась в бессвязное бормотанье больного, но когда тот громко и четко произнес ее имя, она метнулась к постели, склонилась над изголовьем, чтобы узнать, зачем понадобилась. Морозов по-прежнему был в беспамятстве и бредил. Значит, он в бреду назвал ее, а может, и не ее, мало ли Рит на свете. И все-таки она обеспокоилась. Стерла пот с костистого шишковатого лба Морозова, подоткнула одеяло, положила на кровать беспомощно свисавшую руку. Подхватив со стула книжку, села так, чтобы краем глаза видеть его лицо, но читать уже не могла: помимо желания вслушивалась в бредовый лепет.

Морозов был бобыль-холостяк. Мать жила в Красно-

даре, не ведая о несчастье. И когда состояние больного резко ухудшилось и знаменитый туровский уролог безапелляционно изрек: «Если три дня переживет, жить останется», Рита сговорила приятельниц на поочередное круглосуточное дежурство в палате. Лавров к этому отнесся одобрительно, и вот она коротает ночь у постели больного.

За день она порядком устала, хотя всего два часа занималась в детской музыкальной школе. Годы брали свое. Да и внешне в последнее время Рита заметно переменилась. Мало чего осталось от озорной самовлюбленной красивой девушки, какой пятнадцать лет назад впервые появилась она в Туровске. Теперь это была зрелая женщина с мягкими, округлыми движениями...

Липкая дрема отяжелила голову, разлилась вязким теплом по телу. Рита, смежив ресницы, задремала. Но вот ее что-то обеспокоило. Женщина встрепенулась. Повела ищущим взглядом по сторонам и вздрогнула: Морозов смотрел на нее.

Легко и бесшумно Рита подлетела к постели.

— Что-нибудь надо?

— Нет,— негромко, напряженно выговорил он.— Сядьте, пожалуйста. Рядом. Вот так. Дайте руку.— Рита послушно вложила руку в жаркую влажную ладонь. Больной слабо сжал точеные пальчики.— Слушайте. Не перебивайте. Не спрашивайте. Трудно говорить...

— А вы молчите. Молчите,— ласково попросила она приглушенным голосом и легонько шевельнула рукой, расслабляя кольцо его пальцев.— Потом, когда поправитесь...

В запавших глазах больного короткой вспышкой сверкнула ярость. Морозов долго молчал, уставясь глазами в тревожное лицо женщины. Пока та соображала, что такое успокаивающее сказать, он заговорил сам:

— Мне тридцать четыре. Десять лет тайги. Не ребенок... Я бы никогда... даже под пыткой... Но тут... Все равно...

Непонятная, неосознанная тревога прострелила Риту, и она обеспокоенно затараторила:

— Постарайтесь уснуть. Все идет хорошо. Кризис миновал.— Суетливо нашарила на тумбочке градусник, схватила его.— Сейчас померим температуру. Примете лекарство...

— Постойте! — надорванно-слабо вскрикнул Морозов. — Прошу вас...

Уперся в нее страдальчески-умоляющим взглядом, и она умолкла, побито озираясь. Морозов облизал сухие землистые губы, длинно выдохнул.

— Я умру скоро. Не надо, пожалуйста... Каждому свое... Есть такое правило. Приговоренным последнее слово. Простите.— И вдруг оглушил Риту: — Я люблю вас. Не пугайтесь.— Горечь разлилась по иссохшему бескровному лицу.— Зачем это я? Ах, да все равно... Люблю. Слышите? С первой минуты. Семь лет скоро... Вы тогда в белом свитере на лыжах... Ну? Вспомнили? — Напрягся, ожидая, и с глубинной нескрываемой обидой: — Нет? Так и надо! Путается все. Я ведь хотел как последнюю молитву... Когда Лавров сюда — обрадовался. Отвыкну. А потом страшно стало. Как жить-то без вас? Кинулся следом...— Блаженная светлая улыбка растеклась по успокоенному лицу.— Я вас затылком вижу... По шагам. По дыханию... И просто... чувствую — тут... И все сильней. Иногда невмоготу... Хорошо: вы тут, и я смею сказать... Остальное пустота. Только вы...

Потрясенная Рита, порывисто привстав, поцеловала Морозова и выбежала из палаты...

Долго сидела, уперев локти в колени, спрятав в ладонях пылающее лицо. «Ничего не было! Безумный бред тяжелобольного. И только. И больше ни-че-го...»

2

Все чаще накатывали на Лаврова приступы раздражения.

Поначалу приступы были кратковременны и сравнительно легко одолимы. Стоило немного помолчать, уйти, шумнуть, и злоба стихала. Временами ровно затмение накатывало, он хлестал наотмашь правого и виноватого, и ни молчаливый укор, ни открытые упреки разобиженных не могли образумить, остепенить.

Опомнясь, остыв, он казнил себя за распущенность, клеймил собственную персону хлесткими прозвищами, но стоило чуть ослабить самоконтроль, и он опять борзел, становился нетерпим к людям, начинал беспричинно яриться, не мог молча выслушивать, ровно, спокойно отвечать, а главное — тщательно взвешивать принимаемые решения. Каждая спокойно сказанная фраза требо-

вала физического напряжения, приходилось по несколько раз перечитывать пустяковую бумагу, прежде чем постигался ее смысл. В эти минуты Лаврова раздражало, бесило все: скрип двери и вой ветра, стук пишущей машинки и телефонные звонки, а главное — люди, которые, как ему казалось, настырно лезли с пустячными, никчемными просьбами. Он поражался людскому тупоумию и лени, гневался и негодовал на недавних помощников. Он уже не советовался, не интересовался чужим мнением: рубил сплеча — категорично и непререкаемо. Поначалу друзья старались оправдать Глеба Леонидовича: замордовался, вот и срывается. Эта снисходительность лишь усугубляла болезнь, срывы стали чаще и неприятнее. Люди уходили от него обиженными, и за то он злился опять-таки на них же.

Однажды, прочтя в Глахиных глазах осуждение, закричал:

— Чего глазами меня ешь? Знаю — не так надо, а не могу! Ну? Говори! Суди. Низвергай! На покой пора? Да? Согласен!

— Тебе бы отдохнуть,— осуждающе, хотя и мягко сказал неприметно вошедший в кабинет Прутов.

— А может, на пенсию? — сразу взорвался Лавров.

— Можно и на пенсию,— негодуя глазами, но тем же тоном ответил Прутов.— Заслужил. Лови рыбку, соли грибки, вари варенье.

— Ты что? От...— поперхнулся от негодования.

— Мне легче схоронить тебя, выпроводить на пенсию, чем видеть такое.

С тем и ушел. И когда остывший Лавров через полчаса сам зашел к Прутову, тот и не намекнул на недавнее.

Какое-то время от приступов злой хандры Лавров спасался бегством домой. С девчонками и Ритой он скоро веселел, и снова рвался к делу, и был разговорчив, и уступчив, и мягок.

Младшая, любимица, обладала удивительным даром угадывать душевный настрой отца и, едва тот, расстроенный, переступал порог, как спрашивала: «Кто тебе плюнул в душу?» Он поначалу бурчал: «С чего ты взяла? Оставь, пожалуйста...», но дочь ласкалась, засматривала в глаза, и Лавров наконец в короткой исповеди выплескивал скопившуюся горечь и садился обедать или ужинать или просто «погонять чайку», и три женщины

были к нему так внимательны и предупредительны, так заботливо ласковы, что он под конец обретал-таки душевное равновесие... И вдруг спасительный домашний громоотвод отказал, и когда? — в самый разгар грозы, когда раздражительность Лаврова достигла крайности.

В тот вечер позвонил Ярков и сразу начал выговаривать за то, что Лавров принял предложение Ростовского о разбуривании стыков между крыльями уже открытых месторождений. «Мудрит наука. Никакого единого месторождения не получится, а силы, и средства, и время — тю-тю. Надо в глубь болот идти, вскрывать новые площади...» Лаврову стоило бы только смолчать иль безответственно пообещать «подумать, посмотреть», и Ярков бы стих. Но Лавров заспорил. Слово за слово, оба разгорячились. Начальник управления сорвался первым и заговорил по-ярковски — повелительно-непререкаемым, обидным тоном. Лавров вспылил, выпалил излюбленное «а мне наплевать». Ярков уцепился за это «наплевать», ковырнул прошлое, припомнил Шанск и...

Взбешенный Лавров с шапкой в руках вылетел из кабинета как наскипидаренный и понесся по улице. У крыльца больницы с разгона налетел на какую-то женщину, зябко жавшуюся к фонарному столбу, сшиб ее с ног, подхватил падающую и обмер, узнав жену. «Рита? Что с тобой? Как сюда попала? Тебе плохо?» Засыпал вопросами, растревожился, забыв и Яркова и все на свете. А когда Рита, упираясь ладошками в его грудь, чужим, натянутым голосом холодно сказала: «Пусти. Потом объясню», и, не оглядываясь, засеменила прочь, Лавров обалдел, нутром угадал — случилась беда... «Кто? Когда? Где? Важно ли это? Главное — на двух берегах. Чужие... Спятил? Сперва спроси, загляни в глаза. Пустое — мишура. Не любит — это точно...»

До глубокой ночи метался Лавров по поселку, и только иззябнув до костей, приплелся домой. «Ужин на столе»,— кинула холодно Рита и ушла, а когда он вошел в спальню, притворилась спящей... Он до рассвета просидел в кресле и медленно, как в чужом, ненужном хламе, ковырялся в прожитом, выискивая неприятное, недоброе, что хоть как-то было связано с Ритой. Набралось немало, и Лавров торопливо принялся нанизывать на единый стержень разрозненные мелочные фактики, добираясь по ним до сегодняшнего...

С той ночи в доме поселился кто-то пятый — невиди-

мый, но всесильный. Он будил Лаврова по ночам и нашептывал в ухо жуткие слова об измене жены и навевал чудовищные сны о ее неверности. Невидимое чудище не давало ему прямо глянуть Рите в глаза, спросить ее — просто и спокойно — о случившемся. Оно будто держало Лаврова на ниточке и дергало за нее в самый неподходящий момент, и Лавров говорил что-то нелепое, глупое и обязательно невпопад, и совсем некстати дулся, и делал еще массу других нелепостей. Если бы Рита сама, первая...

Лавров стал избегать дома, боялся остаться с Ритой наедине, отпугивал, отталкивал дочерей и страдал невыносимо от этого, и негодовал, отчего еще больше делал неразумного, непоправимого, и еще сильней злился. Невидимый пятый терзал душу Лаврова нелепыми запоздалыми подозрениями, вытаскивал бог весть из каких дальних углов памяти полуистлевшие фактики, полузабытые словечки, штопал и клепал всю эту ветошь, и та вдруг оживала и жалила, и Лавров начинал ненавидеть жену. Опомнившись, клял себя и уже готов был сорваться и лететь к ней, но невидимый дергал за ниточку, и Лавров уже казнил себя за всепрощение... Если б Рита не молчала, не улыбалась, глядя на него, горько и осуждающе, если бы...

А на работе все вдруг разладилось, покатилось кувырком. От замыкания в проводке загорелся склад горюче-смазочных материалов, и чуть зазевайся бы сторож, остались на зиму без горючего. На буровой Хомякова приключилась авария. Чертовы болота. Просела вышка одним боком... Лавров рвал и метал, вымещая гнев и раздражение на подчиненных, и те стали открыто сторониться начальника, не попадаться ему на глаза, разговаривали с ним коротко и лишь о самом неотложном.

Тут и случилось это несчастье.

Молодой тракторист, желая сократить путь, свернул с дороги и махнул напрямки через реку. Недалеко от берега угодил в заснеженную полынью.

Ночью с этим известием в кабинет к Лаврову ввалился Хижняк. Он был бледен. Полные руки слегка подрагивали, голос срывался, в нем звучали какие-то клекочущие нотки. Едва Хижняк изложил суть происшествия, как Лавров выскочил из-за стола и, встав перед потрясенным, оглушенным бедою Хижняком, заорал:

— Значит, утонули? Машина и человек? За такие штучки тебя под суд!

Пятясь от наседающего начальника, Хижняк начал было что-то объяснять, но Лавров перебил снова и заорал еще яростнее, еще надсаднее. На багровом лице Хижняка мелькнул испуг. Он не оправдывался, не возражал. Только, спрыгнув с дрожащих ресниц, по мучнистой дряблой щеке поползла слеза. Лавров вскричал исступленно:

— Разжалобить вздумал, слезу пус...

— Эх, ты... Дер-жи-мор-да...— прохрипел Хижняк. Повернулся и, горбясь, шаркая подошвами, еле волоча заплетающиеся ноги, вышел из кабинета.

Жгучая боль кнутом перепоясала поясницу. Лавров надломился. Вдруг вспомнился недавний разговор с Кешкой. «Батя совсем сдал. Давно бы ушел с главных, вас покидать не хочет». Словно со стороны Лавров увидел всю сцену, только что разыгравшуюся в его кабинете, и задохнулся от презрения и ненависти к самому себе...

Дверь ему отворил Кешка. Изумленно попятился, пробормотал:

— Здравствуйте, Глеб Леонидыч. Вы к папе? Он что-то забо...

— Где он? — И, не раздеваясь, прошел в комнату, где на диване с грелкой под затылком лежал Хижняк.

При виде Лаврова мучнистое лицо Хижняка побагровело, он привстал.

Лавров хотел было отослать Кешку в другую комнату, но в последний миг передумал и, не дав Хижняку произнести ни слова, выпалил:

— Прости меня, негодяя. Прости... Лежи, лежи. Никаких слов. Ни извинений, ни оправданий мне нет. И не ищи, не обижай. Зарвался. Давно бы вам меня по морде. Прости, друг. Если можешь — забудь. Выздоравливай. Ну?

Протянул руку, обрадованно сграбастал рыхлую ладонь Хижняка, тиснул так, что тот ойкнул, и веселым командным голосом Кешке:

— Почему не вызвал врача? Живо звони.

И когда Кешка выскочил в другую комнату к телефону, обнял Хижняка, прижался щекой к его щеке, глухо бормотнул:

— Спасибо за науку, брат...

И опять он бежал по ночному поселку.

Дверь квартиры была не заперта. Рита сидела в кресле подле торшера с раскрытой книгой в руках. Он с разбегу повалился перед ней на колени, обхватил ее ноги, припал к ним головой и, засматривая снизу в ее глаза, просительно:

— Бей меня. Казни, как знаешь, как хочешь, только не бросай... Ей-богу, я тот же, такой же. Замутило, закружило, но я устоял... честное слово... я понял...

Чтобы спрятать глаза от жены, Лавров ткнулся лицом в ее колени и замер, почувствовал на своей голове легкую руку. Она перебирала его волосы, гладила и неспешно, негромко рассказывала о неожиданном признании больного Морозова, о том, как оно взволновало и ошеломило ее, и о том, что она в самом деле решила весной уехать от него к маме, и, когда Лавров болезненно дернулся и ворохнулся при этих словах, Рита, прижав его голову к коленям, добавила:

— Но теперь передумала, потому что, кроме тебя, мне никого... ничего не надо. Но летом мы обязательно, всей семьей — ты слышишь? — всей семьей, на Черное море. В Анапу, нет, лучше в Сочи. На два месяца. Ты будешь отдыхать. Слышишь? Обещай.

— Обещаю.

3

Как-то само собой получилось, что на место временно выбывшего из строя Морозова заступил Валька Буянов. На утренних планерках Валька аккуратно отчитывался не только за свой дорожный цех, но и за цех вышкомонтажников, и нагоняи получал за них. Бригадиры вышкарей молчаливо признали за Валькой командную роль, исполняя его приказы так же беспрекословно, как некогда морозовские. Каждый день хоть на несколько минут Валька непременно забегал в больницу, докладывал в подробностях о делах, испрашивал разрешения на те или иные перестановки в морозовском цехе. Морозов обрадованно и жадно выслушивал Вальку, охотно с ним соглашался, поддакивал и чувствовал ни с чем не сравнимое облегчение и радость от этих разговоров. Когда по каким-то крайним обстоятельствам Валька не мог заглянуть в больницу, туда приходи-

ла Глаха и передавала все, что должен был сообщить муж.

— Да что вы, право,— растроганно бормотал иногда Морозов.— Зачем вам мое согласие? Я тут лежу чурбаком, а вы делаете, вам и решать, да и какой из меня теперь начальник, если и выкарабкаюсь — уйду на пенсию.

Валька отвечал резковато, вроде: «А я-то почитал тебя за настоящего человека», или еще что-либо подобное выскажет, да так прямолинейно и неулыбчиво, что сразу отобьет у Морозова всякую охоту ныть.

Как-то Валька вычитал о сухопутных машинах на воздушных подушках и задумал построить такое приспособление для перевозки буровых. Поначалу он скрывал свою задумку даже от Глахи, но однажды проговорился и ей и Морозову, и так увлек его этой затеей, что скоро больничная палата стала похожа на конструкторский кабинет, заваленный чертежами, и увлечение это лучше любых лекарств помогало Морозову побороть недуг.

Прослышав о Валькиной задумке, Кешка Хижняк сразу примкнул к изобретателям. Так создалось в Белоярье самодеятельное конструкторское бюро. Сначала неуверенно и робко, потом все настойчивей, все смелей стало оно вмешиваться в производственную жизнь экспедиции. По предложению Валькиного КБ цех испытания слили с цехом бурения, и сразу кончились взаимные упреки и недовольства буровиков и испытателей, и они уже не высматривали друг у друга недоделки, а устраняли их общими силами...

Даже в самые кризисные дни разрыва с женой Лавров по-прежнему навещал больного. Когда на другой день после бессонной ночи Лавров появился в палате Морозова, тот посмотрел на вошедшего с каким-то отчаянием и страхом и даже пугливо сдвинулся с места. Вид у него был ужасный. В провалах желтых щек и глубоких глазницах залегли землистые тени. Губы потрескались. Как ни был оглушен Лавров своей бедой, а заметил все же недобрую перемену в облике больного.

— Ты что сегодня? Уж не отступать ли надумал? Держись, брат. Она тебя за глотку, а ты — держись. Дышать нечем — все равно держись. Сожми зубы и ни-ни...

— Мне плохо сегодня,— еле выговорил больной су-

хим жарким ртом.— Устал. Хочу подремать. Извини...

И когда кризис миновал и Морозов заметно и круто пошел на поправку, он по-прежнему настороженно и смятенно встречал Лаврова и почти не разговаривал с ним, лишь отвечал на вопросы.

Дивился Лавров непонятной перемене в больном, его скованности и неразговорчивости. Прежде, бывало, норовил подольше задержать Лаврова, внимательно и заинтересованно слушал, теперь же лежал с закрытыми глазами, изредка и скупо роняя слова. Иногда он впивался в Лаврова острым взглядом, лицо отражало глубокое смятение, словно бы Морозов решался на что-то отчаянное и никак не мог решиться. Когда же Лавров пытался подтолкнуть Морозова к той черте, которая его и манила и пугала, больной, пришибленно сникнув, обессиленно откидывался на подушку...

Но вот Рита поведала о случившемся, и Лавров пережил еще один душевный кризис. Упорно и долго насиловал он себя, прежде чем вновь отважился переступить больничный порог. Стоило Лаврову приблизиться к больнице, как рассудок мигом уступал чувству и он разом накалялся, закипал ревнивым бешенством. Гневался на себя, злился, но...

В любви Лавров был собственник. Непогрешимый однолюб, он презирал распутников, брезговал мимолетными любовными связями, даже анекдоты на эту тему не терпел и от Риты иного не ожидал, безгранично доверял ей, и хотя ревновал, но никогда не выслеживал, не выспрашивал, не вынюхивал и не поверил бы никакой клятве очевидца Ритиной измены. Он сам не клялся в верности и от жены не требовал, считая это само собой разумеющимся.

Никто не знает, чего стоило Лаврову вновь ступить наконец-то на больничное крыльцо.

Склонив раздумчиво голову, Морозов ходил по комнате с блокнотом и карандашом в руке. От лавровского «Здоров» дернулся, резко развернулся, но ничего не сказал, только жестом пригласил садиться в кресло и сам кособоко, неудобно и нетвердо прилепился к кромке кровати.

Усилием воли обретенное спокойствие разом смыло с Лаврова шквальной волной неуемной ревности и необоримой неприязни к этому бородатому, устрашающей худобы желтолицему человеку. Морозов сразу угадал

происшедшее. Лимонные щеки подрозовил румянец. Виноватый растерянный взгляд заскользил с предмета на предмет, старательно избегая лавровских глаз. Он был жалок, беспомощен, и, глянув на него, Лавров устыдился своей неприязни и начал придумывать, что бы такое сказать больному, чтоб его успокоить. Обрадовался, приметив на тумбочке кипу листов. Подхватил верхний, с преувеличенным вниманием принялся рассматривать чертеж двигательного механизма буровой вышки на воздушной подушке. За листом ему не видно было страдальческого бородатого лица, и это помогло скорее овладеть собой, и он почти искренне воскликнул:

— Интересно! — Перевел дух, покусал пересохшие губы.— Занятно придумали.

— Как поправлюсь, уеду отсюда,— еле выговорил Морозов.

Резко отбросив лист, Лавров поймал чужой взгляд. Сколько в нем боли, горечи, обиды и тоски. Вот теперь жалость по-настоящему опалила, обожгла душу, выжила оттуда и ревность, и неприязнь, и этот бородатый бледнолицый человек снова стал по-братски мил и дорог, нет, еще милее и дороже прежнего, и своим обычным упругим веселым голосом Лавров громко сказал:

— Согласен! Первым рейсом. На буровой с воздушной подушкой.

— Совсем из области уеду,— угрюмо повторил Морозов.

— Уши оборву, а не выпущу. Ишь как он распорядился своей персоной.— Легко пересел на кровать. Сграбастал Морозова за затылок, притянул к себе, уперся лбом в его потный лоб, почувствовал на щеке горячее частое дыхание.— Выкинь эту блажь из башки. Ну? — Требовательно и властно вгляделся в запавшие, подернутые болью, немигающие черные глаза. Легонько тряхнул его.— Кому сказано! Да если это... Какие же мы мужчины? Коммунисты? Геологи? Тебе Буянов рассказывал, как меня скребли и драили на партсобрании? Все еще хребет гудит и бока чешутся. Всю ржавчину подчистую сняли. Одно крохотное пятнышко тебе оставили. Чтоб и ты по-дружески, по-братски руку приложил. Ну и наждачь, сделай милость. Скреби до первозданного блеску...

— Да ты что? Ты что? — Морозов даже привстал.— Это ведь я...

— Сиди, якалка.— Ласково прижал его колено ладонью, усадил.— Ты свое получил.

— Да не о том! — сердито встопорщился Морозов.— Не о том...

— И о том,— так же успокоительно-ласково прервал Лавров.— Никому за то ты не подсуден, ни перед кем не подотчетен.

— Так ты меня...— Борода задвигалась, словно начала распиливать воздух.— После этого...

— И до, и после,— снова перебил Лавров, сияя глазами.— Был и есть самый первый, самый верный друг.— Взял с тумбочки пачку сигарет и, давая понять, что с тем, что миг назад волновало обоих, покончено, заговорил деловым, хотя и приподнятым тоном.— Смолин звонил. Министр геологии принял предложение обкома — провести в Белоярье всероссийское совещание начальников экспедиций. Чуешь? Жди гостей со всей Руси. Сам понимаешь...

— Скорей бы отсюда. На буровую. К вышкарям. Истосковался...

Глава восьмая

1

Грохочущий Ми-4 завис над тайгой. Черная тень вертолета скользила по заснеженным болотинам, прыгала по сугробам, цепляясь за верхушки кедров и елей.

В подрагивающей, пропахшей бензином кабине вертолета — Михаил Николаевич с дочерью и Русаков. Мастер и главный геолог сидели рядом. Рая примостилась на противоположной скамье. Узкий проход между ними был завален мешками, ящиками, мотками многожильного троса.

Поначалу мужчины молчали. Ветров мял в узловатых пальцах нераскуренную папиросу и хмурился, думая о чем-то, видимо, неприятном, а Пантелей Ильич едва уселся, сразу вытащил из кармана скрученный в трубку толстый журнал, отыскал нужную страницу и торопливо заскользил по ней взглядом. Вот он поднял голову, тронул Ветрова за колено и, поймав его вопросительный взгляд, ткнул пальцем в только что прочитанное место.

— Скоро сибирские геологи завоюют все печатные органы страны. Смотри, какую возвышенную оду напечатали о нас. Красиво и верно. Прочти хоть вот этот кусочек.— Вынул шариковую ручку, тонкой линией отчеркнул слева несколько абзацев.

Нехотя, без всякого видимого интереса Михаил Николаевич склонился над листом, зашевелил губами.

«Если б можно было, поднявшись ввысь, единым взором охватить безбрежные заснеженные просторы Западно-Сибирской низменности, раздвинуть густую колючую щетину тайги, то перед нами возникла бы волнующая панорама ни с чем не сравнимого поединка человека с суровой природой Севера. От Среднего Приобья до Ледовитого океана, как вехи великого наступления, стоят величавые и строгие буровые вышки. По кедровым увалам и пихтовым чащам, по болотистому мелколесью, по незамерзающим топям идут и идут неукротимые могучие машины. Рушатся вековые замшелые стволы, уступая геологам дорогу к подземным кладам тысячелетия дремавшей Сибири. Мнут, секут облака вертолетные лопасти и винты самолетов. От моторного рыка и гула дрожит гигантское тело тайги. Беспокоен зимний сон косолапого хозяина урманов. Мечутся лоси в поисках нетронутых глухих углов... Днем и ночью, в любую непогоду грызут победитовые сверла земную твердь, нащупывая нефтяные артерии. С устрашающим ревом беснуются черные фонтаны, кровавые языки гигантских газовых факелов лижут подсиненное небо.

Велика Западная Сибирь, почти два миллиона квадратных километров! От одной геологической экспедиции до другой — сотни верст. Но если б засветить вдруг все точки, где в этот миг работают топографы, сейсмики, монтажники, буровики, испытатели, то необозримая лесная равнина озарилась бы множеством призывных огней и стала бы похожа на вселенскую новогоднюю елку».

Прикрыв глаза, Ветров подумал: хорошие, душевные и справедливые слова написали о них, геологах.

— Ну как? — спросил Русаков.

— Куда с добром. Видать, мастер писал.

— Да. Известный писатель... В каждом деле нужен мастер...

— Не больно ныне мастеров-то чтут,— с непонятной, вдруг резко проступившей обидой выговорил Вет-

ров, и на худом лице его при этом мелькнула горькая усмешка.

«Чем это его зацепило?» — подумал Русаков и сказал с легкой укоризной:

— Тебе, Михаил Николаевич, грех на непочтенье обижаться.

— А я не обижаюсь,— засердился тот.— С чего ты взял? Такой уж век. Кто понастырней да понахальней, тот на доске Почёта и в президиумах...

«Вон оно что!» — едва не вскрикнул Русаков, вспомнив так поразивший его недавний случай. Ветров чуть припоздал на торжественное собрание, посвященное Дню Конституции, и его не избрали в президиум, где буровиков представлял один Грозов. Войдя в переполненный красный уголок, Ветров протискался на видное место как раз в тот момент, когда члены президиума рассаживались по местам. Он, видимо, был уверен, что, заметив, его тут же пригласят на сцену, и раздосадованно густо покраснел, когда этого не случилось, и начал пятиться к двери. А когда назавтра Русаков спросил Ветрова, почему он ушел с собрания, тот, пробормотав что-то маловразумительное о болезни жены, заторопился прощаться. Теперь, неожиданно проговорившись о президиуме, Ветров выдал истинную причину. Чтоб окончательно утвердиться в своей догадке, Русаков сказал:

— Избаловали тебя почетом. Заласкали. Загладили...

— Завидуешь? — гневно сверкнул глазами Ветров.

— Жалею! — жестко огрызнулся Пантелей Ильич. Только крякнул Ветров, но смолчал, и больше до конца пути не обмолвились ни словом.

А Рая даже не заметила этой размолвки. Мысленно она была сейчас дома, рядом с заплаканной матерью и взъерошенным братом.

Ах, Платон, Платон! Все-таки крепко прирос он к Соне. Чуть свет заявился домой и, не раздеваясь, прямо от порога бухнул:

— Точка. Женюсь!

— Слава богу,— радостно и настороженно пропела мать.— Невестушка в дом, мать на отдых. Кто хоть суженая-то?

— Известно,— проворчал Платон.

— Неуж Сонька? — с обидной слезой в голосе воскликнула мать.

— Не нравится — уйду к ней. Потом свой дом построю. Не то и вовсе уедем в Белоярье. Валька Буянов давно зовет,— пер напролом Платон.

— Чего ж не нравится? Эка красавица,— ядовито говорила Василиса Ипатьевна. Рая предостерегающе всплеснула руками, но мать не унималась.— Самого Германа Кузьмича приворожила. Не успел жену на курорт отправить — Соня под бок привалилась... Да ты что, ты что? — мать попятилась от очумевшего, разъяренного Платона.— Весь поселок об этом знает, Фроську Драчеву спытай. Она их застала... стыдно и говорить...

— Оставь его,— резко проговорил отец и, повернувшись к сыну: — Эх, Платон.— И не понять было, то ли насмехается, то ли сочувствует.

— Мама! Да как тебе не стыдно повторять эти сплетни? Успокойся, Платон. Из зависти языки чешут. Красивая она, ловкая, яркая, вот и злобствуют. Не верь.

— Спасибо, сестренка. Я сам... сам этот узелок...— пробормотал Платон и кинулся из дому.

— Теперь все наотмашь. По живому мясу,— посочувствовал отец,— чертов торопыга.

— И хорошо бы,— не скрыла радости мать.— Переболит. Ничего с ним не сделается. Так-от лучше, чем потом весь век казниться.

— Может, зря в его жизнь лезем,— думал вслух Михаил Николаевич, одеваясь.— Со стороны все просто, все в один цвет. На самом-то деле...

— Ты это о чем? — затревожилась Василиса Ипатьевна.

Ничего не ответил отец. Он последнее время какой-то непонятный.

По пути к вертолетной сказал отец Рае ошеломляющую новость. Оказывается, жена поммастера Сенечки Крупенникова... Это уж никак не укладывалось в Раином сознании.

— Лида Крупенникова? Такая гордячка, недотрога. Я считала ее образцом добропорядочности, скромности — и на тебе.

— Не знаю,— ответил отец,— может, у нее и нет ничего дурного с этим бородатым чертом. Скучно ей, вот и... Прежде-то я не верил, хоть и слышал. А вчера сам видел, как он в Сенечкину дверь входил. В десятом часу было. Видишь как...

— Ярослав не позволит...

— Кабы люди делали только то, что дозволено. Да и кто у кого в любви дозволенья спрашивал? Коли накатит — все нипочем. Вот Платон... Погоди, настанет твой час...

Никогда прежде отец не говорил с Раей так. Порой ей казалось, что он всю жизнь только и знал трубы да графики, фонтаны да каротажи. «Глупая я. Отец тоже был молодым. Любил. Ревновал. Каким он был тогда? Надо расспросить мать. Раз понимает, значит, испытал».

Вскинув глаза, увидела совсем рядом худую шею отца.

Кожа на ней темная, вкривь и вкось иссеченная глубокими морщинами. Попыталась припомнить, каким был отец десять, пятнадцать лет назад, не смогла. Вроде всю жизнь он был одинаков, такой, как сейчас.

— Папа.

— Ну?

— Зря вы с мамой навалились на Платона.

— Сам про то думаю. Только к лучшему это, пожалуй. Коли выстоят, не отшатнутся, значит, взаправду любят. А если от такого ветерка в разные стороны — жалеть нечего...

Любит брат Соню, и есть за что. Красивая и светлая. Всегда улыбается и смотрит по-доброму. Не устрашилась пересудов, не хоронилась по зауглам. Сколько, поди, довелось пережить, гадостей понаслушаться. И хоть бы хны — поет да смеется. Видно, крепко любит, крепко верит. Наломает Платон дров сгоряча, будет потом локти кусать... Отчего так перепутано в жизни? Из добра растет зло, на горе всходит радость. Хочешь одно — делаешь другое. Что уму черное, сердцу — белое. Как же жить, по уму иль по сердцу?..

Лида — снежная королева. Вся какая-то прозрачная. А уж уважают ее! Сенечка с ней — как с малым дитем. Где столкнулась ее тропинка с Ярославовой? Может, тут-то и есть настоящая любовь? Ярослав отчаянный, черту рога сломит... А Сенечка? Живая доброта. Кто тут виноват? И виноват ли? Может, на этих треугольниках жизнь крутится? Третий — лишний, а без него нет треугольника... Шиворот-навыворот, никаких закономерностей...

Далеко-далеко по тайге разносится пулеметная трескотня вертолета. С бешеной быстротой вращаются

громадные лопасти винта, сливаясь в еле заметный прозрачный круг. Чуть покачивается железное хвостатое чудище, похожее на гигантскую ископаемую птицу.

Скользят Раины мысли, ищут зацепку и не находят. В сердце радость с тревогой и печалью мешаются. «Быть беде»,— замирает Рая, зябко запахивая отвороты пальто, крепко сжимая колени.

Широкая поляна с высоты походила на льдину, дрейфующую в океане тайги. Поплевывает черным дымком котельная, сгрудились крохотные деревянные балки, целит в небо островерхая пирамида буровой — ну чем не лагерь зимовщиков?

Рая сразу отыскала взглядом свой балок. По шапкам и ватникам угадала всех, кто спешил к вертолету. Последним неторопливой развалочкой трусил Сенечка.

И снова тревога защемила сердце: быть беде...

Поздоровался с рабочими Михаил Николаевич и негромко скомандовал:

— Разгружай, ребята.

Поймал за рукав Сенечку, оттянул в сторону. Не глядя, деловой скороговоркой выпалил:

— Полетишь в поселок. Надо за пару дней перебросить продукты и всякий шурум-бурум на Осокинскую. Там закончили монтаж буровой. Слетай, погляди, все ли ладно. Чтобы никаких потом загвоздок. На два дня вертолет в твоем распоряжении. Хорошо, если туда пробьют тракторную дорогу, а если нет? Здесь еще неделя-полторы — и шабаш.

— У Лапина дочка заболела. Если бы...— заикнулся было Сенечка.

— Полетишь ты.

— Делов — во,— Сенечка прижал ладонь к горлу.— Насос барахлит...— А сам уже улыбался радостно и смущенно.

— Давай лети.

— Хорошо, Михаил Николаевич,— согласился Сенечка и сразу полез в вертолет.

Рая едва не заплакала, провожая взглядом широкую Сенечкину спину. Почему так беспощадна жизнь?

2

— Надолго к нам? — спросил Михаил Николаевич.

— Часика на три-четыре, пока атээлка от сейсмиков

подойдет. В сейсмоотряд поеду. У вас нечего делать. Через несколько дней дойдете до отметки и «прощай, любимый город». Хочу с тобой потолковать. Есть одно дело. Чертовски сложное и щекотливое. Залучить бы тебя в союзники. Как думаешь, получится?

— К буровикам? — вместо ответа спросил Михаил Николаевич.

— Давай,— равнодушно ответил Русаков.

Подымаясь по заледенелым ступеням трапа на буровую, Русаков поскользнулся и едва не упал.

— Чего-то ты подзапустил свое хозяйство. Нагрянет инженер по технике безопасности — не открестишься.

— Почистим,— недовольно буркнул Ветров.— За всем не поспеть. И так на всю катушку. По скорости и метражу первыми по России выходим, а то и по стране.

Русаков торопливо поднялся на рабочую площадку. Там тоже было и грязно и льду кругом понаросло. «Чего это с ним? — обеспокоился Русаков.— Такой аккуратист был, и впрямь, что ль, слава закружила?..»

Они понаблюдали за спуском инструмента. Русаков расспросил о глубине, режиме, скорости бурения, оглядел механизмы, перекинулся несколькими фразами с буровиками и пошел в дизельную.

Пышущие жаром, гудящие дизели показались Пантелею Ильичу схожими с разгоряченными норовистыми лошадьми, распластавшимися в стремительном галопе. С одного дизеля стащили металлическую рубаху. Двое рабочих сосредоточенно ковырялись в железном нутре машины. Пантелей Ильич не смог пройти мимо и вместе с ремонтниками принялся отыскивать поломку.

Солнце замерло в зените, когда Русаков и Ветров покинули буровую.

Михаил Николаевич с дочерью занимали отдельный балок. Снаружи он ничем не выделялся в шеренге обшарпанных, видавших виды собратьев, но стоило переступить порожек, как сразу же угадывалось присутствие женщины. Пол застлан синтетическим ковриком, стены оклеены обоями, на оконце — голубая легкая занавеска. И даже бледно-зеленый вьюнок приютился на подоконнике.

— Вишь, какой комфорт.— Пантелей Ильич с откровенным изумлением оглядел жилье мастера.— А если подвести сюда воду, паровое отопление от котельной,

оборудовать душевую да подутеплить хотя бы кошмой... Чем не жизнь! И настроение, и производительность... Тома исписали, кучу диссертаций защитили, а сколько разных совещаний, конференций... и все об одном — как повысить производительность труда. Ищем в небе то, что под ногами валяется. Буровики по-медвежьи живут. Грязь и холод. Какой уж отдых. Тут и повышенная раздражительность, и усталость. Чего б тебе, Михаил Николаевич, не оборудовать образцовое жилье своим буровикам? Только захотеть...

— Я не Иисус Христос и не этот самый... не чародей.

— Ты — Ветров. Этого достаточно.

Польщенный Михаил Николаевич притворно закашлялся и принялся шевырять железной клюкой в топке печурки.

— Я говорил с Мельником. Дополнительные затраты, себестоимость...

— Какие затраты? Трубы есть, котельная — вот она. Начни с душевой. Рядом сушилку оборудуй. И пойдет... Народ только расшевели. Пригоршнями Обь вычерпает.

— Точно,— охотно поддакнул Ветров.

— Тогда чего ж. Лиха беда...

— Попробуем.

— Удачи.

На столике появились фарфоровый чайник, вазочка с сахаром. Рая разлила по стаканам чай. Глотнув крепчайшей ароматной жидкости, Пантелей Ильич похвалил молодую хозяйку.

Засмущавшись похвалы, Рая подала коробку с кернами.

Пантелей Ильич рассматривал поданный Раей керн, вертел его, нюхал. Чувствовалось: главный геолог доволен пробами.

— Будет фонтан.

— К тому клонится,— сдержанно подтвердил Ветров.

Не отрываясь, допил чай Пантелей Ильич. Пытливо вгляделся в сухое, прокаленное непогодой лицо мастера.

— Я все думаю о нашем давешнем разговоре насчет мастеров. Высокое это звание — мастер. Гордое. Но не вечное. Чтоб не тускнело, не поржавело оно — живая подпитка нужна. Как растению влага.

— Ты это к чему? — обеспокоился Ветров.

— Грозов к тебе не заглядывал?

— Чего ему здесь делать?

Ветров нахмурился: было не по себе от услышанного. Что там еще затевает Русаков, ради чего городит огород? Не таков, чтоб понапрасну слова расшвыривать.

— На соревнование тебя грозится вызвать...— как о чем-то малозначащем, равнодушно и негромко сообщил Русаков и словно бы специально затем, чтоб подчеркнуть незначительность сказанного, не стал задерживаться на нем, повернулся к девушке: — Можно я закурю?..

Теперь Ветров почуял, с какой стороны подуло, и встревожился, и тоже полез за куревом. Больше всего его смущало присутствие дочери: настырная девка, не смолчит, обязательно встрянет да еще под ребро ткнет. Выпроводить бы ее, а как? Скользнул взглядом по Рае. Та, слегка подавшись всем корпусом вперед, замерла. Стало слышно, как, остывая, попискивает железная печурка, звонко чмокают капли, срываясь в таз с носика умывальника.

— Не по душе грозовская затея? — словно не замечая состояния мастера, спросил Пантелей Ильич.

— Мы и так... соревнуемся.

— А он не хочет «и так». Решил персональный вызов сделать, чтобы на будущий год один на один и на равных.

— Что значит на равных? — натужно спросил Михаил Николаевич.

Прокашлялся. Помрачнел лицом. Нетерпеливо заерзал на скамейке и так раздул папиросу — искры посыпались. А Русаков, вроде бы и не заметив этого, сказал с подчеркнуто вызывающей деловитостью:

— На Осокинской буровая неделю тебя ждет...

— Недолго уже...

— А бригада Ярослава шесть дней на простое из-за того, что буровая не готова. Его буровики сами на монтаже работают. И прошлый раз таким путем они «окошко» втрое укоротили.

— В-о-н ты куда...— с деланным удивлением и напускной веселостью протянул Ветров.— Я-то думал, о чем...

— Вот и грозится Ярослав обскакать тебя, если на равных.

И удивление и веселость сдуло с Ветрова. Озлобленно сощурился.

— Он ученый... Я в его годы быкам хвосты крутил, а у него диплом инженера...— Ветров говорил со всевозрастающим раздражением и недовольством.

— Значит, не зря революцию делали, воевали.

— Может, мне на пенсию податься? На мое место Грозова или другого такого же...

— Чепуховина. Но ежели бы ты вместе с Грозовым поднялся против этих окаянных «окон», ей-богу, вдвоем вы бы нашли выход. Твой опыт соединить с его образованием, получится...

— Ничего не получится,— гневно оборвал Ветров.— Из разного теста мы. Он по жизни с песенкой, до двадцати трех лет книжечки почитывал, а я с четырнадцати сам себе на хлеб зарабатываю. Знаешь, как мы тут начинали... По целику, в поту, через силу, а он следом по готовой тропиночке, рысцой, да еще в спину подталкивает...

— Не то говоришь,— Русаков поморщился.— Придет их черед торить тропу детям, и те побегут следом по готовому и станут поторапливать, в спину подталкивать. Закономерно. Иначе мы топтались бы на месте.

— Пускай поворочают с мое...— Перехватил нетерпеливый острый взгляд Русакова.— Знаю, чего скажешь. За то, мол, что сделал, спасибо тебе, Золотую Звезду повесили, а теперь уступи молодым. Только я пока не под ногами. Не я тянусь, за мной все буровики Союза тянутся. Еще одну скважину к Новому году пробурю — и первый по стране! И не за голубые глазки, не по кумовству, не по гладенькой дорожке... Бывало, и сами монтировали буровые, но не простаивали, не плакались! Пусть Ярослав сперва догонит, потом и пойдем на равных...

— Погоди! Остынь. Одумайся. Вот уж не ожидал! И впрямь забронзовел в славе? Тебе бы Ярославу руку протянуть, а он бы Куделину, а тот Фрадкину, да всем четырем — в ногу, рядом. Вот это достойно мастера, это венчает Героя, а ты...

— Чужую беду — руками разведу. Слыхал такое? Всем моя звездочка в глаза лезет. Приехал пожарный инспектор, горючее не в складе храним. «Как так в бригаде Героя?» Инженер по технике безопасности заявился, буровики без касок, лед на трапе, и тоже: «Недопустимо в бригаде Героя!» И ты туда же...

— Да успокойся же ты наконец. Не из тучи гром. Сам себя заводишь. Сначала осмысли. Суть-то ведь в чем...

Он говорил негромко и вроде бы спокойно, только слова подбирал поувесистей и метал их с размаху, без сожаленья и оглядки. Высказал все, что передумал о Ветрове в последнее время. И закончил, куда уж резче и прямей:

— Ты как депутатом облсовета стал, вовсе заянился. Уверовал в свою необыкновенность, особенность. Гонишь метры, жмешь рекорды, все остальное — ниже твоего внимания. Я выступал на парткоме против твоего выдвижения в облсовет. Сердись не сердись — так было. Мельник протащил. И зря. Прямо тебе говорю: зря! И если ты не поймешь, будешь потом локотки кусать...

— Спасибо за дружбу,— желчно выговорил Ветров.

— Кушай на здоровье,— сердито пробубнил Русаков, раскаиваясь, что так неуклюже и грубо провел этот разговор. «Теперь на его поддержку нечего рассчитывать».

Ветров обиженно молчал и думал: «Зря радуешься. Молод воспитывать меня. И тебе и Грозову утру сопли. Мальчишки. Завистники! Посмотрим, кто на ногах крепче...»

Молчание становилось тягостным, и, чтобы разрушить его, Рая сказала первое пришедшее на ум:

— Зазнайка Ярослав. Дуется, как мыльный пузырь...

«Жалеет»,— решил Михаил Николаевич и, будто подхлестнутый, резко распрямился, с достоинством проговорил:

— Нет. Грозов — стоящий мастер. С таким потягаться не срамно... Пускай приходит, столкуемся. И эту... на Осокинской пусть забирает. Сам скажу Мельнику.

Нелегко ему дались эти слова и спокойный самоуверенный тон. Всю волю собрал в кулак, чтобы не сорваться, чтоб не проступили в голосе ни обида, ни горечь, ни злость. Только лоб покрылся соленой росой да на жестких ладонях выступил пот. Огорошенный, пристыженный Русаков хлопал глазами, а Ветров неприметно улыбнулся и смиренно попросил:

— Плесни-ка нам чайку.

«Нет худа без добра»,— подумал Русаков и медленно заговорил:

— Я в деревне рос. Знаю мужицкий труд. Его не гектарами — зерном, да молоком, да мясом меряют. В промышленности тоже готовая продукция — всему итог. А у нас как... Мы ищем нефть. Ради нее гробим машины, тратим миллионы. Но ценят нас не по разведанным запасам нефти, а по длине пробуренных скважин да по истраченным рублям. Белоярская экспедиция в прошлом году разведала нефти втрое больше нашего. Зато мы больше белоярцев насверлили пустых дыр и слопали денег. Но нам почет, премии, а им...

Помолчал, ожидая, не заговорит ли Ветров. Но тот скреб пятерней седеющий затылок, и ни звука, знай себе потягивает чаек да причмокивает леденцом. Похоже было, что надумал отмолчаться. Русаков пошел в открытую:

— С Мельником недавно поспорил. И здорово. Ради метров он приказал разбуривать не Богадуровскую, а Осокинскую структуру, хотя первая во много раз перспективней. Язык отбил, убеждая Мельника. Хочу тебя в союзники залучить...

Теперь мастер не мог молчать. Карты открыты. Нужно ходить. Но в таком деле с разбегу негоже. Только оступись... Да и недавняя обида на Русакова все еще жгла душу. «В облсовет зря выбрали — в союзники годен... Мельник всегда и поймет и поддержит, а я иди супротив него? Чужими кулаками воевать собрался? Хитер, Пантелей Ильич, да ведь и мы лошадь в хомут не загоняем...»

— Какой из меня союзник? Тут не моего ума. Мое дело бурить. А где — это уж вам думать.

— Брось прибедняться. Сам знаешь, твое слово много весит. Вот и выскажись, что важнее? Нефть иль метры? Я об этом на партийном собрании и в печати хочу. Поддержишь?

Невозмутимо попивая чаек, мастер молчал. «С того бы и начинал. А то и такой, и сякой Ветров, а как подперло — без него ни шагу».

Рая укоризненно глядела на отца, нетерпеливо ерзала на скамье. Наконец сорвалась, посыпала:

— Давно бы об этом вслух заговорить!..

— Помолчи! — властно оборвал отец.— Молода еще. Тут не только нас с тобой касается. Не нами придумано. Не первый год. Все шестерни давно притерлись...

— Я не посягаю на оплату буровиков,— сказал Ру-

саков.— За метр проходки надо платить, как прежде. Но экспедиция, трест, управление должны оцениваться только по разведанным запасам. Это — принципиальная сторона, а практически — надо бурить на Богадуровской площади...

— Мельник — хозяин дай бог! — возразил Ветров.— Далеко наперед заглядывать умеет. Если не решается, значит, не уверен. Такой ни рублей, ни слов на ветер не швыряет. Задарма щепу не выкинет. А что за показатели печется, так чем плохо?.. Мне тоже не все равно, на каком месте наша экспедиция топчется. Отмыкает либо замыкает всесоюзную колонну. Разве Мельник, к примеру, виноват, что разбуренная структура оказалась маломощной, а то и вовсе пустой?

— В известной мере...

— Труд-то ухлопан одинаков. Все по труду и должно. Так мы твердо в передовиках, а по-твоему пойдем — бог весть где окажемся. Зря наскакиваешь на Мельника. Есть, конечно, и у него болячки, да добра куда как больше. Послушай, что о нем рабочие говорят... Не зазря его папой зовут, не по принуждению... Не с руки мне огонь на своих вызывать...

— Ты не прав, папа.

— Помолчи.

— Так нельзя! — не унималась Рая.

— Отчего же? — Пантелей Ильич тяжело поднялся.— Михаил Николаевич со своей колоколенки, а в таком деле надо бы... Каждому мир по-своему видится.— Оделся. Встал посреди балка, комкая в руках рукавицы.— Может, так и надо. Во всяком случае, спокойней, прочней под ногами. Не сужу, потому знаю: вызывать огонь на себя — смертельная штука. Я раз попробовал... Повезло просто, жив остался. Бывай, Михаил Николаевич. Спасибо, Рая, за чай. Отменный.

Натянул рукавицы и ушел.

Рывком поднялся Михаил Николаевич. Захлестнул кадыкастую шею шарфом, переступил с ноги на ногу, Хмуро глянул на дочь. «Умники. Не терты. Не мяты — вот и хорохорятся... Неужто к старости у разбитого корыта? Растил, растил, а теперь — черепки порознь. Распустил чертей! Аль старею?.. Обиделся Пантелей Ильич: не ожидал. И я от него не ожидал. Выходит, квиты... Подумать надо, потолковать. Грозов сразу бы пристегнулся. Новатор! Черт бы их побрал...»

Куда-то запропастились рукавицы. Ветров обшарил взглядом и кровать, и лавки, и пол. Может, на полку закинул? Потянулся к полке и увидел: рукавицы-то на руках. Ругнулся про себя... Ступая мимо половичка, вышел...

3

— Ты что? — встревожилась Соня, глядя на запыхавшегося взъерошенного Платона.

Вчера он вот так же ворвался к ней. Весь в снегу, мокрый и запыхавшийся. Обхватил ее, оторвал от полу и зацеловал, бормоча: «Моя ты, моя. Теперь все. Точка». И от его поцелуев и от этих бессвязных слов росли крылья за спиной Сони.

Последнее время он не обижал ее подозрениями, не мучил недомолвками. И вдруг...

— Да что с тобой? Господи! — прижала руки к груди.— Говори же. Что случилось?

— Ничего.— Платон скривил губы в сальной ухмылке.— Проведать зашел. Не вовремя? Другой по расписанию назначен?

— Чего ты мелешь...— Соня задохнулась.— Пьян, что ли? Проспись иди. Зачем пришел?

— Соскучился.

— Ну и...— Глаза Сони налились слезами.

На миг острая жалость сдавила сердце Платона. Приласкать, доказать ей, что пришел не со злым намереньем, что ни в какие сплетни и наговоры не верит и все так же любит. Движимый этим чувством, Платон подался к ней, но Соня испуганно попятилась.

Жалость мгновенно сменилась обидой, исказившей лицо парня.

— Испугалась? — спросил.— Чует кошка, чье мясо съела. Теперь мы для вас не по росту. Сам начальничек...

Голос Платона накалялся. Он нарочно подогревал себя, рисуя картины Сониной измены. Ярость его вспыхнула сухой соломой на ветру — стремительно, жарко. Сейчас он трахнет кулаком по столу, рванет воротник рубахи или сделает еще что-нибудь подобное, такое же нелепое и вызывающее, и, выкрикнув какие-нибудь грубые слова, так хлобыстнет дверью, что кукольная комнатенка подпрыгнет, как лягушонок.

«Разболтала Фроська. Теперь все. Теперь конец...

И о ребенке не сказала... Ну и пусть...» — обреченно думала Соня, чувствуя неодолимую слабость во всем теле.

— Чего молчишь? Хоть бы глаза опустила. У-у, бесстыжая... До меня блудила, как мартовская кошка.., «Любишь, не любишь»... а сама? Как не уважить начальство...

— Заткнись! —крикнула Соня.

Ее трясло. На закушенной нижней губе выступила крохотная бусинка ярко-красной крови. Она с ненавистью смотрела на Платона, и в ней росло желание изо всей силы ударить по этому разъяренному, багровому от бешенства лицу.

На миг опешивший от окрика, Платон еще пуще взъярился. Она еще смеет на него орать? Шлюха!

Он кинулся к Соне, но она ускользнула. Когда же все-таки схватил ее за руку и сильно рванул к себе, она с размаху ударила его по лицу:

— Дурак!

Ударила еще раз. Еще.

— Негодяй!

И горько зарыдала. Платон мигом протрезвел.

— Ты что,— ослепленно шаря руками, бормотал он.— Ты что? Меня? Меня...

Она подняла лицо. Кривящиеся жалкие губы, размазанные слезы на щеках, в глазах ни боли, ни горечи, только ненависть.

— Тебя! Тебя! — выкрикнула срывающимся голосом.— Катись отсюда. Подслушивай, вынюхивай, шпионь. Базарная баба. А я-то... дура... дура!

С неестественной медлительностью Соня одернула кофточку, поправила юбку, причесалась. Глядя мимо Платона, сказала устало:

— Вот и все. Топай отсюда. Найди себе, которая так же... вот так же бы... Уходи...

Теперь Платон окончательно уразумел, что никого другого, кроме Сони, ему не надо, что все слышанное о ней — болтовня, что она любила и наверняка любит его... Но, вспомнив пощечины, снова закипел. Она еще не раз поплачется, покается. Разыгрывает недотрогу, обиженную. И перед кем? Да он ее всякую повидал, всякую перепробовал. Пусть зря сорвался, сдуру наворотил, все равно...

Как он хотел ее сейчас. Злился на нее, негодовал и хотел, и оттого, что она была недоступна, ожесточился.

Соня понимала его, но молчала — угрюмо и отчужденно.

«Значит, не судьба. Как у мамы».— И впервые без озлобления и досады подумала об одинокой спившейся женщине — своей матери — и пожалела ее, как женщина жалеет женщину...

Глава девятая

1

— Здорово, Епифан! На рыбалку?

— Похоже,— Епифан остановился.

— Прихвати с собой.

— Я на своих двоих, а тебе, говорят, нельзя. Тут километров семь, не меньше.

— Брось ты, Епифан. Мало ли что кому нельзя. Мне эти ограничители поперек горла. Подожди минутку. Я живехонько. У меня все давно припасено, попутчика только не находилось, а в одиночку ни пить, ни рыбалить...

Худущий нескладный Епифан и невысокий тучный Матвеич вышагивали не спеша рядышком, серединой малонаезженной, припудренной свежим снежком дороги. Сначала, как водится в таких случаях, обсудили погоду, потом поговорили о рыбалке, припомнив добрую дюжину рыбачьих небылиц. После как-то незаметно и невольно разговор стал круто и медленно карабкаться в гору — мужики заговорили о жизни.

— Смотрю я на свою жизнь,— раздумчиво говорил Матвеич,— и получается, что похожа она на короткий перелет. Скажем, от Туровска до Голованева. Сначала набираешь высоту. Моторы вот-вот взорвутся от перегрузки, все напряжено, наструнено. Только до заданной дошел, включить бы автопилот, подотдохнуть, а тут... пора на спуск... Когда ты молодой да вверх забираешь, время еле движется. На, мол, подыши, полюбуйся высью, помечтай. А как пошло на спуск, тут время кувырком. Годы просвистывают над головой — не замечаешь. Зато уж когда занедужишь, оно, собака, вовсе останавливается. После того как меня в ограниченно годные зачислили да заставили на земле сидеть, дней вроде и немного прошло, а мне кажется, полжизни

квохчу с этими ограничителями. День в день ползут до того схожие — не отличишь. Что вчера, что позавчера, что завтра — ни-и-какой разницы. Тоска. Хочется давнуть на полный оборот — и к чертовой матери винтом в землю...

— Это от тебя не уйдет.— Епифан встряхнул рюкзак, чтобы поудобней лежал на взгорбленной спине.— В ящик завсегда сыграть не поздно. А насчет времени — это точно. У меня когда мальчонка-то...— поперхнулся, потер колючий кадык.— Так я думал, совсем того. День от ночи, праздник от буден не отличал... А жить надо... Опять же начальству очень хочется, чтобы я существованье свое не прекратил. Квартирой меня снабдили, как самого ценного итээровца. Детский садик строят — опять же для моих наследников. Легчает жизнь... Теперича напиваться остерегаюсь: самого себя совестно. И его... Как к стакану, так и вижу меньшого-то. Аж глотка пересыхает... Всего на свете важней — в себя поверить, силу свою почуять, человеком себя признать. Тогда и жизнь к тебе другим боком повертывается...

За разговором не заметили, как дошли до места.

Епифан сам провернул лунки, сам наносил сучьев, развел костер и, туго набив котелок снегом, повесил над огнем.

Смолистый дымок широко и медленно растекался по морозному воздуху, приятно щекотал ноздри. От переливчатого снежного блеска легонько пощипывало глаза. Дышалось так удивительно легко и вольготно, что Матвеич и Епифан, не сговариваясь, за все время рыбалки ни разу не закурили.

Все необходимое для настоящей рыбацкой ухи Матвеич прихватил с собой. И ушица получилась на славу.

— Под такой навар...— Матвеич достал из внутреннего кармана куртки поллитровку.

У Епифана будто фонарики в глазах вспыхнули.

— Это в аккурат получается. Я ведь не собирался здесь ухой-то потешаться, оттого и на сухую...— Вдруг, спохватившись, затревожился: — А как же ты? Тебе ведь, наверное, того...

— Нет уж, друг. На таком раздолье да под этакую ушицу не выпить — великий грех. Ни бог, ни черт такой промашки не простят.

После нескольких глотков водки, после доброй пор-

ции пышущей жаром ухи Матвеич разомлел, умиротворенная улыбка растеклась по его одутловатому лицу.

Постепенно выражение благодушия спорхнуло с лица Матвеича, оно стало сосредоточенно-задумчивым.

В последнее время он все чаще задумывался о своей жизни, о далеком Брянске, об оставшейся там жене, о разлетевшихся в разные стороны дочерях. Вот и теперь незаметно подкрались те же мысли...

Пока летал, пока были здоровье и сила, прожитое не чувствовалось. Все казалось временным. Постоянно менялись направления и цель полетов. Он то развозил почту по разбросанным в тундре факториям и оленеводческим кочевьям, то неделями кружил над тайгой, делая аэрофотосъемки, то с дальних безымянных лесных озер вывозил рыбу, то вез в глухоманный нехоженый уголок вековой тайги отряд топографов, или геодезистов, или строителей. Потом, когда геологи немного пообжили эти места и появились постоянные авиалинии, он стал на своем Ан-2 порхать от поселка к поселку.

За спиной тысячи встреч, ночевки в лесу, многодневные сидения в заметенных снегом, прошиваемых ветром чумах, избушках, бараках в ожидании конца затянувшейся северной бури.

Он привык к унтам, жарким пуховым штанам с опушкой до самой груди, меховой непродуваемой куртке, привык к неразведенному спирту, к сырой рыбе и сырому мясу, к короткой, но цепкой дружбе с летчиками, геологами, охотниками.

Он привык к постоянному движению, непрерывной перемене обстановки и как что-то не совсем реальное воспринимал оставленный им Брянск, дочерей, размеренное плавное существование с неизменным повторением четко разграниченного, годами спрессованного и опробованного жизненного распорядка.

Об этой оставленной под крылом жизни он думал так, как затерянный в океанских волнах мореплаватель думает о далекой земле, к которой он обязательно когда-то приплывет, закончив очень трудное, но тем не менее увлекательное плавание.

Вокруг него крутился мир — огромный, разноликий и разноцветный. Порой возникало желание остановить эту карусель, оглядеться, отдышаться, что-то очень важное припомнить, что-то решить. Но разве можно остановить жизнь?

Катастрофа случилась вдруг. Тогда на Заячьем, когда у Ветрова ударил первый фонтан. Через год повторилась, едва не стоила ему жизни. И вот он бескрыл.

Только напрочно осев в Пионерском, став по-настоящему и навсегда земным, поняв, что отлетал свое, Матвеич огляделся по сторонам: лучшие годы-то прожиты. А впереди...

Свое «приземление» Матвеич перенес бы более стойко, если б не эта ограниченная годность к жизни, к которой его приговорила болезнь.

Он привык ходить размашисто и так быстро, что мало кто поспевал с ним в ногу.

Бывало, в свободные часы он больше всего любил побродить с ружьем по тайге или с наметкой по берегам глухих и рыбных таежных речек. Его не пугали сырые урманы, медвежий рык, радовала нежданная встреча с рысью или с косолапым хозяином тайги. Теперь же...

Рука Епифана легла на колено Матвеича.

— ...читаешь? — долетело до Матвеича.

— Чего?

— Я спрашиваю, молитву, что ль, читаешь? Все шепчешь что-то, шепчешь...

Матвеич выбил мундштук, вставил новую сигарету.

— Теперь молись, не молись, в рай не пустят. Давай в обратный рейс. Солнышко на посадку, и нам пора...

Его вдруг осенила мысль, вроде бы неожиданная, но нимало не удивившая. «Махну в Брянск, уговорю жену сюда... Не то — сам к ней. Набродяжничался...» Сразу стало удивительно легко на душе, и Матвеич заторопил время и сам заспешил, пошел отмахивать такие широкие шажищи, что Епифан скоро выдохся.

2

Мельник тихонько опустил на рычажки аппарата умолкнувшую телефонную трубку. Окинув взглядом накрытый к воскресному обеду стол, досадливо поморщился. Хотел перезвонить Русакову, расспросить толком, что за ЧП у Грозова, да передумал: переполошится, запричитает жена, надо щадить ее нервы. Та, словно почуяв неладное, выглянула в дверь.

— Не ждите меня,— спокойно сказал ей.— Обедайте. Приду — поем...

— Что случилось? — встревожилась жена.
— Ничего особенного. Скоро вернусь.
С тем и ушел.
У дверей конторы столкнулся с Русаковым. Молча пожал протянутую руку.
— Чего там? — спросил обеспокоенно и недовольно.
— Сейчас связывался с Грозовым,— говорил Пантелей Ильич, шагая рядом с Мельником по коридору.— Такелажника ранило.
Замедлил шаг Герман Кузьмич, не спеша вынул папиросы. Сказал спокойно:
— Надо послать в бригаду врача.
— Я было сразу хотел сделать это и врача уже вызвал, да все вертолетчики — на таком подогреве..
— С чего это они?
— Выходной. Одному стукнуло сорок..
Тонкие ноздри Мельника шевелились, шумно втягивая воздух. В нем закипало бешенство.
— У-у, з-зараза!.. Где Матвеич?
— Был на рыбалке, наверно, уже вернулся.
— Пошли к нему.
Намерзшийся на рыбалке, усталый, Матвеич спал так крепко, что проснулся лишь после того, как Русаков с силой тряхнул его за плечи. Приподняв разлохмаченную голову, сонно забормотал:
— А?.. Что?.. Кто тут?
— Свои. Не волнуйся,— сказал Русаков.
— Что случилось? Опять фонтан?
— Хуже,— обронил Мельник.
— Заболел, что ли, кто? — окончательно придя в себя, раздраженно спросил Матвеич.
— ЧП у Ярослава. Такелажника покалечило. Да не вскакивай ты,— Пантелей Ильич попридержал Матвеича за локоть.— На буровой никакой аварии. Разгружали трубы, и вот...
— Сейчас оденусь.— Матвеич подавил зевоту.— Схожу к ребятам, тут лету...
— Твои ребята теперь и по земле нетвердо ходят.— Герман Кузьмич скинул шапку, присел, комкая ее в руках.
— Запамятовал. Сегодня же у Сашки... От черт,— бормотал Матвеич, натягивая унты.— Свяжусь по рации с Сарьей, попрошу санитарный самолет.
— Связывались,— сказал Пантелей Ильич,— утром

укатил к рыбакам и не вернулся. Через час-полтора стемнеет, тогда пиши пропало. До утра не дотянет, и на атээлке не вывезти.

Ругнулся Матвеич и принялся вставлять сигарету в мундштук. Наступило неловкое молчание. Мужчины сосредоточенно курили, отводя глаза друг от друга.

— Покуриваем, а Ярослав там...— Пантелей Ильич не договорил.

— Думай не думай — сто рублей деньги. Кроме меня, некому. Полетим,— не очень решительно сказал Матвеич.

— Сам знаешь, нельзя тебе,— предостерег Русаков.

— «Нельзя, нельзя»,— передразнил Матвеич.— Тоже мне, эксперт.— И принялся уговаривать не столько Русакова, сколько самого себя: — Я сегодня верст пятнадцать протопал с Епифаном — и как видишь... Кому быть повешенным, тот не сгорит. На высоте легче дышится. Авось да небось голову не снимут...

— Ни хрена не снимут,— с жаром поддержал Герман Кузьмич: ему хотелось поскорее покончить с этим и воротиться домой.— Не сомневайся. В обиду не дам... Все равно другого выхода нет.

— Понимаю...

— Не толкай ты его в омут,— снова вступился Русаков.— Мне рассказывал Ярослав...

— Много твой Ярослав понимает,— засердился Матвеич.— Тоже, болельщик. Это ведь я перестраховываюсь, на всякий случай соломки подкладываю, чтоб мягче шлепаться...

— Не беспокойся,— заверил Мельник.— Всю ответственность беру на себя. Туда полетишь с нашим врачом. И сразу в Сарью. Мы предупредим, чтоб на аэродроме вас встретила «скорая».

— Поспеть бы засветло.

— Не поспеешь — ночуй в Сарье. Утречком прилетишь. Тут лету-то двадцать минут,— успокоил Русаков.

— Добро,— бодро откликнулся повеселевший Матвеич.

...Маленький зеленокрылый Як-12 раскачивался в воздухе, как зыбка на тугой пружине. Матвеичу хотелось вздыбить машину, как упрямого необъезженного коня. Распороть винтом брюхо вон тому облаку. Выжать из мотора все соки, чтоб дрожал и пел натянутой струной. А потом кинуть «Як» вниз, задохнуться на изломе

кривой. Если бы не торчал рядом старикашка доктор, одной рукой прижимавший к себе чемоданчик с инструментами, а другой цеплявшийся за сиденье, Матвеич наверняка не утерпел бы и крутанул хоть одну спираль...

Грозовские ребята выложили на снегу опознавательный знак для посадки. Матвеич подрулил самолет почти к самым балкам. Ярослав облапил друга, похожего в меховой одежде на шар.

— Ну как, батя?

— В норме. Завтра выпрашиваю отпуск — и в Брянск.

— Ну?!

— Решено. Запомни брянский адрес: Пушкина, сорок один, квартира четырнадцать.

— Заметано.— Ярослав повторил адрес.— Надолго?

— Пока не уговорю либо сам не уговорюсь.

— Лучше первое.

— Так же думаю. Как твой такелажник?

На самодельных носилках рабочие поднесли пострадавшего, подняв на руки, стали устраивать его в самолете.

— Надо скорее в Сарью,— сказал, подойдя, врач.

— Ни пуха ни пера, батя! — Ярослав поднял над головой руку.

— К черту.

...Врач остался в Сарье вместе с больным.

Синеватые сумерки спустились на землю, когда «Як» оторвался от взлетной. «До ночи успею»,— решил Матвеич. И не успел. Все испортила неожиданно начавшаяся метель. Серыми клубами она так плотно облепила землю, что только по приборам Матвеич мог определять высоту и направление полета. Хотел развернуться и идти назад в Сарью, но, случайно подслушав разговор диспетчера аэродрома с бортрадистом пролетающего над Сарьей самолета, понял — Сарья не примет. Оставалось одно: на ощупь, вслепую подлететь к Пионерскому, угадать свой аэродром и плюхнуться на него.

Попутный ветер подгонял машину. Матвеич вглядывался в приборы, шарил глазами по невидимой земле и очень обрадовался, когда внизу сквозь жидкие снежные космы проклюнулись огни. «Пионерский»,— определил он, резко сбрасывая высоту. Огней стало больше, по их расположению Матвеич безошибочно угадал местонахождение своего аэродрома. «Эх, дьявольщина, был бы там кто-нибудь живой, посмотрел бы, скомандовал».

Каждое деревце, каждый балок вокруг своего аэродрома Матвеич знал. Не знал он только, что для разгрузки прибывшего вечером из Туровска вертолета Ми-6 Юрченко прислал сюда автокран, который, сделав свое дело, так и остался почему-то торчать до утра на взлетной. За него и зацепил крылом идущий на посадку «Як».

Когда Матвеича привезли в поселковую больницу, он был еще жив, хотя и без сознания. Только раз ненадолго вынырнул из забытья. Склонившаяся над ним медицинская сестра услышала:

— Ярославу... жену не надо...

На рассвете он умер.

3

Сумерки давно затопили комнату, поглотили в беспорядке раскиданные предметы. Надо бы протянуть руку и, нащупав пластмассовую трубочку, нажать на любую из прилепившихся к ней кнопок, но Ярослав не сделал этого. Зачем свет? В темноте легче.

Пес сидел рядом. Прижался к ноге хозяина и время от времени тихонько ворчал или коротко сквозь сжатые челюсти поскуливал. Тогда Ярослав успокаивающе похлопывал собаку по холке, гладил ее широкий плоский лоб.

В дверь постучали тихо и робко. Пес зарычал. Стук повторился — настойчивей, громче. Ярослав стряхнул оцепенение, нашарил трубку с выключателями и, крикнув «Входите!», нажал сразу на все кнопки. Зажмурился от ослепительного света, а когда открыл глаза... у порога, прижимая к груди маленький портфелик и опасливо косясь на собаку, стояла Лида Крупенникова.

— Вы?.. Ты?..

Сорвался с места, подбежал. Крепко взял ее за плечи, притянул, потерся бородой о ее щеку.

— Я думала... может быть...

— Спасибо. Раздевайся, пожалуйста. Давай портфель.

Помог Лиде раздеться, провел к столу, усадил, сам сел напротив и молча ткнулся лбом в ее плечо. От нее пахло морозом. Пес положил морду на Лидины колени, лизнул хозяина в руку.

— Спасибо, золотена,— растроганно, глухо сказал Ярослав.

— Я только на минутку.

— Прямо из школы?

— Угу.

— Тогда надо чего-нибудь пожевать. Сиди, сиди. Я сам.

На столе появились шпиг, колбаса, маринованные помидоры, шпроты. Ярослав зажег портативную газовую плитку, поставил на огонь кофеварку и снова подсел к столу. Не спрашивая разрешения, налил себе и ей коньяку, поднял рюмку.

— Помянем Матвеича...

Лида молча выпила крохотную рюмочку.

— Ты ешь, ешь... Ну, пожалуйста. Попробуй сало. Мама прислала. Я ей писал о тебе...

— ...?

— Обещал, что летом вместе приедем. Жаль, Матвеич не порадуется...

— Он разве знал?

— Я сам рассказал. Да если б и не сказал. В Пионерском не бывает тайн. Тут все и всё знают друг о друге.

— Но Сенечка...

— Не хочет знать. Зажмуривается. Уши затыкает,— жестко и неприязненно выговорил Ярослав.

— Зачем ты так? — обиделась она.

— Прости. Я не враг ему. Тебя жалко. Надо развязывать этот узелок.

— Ой! — болезненно покривила губы.

— А как иначе?

Долго молчали. Напряженная тягостная тишина угнетала обоих, и, чтобы рассеять ее, Лида спросила:

— Как жена Матвеича?

— Нарушил я его последнее желание. Не велел он, а я сообщил. На другой же день прилетела. Диспетчером в Брянском аэропорту работала. И воевали вместе. Не говорил об этом. Решила остаться здесь, на месте Матвеича. Дочка, говорит, с мужем в Брянск перебираются, отдам им квартиру, а сама сюда. К живому ни разу не наведалась, а теперь и Брянск, и квартиру — все побоку. Вот какая загадка — женщина.

— Как же он так? Мог ведь в Сарье заночевать.

— Мог и совсем не лететь. Это чисто по-русски. Сам

погибай — товарища выручай. Пошел старик на таран с судьбой. Лоб в лоб. Кто кого. Если б не этот дурацкий кран.

— Если бы...

— И в какой момент. Надумал ведь с повинной к жене. Десять лет не виделись — и на тебе. Либо, говорит, ее сюда, либо сам туда. Веселый был такой, счастливый... Глупо. Нелепо и подло. Удивительный человечище! На таких земля держится. Без них мы сюда ни за что не пробились бы, не оседлали эту глухомань...

— Ты и сам такой,— с восторженным испугом проговорила она.

— Дай бог! — тихо, задумчиво откликнулся Ярослав.— Дай бог.

— А я боюсь,— с грустью призналась она.— За тебя. За себя тоже. Все у нас нетвердо, шатко...

— Я виноват. Давно надо было с Сенечкой объясниться. Издергал тебя, золотена.

— Нет. С Сенечкой я сама. Он почти месяц не был дома: чуткий, все понимает.

— «Сама. Сама»,— ласково передразнил Ярослав.— Зазнайка.

Пес распластался у порога, положил голову на вытянутые лапы и немигающим настороженным взглядом ревниво следил за хозяином.

Маленькими глоточками Лида неторопливо пила горячий кофе. Чем меньше оставалось в чашечке ароматной черной жидкости, тем больше беспокоилась Лида. Это было какое-то странное, необъяснимое беспокойство, тревожное и в тоже время радостное.

Ярослав уперся локтями в стол, положил на кулаки бороду и, не мигая, уставился на трепетную жилочку, которая протянулась по красивой длинной шее женщины, а видел ее всю...

Лида чувствовала его взгляд. Из последних сил крепилась, чтобы не вскинуть ресницы, не заглянуть в его зовущие горячие глаза. «Вот допью кофе,— думала женщина со всевозрастающим волнением, видя, как убывает в чашечке черная влага.— Допью до дна и тогда...»

Глава десятая

1

Секретарь Сарьинского районного комитета партии Мягков больше всего на свете почитал в человеке честность, презирал заушательство, подобострастие, ложь и втайне гордился тем, что не подвержен подобным порокам и умеет над личным поставить деловые, партийные интересы. Он не однажды подминал собственное «я», если оно мешало делу, поступался самолюбием, забывал обиду. С первой встречи искал доброе в человеке. «С каждым миловаться нельзя, но сработаться можно». Мягков был убежден в жизненности этой формулы до тех пор, пока судьба не свела его с Мельником. Поймав себя впервые на желании отдалиться от Мельника, миновать встречи с ним, Мягков забеспокоился, огорчился и тут же принялся искать причину своей неприязни. Однако сколько ни мучился, не смог откопать первопричину нежданно полыхнувшего недоброго чувства и не только не совладал с ним, но даже и спрятать не сумел, и чуткий Мельник, угадав это, платил Мягкову тем же. Каждая встреча была для обоих подлинной пыткой.

Наедине с собой, вдали от Пионерского, Мягков думал о Мельнике без раздражения, трезво видел в его характере много хорошего. Строптив, высокомерен геолог, но отличный организатор, знающий, смелый, энергичный, и товарищ общительный, компанейский. «Что же в нем настораживает, отталкивает?» — спрашивал себя Мягков. И не находил ответа. Однажды, правда, ему показалось, что он докопался до истины. Это случилось во время совещания с секретарем ЦК. Слушая тогда мельниковскую речь, Мягков окрестил позицию оратора флюгерничеством и высказал это Герману Кузьмичу.

Тот посмотрел как-то странно — высокомерно и боязливо, пожал плечами, но ничего не ответил. Мягков решил, что прав. Но когда на партийном собрании обсуждался ярковский приказ и Мельник стал защищать Лаврова, сек и рубил с левой и с правой, Мягков снова заколебался в собственной правоте. Но именно тогда же прорезалась у него мысль о причастности Мельника к анонимным доносам на Лаврова. Что ее породило?

Мягков не смог бы ответить определенно, но все сильней и сильней утверждался в своей догадке.

Прочтя в газете мельниковское интервью по поводу первого фонтана, Мягков опять не сдержался, позвонил, сказал, что не понимает, как это могли запамятовать и ни единым добрым словом не обмолвиться о Лаврове.

Тогда-то Мельник впервые показал клыки: «Мое интервью — не панихида и не панегирик неудачникам».

С годами все возрастала и обострялась их взаимная неприязнь. Старательно и глубоко пряча ее, Мягков делал все, чтобы только не дать повода упрекнуть себя в предвзятости, несправедливости. Стиснув зубы, голосовал на бюро райкома за представление Мельника к высокой награде, подписал отменную характеристику, где величал его первопроходцем, первооткрывателем, наделил многими лестными качествами, которые и в самом деле были присущи Мельнику, но, как полагал Мягков, не являли его сути.

Он всегда поддерживал мельниковские просьбы перед областными организациями, всем, чем можно, помогал Пионерской экспедиции, с тревогой следя за взлетом Германа Кузьмича. И казнил, казнил себя Мягков, незаслуженно и жестоко, за то, что, сам того не желая, всячески способствует этому возвышению. Помимо желания Мягкова в сознании его постепенно собралось воедино все дурное, что угадывалось или явно проступало в словах и в поступках Мельника, и штрих за штрихом, черточка за черточкой возник новый образ Германа Кузьмича, который отталкивал настолько, что Мягков стал избегать Пионерской экспедиции.

Нутром Мельник давно угадывал в секретаре райкома непримиримого противника, но в делах враждебность эта не проявлялась, и не было оснований даже при желании упрекнуть Мягкова в предвзятости иль недоброжелательстве. Именно последнее обстоятельство сильнее всего беспокоило и раздражало Мельника. В присутствии Мягкова он утрачивал привычную самоуверенность, предельно напрягаясь, становился сдержанным и расчетливым. Правда, эту внутреннюю бойцовскую напряженность его вряд ли примечал кто-либо, кроме Мягкова.

Их разговор наедине походил на мирные переговоры представителей непримиримых сторон. Потому

избегали оба оставаться без свидетелей. И сегодня, едва переступив порог мельниковского кабинета, Мягков сразу выложил:

— Звонил твой парторг, какая-то нужда у него повидаться со мной. Ты в курсе, конечно?

Нет, Мельник не знал, ради чего парторгу понадобился секретарь райкома, и вознегодовал за то на Сарина, но виду не подал. Шевельнув лохмами бровей, сказал спокойно:

— Сейчас позову. Пусть сам излагает.

Пока звонил Сарину, зашел Русаков.

— Вот хорошо, что и Русаков здесь,— довольно проговорил Сарин, входя.— Сразу три члена парткома. Обменяемся мнениями.

— Раньше этого сделать не мог? — не стерпел, подкусил Мельник.— Обязательно надо с участием первого секретаря райкома?

— Все равно не миновать,— с необычной твердостью отстранил упрек Сарин, одергивая безукоризненно сидящий на нем китель.— Тут у нас, я уверен, единомыслия не получится.

— Вот тебе раз! — лохматые брови Германа Кузьмича вздыбились, на тонких губах мелькнула улыбка.— Нашел чем порадовать партийное руководство.

Подсев к столу, Сарин по-военному очень сжато, но четко сказал:

— Партком волнует положение в бригаде Ветрова. Кроме бурения, мастер ничем не занимается и даже не интересуется. Грубо нарушает технику безопасности, все воспитание рабочих свел к одному: не потрафил — вон из бригады! Быт буровиков настолько плохо организован... если бы не высокие заработки да постоянные премии, рабочие давно бы разбежались. И самое главное — став членом райкома и депутатом облсовета, Ветров так занесся, что уже никого, кроме Мельника, не признает, к советам не прислушивается, считает — все позволено. По проходке в этом году он, пожалуй, и выйдет в первые, но какой ценой? Я с ним не раз говаривал — по душам и официально — никакого толку. Дуется, пыхтит. Считает всякое замечание подкопом. Недавно прямо заявил: не лезь, не твоего ума, а будешь придираться, уеду в Белоярье. Инженера по технике безопасности прогнал с буровой. Комсорга экспедиции сопляком обозвал. Надо проработать его на партбюро, и без по-

глаживаний, без похлопываний. Иначе потеряем прекрасного коммуниста.

— Странно получается,— скрипуче, с натугой начал Мельник.— Звонишь в райком, зовешь первого секретаря, не обговорив предварительно даже на парткоме. Эт-то что-то новое! Не иначе потянуло на пьедестал новатора. Ветров не чужак в экспедиции и в геологии. Слава богу, первооткрыватель сибирской нефти, лучший буровик, депутат. Да, упрям. Да, напорист и непокладист. Ну и что? Без этих черт в характере не быть ему Ветровым. Подзазнался? Может быть. Надо поправить? Не спорю. Но зачем же сразу вот так — на партком, на всю экспедицию? Я — против. Беру на себя поговорить с Михаилом Николаевичем. Уверен — найдем общий язык, дотолкуемся. А то, что за делами просмотрел стенгазету иль Доску показателей, так это хоть и беда, но не шибко велика...

— Нет, Герман Кузьмич, так не пойдет,— слегка набычив голову, упрямо выговорил Сарин.— Нам надо, чтоб Ветров считался не только с Мельником, но и с другими командирами производства, чтоб для него был непререкаемым авторитет парткома.

— Силой авторитета не завоюешь,— назидательно выговорил Мельник.— Он на уважении держится.

— Если наш партком не достоин уважения, его надо переизбрать, и немедленно,— с ходу отпарировал Сарин.

Герман Кузьмич чуял: Мягков хоть и молчал, но сочувствовал Сарину, и тот, окрыленный этим, уперся на своем. Русаков тоже поддержал Сарина. Герман Кузьмич даже привскочил от негодования.

— Вот уж не ожидал! — загремел он.— Хороши друзья!

И столько ярости было в его возгласе и в лице, что Русаков на миг смешался, но тут же оправился и попрежнему спокойно, хотя и непререкаемо сказал:

— Качнула слава мужика — точно. Надо поправлять. Согласен с Сариным — от личных собеседований начальника с Ветровым прок будет ли — не знаю, а уж вред — наверняка: посчитает эту деликатность опять же за неприступность собственной персоны...

Соотношение сил получалось не в пользу Мельника. Теперь все зависело от позиции Мягкова, и все трое уставились на секретаря райкома.

— Если коммунист перестает ощущать собственную

зависимость от партии, стало быть, порывает с ней,— сказал Мягков негромко, с видимым огорчением, и помолчал, словно бы давая время товарищам осмыслить услышанное.— Обдуманно, необдуманно поступает он так — другой вопрос. Ответить на него может лишь сам коммунист, и прежде всего отношением к критике.— Снова помолчал, вздохнул, глубоко и горестно.— Очень уважаю Ветрова. Чту его заслуги. Потому целиком за предложение Сарина...

Мельник негодовал на себя за то, что на миг поверил в объективность Мягкова, ожидал от него поддержки. Как и все неудачники, считал Мельник, Мягков завистлив, коварен. Шестой десяток пошел, а все в райкомовской упряжке. Сколько сил ухлопал, пока первую нефть в Шанске нащупали, а что? Всем ордена, почести, Золотые Звезды, ему — шиш, «выдвинули» в Сарью. Из одних оглобель в другие, а воз — тот же. Как он носился с лавровским Белоярьем, сказывали, сам бревна на воскресниках таскал, ямы копал, и опять в награду — шиш. Чего не понаписали об этом Белоярье, а Мягкова словечком добрым не помянули. Годы уползают, силенки тают, впереди — персоналка в сто двадцать рублей да вымоленная малогабаритка в Туровске — вот и весь итог... И Мельник обидно пожалел Мягкова и милостиво простил ему поддержку Сарина, тут же решив отстегать секретаря райкома, чтоб памятно было и впредь не становился б поперек. С напускной равнодушной усталостью и видимым нежеланием Герман Кузьмич сказал:

— Видит бог, не хотел я возводить случившееся в принцип, но другого такого мастера, как Ветров, у нас нет. Обсуждать его теперь, когда он вот-вот переступит всесоюзный рекорд, все равно что глушить двигатель самолета на взлете. Винты в землю — вот каков будет итог этой воспитательной акции...

Лениво потянулся к телефонной трубке, сухо сказал в эбонитовую решеточку.

— Люба, вызови сейчас Туровск. Четвертый прямой. Кабинет Смолина.

Положил трубку на место, скользнул взглядом по строгим лицам и как можно миролюбивее:

— В таком деле лучше семь раз перемерить, чем один ошибиться. Посоветуюсь. Передам ваши соображения и свои возражения. Полагаю, вы не против?

— Нет,— выдохнул Мягков, вставая. Кивнул Сарину.— Пойдем в твои апартаменты, потолкуем.

Следом ушел и Русаков.

Едва за ним захлопнулась дверь, Мельник вскочил. Он ликовал: все завершилось не просто ладно, а еще и победно, в этом Герман Кузьмич не сомневался. Смолин знал Ветрова, всячески его опекал, а Мягкову, по всему судя, не больно благоволил, иначе давно бы как-то отметил его, выделил, приподнял.

Немного поостыв, вспомнил о недавно полученном и еще не прочитанном письме Хитрова. Вынул из папки конверт, небрежно вскрыл, вытащил несколько мелко исписанных листков, глянул на первую строчку и сразу увидел большелобое белое лицо Романа Романовича. Оно хмурилось, улыбалось широко простодушно-большим толстогубым ртом. В ушах заурчал глуховато чуть шепелявый хитровский говорок:

«Спасибо за материал. Собран и систематизирован тщательно и добросовестно... На днях болванку вашей кандидатской начну обтачивать. Получится стоящая вещь. Думаю, где-нибудь в середине будущего года вы «остепенитесь»...»

Не отрывая глаз от письма, Мельник крутнулся на месте, развернул пошире плечи, набрал воздуху полную грудь, и та взбугрилась. Он не ошибся в Хитрове: смышлен, чертовски работоспособен. Тридцать пять, а закончил докторскую, работает, как сатана. Завистники болтают, будто в кандидаты его тесть вытянул, будто Хитров оттого и женился на длинноногой, вертлявой и болтливой дочке заведующего кафедрой, известного профессора-геолога, чтоб остаться в аспирантах да побыстрее войти в науку. Что ж, если даже так оно и было,— молодец! Под лежачий камень вода не потечет... Во время последнего наезда в Пионерский почти три недели Хитров прожил в маленьком, уединенном, безукоризненно обставленном и оборудованном домике, где к услугам гостя было все. Тогда-то Мельник по-настоящему и сблизился с Романом Романовичем. Далеко пойдет. Не надо быть пророком, чтоб предугадать это...

Раздраженно залился телефон. Мельник сдернул с аппарата трубку и тут же сквозь негромкое пощелкивание и посвист услышал упругий голос Смолина:

— Слушаю.

Как и положено, Мельник сперва извинился за позднее беспокойство, потом очень кратко, но исчерпывающе доложил о делах, все время как бы ненароком подкидывая собеседнику мысль о том, что пора начинать добычу нефти на месторождениях, открытых Пионерской экспедицией. И запасов для того разведано предостаточно, и нефть страна давно ждет не дождется, и географическое положение Пионерского для такого почина наивыгоднейшее, и перспективы — неисчерпаемы. Конечно, в Белоярье месторождения будут помощнее и запасов там больше, но непроходимые болота отпугнут нефтепромысловиков, и те будут тянуть и не вдруг возьмутся за разработку мертвоозерских месторождений. Пионерский на триста верст ближе к железной дороге и к городу, можно поначалу вывозить нефть на речных танкерах, да и места здесь суше, доступнее, обустроить промыслы намного легче, и трубу в случае чего отсюда тянуть — не то, что из утонувшего в болотах Белоярья. Смолин слушал чутко, цепко ловил каждый довод, уточнял, выспрашивал, сомневался, соглашался или спорил, но не отвергал, и это подогревало, окрыляло Мельника, и он все напористее, все увереннее излагал свое мнение и вовсе обрадовался и тайно возликовал, когда Смолин сказал:

— Присылайте ваши соображения в обком, с точными расчетами и цифровыми выкладками...

— Сделаем,— заверил Мельник и только после этого перевел разговор на Ветрова.

Обрадовал секретаря обкома известием, что ветровская бригада достигла самой большой проходки на станок — тридцать тысяч метров, рассказал о ее последнем скоростном рекорде, мимоходом слегка посетовал на нехватку цемента и труб и лишь потом заговорил о сегодняшнем столкновении с Мягковым и, несмотря на расстояние и легкий шум в трубке, сразу уловил, как там, в Туровске, насторожился Смолин. Мельнику вдруг показалось, что связь прервалась, его никто не слушает, тщательно отобранные, взвешенные слова его исчезают в безмолвной враждебной пустоте, и оттого стало холодно душе. Он даже вспотел от ледяного безмолвия трубки, а Смолин все молчал, и, вконец растревоженный этим, Герман Кузьмич, не выдержав, спросил:

— Вы слушаете?

— Да-да,— тут же откликнулся Смолин.

По тону, коим было произнесено это «да-да», Мельник понял: поддержки не будет, и начал отступать, изображая дело так, будто и он не против обсуждения. Ветрова, да беспокоится лишь, как бы оно не вышибло старого мастера из колеи, не помешало рекорду, не сказалось плохо на делах бригады, на показателях всей экспедиции...

Тут его и перебил Смолин:

— Вы напрасно обременили себя: Ветров, по-моему, не нуждается в адвокате. Я верю в коллективный разум вашего парткома. Мягкова же считаю мудрым и кристально честным партийным работником. До свиданья.

— До свиданья,— торопливо и невнятно бормотнул Герман Кузьмич и долго держал в руке холодную трубку.

2

Из-за угла орсовского барака вынырнули мальчишки и пошли по тропке на два шага сзади. Искоса глянув на них через плечо, Пантелей Ильич сразу определил: коренные северяне. Шеи шарфами не замотаны, лямочки ушанок не завязаны, и вышагивают не спеша, а мороз за тридцать.

Ребята так заговорились, что не обращали внимания на подслушивающего Русакова.

— Понимаешь — робот. Из железа. А все — как человек. Думает и...

— У него нет мозгов.

— Есть. В том-то и дело. Тоже железные. Электронные. Сам стихи сочиняет, в шахматы кого хошь...

— И Ботвинника?

— Запросто! Он же все ходы наизусть. Хоть сто тысяч — помнит. Кибернетика! Раз услышит — и на всю жизнь. Только смазывай, чтоб не заржавел.— И заливисто засмеялся.

— Здорово! — наконец-то согласился приятель.

— Просто чудо! — захлебывался от восторга поклонник кибернетики.— Бабушка не верит. Рассказываю — крестится.— Парнишка неловко перекрестился, гнусавым старушечьим голосом пробубнил: — Свят-свят-свят..— И покатился со смеху.

«Кибернетика. Космос. Телепатия. Остальное при-

елось, примелькалось. Подумаешь, солнце! Кусок расплавленной массы. Луна? Лепеха застывшей массы. Гроза, ураган, землетрясение — все объяснимо. А все ли? Горсть земли — чудо из чудес. Все из нее, на ее соках. Тысяча тысяч деревьев, цветов, трав. Сладких, горьких, ядовитых. Разучились этому удивляться...»

Подосадовал, что мальчишки свернули в сторону. Его всегда приятно тревожила близость детей. Что-то притягивало к ним. Бесхитростность? Любознательность? Доверчивость? Или сознание собственного превосходства, нужности этим, в общем-то, беззащитным землянам? Был бы сын... Мать права, называя его пустоцветом. Можно было давно жениться, заиметь детей. Все ждет. Чего? «Кто сгорел, того не подожжешь». Так ведь не горел, ни разу не вспыхнул. Головешкой истлело. Что-то еще живет внутри... Бродит, ворочается, иногда так подкатит, кажется, вот-вот, мгновенье и... Но того последнего мгновенья всегда недостает.

Почему, почему у него так? Думал: оттает, отойдет душа, возьмет свое молодость. Вроде бы и оттаяла, отошла, тяжести прожитых лет не чует, а все-таки мать права — пустоцветом живет. Ну и пусть. Жениться — только чтобы не быть одиноким, продлить род... Все бунтовало против этого.

Прекрасно смонтирован человек. Запрограммировала голова дотопать куда следует, и ноги вышагивают... А мысли — они сами по себе.

На небольшом, открытом всем ветрам взгорке черно и густо дымил обшарпанный вагончик. Перед ним полукругом выстроилось десятка два автомобилей и тракторов — одни с поднятыми либо снятыми капотами, другие — без колес и гусениц. Подле машин копошились люди. Звонко стучали молотки и гаечные ключи. Черным мазутным дымом чадили костры из тряпья и ветоши. Погрев над огнем закоченелые руки, рабочие снова брались за молоток или зубило.

Каждый год проектировалось строительство ремонтных мастерских, но предназначенные для этого материалы и средства обязательно уплывали на какой-то еще более неотложный объект, и машины зимой и летом ремонтировали вот так, под открытым небом.

Пантелей Ильич отыскал глазами водителя закрепленной за ним машины. Тот вместе с двумя ремонтниками ковырялся в моторе АТЛ.

— Доброго здоровья,— смущенно поздоровался Русаков.

— Доброго,— недовольно буркнул один из рабочих.

— Тут и лошадиного здоровья хватит ненадолго,— в тон ему сердито проворчал другой.

И только «его» водитель, помедлив, ответил как положено.

— Замерзли? — посочувствовал Пантелей Ильич.

— Каждая гайка кусается, как собака,— проговорил водитель, дуя на припухшие кончики побелевших пальцев.— В рукавицах не подберешься, а так...

— Ни крыши, ни стен. Ветер, чтоб его... со всех сторон... В полушубке — тесно, в ватнике — зябко. Полдня в теплушке торчим...— Рабочий показал глазами на вагончик.

— В Белоярье вон, говорят, такие мастерские отгрохали, даже калориферное отопление, а тут...— сердито заворчал его напарник.

— Одна морока! — подхватил водитель, безнадежно махнув рукой.— Двигатель за ночь в лепешку смерзается. Пока разогреешь — часа два с паяльной лампой натанцуешься. Чтоб к восьми машину подать, надо в пять приходить. По две смены вкалываем, а за что?

— Давай поедем завтра,— поспешно предложил Пантелей Ильич.

Ему хотелось поскорей уйти отсюда: казалось, рабочие видят в нем одного из виновников этого безобразия. Да и сам он думал так же. Мог ведь вмешаться, подтолкнуть, скооперироваться с Сариным, Никитским, и всем гуртом — на Мельника. Сколько уговаривал того: съезди в Белоярье, посмотри, убедись — не хочет: амбиция не позволяет. Скоро там совещание начальников геологоразведочных экспедиций страны. Тут уж не отвертеться. Смог же Лавров, и выговоры были, и начеты были, а вот...

— Через час поедем,— сказал водитель.

— Добро. Буду в конторе. Пока.

Быстро, не глядя по сторонам, пересек задымленную кострами поляну и заспешил прочь. В голове роились слова, предназначенные Мельнику: «Нет денег? А на показуху находятся средства. Осенью затеяли в Пионерском финальный розыгрыш первенства области по футболу. За неделю стадион-времянку сляпали. Семь команд

за счет экспедиции свезли. И разместили, и прокормили... В кинохронику попали, в газеты...»

В ночь перед финальным матчем разразился проливной дождь, и поле временного стадиона раскисло. Ярости Мельника не было предела. Ми-6 завис над раскващенным стадионом и несколько часов подряд крутил лопасти: надо же было додуматься вертолетными винтами сушить футбольное поле... Мельник, если уж нацелился, ни перед чем не остановится, любую преграду на таран... Как яростно и упорно он внедрял речную сейсморазведку, как дрался за долота меньшего диаметра, теперь вот одним взмахом все котельные перевел на нефть. Поворотить бы его к быту, к культуре... Как? Все новое, что касается производства, на лету хватает, а на людей... Распалял и распалял себя Пантелей Ильич, готовясь к схватке с Мельником.

Выслушав увещевательную часть русаковской речи, Герман Кузьмич усмехнулся:

— Ты и в самом деле прирожденный пропагандист. Только стреляешь не в ту цель. Будто не знаешь, сколько еще семей в землянках да балках ютятся. Садик и ясли над фундаментом не поднялись. Видел, как у Епифана сынишка...

— А Епифана за это тягают,— вставил Пантелей Ильич.

Лохматые брови Мельника снялись с насиженного места.

— Не слышал разве? Наши блюстители закона вдруг дело завели на Епифана. Почему не доглядывал за мальцами, зачем одних оставлял. Замордовали мужика допросами. По совести-то надо бы нас...

— Постой! — оборвал Мельник.— Сейчас разберемся.— Снял телефонную трубку.— Сарью. Райпрокурора.

Слушая гневную тираду Мельника, райпрокурор, наверное, не раз пропотел. С Германом Кузьмичом шутки плохи — в районе это все знали, и прокурор не прерывал Германа Кузьмича, не перечил ему, охотно пообещал во всем разобраться и наказать не в меру ретивых законников.

С громким облегченным «фу!» Мельник швырнул телефонную трубку, откинулся на спинку кресла, закурил.

— Как пробы на Осокинской? — спокойно спросил между двумя затяжками, давая понять, что инцидент исчерпан.

— Не блистают. Зря ты настоял. По метражу и рублям мы тут, конечно, наворочаем. Глубина небольшая, грунт мягкий, значит, и со скоростями рванем, а вот с нефтью...

— Хватит тебе. Цыплят знаешь когда считают? Добурим — поглядим. А с ремонтными — утопия... фантастика! Техника, материалы, специалисты. Из пальца не высосешь. Да и энтузиазм твоих добровольцев надо все время подогревать.— Мельник сложил щепотью три пальца левой руки, потер большим о безымянный и указательный — жест, которым изображают желание получить материальное вознаграждение.

— Вот побываешь в Белоярье, увидишь, что можно этим методом. Теплицу выстроили. Будут свежий лучок и огурцы всю зиму хрумкать. Сейчас оранжерею строят...

— Вот приказ по главку. Полюбуйся, как Лаврова за эту оранжерею разделали. Строгача схватил. По-моему, уже третий! Не будь там этого семинара, сложил бы Лавров буйну голову. И сложит, помяни меня. А я...

— А ты не хочешь нервные клетки ради какого-то быта расходовать? Да я бы три выговора...

— Ишь ты! «Я бы, мы бы». Все храбры чужими боками.

— Послушай, но ведь сумел же Лавров. А глухомань — почище нашей! Его Белоярье — мина под всех, кто трудностями обустройства на Севере пытается прикрыть чиновничье равнодушие, барское небрежение к рабочему человеку...

— Спа-си-бо! — по слогам, сквозь зубы вытолкнул Мельник.— Не думал, что ты обо мне такого мнения...

— Постой! — растерянно взмолился Русаков, сообразив, что зашел слишком далеко.— Я ведь никогда и не думал...

— Тем более! — властно оборвал Мельник.— В экспромте всегда больше искренности. Только смотри,— загрозился он и глазами и голосом,— как бы потом не пришлось переоценку делать.— Горделиво откинулся на спинку кресла.— Быт у нас, как у всех, не хуже, не лучше. Но по производственным показателям мы на первом месте. Рекорд проходки на станок — у нас! Рекорд скорости бурения — у нас! Мы открыли уже двенадцать нефтяных месторождений! Мы распечатали бутыль сибирской нефти! — В голосе Мельника зазвенело откровенное самодовольство.— А твой Лавров даже по главку

на пятом месте. У них средняя зарплата рабочего с премиальными до трехсот не тянет, а у нас за триста пятьдесят перешагнула...

— Потому-то наш орс за квартал годовой план продажи водки перекрыл.

— Это не наша забота. Пусть покупают холодильники, мотоциклы, ковры, а не водку.

— Холодильники в балок?! Смеешься... Все рублями меряешь!

— Я не меряю, жизнь заставляет. Мы не фокусники, не чародеи. Тут либо — либо. Производство или быт. А чтобы то и то, надо двужильным быть, и все равно с копыток слетишь. Чего ж твои хваленые лавровцы по производственным показателям в хвосте у нас? Еле-еле план тянут.— Русаков протестующе вскинул руку и уже раскрыл было рот, чтоб возразить, но Мельник предупредил: — Знаю, знаю, о чем запоешь. А я так скажу: сосредоточь они главное внимание на производстве, а не на тепличках,— с лавровской хваткой и напористостью можно бы первыми в Союзе быть, и не только по приросту запасов, а и по всем другим показателям. Вот и выбирай. Быт или производство. Сам видишь.— Мельник помолчал, потер, будто намыливая, руки.— Тут замкнутая кривая, пусть в ней теоретики разбираются, наше дело — разведка. Вот тебе направление главного удара. Мы здесь не для того, чтобы строить показательные таежные городки. Найти и дать живую нефть! Любой ценой.

— Нет, не «любой ценой». Эти трескучие фразы — удобная ширма для... для...

— ...бюрократа,— подсказал Герман Кузьмич и захохотал.

— Похуже,— отчеканил Пантелей Ильич.— Для перерожденца! Да. Для наших людей интересы дела, интересы Родины — превыше всего. Они не устраивают истерик из-за бытовых неурядиц, не меряют прожитый день лишним рублем. Но спекулировать этим — преступно и подло!

— Демагогия! Всякий, кто идет в разведку, а мы разведчики, наперед знает, что его ждут не посыпанные желтым песочком дорожки. За то геологам и почет и многие блага. Денег мы не жалеем для тех, кто честно трудится. Главное сейчас — нефть, нефть и нефть! Остальное приложится. Сейчас модно вопить о благе,

только не следует забываться... Всякий перекос к сфере потребления опасен. Мы — солдаты.— Мельник длинно вздохнул и другим, размягченным, миролюбивым тоном: — Солдаты всегда на марше, им нужна походная обстановка. Так что не будем портить друг другу кровь. И без того...— Махнул рукой, достал папиросу и стал прикуривать.

«Конечно, нефть — главное,— думал Русаков.— Но нефть — для людей. Сколько тут ломается судеб из-за неустроенности, невнимания. Нефть или люди — почему так? Нефть и люди — вот как надо!»

— Мы с разных сторон к одной цели. Я за тот путь, который человечней и оттого — верней. Сердись не сердись, не капитулирую!

— Валяй,— Мельник разрешающе махнул рукой.— Авось твоя слеза дойдет до Яркова, подбросит нам деньжонок, стройматериалов. Сразу бассейн завернем. Дельфинов расплодим, бананы. Ха-ха-ха...

Герман Кузьмич хохотал искренне, с наслаждением. Лицо Русакова побурело от гнева. Он вскочил.

— Хорошо! — выкрикнул с угрозой и вызовом.— Думаешь, не по зубам орешек?

С тем и ушел.

3

На дверях комнаты предостерегающая надпись: «Вход воспрещен». Тут аппаратная — центральный нерв экспедиции, от которого во все стороны протянулись незримые нервные волоски, чутко реагирующие на малейшие колебания пульса сложного экспедиционного организма. За многие километры отсюда, в глухоманной тайге и болотах, в любую непогоду работают топографы, геофизики, вышкомонтажники, буровики, испытатели. Только аппаратная постоянно поддерживает с ними связь, первой узнавая о бедах, радостях и нуждах изыскателей, советуя и приказывая им.

— Я база. Я база. Как меня слышите? Как слышите? Прием...

Напряженно вслушиваясь в шорохи, писки и трески, вылетающие из наушников, чубатый парень медленно крутил колесико настройки. Он нервничал: рядом стоял Мельник, а в эфире, как назло, непробиваемая свистопляска.

— Первый. Первый. Первый. Я база. Я база. Как слышите? Как слышите? Прием. Прием...

Крутится ребристое колесико. Вправо, влево и снова вправо. Вот оно замерло, и сквозь мятущуюся разноголосицу прорвался далекий голос:

— База. База. Я первый. Слышу нормально. Нормально. Прием...

Тряхнул чубом радист: знай, мол, наших, вопросительно поглядел на Мельника. Не вынимая изо рта папиросы, тот обронил:

— Шубина.

И тут же парень закричал в микрофон:

— Первый! Первый! Первый! Пригласите Шубина. Шубина пригласите. Прием.

— Шубин слушает. Слушает,— ответно проскрипела рация.

Неторопливым движением Герман Кузьмич вынул папиросу.

— Здорово, Шубин. Мельник говорит. Выезжаю к тебе. В твой отряд выезжаю. Как лучше проехать? Через Кривое озеро или по просеке? Через озеро или по просеке? Как лучше? Прием.

— Понял. Понял вас. Лучше по озеру. Там позавчера проехали наши тягачи с горючим. Хороший след. След хороший. Захватите почту. Почту заберите...

— Ясно. До встречи...

— Ждем, Герман Кузьмич...

Обычно Мельник уезжал неожиданно. Только скажет секретарше: «Я по буровым» или «Я в Сарью», и пропал на целый день, а то и на неделю. Лишь самые близкие по работе люди знали: когда, куда и надолго ли уезжает начальник, для других это всегда происходило «вдруг». Иначе было просто невозможно уехать в намеченный час. Прознав об отъезде Мельника, сотрудники спешили что-то согласовать, обговорить, решить, подписать. Они прямо-таки осаждали его кабинет, ловили в коридоре, караулили у машины.

Так именно получилось и на сей раз. Пока Герман Кузьмич запирал сейф, рассовывал по ящикам стола бумаги, припожаловал Будылдин с предварительными цифрами выполнения годового плана по финансам. Потом заглянул Сарин, напомнил, что послезавтра заседание партбюро, на котором будут обсуждать Ветрова. «Можно бы и до Нового года потерпеть»,— раздражен-

но буркнул Мельник. Парторг смолчал. Тут пришел Никитский с проектом реконструкции электростанции. И хотя Мельник разговаривал стоя, сжато, все равно минуты летели, и Герман Кузьмич нервничал: впереди долгий путь по таежной целине, а зимний световой день короче воробьиного шага.

В конце концов Мельник не выдержал и, буркнув в ответ на приветствие очередного незваного посетителя «Потом-потом», стал торопливо одеваться.

В кабине АТЛ было тепло. Герман Кузьмич расстегнул верхние пуговицы полушубка, сбил на макушку пыжиковую шапку. Водитель толкнул рычаг, машина тронулась.

Сначала ехали по накатанной дороге, ведущей на близлежащую буровую. Орошенный соляркой, перемолотый гусеницами снег был желт и сыпуч, как песок. АТЛ шел на большой скорости, по-козлиному прыгал через рытвины, легко взбирался на крутые склоны. Но вот, свернув с торного пути на малоезженую дорогу, машина пошла медленней. Заснеженные мохнатые лапы кедров и елей царапали кузов, били по стеклам кабины, кропя ее снежной пылью. Из-под белого наста дороги надолбами грозились пни. Водитель вспотел, непрестанно орудуя рычагами управления.

Давно остался за спиной поселок, а мысли и чувства Германа Кузьмича были еще там. Он прежде не переживал подобного. Какая-то смесь неуверенности, смятения и ярости копилась в нем с того самого дня. Втайне он надеялся, что Сарин не пойдет поперек, станет оттягивать обсуждение Ветрова. Опять просчитался. Где-то он прозевал, что-то упустил, и в тщательно им разработанной, четко отрегулированной системе управления коллективом не то ослабла, не то и вовсе лопнула какая-то пружина, и он нет-нет да вдруг и утрачивал ощущение собственной причастности к происходящему. «Сарина с парторгов убрать. Нелегкая задачка. Мягков упрется. И свои могут заартачиться, не проголосуют. Прежде куда проще и спокойней. Одного убедил — точка, одному угодил — кум королю. Все — в одной руке, в едином кулаке. Разумней и легче. Раздемократизировались до предела, всех уговаривай... Хоть бы для приличия посоветовался Сарин... Пантелей со своим человеколюбием крутится. Грозов норовит из оглобель... Подраспустил. Тогда совещание по-своему, теперь с Ветро-

вым... Скорей бы пробную эксплуатацию раскрутить. Первая добыча...»

Герман Кузьмич задумался и, казалось, не замечал пути, но едва справа замаячила поросшая мелколесьем болотистая равнина, он тронул водителя за локоть:

— Держи направо. Прямо на тот кедр. Километров семь сэкономим. Выскочим к Кривому озеру.

— Прямо галки летают, да дома не ночуют,— водитель улыбнулся.

АТЛ круто развернулся, тупым рылом ткнулся в снеговой бархан саженной высоты. Попятился, густо реванул и медленно пополз. Посреди болотины снежный наст был тоньше, машина пошла быстрей. В какой-нибудь полусотне метров от намеченного ориентира АТЛ напоролся на пень. Водитель кинул машину влево, вправо, крутнул на месте. Послышался стеклянный звон, и мотор заглох.

— Разулись, чтоб тебя...— Водитель высунулся из кабины.

Слетела левая гусеница. Надо было по колено в снегу «обувать» занедужившую машину.

Происшествие нимало не огорчило, скорее обрадовало Мельника. Он озорно подмигнул смущенному водителю:

— С прибытием.

Проворно скинул полушубок и, не раздумывая, выскочил из кабины, почти по пояс ухнув в сугроб. Потоптался, примял снег на крохотной круговине.

— Лопата есть?

— В кузове.

— Бери. Расчищай площадку. Растянем гусеницу и обуемся. Полушубок-то снимай. Не замерзнешь.

Оба вспотели и запыхались, прежде чем перед носом неподвижной машины расчистили прямоугольную площадку. Кряхтя и поругиваясь, растянули на ней многопудовую стальную ленту гусеницы. Теперь оставалось самое трудное: намотать ее на зубчатые колеса и замкнуть.

Когда гусеничное полотно налипло на зубья колес, Герман Кузьмич лег под рокочущий, рвущийся с места АТЛ. Покрасневшей рукой вцепился в раскаленный морозом металл, скомандовал:

— Подай чуть-чуть на меня.

Машина качнулась и замерла, устрашающе нависнув над самым лицом Мельника. Тот, коротко размахнув-

шись, с силой ударил по металлическому пальцу, скрепляющему разорванные звенья гусеницы. Еще раз! Еще! Поднялся. Отряхнулся от снега. Пошевелил занемевшим плечом.

Водитель предупредительно распахнул дверку кабины. Подавая полушубок, не сдержался:

— Ловкие у вас руки и хватка рабочая.

— Иначе с вами, чертями, пропадешь. Дай-ка спичку.— Прикурил. Пустил густую струю дыма.— Трогай.— Машина пошла.— Приглядел невесту?

— И без нее не сохну.

— Все хорошо в меру. Тебе двадцать семь, по-моему.— Водитель согласно кивнул.— Тут важно не перебрать. Заматереешь в холостяках, как наш Русаков, и останешься бобылем. Одиночество портит кровь.

— Была бы шея... Вот построим на месте Пионерского настоящий город, понаедут стильные девочки...

— Сначала надо много нефти найти.

— Найдем! — не раздумывая, заверил водитель, словно в собственном кармане носил ключи от подземных кладовых.

— Почему так уверен?

— Все так думают. У вас особый нюх. «Раз Мельник сказал бурить — не ошибешься» — так рабочие говорят.

— Нюх нюхом, а без науки...

— Если не везет — наука не спасет...

— Ловко! — Мельник захохотал.— Вот и Кривое озеро. Весной здесь такая замеча... Глуши!

И, не дожидаясь, пока озадаченный водитель отреагирует, Герман Кузьмич сам повернул ключ зажигания.

— Лось...

В самом деле, совсем рядом из-за ствола осины выглядывала горбоносая лосиная морда. Раздув широкие ноздри, зверь настороженно нюхал воздух. Большие выпуклые глаза светились пугливым любопытством.

— Лосенок. Глупый еще...

— Тихо! — Мельник ожег водителя злым взглядом.— Открывай лобовое стекло. Живо! Живо! — А сам вздрагивающей рукой засовывал патроны в двустволку.

Машина, видимо, заинтересовала лосенка, к тому же сильный ветер с поземкой дул от зверя, и тот не мог уловить резкий незнакомый запах. Подгоняемый любопытством, он вышел из-за дерева и, медленно поводя

огромными ушами, застыл неподвижно, будто бы специально для того, чтобы Герману Кузьмичу было ловчее целиться. Ветер топорщил бурую шерсть на выпуклом загривке зверя.

«Беги!» — беззвучно кричал водитель, но лесной житель стоял, как изваяние. И только когда Герман Кузьмич положил ствол ружья на капот, лосенок скакнул в сторону и помчался.

Раз за разом прогремели два выстрела. Словно одолевая невидимый барьер, лосенок высоко подпрыгнул, несколько раз крутнулся на месте и снова побежал, но уже не ровной размашкой, а рывками.

— Догоняй!

Взгляд Германа Кузьмича не отрывался от бегущего зверя. Руки автоматически перезарядили ружье.

Лось действительно был совсем молодой и глупый. Вместо того чтобы укрыться от преследователей в таежной чаще, он из последних сил мчался вдоль опушки, оставляя на стерильно белом, не тронутом даже тенью снегу кровавые пятна.

Неумолимое рокочущее чудовище настигало.

— Стреляйте! — раздраженно крикнул водитель.

— Не уйдет,— сквозь зубы отозвался Мельник, убирая палец со спускового крючка.

Тут случилось невероятное.

Когда атээлке оставалось до лося каких-нибудь полста метров, обезумевший от боли и погони зверь вдруг оборвал бег, круто развернулся и, угрожающе пригнув голову, танцующей походкой двинулся навстречу рокочущей тупорылой машине.

Водитель до отказа придавил тормоз, заглушил двигатель. Послышалось тяжелое, хлюпающее дыхание лося. Он стоял в нескольких шагах от машины. С губ, пузырясь, падали хлопья розовой пены. Из раны на левом боку сползала в сугроб кровавая змейка.

— Стреляй! — водитель свирепо скосил на Мельника налитые бешенством глаза.

От выстрела лосенок качнулся, но не упал... Водитель даже зубами заскрипел.

Снова прогрохотал выстрел.

На сей раз пуля сделала свое дело.

Недобрая жестокая тишина захлестнула поляну, затопила раскорячившегося железного паука, в утробе которого молча сидели двое чужих, недовольных друг дру-

гом мужчин и ожесточенно курили, избегая столкнуться взглядами.

Но вот Герман Кузьмич протяжно кашлянул, прочищая горло. Выкинул в снег стреляные гильзы, положил ружье.

— Фу! Что делает с человеком азарт. Дурак лопоухий.— Это адресовалось лосенку.— Мог ведь удрать... До сих пор руки трясутся... Все равно до весны не дотянул бы: волки сожрали б либо рысь задрала. Таких придурков жизнь не балует.

Водитель молчал.

— Смелый, зараза, лоб в лоб со смертью. На такое не всякий человек пойдет...

Водитель не откликнулся.

— Три пули принял. Матерый вымахал бы зверюга.

Водитель словно онемел.

— Закинем в кузов. Будет у Шубина свежее мясо.

Вслед за Мельником водитель молча вылез из кабины.

— Вот поединок! Ха-ха-ха! — Голос Германа Кузьмича хрипел, и смех получился неприятным.— Никто не поверит. Почище любой охотничьей байки...

Фыркнула машина, выплюнула черный сгусток гари и ушла.

От разыгравшейся трагедии остались лишь следы гусениц и крови на снегу.

Недолговечные следы...

Глава одиннадцатая

1

Похожая на желоб, узкая, до твердого блеска вытоптанная в снегу тропинка круто завернула за угол, и Рая с разбегу налетела на Соню Лучкову, едва не сшибла ее с ног.

— Ой, Соня! Здравствуй.

— Здравствуй. Куда так спешишь?

— Картину новую привезли. Хорошая, говорят. Бегу за билетом.

— Мог и кавалер о билетах позаботиться.

— Мог бы, да нет его.

— Ну, Платон. Иль в сектанты записался? Ни в кино, ни на танцах не видать. С чего бы?

Столкнулись их взгляды, и Рая сразу опустила голову. Носком валенка вычерчивала на снегу замысловатые узоры, кусала губы и молчала. Соня тоже молчала: ждала. Не поднимая глаз, Рая сказала:

— В чужую душу кто заглянет?

— Ты не умеешь врать.

— Не умею,— согласилась Рая.

— Тогда скажи правду.

— Пусть сам скажет.

— «Сам»,— повторила Соня. Язвительно и нехорошо улыбнулась и, видимо, намеревалась сказать еще что-то, неприятное и злое, да поймала беспомощный Раин взгляд и ничего не сказала.— Твой братец не разговорится, пока не поклонятся. А я не стану выспрашивать. Не такая. Милостыни не надо. Ни от кого. Тем более от него. Разве я похожа на попрошайку? Парни от меня шарахаются? Или свет на нем кончился? Не с того я... Не о том... Обидно. Зачем так? Все ведь знал, своим рукам, своим глазам не верит. Услышал шепоток... и как баба. Теперь вокруг кассирши вертится. Назло. Чтоб побольней. Пускай. Не такое терпела...

Не говоря ни слова, Рая схватила Сонины руки, стиснула. И это непосредственное, искреннее сочувствие будто перевернуло Соню. Голос ее стал тихим и ломким:

— Меня и посейчас счастливой считают. Завидуют. Я ведь виду не подаю. Больно, а смеюсь. Горько, а пою. Обидно — хохочу во все горло. Пусть завидуют... Только бы не жалели... Никому об этом ни полсловечка. И ему не говори. Не скажешь? Дай слово. Ладно. Верю. Тяжело в себе такое носить. Да еще с... Ладно, Рая... Молчи. Молчи. Не надо ничего говорить.— И сразу другим тоном: — Ты за билетом?

— Ага.

— Не пойду. Если красивая картина, да еще про любовь — не хочу. Смотришь, так хорошо — душа замирает. А тут еще музыка. Теплая, нарядная. И все люди — чудо! Глядишь и таешь. И плачешь. А все неправда! Зажжется свет, смолкнет музыка. И ты проснешься. Одна. Все куда-то спешат, все — мимо... С Платоном было хорошо. Очнешься после кино — он рядом. Улыбается, платок поправляет... Прости меня.

— Да что ты, Соня!

— Знаю, что ты думаешь. Разжалобить, мол, хочет, чтобы на брата... Не смей! Тошно мне — вот и выплакалась. Спасибо, что послушала. Эх, Рая. Сначала бы все. Раскрутить назад и сначала... Что Платон поделывает?

— Плотничает. Баню достраивает.

— Все обустраиваются Ветровы.— Сверкнула ненавидящим взглядом и поспешно отвела глаза.— Ни пуха ни пера! — Повернулась и кинулась прочь.

Весь разговор был таким неожиданным и стремительным, что Рая не успела удержать Соню. «Да и сказать-то ей толком ничего не могла»,— подумала она с раскаяньем и запоздало пожалела бедовую Соню.

Никогда прежде Соня и двух минут не разговаривала с ней. Поздороваются — и мимо. И вдруг так распахнулась. Что-то не договаривает она. Что? Спросить бы напрямки. Все перепуталось... Кого судить? Кого винить? За что мучает Соню брат и сам мучается? С кассиршей только напоказ, себя обманывает. А отец с матерью довольны. Теперь-то отцу не до Платона: после партбюро сам не свой, людей сторонится и все думает о чем-то. Раструбили на весь свет. Кроме Германа Кузьмича, никто не заступился на парткоме, даже Русаков. Друг ведь. Как же мог?.. Выговор! Подумать только! Теперь на общем собрании станут обсуждать. Мать втихомолку плачет. Жалко отца. Усох, ссутулился. Первое место — и вдруг выговор. Сенечка, как узнал, кинулся сочинять протест в обком от рабочего коллектива. Отец запретил... У Сенечки душа нараспашку. А и сам ведь по проволоке ходит. Весь поселок знает о его жене, а он зажмурился.

2

Чем ближе к своему дому подходил Сенечка, тем медленней и неуверенней становились его шаги.

Давно ли был он счастливчиком, у которого все спорилось, все ладилось в жизни? Здоровья — не занимать, в доме — достаток, с женою — мир да любовь. Чего еще надо человеку?

Разве что ребенка? Но его из глины не слепишь, в магазине не купишь. За то, чтобы в доме появилось крохотное горластое существо, Сенечка, не задумываясь, отдал бы десять лет жизни.

Бывало, он мчался домой, словно скороход. Но сейчас, увидя родное оконце, вдруг приостановился, будто наткнувшись на невидимый заслон, потоптался на месте, исподлобья повел взглядом по сторонам, покашлял и медленно двинулся дальше...

Раз осенью, продираясь через таежные заросли, Сенечка забрел в негустой осинник. Высокие, толстые, будто жестью обитые деревья стояли поодаль друг от друга, растопырив голые ветви. Он был озадачен, не увидев под ногами палых листьев. В задумчивости привалился спиной к толстенной осине и тут же почувствовал, как та легко подалась, накренилась. Сенечка нажал посильнее на ствол, и дерево рухнуло с хрустом, похожим на вороний крак. Это был мертвый лес. Осины давно сгнили на корню. Неопытный глаз едва ли разгадал бы, что эти великаны мертвы...

Нечто подобное случилось и у них с Лидой. Снаружи все кажется живым и крепким, а изнутри...

В последнее время его все сильней беспокоило неосознанное предчувствие беды. Часто на буровой он просыпался среди ночи и под размеренный гул дизелей, сопение и храп спящих товарищей все думал и думал. С рассветом надо заступать на вахту, каждая минута ночного отдыха бесценна. А ему не спалось. Виделось одно и то же: еле освещенная настольной лампочкой крохотулька-избушка. Хмурая, недовольная Лида согнулась над столом, заваленным тетрадями.

Чувствовал Сенечка: что-то надломилось в жене...

Когда все это началось?

В то зимнее утро, когда Михаил Николаевич заставил лететь в поселок? Пожалуй. Тогда, в вертолете, он вдруг ощутил прилив необъяснимой тревоги и беспокойства. Надо бы благодарить случай и своего мастера за нечаянную возможность сутки прожить дома, наедине с любимой, хоть чуточку скрасить опостылевшее ей одиночество, а он беспокойно ерзал на месте, не зная, куда деть свои большие грубые руки, заставлял себя думать о том, как бы сделать этот день наиболее приятным для Лиды...

«Вечером — хоть буран, хоть морозище — пойдем в кино. Устроим праздничный ужин, с шампанским и песнями. Пусть Лида пригласит подруг. Позову Яшку Заливаху. Отменный гитарист. И лампочку заменю. Вверну стосвечовую, чтоб засияло. Весной сковырну

избушку к чертовой матери, построю настоящий дом. Квартиры не дождешься. Деньги есть. В отпуск с Лидой на Черное море. На два месяца. Говорят, там красота. Пусть загорает и плавает...»

По пути Сенечка забежал в магазин и — надо же такое везенье! — купил последний килограмм апельсинов. Они были мягковаты (видно, прихватило морозцем), зато огромные, душистые и яркие, как солнце.

Радостный, ввалился в дом, глянул на жену и... Это было как нежданный оглушающий удар в спину.

— Ой! — Лида болезненно сморщилась, глядя мимо Сенечки на пылающие апельсины, которые тот протягивал в пригоршне.

— Бери. Пожалуйста, возьми,— улыбался Сенечка.

«Сейчас случится... сейчас скажет... все кувырком...» Он молил жену глазами, дрожащими руками, согнутой спиной: «Пощади... не теперь... потом».— И все совал ей апельсины.

Она пожалела. Сказала только:

— Не трогай меня. Сама расскажу...

— Не надо! Ешь вот... ешь апельсины...

Лида сидела, закрыв лицо ладонями.

— Не суетись,— глухо проговорила она, не открывая лица.

Он долго стоял на месте, озираясь по сторонам.

— Раздевайся. Поешь,— трудно сказала она, поднимаясь.

— Нет-нет. Я завтракал на буровой. Побегу к Юрченко. Надо груз на вертолетную перекинуть. Обедать не жди. Раньше вечера не управиться. Утром улечу...— бубнил он, отступая к двери.

Он поднялся на рассвете. Растопил плиту. Подхватив пустые ведра, убежал за водой и надолго застрял в очереди у колонки. Когда вернулся, Лида хлопотала у плиты, помешивая на сковороде, в кастрюле.

Несколько раз Лида порывалась что-то сказать, но Сенечка вскидывал на нее испуганные глаза, и она не сказала...

Уже подлетая к буровой, он обнаружил в кармане апельсин. «Лида положила». Покатал на широкой задубленной ладони чужое заморское солнышко, обласкал его взглядом, понюхал и неожиданно заплакал. Прижался лицом к круглому вибрирующему оконцу, стиснул зубы и молча глотал слезы.

Первой ему встретилась Рая Ветрова. Сенечка протянул ей апельсин.

— Вот спасибо,— обрадовалась девушка.— Откуда такое диво?

— Купил...

...Теперь все это вспомнилось, вроде бы не задевая чувств, словно стороной промелькнуло чужое, не касающееся, а ноги разом затяжелели, прилипли к земле, и дыхание перехватило. Надо ли домой? Почему сейчас? Сегодня Лида не смолчит, сегодня — всему конец.

— А если, если?..— пробормотал Сенечка и стал медленно пятиться от родного дома. Завернул за угол ближайшей избенки и заторопился к конторе, откуда вот-вот должна отойти на буровую вахтенная машина.

— Ты чего? — спросил шофер.— У тебя ж завтра выходной.

— Начальство из главка ждут. Надо все в порядок привести...

Скрылся поселок из глаз, кругом тайга, а он все видит крохотную свою избушку, в которой осталось его единственное счастье.

3

Хороша зима в Сибири. Холодна, но хороша! Бодрит, подгоняет царапучий мороз. Щеки румянит, брови инеем кроет. Поскрипывает, поет снежок под ногами, под полозьями нарт и саней. А какая дивная светлынь и чистота кругом: ни грязи, ни мусора, ни валежника — ничего лишнего на земле.

Глянешь на бескрайнюю искристую россыпь снегов, глотнешь ледяного голубоватого воздуха — и разом посветлеет на душе, как о несбыточном счастье, подумаешь о простой крестьянской кошеве, запряженной добрым иноходцем. Упасть бы на охапку хрусткого душистого сена, поднатянуть вожжи, гикнуть и...

Мечта прокатиться на лошади для жителей Пионерского была несбыточной: в экспедиции имелась всего одна замухрышистая лошаденка, худая и старая.

Когда-то Лида Крупенникова слыла превосходной лыжницей. Отличные лыжи — приз победительницы Туровской городской спартакиады — сиротливо пылились в углу: не до них было хозяйке теперь.

А сегодня она вдруг вспомнила о своих скороходах, вытащила их, небрежно шаркнула ладошкой по лыжному желобку, учуяв еле уловимый запах смолы, и затревожилась, заторопилась. Быстро надела костюм и — на улицу.

Только поначалу лыжи капризничали, задирали снежный наст, потом разошлись и понесли.

Вот она вылетела на гребень высоченного крутого откоса. Внизу — белая, сверкающая под солнцем широченная гладь реки и поймы, опоясанная синим полукружьем далекого бора. Лида глубоко вдохнула, откинула назад руки с палками и тут же сорвалась, заскользила по отвесному склону, все быстрей, быстрей. Из-под ног взвихрилась снежная пыль, ее подхватил, закружил ветер. «Трамплин»,— запоздало сообразила она, паря в воздухе. Сильный удар о землю едва не опрокинул. Натренированное тело резко качнулось в сторону, уравновесило. И — снова полет. Ветер свистел в ушах, хлестал по щекам. Кончился склон, а лыжи все еще неслись. За крутым поворотом скрылась река. Лида заскользила широкими плавными шагами.

Приостановясь стянуть перчатки с потных рук, она услышала за спиной поскрипывание: он шел следом. Загадала: нагонит до опушки — все сбудется. Вонзила наконечники палок в снег, с силой оттолкнулась и побежала.

До опушки бора оставалось каких-нибудь полкилометра, а она мчалась, как будто убегала от лихой беды. «Теперь не догонит». Поубавить бы скорость, попридержать себя, но она неслась, как одержимая. «Пусть. Так надо. Суждено».

Вот и совсем близко согнутая снегом осина, от которой Лидино воображение прочертило финишную черту. Еще два-три рывка и...

Справа выросла фигура Ярослава. Саженный замах палок — и он заступил лыжню. Лида, не успев притормозить, с разгону налетела на парня, вместе с ним повалилась в сугроб.

— Ты не ушиблась? Не ушиблась? — Ярослав стряхивал рукавицей снег с ее куртки.

«Пустяки!» — хотела крикнуть Лида — громко и весело, но у нее вдруг задрожали губы. Припав к его груди, Лида заплакала.

— Лида, Лидушка,— растроганно бормотал он.— Ну

погоди ты... Постой... Я ведь загадал: не догоню до леса — совсем потеряю...

— И я... я... я тоже...

Давно так долго и сладко не плакала она. Ярослав стряхивал с ее волос белые пушинки.

— Не хочу больше. Не могу,— сквозь всхлипы говорила она.— Устала...

— Сенечка дома?

— Наверное, приехал. Выходной у него сегодня.

— Идем к нему.

Она вздрогнула, сжалась, затихла.

— Все равно не миновать. Больно, зато честно. И нам и ему станет легче. Одним махом...

4

«Вот оно!» — Сенечка испуганно, как на затаившегося зверя, смотрел на две пары лыж, стоящих рядом у стены. Не спуская с них боязливого взгляда, тихонько потянул дверь.

Движения его были медленны. Вот он двумя руками стащил с головы шапку, подержал ее перед собой, потом неловко нацепил на крюк вешалки. Так же неуклюже двигая руками, стянул полушубок.

— Здравствуйте.

— Здорово, Семен,— глухо ответил Ярослав.

Он сидел у стола, курил. Лида стояла подле, вцепившись в никелированную спинку кровати.

— Выйди, пожалуйста, Лида.— Ярослав кинул недокуренную папиросу в копну окурков на чайном блюдце.— Мы поговорим.

— Нет.

Ярослав медленно распрямился, встретился взглядом с Сенечкой, шагнул к нему.

— Не знаю, как объяснить. Тут слова не подберешь. Так вот получилось...

— Вор ты! Вор! — Сенечка громко проглотил слюну.— Обокрал и доволен...

У Ярослава синевой подернулись щеки. Лида умоляюще прижала руки к груди.

— Не надо, Сеня.

— Не о тебе, Лидочка. Надоело одной, вот и...

— Эх ты! «Надоело»! — укорил Ярослав.— Не от скуки, не забавы ради. Если бы не любили...

— Лида?

— Да.

— А-а-а!.. И ты... Тогда что же... Тогда я... Сейчас вот... Это самое... Мне ведь ничего не надо. Раз-два — и собрался...

Он еще бормотал что-то, такое же нелепое и бессвязное, выделывая непослушными руками необъяснимые движения и в то же время медленно придвигаясь к жене. Ярослав не спускал с Сенечки настороженных глаз.

— Сеня! — крикнула Лида.

— Не надо. Не говори. Сейчас уйду. Оставайтесь. Живите.

— Сами уйдем,— тихо выговорил Ярослав.

— Зачем мне пустой скворечник?

Подошел все-таки к жене вплотную и шепотом, в самое лицо:

— Правда?

Лида наклонила голову.

Повернулся к Ярославу:

— Все равно — вор!

Лида торопливо вытащила из-под кровати старенький студенческий чемодан.

Ярослав хотел что-то еще сказать, но только махнул рукой и, подхватив чемодан, толкнул дверь, пропуская вперед Лиду. Та на миг задержалась у порога, глянула на мужа.

— Прости, Сеня...

5

Сенечка вцепился в угол стола и грузно осел на табурет.

В щель двери сочилась струйка ледяного воздуха и широкой волной растекалась по комнате. Холодок взбодрил Сенечку. Поднялся, добрел до кровати, ткнулся головой в подушку.

С каждым мгновеньем тишина становилась все тяжелей и удушливей. «Что делать? Что?» — и мысленно и вслух спрашивал он себя и не находил ответа. Другие в таких случаях хватались за нож или топор, на худой конец — с голыми кулаками кидались на обидчика, никого и ничего не щадя. Но Сенечка никогда в жизни не дрался...

Наткнулся взглядом на ружье. Это легко и просто. Где же коробка с патронами?..

«А Лида?..» Сразу отрезвел. Наскучило одиночество, поверила... Пройдет. Опомнится. Разглядит. Вернется. Только так...

Осмысленно огляделся. Слез с кровати. Сорвал полушубок вместе с вешалкой.

А как переступил порог покинутой скворечни, снова вцепилась в душу тоска и начала когтить. В расстегнутом полушубке, без шапки, он куда-то брел по сугробам, скользил и падал на оледенелых тропах.

Сколько плутал? Где был? Как очутился в столовой — не помнил. К действительности его вернул раздраженный голос Сони Лучковой:

— Чего уставился? Торчишь, ровно столб. Говори, что надо!

Сегодня некстати приболела буфетчица, а день выходной, желающих выпить хоть отбавляй, и Соне пришлось самой становиться за стойку. За день намоталась, издергалась, потому ни с того ни с сего и накинулась на Сенечку.

Он поглядел на нее, попросил:

— Налей стаканчик.

— Чего?

— Все одно.

— Послабже иль покрепче?

— Давай, чтоб с ног...

Соня подала полный стакан водки. Сенечка залпом выпил. Покрутил в руке пустую посудину, заглянул внутрь.

— Повтори.

И снова опорожнил одним духом. Тупым взглядом ошарил влажное стеклянное нутро.

— Еще.

Такого еще не бывало, чтобы помощник мастера Сенечка стаканами пил водку. Соня встревожилась, пригляделась к нему и поняла: страшное несчастье пристигло мужика.

Подавая третий стакан, тихо спросила:

— С чего ты вдруг?

— Лида ушла.

— Куда? — не думая, спросила Соня, начиная понимать суть происшедшего.

— Известно.— Сенечка медленно, сквозь зубы выце-

дил водку. Поставил стакан на стойку.— Пришел и... пожалуйста... Скворечник без скворчихи...

«Вот так и Платон уйдет. Насовсем». Смуглые Сонины щеки побелели. Навалилась грудью на стойку. Так стиснула оказавшуюся в руке мензурку, что та с тихим треском развалилась на куски. «Дура. Не сказала... Одно бы слово. И без слов бы понял. Надо было... Надо было... А стоит вымаливать подачку? Не прикипел — туда и дорога... А ребенок?..»

6

Они шли по поселку, как сквозь строй. Шли быстро. Лида еле сдерживалась, чтобы не припустить бегом, и все крепче сжимала руку Ярослава.

Тогда-то она и поняла: счастье бывает с горчинкой, как полынный мед...

Обессиленная от ласк, она лежала на свежей хрустящей простыне, в объятиях уснувшего Ярослава. Слегка кружилась голова...

Все свершилось.

Все сбылось...

От счастья по-сумасшедшему колотится сердце, спешит, будто выговаривает: сча-стли-ва-я! Сча-стли-ва-я!

Уйми его. Побереги силы. Спи. Устала ведь. Сколько волнений. Спи...

Ну что ты вздрогнула, заслышав шаги под окном? Это не он. Сенечка не подойдет к чужому окну. Раз поздно вечером он сильно поранился топором. «Беги к Русаковой,— закричала перепуганная Лида.— Она перевяжет. Скорей!» Кое-как оделась и выскочила следом, едва не сбила Сенечку с ног: он топтался у дверей, зажимая носовым платком рану. «Ты что?» — «У них свет не горит, спят, наверное. Неудобно беспокоить...»

Стоило прикрыть отяжелевшие веки, и снова то же: распахнутая дверка шифоньера, опрокинутый стул, смятое покрывало на постели, согбенная фигура Сенечки...

Добрый, хороший, очень много сделавший для нее, но нелюбимый! Что все эти годы творилось в ее будто усыхающей душе? Опостылел одинокий покой! И Сенечка знал! «Ешь апельсины и молчи» — а у самого ужас в глазах...

Что делать? Отказаться от любви? Отвернуться от счастья?

Сенечка и обнять-то так не мог: не смел. А этот все с маху, по-мужски. Милый. Как он увел ее... Даже не верится. Все позади. Хватит терзать себя. Никто не виноват, третий — всегда лишний... Спать. Спать...

Проснулась поздним утром. Ярослав сидел на постели, курил и смотрел на нее.

— Выспалась, золотена?

Сцапала его за бороду, пригнула к себе.

И нет никакой горчинки в ее счастье, и отлетели ночные думы. На душе покойно и радостно.

Ярослав крепко и жадно поцеловал ее в губы.

— Пусти,— укоризненно шептала она, силясь выскользнуть из его рук.— Светло ведь.

Он сжал ее еще крепче...

«Неужели всегда будет вот так?..» — подумала она, уронив голову на его плечо.

Часть третья

Глава первая

1

Когда стало очевидным, что рейсовый самолет из Туровска уже не придет, Мельник забеспокоился и позвонил Кремлевой — вдове Матвеича, которая теперь исполняла обязанности покойного мужа и так же, как он, выступала одновременно в трех лицах — начальника, диспетчера и радиста Пионерского аэродрома. Она открыто недолюбливала Мельника, считая его виновником гибели мужа, и теперь на настойчивые вопросы Германа Кузьмича отвечала односложно, кратко и сухо: понимаю, что вам необходимо в Туровск; знаю, не на пикник туда едете; связывалась с Сарьей, ни одной свободной машины...

— Но, черт возьми! Можно же что-то придумать! — взорвался Мельник, сраженный ее неуязвимым тоном.

— Сейчас мимо пойдет борт из Белоярья. Спецрейсом. Могу его посадить, попрошу, чтоб прихватили вас. Ночью будете в Туровске.

— Чего же тогда морочили голову? — и обрадовался и вознегодовал Герман Кузьмич.— Разве нельзя было...

— У вас десять минут на сборы,— бесцеремонно и холодно перебила Кремлева,— я не смогу дольше задержать самолет.

Герман Кузьмич кинул трубку, заехал домой за портфелем и сразу на аэродром. Там уже стоял подернутый изморозью рокочущий Ли-2 с распахнутой дверцей, возле которой нетерпеливо переступала Кремлева. «Газик» подрулил к хвосту самолета, Мельник выпрыгнул из машины и сразу в «Ли». Самолет развернулся и по-

катил. Держась за ребра стенки, Мельник прошел поближе к кабине. Какой-то мужчина прилип носом к заиндевелому оконцу. Мельник уселся напротив, вцепился в сиденье, пережидая, пока самолет взлетит. Тут мужчина отстранился от окна, повернулся, и Мельник узнал Лаврова, протянул руку, улыбнулся:

— Привет, Глеб Леонидыч.

— Здоров!

Все было, как тогда, четыре года назад, когда они вот так же вдвоем летели из Шанска на то совещание. И нет третьего лишнего, и то же странное щекочущее ощущение беспокойства, жажда беспощадной откровенности. Да, все было, как тогда, только сами они уже не те. И дело тут не во внешних переменах, не в новоявленных морщинах, не в седине. Все эти годы они не выпускали один другого из виду, знали все о делах друг друга (триста километров в Сибири — не расстоянье), и все выше, неодолимее становилась меж ними та баррикада, которую воздвиг Лавров во время прощального разговора в Шанске, в бывшем своем кабинете. И хотя с тех пор как разошлись их пути, они ни разу открыто не сталкивались, не спорили, не уличали и не убеждали один другого, в душе и в мыслях они оставались неразлучны, не прерывая затянувшегося поединка. И вот судьба вновь их свела на крохотной, парящей в небе арене, с которой не сойти.

Неспешно расстегнув полушубок, Лавров достал папиросы. Мельник нашарил спички. Взяли из одной пачки, прикурили от одного огонька. Просинили дымом пахнущий бензином и стылым металлом воздух.

— Спасибо, что прихватил. Пришлось бы вертолетом до Сарьи, а там утренним на Туровск. Терпеть не могу ждать да догонять,— хрипловатым голосом, как можно беспечней выговорил Мельник, раскидывая циркулем длинные тонкие ноги в унтах и прижимаясь плотнее спиной к металлическим ребрам вогнутой стенки.

— По мне главное: кого догонять и кого ждать,— Лавров выделил голосом «кого», выдержал небольшую паузу, из-под прищура кольнул собеседника острым насмешливым взглядом.— Всю жизнь догоняем, всю жизнь гонимся. За мечтой, за славой, за рекордом.

Это была пристрелка, но не слепая, не на авось, только снарядами малого калибра. Первый же лавровский выстрел угодил в самое больное место. Но Мельник и

виду не подал и, чтоб убедиться, не случайный, не шальной ли залетел, сказал с легкой ехидцей:

— Ты все еще под алыми парусами. Мечта, слава, а материальные стимулы за борт?

— В голом виде — да. Деньги, например. Если человек живет и трудится ради рублей, какой он к черту строитель коммунизма? Жажда наживы разобщает, а все, что разъединяет людей,— зло! — Лавров говорил громко, жестикулировал энергично и широко, распахнутые глаза азартно посверкивали.

Где-то в потаенной, недоступной чужому взору глубине Германа Кузьмича колючим сверкающим завитком крутнулось ироническое самодовольство. «Ничему его не научила жизнь. Поседел, ссутулился, а как мальчишка, не бережет себя. Ишь как распалился! Будто ему три жизни отпущено, будто у него асбестовые нервы и капроновое сердце. Хочет лбом стенку прошибить. Ну-ну, набей еще шишек, поставь пару фонарей...» Чтоб продлить удовольствие, Мельник незамедлительно подтолкнул противника:

— Материальные стимулы ниспровергаешь, а сам оранжерею строишь, плавательный бассейн...

— Для всех и для меня — совсем не одно и то же. Первое — сплачивает, роднит людей, второе — наоборот. Я бы здесь, на Севере, не зарплаты увеличивал, а создавал людям прекрасные условия. На тебе отменную квартиру. Получи прекрасную школу, и ясли, и спорткомплекс. Вот тебе дворец, ресторан и еще бог знает что. Но все это — общее, для всех. Не у каждого — своя сберкнижка, личный автомобиль, персональная дача и с ними зависть, корысть, жадность, а у всех все общее, и чем оно лучше — тем всем лучше. Понимаешь? Тут — наше будущее...

Глаза Лаврова светились, звенел его взволнованный голос, лицо сияло улыбкой, и, пораженный этим, Мельник вдруг совершенно неожиданно ощутил прилив зависти к этому не стареющему душой человеку. Сколько его стегали, секли больно и публично за то лишь, что слишком прям да не гибок, да норовит против ветра, поперек течения. Славой обделили, почестями не забаловали. А стоил того, будь он проклят, стоил!.. Был и остался безвестным начальником глухоманной экспедиции. «Погоди! Не то еще выкусишь, когда рванет по трубам сибирская нефть с мельниковским клеймом, а ты

будешь квакать на своем болоте, хоть под тобой — нефтяной океан...»

Герман Кузьмич снисходительно, самодовольно, сверху вниз глянул на Лаврова и сказал, пряча издевку:

— Бодливой корове бог рогов не дал. Вот бы тебе власть...

Будто и не заметив насмешки, Лавров даже голосом не дрогнул, не притушил счастливой улыбки.

— Мне и той власти, какая есть, за глаза, не знаю куда с ней деваться...— Вдруг, не меняя тона и выражения лица, ударил наотмашь: — Не тужься мир своим аршином мерить: коротковат да и подзахватан лишку.

«Вот оно!» — похолодел от восторга Мельник, мигом напружиниваясь. Спросил, будто нож всадил:

— Завидуешь?

— Нет! — с драчливой поспешностью и воинственным азартом тут же выпалил Лавров и повторил еще громче, убежденней: — Нет! Дивлюсь. Подготовленный, умный, не побоюсь сказать, талантливый человек — и такая душонка. Тщеславная и завистливая. Погоди! Не вскакивай. Давно надо было сказать тебе это. Да ведь ты знал, что сейчас скажу, и ждал, и был уверен, что отлетит, как горох от стенки. Почитал себя неуязвимым, непробиваемым, забронзовелым. Не бледней. Тут без свидетелей, а это для тебя — главное. Ты ведь...— рывком встал, и тут же вскочил Мельник.

— А, черт...— Лавров, досадливо поморщась, сел. Тут же опустился на сиденье и Мельник. Их взгляды встретились. Мельник не увидел в глазах Лаврова ни злобы, ни ехидства, лишь была там угрюмая, недобрая решимость, и оттого что-то тягостно сдвинулось в душе Германа Кузьмича, и он почувствовал непривычную, зыбкую неуверенность и подосадовал и попенял за то себе и поспешил изобразить высокомерное превосходство. Но Лавров, видно, угадал душевное состояние Мельника.

— Зря пыжишься,— укоризненно сказал Глеб Леонидович.— Да и перед кем? Я тебя хоть и задним числом, но постиг. Знаю, как ты в Шанск проник и как Яркова на меня натравлял... Но я сейчас не за то, не за личные обиды. Ради них не стоило порох переводить. Тут принцип, большая политика...— Облизал побелевшие разом, опаленные нутряным жаром губы.— Твоя позиция: даешь — и никаких гвоздей! Люди — винтики,

ты — маховое колесо. Тебе все позволено, ты неподсуден... Отстал ты от века на много лет. Это тогда, в тех условиях, на том уровне материальной и духовной жизни общества, подобные взгляды хоть и со скрипом, но имели обращение. Теперь такие, как ты, оказываются поперек жизни, оттого и приспосабливаются, хамелеонничают. Ты ведь снаружи-то не просто современен, а впередсмотрящий, правофланговый. Риску — не страшишься, смелости — не занимать, ради дела — себе глотку перервешь. Размах, энергия, убежденность — все на виду! А по сути — приспособленец! Карьерист! Напряженный, ритмичный, будничный труд, без шумихи рекордной, без оваций, — не по тебе. Штормовая болтанка оправдывает любой беспорядок на корабле, вот ты и раскачиваешь его, нагоняешь волну. А потом себе поешь осанну, как покорителю стихий...

Только поначалу Лавров говорил спокойно, рассудительно, но скоро он закипел яростью, возвысил голос, и в глазах все ярче пламенел гнев. Мельник даже бровью не шевельнул, не отвел глаз. Раскаленные, изостренные гневом слова Лаврова лишь ярили Мельника.

— Ты раб, Лавров! Трусливый, потный раб! Чужих мыслей, чужой воли! Неповторимый и тупой! С твоей медвежьей силой и ограниченностью ты годен лишь корчевать, рыхлить почву, но засевать — тебе не дано. Ты нащупал первое в Сибири, Вавиловское, нефтяное месторождение, поставил буровую, но лаврами первооткрывателя не тебя венчали, хотя ты и Лавров! Ты повернул разведку на север, откроешь, может, самые мощные нефтяные залежи, а лавры перводобытчика опять-таки достанутся не тебе. Жалкий неудачник! Ты только вертишь сцену, а играют на ней другие, им слава, почести, овации. С того и беснуешься, завидуешь, как сукин сын, высасываешь «теорийки», бренчишь о прошлом. Уж если принять твои формулировочки, так прошлое — это ты. Ты! В наш век точного прицела и беспощадного расчета ты, со своими дачками да баньками, со своей манией всеобщего благоденствия, выглядишь юродивым. Ну и потешайся веригами, кутайся в пропотевшую, вонючую власяницу, а мы будем жить — широко и весело, черпать пригоршнями удачу и успех, давать людям и брать себе, потому что и мы — не роботы и тоже живем один раз...

Вибрирующе гудели моторы. Металлическая крыла-

тая громадина продиралась сквозь сгустившиеся облака, секла их винтами и крыльями. Но двое в самолете не видели этого. Им было тесно, несносно, душно рядом...

2

Свежий номер газеты Мельник купил в киоске, специально оборудованном для участников пленума. «Посмотрю на заседании»,— решил он, одним взглядом окидывая газетный разворот. И тут же прикипел взглядом к крупному заголовку: «Богадуровское или Осокинское?» Под большой, почти в полполосы, статьей стояла подпись: «П. Русаков, главный геолог Пионерской экспедиции». За чтением статьи Герман Кузьмич не заметил привычной процедуры открытия пленума и не слышал доброй трети доклада Смолина.

Собственно, в статье не было ничего неожиданного и нового для него. Все это уже не однажды высказывал Русаков, особенно во время спора из-за того, какую площадь разбуривать — Богадуровскую или Осокинскую.

Не новыми были и возражения Русакова против господствующего у геологов критерия оценки деятельности экспедиций — не по приросту запасов нефти, а по пробуренным метрам, израсходованным рублям и т. д. «И в угоду этому критерию, из боязни потерять первенство мы отказались от несравненно более перспективной площади, начав разбуривать менее перспективную. Даем мало нефти, но зато прочно держим знамя передовиков социалистического соревнования»,— этими словами Пантелей Ильич заканчивал свою статью.

Не будь вчерашнего поединка с Лавровым, появись эта статья за день до пленума иль через день после него, Мельник отреагировал бы иначе, а теперь он вознегодовал на Русакова. Спор дома между собой — одно, а выступление в газете — другое. Да еще теперь. Может быть, через несколько минут придется подняться на трибуну с тщательно подготовленной речью, и эта статья — как неожиданная подножка. Читая ее, Мельник в душе не раз последними словами ругнул настырного геолога.

Но в перерыве к нему подошел Смолин и похвалил статью: смело, дельно, затрагивает серьезные проблемы. Герман Кузьмич поддакнул. Пришлось еще раз пере-

читать русаковское творение. Пантелей Ильич нигде не выпячивал себя, не противопоставлял Мельнику, а всюду говорил во множественном числе — «мы сомневаемся», «мы думаем», «нам кажется». Нам — значит, и начальнику экспедиции, ибо уж с кем, с кем, как не с ним решает главный геолог все свои проблемы. Уцепившись за эту мысль, Герман Кузьмич достал машинописные листы будущей речи и принялся ее исправлять.

Речь Мельника, видно, пришлась по душе Смолину. Он ни разу не напомнил о регламенте, хотя оратор говорил почти полчаса. Герман Кузьмич рассказал о практических выводах, которые они сделали из недавнего постановления областного комитета партии об ускорении геологопоисковых работ на нефть. Как всегда, он не скупился на цифры. Пробурено сверх плана 14 000 метров. Годовое задание по приросту разведанных запасов выполнено за восемь месяцев. И так далее. Потом он заговорил о режиме экономии. «Семь котельных перевели на нефть, сэкономили в месяц четырнадцать тонн угля, или три с половиной тысячи рублей, а в год сто шестьдесят восемь тонн и сорок две тысячи...» В столь же пышном цифровом оперении были оглашены ближайшие планы. «Применив повсеместно долото меньшего размера, увеличим скорость проходки на столько-то метров, повысим производительность труда на столько-то процентов, сэкономим столько-то рублей». И так далее.

Цифры, цифры, цифры...

И все они под конец речи выстроились вдруг в едином направлении, убеждая слушателей в необходимости начать немедленную добычу нефти на месторождениях, открытых Пионерской экспедицией.

Высмотрел Лаврова в зале. О, как он молнии мечет. От вчерашнего, поди, еще бока гудят. Не быть тебе первым. Объективные условия только умных да расчетливых ввысь подкидывают, таких юродивых — башкой об землю. «Твою козырную не глядя покроем. Учись». И, не спуская с Лаврова взгляда, Мельник сказал:

— Могут спросить — почему именно у нас, а не в Белоярье, не в районе Мертвого озера разворачивать нефтедобычу? Отвечу...

И снова пустил в ход цифры, и те разноголосым хором завопили: «Мельник прав!»

— Только что вышла газета со статьей нашего глав-

ного геолога Русакова,— сказал в заключение Герман Кузьмич.— Может, кое-кому высказанные им мысли покажутся спорными. Но они появились не с наскоку. У себя мы давно обговаривали идею пересмотра условий оценки труда геологов. Что касается — Богадуровская или Осокинская? — то тут мне хочется внести некоторую ясность. Мы начали разбуривать менее перспективную Осокинскую площадь вовсе не из-за малодушия и не из желания любой ценой закрепиться в списке передовиков. Здесь, видимо, интерпретация газетчиков. Нам нужно было накопить силы, сконцентрировать резервы для штурма Богадуровской площади. И мы начнем этот штурм! Уверен, что ни отдаленность района, ни его труднопроходимость не выбьют нас из ведущей тройки Союза не только по приросту запасов нефти, но и по всем иным показателям. Оценивать же деятельность геологических экспедиций все-таки надо не по рублям и метрам. В этом мы твердо убеждены...

На место возвращался неторопливо. Уселся прочно. Из-под надвинутых на глаза лохм незаметно постреливал пытливым взглядом по сторонам, проверяя впечатление от собственной речи. Кажется, стрела достигла цели. Ростовский что-то внушает Хитрову, раздраженно и необычно торопливо; улыбаясь, Мурзаев слушает ярковскую воркотню. В президиуме оживленный обмен мнениями.

И один и другой оратор отговорили, а в зале все никак не восстановится деловая чуткая тишина. Но вот объявили выступление начальника Белоярской экспедиции, и разом стихли шепотки, скрип сидений, шелест разворачиваемых газет.

Лавров сразу заговорил, как всегда, запальчиво и категорично. Большую часть речи он посвятил «болячкам, не сковырнув которые, трудно будет идти вперед». Нужна экспедиции собственная современная лаборатория, надо помочь морозовскому КБ довести буровую на воздушной подушке, следует привлечь социологов для научного анализа социального микроклимата северных геологических поселков с тем, чтобы, учтя просчеты, не повторить их при обустройстве нефтепромыслов. Отсюда он перекинул мостик к разработке нефтяных месторождений Среднего Приобья.

— ...Хватит трубить о разведанных запасах, пора пустить их в оборот. Топко, далеко, дорого? Старая

песня. У нас от нее давно трещат барабанные перепонки...

И пошел рубить, и зачал сечь перестраховщиков и трусов. А закончил предостережением:

— Не обольщаться тем, что в Пионерском нефть взять легче, чем подле Мертвого озера. Если трезво глядеть вперед, то надо начинать именно с обустройства мертвоозерских промыслов, оттуда тянуть первую нитку первого сибирского нефтепровода. По прямой до нефтеперегонного завода от Мертвого озера на сто пятьдесят километров дальше, чем от Пионерского, и болота страшнее, и прочие дополнительные трудности, но опорным пунктом нефтяной Сибири все равно будет уникальное Мертвоозерское месторождение, на нем и надо концентрировать и внимание, и силы, и средства...

В поддержку Лаврова уверенно и резко высказался Ростовский. Он поведал пленуму, что белоярцами уже сейчас разведано пять структур с неоспоримыми запасами, в целом никак не менее ста пятидесяти миллионов тонн. Неудавшаяся попытка нащупать водонефтяной контакт между структурами показала, что они слиты и составляют единый гигантский прогиб. Есть основания полагать, что белоярцы открыли мощнейшее месторождение.

— ...Это будет нефтяная жемчужина мировой величины, одна из самых крупных среди известных на земле...— И он назвал такие цифры предполагаемых запасов нефти в районе Белоярья, что зал ахнул.

Пока Ростовский доказывал необходимость прекращения разведочных работ в южных районах области и перемещения всех геологических экспедиций отсюда в Заполярье, обещая там несметные запасы газа и нефти, Мельник лихорадочно ломал мозги над тем, как раскрутить нефтедобычу в Пионерском, и прямо-таки возликовал, наткнувшись взглядом на милейшего Протуберанцева. По тому, как нервно пощипывал тот белый клин бородки и недобро косил на оратора, Мельник понял — не по душе Альфреду Аристарховичу слова профессора, и, вспомнив слышанную краем уха историю затянувшегося спора меж ними, решился. Весь перерыв они проговорили, уединясь. Протуберанцев пригласил заглянуть вечерком к нему в номер. В заключительной речи Смолин добрым словом помянул Пионерскую экспедицию и ее начальника.

— Нам нужны не столько метры, сколько тонны. Мы должны в будущем году начать добычу нефти. Теперь уже все согласны с тем, что в Сибири есть большая нефть, но далеко не все убеждены в ее практической целесообразности, считая, что эту нефть невозможно взять из-за природных условий. Можно бы махнуть на маловеров рукой, если б от них не зависело, когда, как и где начать добычу. Их могут сразить лишь миллионы тонн добытой нефти. Недавно я был в Белоярье. Пожалуй, Ростовский прав...

Не спуская глаз с оратора, Мельник согласно кивал головой, а сам думал: «Ликуй, Лавров. Седлай белого коня. Давай, давай. Все равно не ты на нем окажешься. Еще один горький урок ждет тебя. Еще одно разочарование. Не все очевидное оказывается наверху. Посмотрим, кто — настоящее, а кто — прошлое...»

Утром в номер заглянул главный редактор телестудии и уговорил Мельника выступить по телевидению.

...Рядом с Германом Кузьмичом сидела красивая, элегантно одетая женщина — ведущая передачи. Когда он, заглянув в шпаргалку, с хрипотцой произнес первую стандартную фразу, по тонкому красивому лицу женщины скользнула снисходительная улыбка. Мельника будто плетью ожгли. И уже совсем другим — упругим и сильным голосом он заговорил:

— Вы сидите в теплых комнатах, удобно устроившись в креслах, и наверняка недоумеваете: зачем выпустили этого геолога из какого-то поселка Пионерский, который и на карте не значится? Что нового скажет он? А в это время сквозь тайгу, по пояс в снегу, пробиваются караваны балков с сейсмиками, столпились у костра усталые перемерзшие топики, несут бесконечную вахту буровики. Смелые, сильные люди — геологи. Это они нащупали стальным долотом нефтеносные артерии Сибири и вскрыли их. В глухой тайге и тундре, за тысячу километров отсюда. Вдали от дорог, от городов и сел. Что привело в эти дикие края первопроходцев? Как, какой ценой разбудили они таежную глухомань?

Все, кто находился в павильоне студии, сгрудились вокруг освещенного пятачка. Герман Кузьмич обращался к ним, как к участникам разговора, и оттого его рассказ стал еще убедительнее и живее.

Повесть о долгом и трудном пути к сибирской нефти он начал с того момента, как пришел проситься в экспедицию Вавилова, которая направлялась в эти края.

— ...Сергей Александрович Вавилов не вернулся из поиска. Но дело Вавилова не погибло, его продолжили мы — ученики и последователи. И не случайно наше первое нефтяное месторождение мы нарекли Вавиловским...

Потом он поведал о трудностях и неудачах, через которые прошли разведчики на пути к первому месторождению.

— В пятьдесят первом я работал начальником экспедиции. Все силы уходили на добычу солярки, хлеба, валенок, денег. По три месяца не платили зарплату. Не на что было лошадей нанять для сейсмиков. Но сильные духом продолжали поиск...

Бесшумно перемещались телекамеры, наезжая то с одной, то с другой стороны. Сухо потрескивали «юпитеры».

— Почти двадцать тысяч геологов простукивают, прощупывают, просвечивают земную твердь матушки-Сибири, выискивая нефтяные подземные моря. Девять экспедиций ведут разведку на нефть, в том числе и наша Пионерская. Чего мы добились? Каковы наши планы, близкие и далекие?..

Перевел дух, кинул взгляд на циферблат больших электрических часов, заговорил медленней и глуше, но когда речь зашла о ближайших перспективах, голос его вновь загремел во всю мощь. Он так живописал Славгород, будущую столицу сибирских нефтяников, что ведущая зааплодировала.

...Счастливому — в проруби тепло, под дождем не мокро. И хотя назавтра Герман Кузьмич полдня проторчал в аэропорту, ожидая летной погоды, а лететь ему пришлось в грузовом неотапливаемом «Ли», настроение его от этого ничуть не испортилось...

3

Беспокойно переступая на месте, будто пританцовывая, Герман Кузьмич рассказывал о пленуме, попутно приказывая, решая, выслушивая мнения.

— Твоя статья, Пантелей Ильич, оказалась как нельзя кстати. Теперь у нас развязаны руки. Форсируем

Богадуровскую. Надо заново пересмотреть карту прогнозных и разведанных запасов. Мы все еще здорово их занижаем. Особенно цифру перспективных запасов. Ей-богу. Перестраховка — штука не лишняя, пожалуй, нужная, и все же... Идет накопление сил для последнего штурма. Все решат тонны. Мы можем первыми поднять знамя победы. Черт возьми! Надо рассказать людям. Раскрутить пропаганду. Все стимулы — и материальные и моральные — в действие. Не скупиться на поощрения и премии... Кстати, получил письмо от супруги Вавилова. Благодарит за память о муже. Прислала его фотографию. Ты, Сарин, организуй, чтоб увеличили, и портрет в красный уголок. Думаю, главк и министерство начнут изучать наше предложение о пересмотре критериев соревнования. Обком считает — дельная вещь. При этом, чтобы удержать прежние позиции, надо резко увеличить темпы прироста запасов. Ни одной пустой скважины.

— Так не бывает,— подал голос Пантелей Ильич.

— Значит, каждая живая должна давать нефть и за мертворожденную подругу.

— Разве закажешь, сколько она должна дать? — не совсем уверенно проговорил Сарин.

— Заказать нельзя, а предсказать можно,— пробасил Юрченко, теребя кончики запорожских усов.

— Вот именно! — подхватил Мельник.— Для того и существует сейсморазведка. Через неделю соберем коммунистов, обсудим итоги пленума. Русаков, кончай доводку карты. Я объеду сейсмоотряды. Никитский, проверь технику. Все осмотреть, ощупать, привести в готовность номер один.— И уже другим, доверительным тоном: — Если наши разведанные запасы дотянутся до ста миллионов да миллионов двести — триста дадим перспективных — весной здесь начнется пробная эксплуатация. Понимаете, что это значит? Мы нашли первую сибирскую нефть, нам первым начинать и добычу. Логично? К славе первопроходцев, первооткрывателей прибавится слава перводобытчиков. Попробуй тогда вычеркни нас из Истории открытия Сибирской нефтяной провинции! Попробуй возрази, что не на месте Пионерского должна встать белокаменная столица нового нефтяного края! Название ее давно у нас в кармане — Славгород. По-моему, прекрасное имя. Пока суд да дело, надо переименовать наш Пионерский в Славгород с

тем, чтобы это название осталось потом и у города, который тут встанет. Предвидя ваше согласие, я внес такое предложение в директивные органы...

— Правильно.

— Доброе название.

— Обмыть новорожденного.

— За счет крестного батьки!

Посыпались шутки. Их встречали дружным хохотом. Пошла по кругу чья-то пачка сигарет.

Здесь собрались люди, объединенные любимым делом в одну семью. У каждого за плечами нелегкий путь. Ночевали в снегу. Тонули в болотах. Кормили гнус и комарье. Голодали. Отчаивались. Верили.

Молча выслушивали насмешки маловеров.

Плакали, подставляя пригоршни под первый фонтан нефти... Как же им было не радоваться теперь!..

4

Как это всегда бывало по возвращении из Туровска, не успел Лавров снять полушубок, а в кабинет уже вошел замещавший его Морозов, следом появился Прутов, потом Хижняк, потом Валька Буянов, а там потянулись другие... Облепили небольшой столик, вплотную приставленный к письменному столу, расселись кому где приглянулось.

У Лаврова была странная манера рассказывать: он то и дело прерывался и сам начинал расспрашивать.

— Я там насчет лаборатории высказался. Смолин поддержал. Как думаешь, Морозов, если разрешат, найдем в поселке работников иль надо из Туровска заманивать?..

— Втянул ты меня, Буянов, в авантюру со своей буровой на воздушной подушке. Уши бы тебе оборвать. Брякнул я с трибуны. Заместитель министра обещал подослать спеца высшей категории. Не опростоволосимся?..

— Семинар все-таки будет у нас. Я было обрадовался: поговорили да забыли. Со всей страны съедутся начальники экспедиций. Смолин говорит: «Пусть поучатся, как надо о людях заботиться и как эта забота сторицей отдачу дает». Бассейн нам, конечно, не добить, оранжерея только фундаментом порадует, так, Прутов?..

Ему отвечали не торопливо, а обстоятельно, дока-

зательно, с цифрами, расчетами, сомнениями, втягивая в разговор других. Порой тут же на ходу разгорался спор, и Лавров снова оказывался в гуще спорящих, и не всегда его мнение было решающим.

— Совсем не нравятся мне показатели наших буровых бригад,— огорчился Лавров, разглядывая сводку.

— Не так уж и плохо,— не согласился Валька Буянов.— Хомутов двадцать три тысячи набурит, это точно.

— Хомутов — двадцать три, а Гарифуллин — восемнадцать,— недовольно проворчал Лавров.

— Ну и что? — не понял Прутов.— На то и соревнование.

— Соревнование-то социалистическое,— укоризненно поглядел на него Лавров.— Не только обгоняй, но и помогай. Вот если бы все четыре перешагнули за двадцать. Пусть коренник на полкорпуса вперед вышел, дал двадцать три, а пристяжные по двадцать одной, а то лучше по двадцать две, это была бы стоящая упряжка, а так... Проглядели мы что-то. Чем можно, надо до конца года помочь Гарифуллину.

— Бригада у него разношерстная,— пояснил Морозов и привычно запрокинул голову, нацелясь бородой на Лаврова.— Мягковат он. Дело знает, нюх, опыт — все есть, а вот этого,— сжал кулак, легонько и выразительно пристукнул им по столу,— не хватает. Когда бригада обкатается, он не хуже Хомутова потянет, но хватит ли силенок обкатать?

— Слу-у-шай,— дрогнувшим голосом протянул Лавров, и глаза его вспыхнули, и все сразу притихли, заинтересованно уставясь на начальника.— Слушай. А что, если их поменять? Ну чего вы на меня уставились? У Хомутова бригада спаянная, притертая, вот туда и поставить Гарифуллина, а его бригаду Хомутову препоручить. Ну, пусть не насовсем, на время, пока подтянутся, приработаются. Как?

— А Хомутов пойдет? — засомневался Прутов.

— Пойдет,— заверил Морозов.— Настоящий мастер и первостатейный коммунист.

— Точно! — тут же подхватил Прутов, будто не сам только что сомневался.— Мы ему как-то в бригаду фруктов завезли, а другим не хватило, так он меня так отчитал...

— Соберем коммунистов, потолкуем о планах, о недоделках, подведем базу под это начинание, и пусть

Хомутов решает,— заволновался Лавров и встал.— Понимаете? Сейчас ведь важно не только выработку. Сэкономить. Повысить. Но чтоб не ради рубля, не под нажимом — добровольно и осознанно. Жить, жить надо лучше. Дружнее, добрее, чище... Вот-вот хлынет нефть по трубам... Мы победили. Слышите? Мы — победили! Но если наша победа будет оцениваться только этим открытием, наиважнейшим, наинужнейшим, но только им одним...— Горько сморщился, покачал головой.— Чуете? Мы должны стать на ступеньку ближе к тому святому, что зовется коммунизмом...

Глава вторая

1

Михаил Николаевич вязал мережу для наметки. Небольшие руки проворно орудовали немудрящим инструментом, сеть росла на глазах, но отрешенное лицо мастера и блуждающий взгляд свидетельствовали о том, что его нимало не интересует это занятие. Мысли были далеко отсюда, он заново переживал давнюю трагедию.

Слегка прищуренные глаза Ветрова видели гигантский огненный столб, который с оглушающим неземным ревом колыхался на месте буровой вышки. Обрамленное густым черным дымом оранжевое пламя лизало небо, разбрызгивая вокруг огненные хлопья.

Горела скоростная скважина Р-94. Его бригада прошла заданную глубину в небывало короткий срок, установив долгожданный рекорд скорости бурения. Испытатели допустили грубейшую ошибку при опробовании скважины, и вот этот чудовищный костер. Тысяча тонн в сутки!

Пламя слизнуло вышку, выело в земле огромный кратер и бесновалось, неистовствовало, на десятки метров никого не подпуская к себе.

Бессонные ночи, неумолимо-железные графики проходки, осипшие от перебранки, качающиеся от усталости люди, шумный восторг, вызванный телеграммой с вестью о всесоюзном рекорде,— все сожрало дикое пламя.

Откуда-то, не то из Башкирии, не то из Татарии, ждали специальную аварийную бригаду бесстрашных

укротителей огня. Но бригада почему-то задерживалась. Люди изнервничались, издергались. Попытались сбить пламя взрывом — не получилось.

Вертолеты подвозили представителей всевозможных организаций и прессы. День и ночь совещались, обсуждали, спорили, подсчитывали. А пламя буйствовало, расплавило снег на полкилометра в окружности, закоптило, опалило, изжарило обступившие буровую сосны.

Говорили, что есть какая-то турбина для тушения подобных пожаров, но она была еще не опробована, не испытана... да мало ли что говорили растерянные, измученные, озлобленные люди.

Кто подсказал идею, намекнул, или мысль сама по себе родилась в его голове, Ветров не помнил. Только все ухватились за это предложение, как тонущие за опрокинутую лодку. Рядом с горящей скважиной пробурить еще одну, наклонную, точно рассчитав направление, дотянуться ею до русла огненного фонтана и «задавить» его глинисто-цементным раствором.

Вышку монтировали все — от начальника экспедиции до сторожа. День и ночь.

Трудно бурить наклонную скважину, да еще с таким точнейшим прицелом. Он спал по три-четыре часа в сутки. Когда же спал Сенечка? Сколько помнит, Сенечка всегда был рядом. И бригадой командовал, едва он сам, сраженный усталостью, валился на топчан. Диковинной крепости мужик. Вот такие, наверное, с одним орудием по суткам сдерживали лавину немецких танков...

Метелило. В отсветах гигантского костра снег казался красноватым. И лица людей, и лес, и сугробы — все красновато-черное.

Сколько людских сил поглотило ненасытное пламя? Когда оно заколыхалось, оседая, медленно вползая в горловину аварийной скважины,— все опьянели от радости. Мельник целовал всех подряд... А он, Ветров, как сына, притиснул к груди Сенечку.

...Сколько лет они рядом, а Сенечка не меняется. Весь нараспашку, что потяжелей — на свои плечи. Ни одно дело из рук не валится. «Сучий хвост Ярослав. Мало девок вокруг? Говорят, невеста была в Ленинграде. Обокрал такого мужика. Не узнать Сенечки...»

Встала в памяти первая встреча с ним, на другой день после того, как Ярослав увел Лиду. Помятый, с

опухшим лицом и пустыми глазами, Сенечка стоял у заиндевелого Ми-4. Увидев его, Ветров не сказал ни слова, руку только сжал крепче обычного да отвел глаза...

«Бородатый сатана. Все ему нипочем, легко и просто. Интеллигент паршивый. Песенками бабу сманил. Надолго ль его хватит?» Мысленно браня Ярослава, Ветров сам себе не решался признаться, что дело не только в Сенечке. Наступает старому мастеру на пятки бригада Грозова. Того и гляди, выскочит на первое место. Зря тогда горячку спорол — согласился с Русаковым. «На равных!» Уже проглянуло первое «окошечко», хоть и невелико, каких-нибудь три-четыре дня, а все же не то, что прежде...

Ах, Русаков, Русаков! Специально приехал, предостерег: «Бить тебя на парткоме будут».— «За что?» — взъярился сразу Ветров. «Вот за это»,— указал глазами на предвыборную листовку с портретом Ветрова. Как они тогда поругались! Чего только сдуру не наворотил, вспомнить стыдно. А он на парткоме защищал Ветрова. «Оступился. Увлекся. Качнула слава». Но когда Михаил Николаевич закусил удила и начисто отмел претензии, Русаков первым проголосовал за выговор. С той поры словом добрым не перекинулись. Засела острогой жгучая обида в самом сердце Ветрова, и не то, что нет сил вынуть ее, а и прикоснуться к ней боязно и смертельно больно. С такой занозой в сердце долго не протянуть. И чем скорей вырвешь, тем лучше...

С завидной легкостью орудуют руки Михаила Николаевича, сплетая тонкие нити в крепкую сеть. Эту несложную, много раз повторенную операцию чуткие памятливые пальцы делали автоматически, без вмешательства рассудка, а голова была занята медленным перевариванием неподатливых, неприятных мыслей.

«Старею. Себя не обдуришь. Не морщинами, не сединой... Врастаю в землю. Оттого, как птенец, боюсь из гнезда выпасть, готовую стежку потерять. Плюнуть на все и уехать в Белоярье к Лаврову. Чай, обрадуется. Заполучить такого мастера кому не лестно?.. Ну, пусть что-то я недоглядел, прохлопал. Ну, занесся, заянился малость. И что? Задарма мне слава досталась? Не моим именем экспедиция славится? Завидуют! Как же: почет, достаток, независимость. Не украл свой достаток. Все этими руками. И не только себе. Ну, ближе своя рубаха.

Половина бригады ютится в балках. Молчат, потому что деньги большие получают, премии. Могли сообща хоть приличный барак выстроить? На всех один? Могли. Начхать на Юрченко. Себе ведь выбил и шифер, и краску, и стекло... Мельник одно: проходку давай, себестоимость снижай. Поперечишь ему — в пенсионеры запишут. А так — все лучшее первому Ветрову. Ни простоев, ни пробелов. Могли ведь и другого к Золотой Звезде представить... Мастер. Герой! Званья-то какие! Одними процентами их не оправдать. Да и чем люди вспомянут? Скажут: «Добрый погоняло был. Ни себе, ни другим спуску не давал...»

Тут неожиданно нагрянул Русаков. Рад был ему мастер, но поздоровался сдержанно и работу не сразу отложил.

А Русаков вроде и не заметил этого. Разделся без приглашения, прошел к столу, закурил. Вот только от предложенного Василисой угощенья отказался.

— Спасибо, но, ей-богу, некогда. Я по делу. Помощник твой от тебя уходит...

— Как уходит? — привстал Ветров.

— Не уходит, так уйдет. Не знаешь, что ли? Сенечка на Богадуровскую просится. Подальше от поселка, понимаешь?

— Понимать-то понимаю, да я не согласный. Такого помощника, как Сенечка, по всей округе не сыщешь.

— И все же... Хочу тебе кандидатуру присоветовать.

— Ну?

— Епифана Архипыча.

— Какого еще Архипыча?

— Качурина. У которого сынишка...

— Епишку Качурина? Смеешься? Нам коммунистическое звание присуждают, а ты... Он же пьяница и шаромыжник.

— Не пьет теперь.

— Сегодня не пьет, завтра — снова да ладом.

— Работник он добрый, дело знает. Понадломился только после гибели сына. Надо ему в себя поверить. У него ведь еще трое. Знаешь, как он живет? В лучшую бригаду помощником мастера. Человека спасем, а уж помощник из него выйдет отменный. Ручаюсь. Он ведь из тех, кто полумер не любит. Рубить — так сплеча...

— У меня из своих есть кого поднимать. Всю бригаду обижу.

— Не обидишь, если толком обскажешь, что к чему.

— Нет.— Ветров вдруг обидчиво скривился.— А коли начальство решило, пущай ставит хоть на мое место. Я ведь тут не привязанный...

И помимо воли понес такую несусветную околесицу, что у Русакова поначалу от удивления рот раскрылся. С минуту он слушал мастера, потом вскочил.

— Хватит. Я-то думал...

— Чего тянешь? Замахнулся — бей!

— Сам себя побьешь, и еще не раз. Будь здоров. Извини за вторжение...

— Постой, не горячись. Пойми...

— Не пойму, и не трать понапрасну силы. На разных языках говорим с тобой, Михайло...

И ушел.

Михайло! Так только мать его называла. Тяжелую жизнь прожила она. Не помнил, чтобы мать отдыхала. То за прялкой, то с граблями, то с навильником сена, то с дымящимся самоваром. В детстве мечтал: подрасту, дам матери отдохнуть, отоспаться. Старший брат женился — ушла к нему нянькать внуков... Вот и весь отдых. «Ах, мама, мама. Ушла ты насовсем, и нет тебе замены — пустота. Сам скоро дедом буду, все равно — пусто без тебя...»

Лежит на коленях недовязанная мережа: забыл о ней мастер. Вспомнил о матери, подобрел было, да вдруг ворохнулась засевшая в сердце обида, и уже не пожалел о сказанном Русакову. Впереди два выходных. «Махну к Лаврову, черт с ними!»

2

— Ну, обрадовал! Ну, спасибо! Вспомнил-таки, наведался...— растроганно говорил Лавров, тиская в объятиях Ветрова.

И столько сердечного тепла, столько скупой, но подлинной ласки было в его голосе, что Михаил Николаевич растрогался и, прижимаясь впалой щекой к жаркой тугой щеке, подумал, что вот и ладно все получилось, все и сбудется, как задумано, и останутся с носом шибко принципиальные Сарин да Русаков, а уж на новом-то месте он постарается и такой рекордик завернет — ахнут! Пусть после локотки кусают, умники, пускай казнятся, засылают гонцов с поклоном. Набаловал их:

безотказно, безропотно, вот и возомнили. На-кось, выкуси дулю с маслом...

Сначала Лавров потащил отнекивающегося Ветрова домой завтракать. Пока кормил да потчевал гостя чаем собственной заварки, Рита выспросила его обо всех новостях, обо всех знакомых по Шанску. Погоревала за Сенечку, поругала Ярослава, расспросила о Платоне и Рае. Хозяин больше интересовался работой, как добился рекордной выработки, почему долота реже меняет, каков грунт да глубина горизонта, и тут же уговорил Михаила Николаевича побывать на буровой у Хомутова, а вечерком встретиться с буровыми мастерами, потолковать по-свойски, посоветовать.

— Грех выпускать такого аса, не поэксплуатировав его,— смеясь, сказал Лавров и сразу после завтрака повез гостя на буровую.

Не раз в пути подвертывался удобный для Ветрова момент изложить цель своего приезда, но он все откладывал неприятный разговор и, лишь узнав, что скоро конец пути, решился. И сразу нахмурился, неловко умолк, подбирая нужные слова, а Лавров, приметив перемену в мастере, забеспокоился, стал выспрашивать, не занемог ли Михаил Николаевич, не укачало ль его, иль недоволен чем, и столько живого человеческого участия было в его взгляде и в голосе, что Ветров, отложив объяснение, вновь повеселел, разговорился.

Утепленные, с крылечками, с паровым отоплением, светлые и нарядные вагончики, душевая с сушилкой, столовая с белыми скатертями и цветами на столах, красный уголок с шахматными столиками, журналами и газетами — все это были приметы не только незыблемого четкого распорядка жизни маленького рабочего коллектива, но и душевной заботы о буровиках. «А у нас? А мы-то? А я?» — вспыхивало в сознании Ветрова, раня его самолюбие.

Буровики в подогнанных добротных полушубках, обсоюзенных резиной валенках-бахилах и темно-красных касках выглядели молодцевато.

Неожиданно у Ветрова вспыхнула неприязнь к Лаврову, а весь этот благоустроенный порядок стал раздражать, злить. «Похваляется. За тем и затащил. Тычет в нос коврики да занавесочки... Все бы эти силы да деньги не на барство, а в бурение, на такой-то площади, по пяти пластов... Главное — нефть...» Опомнившись, ото-

гнал чужие напетые мысли и вновь засердился, но уже на себя и на Мельника. Это его припевка. Любой ценой, только бы рекорд выжать. Покрасоваться на виду. А то, что бегут от нас, что плодим загребущих да завидущих... В чистую, незапятнанную высь вознесся Ветров и оттуда судил, да вдруг подсекла его на взлете ядовитая мысль: «А сам-то я? Далеко ли ушел от загребущих?»

Обедали на буровой. И виду не подал Ветров, что в невидаль ему зимой на бригадном столе салат из свежих огурцов с зеленым луком. А вот чесноку, что лежал грудкой в специальных вазочках, громко обрадовался. Выбрал дольку покрупнее, ловко очистил, посолил и так смачно захрустел, так блаженно сощурился, что Хомутов засмеялся.

— К нам сюда врач частенько наведывается. Баил, будто в этой вот дольке,— Хомутов перестал натирать чесноком хлебную корку, показал наполовину стертую дольку,— всякого полезного вещества видимо-невидимо...

— Как тут летом-то? — полюбопытствовал гость.

— Известно,— спокойно ответил Хомутов,— болото. Есть топи по шестнадцать метров глубиной. В жару такой смрад... и гнус заедает. Травим его, гада, а он лезет и лезет из тины. Иногда по колено в тине работаем. По часу после смены в душевой полощемся, а все едино за версту болотом несет. Гиблое место. Не зря, поди, ханты прозвали его так-то. Тут скрозь по-ихнему все либо мертвым, либо гнилым зовется.

— Летом, верно, не до белых скатерок,— не то посочувствовал, не то позлорадствовал Ветров.

— И летом — так же,— не без горделивости ответил Хомутов.— Мы вдоль балков помост вроде тротуарчика настилаем. Помылся в душевой, очистил себя от грязи — топай в столовку. А в обед спецовку с сапогами за порогом оставляют. За день, правда, все равно поднатащут. Сами потом и выгребаем, по очереди дежурим...

«Что твой детсад»,— насмешливо подумал Ветров и перевел разговор на бурение: каков раствор, велики ли скорости, как ведется отбор керна и о многом ином, порой как будто вовсе мелочном, но крайне необходимом и важном в деле выспрашивал гость с пристрастием, и ему отвечали то Хомутов, то Лавров, и тут же сами подсовывали вопросики. Неподдельное, почтительное внимание, с каким выслушивались его советы и замечания, льстило старому мастеру, он неприметно заважни-

чал, заговорил медленней и весомей обычного, но, перехватив колкий взгляд Лаврова, спохватился и, покраснев, долго смущенно крякал.

Вечером в кабинете начальника экспедиции собрались все главные, мастера и помощники. Многие помнили Михаила Николаевича еще по Шанску, другие были наслышаны о нем, оттого и здоровались с Ветровым по-родственному. От такой встречи Михаил Николаевич разомлел, размяк. Когда же Лавров, представляя старого мастера, назвал его прославленным, лучшим в стране, сказал, что рад послушать и поучиться у первого буровика, Михаил Николаевич совсем растрогался, и ему захотелось тоже сказать в ответ что-то очень приятное.

— Хотя по выработке да по заработкам мы вас и обскакали, но кое в чем и нам у вас надо учиться. Я когда в газетах читал про Белоярье, про то, как справно да красиво вы тут живете, и наполовину не верил. Каюсь в том и винюсь. Если б на все сто процентов верил, не краснел бы теперь перед вами за наши землянки да насыпушки, за консервные щи в столовке и за прочий, как это... неуют...

Не успел Ветров закончить недлинный и не очень складный рассказ о делах своей бригады, как его завалили вопросами.

— Почему остальные бригады так здорово отстают от твоей? — спросил Хомутов.

— Не все отстают. Грозов пятки обступал,— попробовал отшутиться Ветров.

— Зато у остальных двух по последней сводке на десять тысяч меньше,— тут же включился в разговор Валька Буянов.

Михаил Николаевич смущенно потоптался, покашлял и обезоруживающе-откровенно сказал:

— По чести говоря, и сам в толк не возьму, почему у нас так. Стараются вроде, и технику знают, и опыта не занимать. Видать, какая-то промашка в работе всей экспедиции. Докапываться до нее — недосуг. Винюсь...

«Да чего это я,— расслабленно подумал он,— все винюсь да каюсь?» И заговорил о своих рекордах, и чем дальше, тем громче, самоуверенней, все чаще якая, и хотя сразу почувствовал холодок безответного равнодушия слушателей, ни тона, ни направления своей речи не изменил.

Потом его позвали на ужин. Первый тост Лавров провозгласил за здоровье гостя. А Ветров уже раскаивался, что поехал на буровую Хомутова, согласился на эту встречу, пошел на этот ужин. Как теперь сказать Лаврову о своем желании переехать в Белоярье? Как отнесутся к этому другие? Что подумают? Что скажут? От плохого к хорошему жмется? Пионерскую нахваливал, а о Белоярье думал? За перебежчика, а то за когонибудь похуже сочтут товарищи. «Вот вляпался...»

Поздней ночью, устраиваясь на ночлег в полутемной лавровской гостиной, Михаил Николаевич угрюмой скороговоркой проговорил:

— Думаю к тебе навовсе перебраться...

Лавров резко повернулся к мастеру.

— Что так?

— Обидели меня,— заспешил Ветров раскрыть карты и разом покончить с неприятным объяснением.— Крепко обидели. Выговор на партбюро. Теперь на общем собрании, всенародно...

— За что? — Лавров потянулся к пепельнице, где еще дымилась непотухшая папироса.

— Всяк за свое, а все — с одного. Парторгу агитацию подавай, картиночки да плакатики. Инженеру по технике безопасности каски непременно нужны на буровиках да чтоб трап песочком посыпан. Пожарнику... всех не перечтешь. Дурное дело — не хитрое — в чужом глазу сучки высматривать. Я им рекордик всесоюзный, первое место, а они мне...

— Уши бы тебе напрочь! — сорвалось привычное с языка Лаврова.— Вот так удумал! Вот порадовал! Да ты никому больше не вздумай сказать про это. Ежели почитаешь, что зазря обидели,— доказывай, дерись. Иль в товарищах разуверился?

— Ты что?! — обиделся совсем Ветров.— Как смеешь...

— Как друг твой. Как однополчанин. Как избиратель твой и, если хочешь, поклонник... И ты меня глазом не кусай. И кулаки не нянькай! Потому — ты мне люб и дорог, как наша рабочая совесть. Мастер. Депутат. Думал, эти званья — ступеньки на пьедестал? Под ноги? Не-ет! Они на плечи. На плечи! И надо силу, волю, мужество, чтоб этот груз не покачнул. А ты почестями, как щитом. От кого прикрыться хочешь? От меня? От Русакова? Прости, Михаил Николаевич, но это... Ты

меня в самое сердце. И товарищей своих... К нам и не просись. Не примем! Из уважения к тебе. Из почтенья к твоему рабочему званью!..

Никогда прежде не переживал Ветров чего-либо подобного. Его стегали по обнаженному самолюбию, жестоко и беспощадно. А он мысленно приговаривал: «Так, так. Верит мне, почитает. Иначе бы не обиделся. Побелел, сукин сын!» Он негодовал на Лаврова и был беспредельно благодарен ему за то, что почитает Ветрова рабочей совестью. Тут вроде бы совсем некстати вспомнилась давняя размолвка с сыном и последняя стычка с Русаковым. И сразу завладело яростное желание доказать всем, всем, всем — и этому задире, нахалу, неподкупному Лаврову, и выскочке башковитому Грозову, и доброму неугомонному правдолюбу Русакову, и друзьям и недругам доказать, что он, Ветров, не покачнулся от легших на плечи славы и почестей, не жидко замешан, не понапрасну зовется рабочим, да еще мастером. Он сделает свою бригаду первой не только по метрам и не только строгостью.

Завтра он воротится в Пионерский и сразу на буровую. Покается, что не думал ни о чем, кроме рекордов и заработков. Поклонится. Но уж потом так закрутит этот быт, что ни Герману Кузьмичу, ни Юрченко не будет покою. И Ярослава втравит, и Русакова. А на партсобрании, где будут выговор утверждать, признает его и примет, и пусть это пятно чернеет на его совести, пока не назовут их лучшей бригадой и по труду и по жизни.

...Так и сделал, как порешил. В газете появилось коллективное письмо буровых мастеров Пионерской экспедиции о быте рабочих.

Больше всех удивился Платон, прочтя газету. Пришли на память отцовские слова, сказанные во время той размолвки, и, хитро прищурясь, он повторил их:

— Не пойму, с чего ты икру мечешь? Сыт. Одет, как этот самый, жельтмен. И рыбалка, и охота под боком...

Устало улыбнулся Михаил Николаевич, вздохнул.

— Жизнь быстро прет, а нам того шибче хочется. Вот и ломим напропалую. Оглянуться недосуг... Ты тогда правду говорил. И Рая, и Пантелей тоже... Русский

мужик — как бык: пока промеж рогов не ахнешь — не остановится. Все это... Епифан, Сенечка, Матвеич... Капля по капле копилось. Потом этот выговор... И Лавров... Ровно громом. Покачнулся, оглянулся... мать честная, стежка-то кривая.

Нелегко далось это признание. Платон понял это, протянул пачку «Беломора», щелчком выбил папиросу из коробки.

— Брось напраслину на себя. Твоя стежка — дай бог всякому.

— Не гладь меня. Мужик от жалости, что нож от горячего — мякнет и тупеет. Да нам друг дружку к чему обманывать? Одна кровь. Один корень. Знаю, не легкий воз тяну, но мог бы свезти куда больше. Об том жалею.

— Не всяк и с такой-то поклажей ходко зашагает. А ты вон как отмахиваешь, первый по России.

— Легко кореннику, когда добрая пристяжная рядом. Оступился — не беда, споткнулся — не страшно. Давно хотел просить тебя. Ступай на курсы помбуров. Машину — знаешь, смекалки — на двоих хватит. Кончишь, станешь моим помощником. На покой уйду — заменишь. То ли хорошо! А?

Будто впервые увидев отца, Платон ужаснулся происшедшей в нем перемене. Как его перевернуло! Обвисшие плечи. Туго обтянутые коричневой кожей острые скулы. Запавшие щеки. Глубокие провалы глаз.

Согласно кивнув, Платон мягко положил тяжелую руку на сухое и острое отцовское колено.

— Из жалости согласился? — Михаил Николаевич впился требовательным взглядом в глаза сына.

— Нет,— успокоил тот, не отводя глаз.— Сам давно подумывал. Будет ветровская династия буровиков.

Михаил Николаевич сграбастал Платона за шею, притянул к себе.

— Спасибо.

Глава третья

1

Вторую неделю погоду лихорадило. Ртутный столбик термометра то приседал, то подпрыгивал. Таких температурных перепадов синоптики не помнили.

С утра пахнёт весенней оттепелью, обмягший снег станет противно попискивать под ногами, отяжелевший ветер грузно заворочается в тесных улочках поселка, а к полудню начнет круто холодать, и чем дальше, тем стремительней, и вместе с сумерками накатит такой лютый морозище — дух не перевести, забеснуется оледенелый ветер, с посвистом и визгом, насквозь продувая балки и щитовые домики. С рассветом опять потеплеет, потом снова похолодает — и такая свистопляска без конца.

Самолеты не поднимались в воздух. На аэродроме — людская толчея, горы грузов. Юрченко каждый день пересортировывал их, отбирая наиболее срочные.

В аптеке кончились дибазол, резерпин, валидол и прочие препараты, долженствующие стабилизировать кровяное давление и сердечную деятельность.

Люди проклинали и молили погоду, а та знай себе колобродит, как шалая.

Но вот, словно выполняя чью-то непреклонную команду, разом угомонился ветер, замер на минус двадцати семи ртутный столбик, с неба спало серое покрывало, обнажив синеватый плес, по которому медленно катился малиновый круг солнца.

Поселок встряхнулся, протер завьюженные окна, прочистил забитые снегом трубы и загомонил, задвигался, торопясь наверстать упущенное время.

Герман Кузьмич стоял у окна, соображая, куда направиться — на буровые или по строительным объектам, когда ему позвонил Никитский и пригласил на собрание рабочих ремонтных мастерских и гаража, которое должно было состояться в пять вечера.

— Почти две недели непогодило, можно бы отзаседаться,— недовольно выговорил Мельник главному механику.

— Так уж получилось, Герман Кузьмич. Синоптики подвели. Обещали на сегодня буран. Мы приготовились позаседать под шум метели...

— Может, без меня?

— Никак. Коллективная просьба всех механизаторов, парткома и месткома.

— О чем речь?

— Наболевшие вопросы современности,— отшутился Никитский.

«Что-то они затевают. Не иначе Русаков со своей народной стройкой»,— подумал Мельник, а когда, придя

на собрание, увидел там и Сарина, и Русакова, и Юрченко, совсем утвердился в своем предположении.

На обсуждение поставили вопрос: о повышении производительности механизмов в зимних условиях. Докладывал Никитский. Он говорил коротко, ровно, не вынимая трубки изо рта. «Все бы докладчики так»,— с одобрением подумал Мельник, отметив, что речь Никитского длилась всего четырнадцать минут, а сказал он в эти минуты и об уходе за механизмами, и о режиме эксплуатации, похвалил лучших, пожурил нерадивых механизаторов да еще добрую треть времени посвятил цифровым выкладкам убытков, которые терпит экспедиция из-за отсутствия ремонтной базы.

Вокруг этого и завертелся разговор, все более накаляясь.

— Хватит! — кричал молодой шофер.— Наработались. Посмотрите на мои руки. Боюсь сынишку взять: оцарапаю. Ладно, нельзя построить гаражи с обогревом и прочей штукой. Хрен с ним. Но уж теплый-то закуток, где бы можно занедужившую машину полечить, надо иметь.

— Мы тут промеж собой столковались,— сказал старейший шофер экспедиции, которого все звали дядя Паша.— Экономистов наших, плановиков прощупали. Нету денег на мастерские — сами построим. «Не такие шали рвали, рвали полушалочки...» — это у нас в деревне припевку такую пели. Нам не привыкать. Навалимся дружно — и будь здоров. В деревне ране избы так-то вот строили. Всем миром, значит...

Мельник казался спокойным, даже равнодушным. Вертел в пальцах карандаш, легонько постукивал по столу то тупым, то заостренным концом, а сам думал: «Не ко времени затея. Вот-вот просигналит Ярков, тогда крутись на все триста шестьдесят. И без мастерских захлебнешься... Сами не верят в то, за что ратуют. Проведут пару воскресников — и лапти сушить. Один не может, другой не хочет... Да черт с ними: чем бы дитя ни тешилось...»

Но когда желающих высказаться больше не оказалось, он поднялся и как о чем-то давным-давно решенном твердо сказал:

— Придумано здорово. Дельно. Стройматериалы и рабочие чертежи — за мной. Только один уговор — назад не пятиться. Вкалывать на всю катушку и всем. Вос-

кресниками не откупитесь. За работу заплатим по общим расценкам. Нужен штаб стройки. Решайте, кого туда. Начальником предлагаю Никитского...

2

— Твоя затея? — Мельник каблуком вдавил в снег окурок.

— Моя,— Русаков нагнул голову.

— Конспираторы! — Герман Кузьмич упер кулаки в бедра и раскатисто захохотал.— Как в кино. Начальник — консерватор, замы — передовики, конфликт решает рабочий класс.— Длинно и горестно вдохнул.— Вы как одурели. Ветров с душевой и прочей чепуховиной лезет. Профком зудит о детсаде. И вы тут. А у меня — одна спина и головы — не четыре. Ну, ладно. Как бы ни болела, а умерла. Может, и к лучшему. Молодцы!

— Какой уж там...— засмущался от неожиданной похвалы Русаков.

— Спасибо, что провернули. Честно говорю. Получится — для всех дельный урок. Только учти: чтоб огонь не потух, поддувала держи открытыми. Иначе... Ты обедал?

— Собираюсь.

— Добрые люди ужинать садятся, а мы об обеде толкуем. Пойдем ко мне. Угощу строганиной и стерляжьей ухой.

— Мать заждется.

— Позвонишь от меня...

Под строганину выпили по стаканчику спирта. Мельник ел со смаком, обильно приправляя свежемороженую стрелядь перчиком да уксусом. Ел и похваливал. Перед ухой выпили еще по стаканчику, и Пантелея Ильича потянуло на откровенность.

— Не ожидал, что ты сегодня так повернешь.

— А как бы я мог иначе? Дурак только против такого пойдет. Привыкли у нас: раз хозяин расчетливый, прижимистый, ни слов, ни рублей на ветер не швыряет, значит, ретроград, сквалыга и прочая бяка.

— Не в том дело. Просто мы забываем, что человек — сложнейшая штука.— Пантелей Ильич отодвинул пустую тарелку, вынул папироску из протянутой Мельником пачки.— В нем столько граней...

— Только не надо высокой философии. Просто мы

стали трезвее смотреть на жизнь. Учимся считать. Человек наперед хочет знать, во имя чего и чем надо поступиться. Каждому времени — свои песни...

— Ты вспоминаешь о прошлом с осуждением, а я — наоборот.— Пантелей Ильич примял дымящийся конец окурка ко дну пепельницы, расстегнул верхнюю пуговицу черной шерстяной рубахи.— Не будь тех лет, с их энтузиазмом, с их высоким настроем, не сидели б мы сейчас с тобой здесь. Кой черт загнал бы твоего Вавилова и тебя вместе с ним в эти дебри? Ни тягачей, ни вертолетов, ни длинных рублей... А шли! Не могли иначе. Помнишь песни...— И вполголоса запел:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор...

Мельник высвистел припев. Пантелей Ильич усмехнулся.

— Видишь... На высшем накале. С песней. Выше всех. Дальше всех. Быстрее всех. Понимаешь? Это главное...

— Все имеет свой предел...— Мельник плеснул по глотку спирта в стаканчики.— Люди стали умнее, расчетливее. Бережнее относятся к собственной жизни. Разве это плохо?

— Плохо! Вдохновенье, душевный подъем, азарт не поддаются, не нуждаются в измерении. Эти качества помогли нам топором и лопатой возвести Днепрогэс и Магнитку, задушить Гитлера. И сейчас... те, кто пошли с нами в эту комариную глухомань,— разве они не такие же одержимые, как в первые пятилетки?

— Я против фанатизма.

— На слух и на глаз — ты прав.— Пантелей Ильич, подняв стаканчик, посмотрел его на свет.— Но сердцевина твоих суждений — гнилая. И сам-то ты ведь не такой. Сколько ухлопал здоровья, сил ради того, чтобы проторить дорожку в Славгород. К Вавилову напросился. На фронт добровольцем. Вместо тепленького местечка под молдавским солнцем после войны опять в сибирскую глушь — на сквознячок, на мороз. Туровские апартаменты променял на барак в Шанске. Ради чего этот непрестанный риск, это упорное подвижничество? Чего ты добивался? Чего хотел? Только нефти. Для себя? Велики ли твои сбережения? Где твои особняки? Лыбишься? То-то... Просто ты — привередливый мужик, любишь сам

до всего дойти. А это в тебе откуда? Оттуда же. Из тех же лет...

— Пас! — Герман Кузьмич, смеясь, поднял руки.

Довольная улыбка озарила добродушное лицо Пантелея Ильича. Впервые за годы совместной работы он вдруг как-то по-новому увидел этого человека. «Рисуется, черт,— ласково думал Русаков о собеседнике,— сам совсем другой». От избытка добрых чувств Пантелей Ильич протянул руки Мельнику, и тот крепко стиснул его ладонь и совсем иным, доверительным тоном заговорил о подготовленных им расчетах перспективных запасов открытых ими месторождений. Услышал цифру с восемью нолями Русаков и поначалу отмахнулся от нее, как от нелепой шутки, но потом задумался всерьез, узнав, что расчет этот одобряет и научно-исследовательский институт Ростовского и геологоуправление, и даже Альфред Аристархович Протуберанцев не только благосклонно относится к этой цифре, но и в случае официального подтверждения ее Ярковым и Ростовским обещает немедленно решить вопрос о начале добычи нефти именно здесь, в Пионерском. Отсюда пойдет первая сибирская нефть. Здесь поднимется Славгород — столица нефтяного края, название которой придумал Русаков. «Велика цифра... так ведь перспектива, пока суд да дело, разбурим Богадуровскую структуру и, может, еще увеличивать, не уменьшать придется. В поиске все, в развороте...»

И Русаков уже не оспаривал доводов Мельника, а подкреплял их. И снова их руки сошлись в дружеском крепком мужском рукопожатии...

3

Позвонил по телефону Ярков. Уже по тому, как он произнес свою излюбленное «приветствую, дорогой», Герман Кузьмич понял — разговор будет приятным. И не ошибся. Расспросив о здоровье и настроении, о семье, о погоде, Ярков многозначительно и громко похмыкал, покашлял и наконец сообщил: принято решение о переименовании поселка Пионерского в Славгород.

— Расходы на вывески, штампы и печати беру на себя.— В трубке долго слышался сухой трескучий смех.— Но это не главное. Записка наша Протуберанцеву сработала. Твоя победа. Весной начнем в Славгороде проб-

ную добычу нефти. Руководство поручено тебе. Держись! Сам выпустил джина, сам его и укрощай...

И снова смеялся Ярков — добродушно и искренне. Герман Кузьмич был сосредоточенно-строг, а в глазах — восторженно-ликующее напряжение. Вот она, цель. Еще один взмах, еще один бросок, и принимай, Родина, первую сибирскую нефть из мельниковских рук, чествуй победителя. Снова улыбнулась судьба. Не стихийно, не самотеком прилетела победа. Спасибо Хитрову — в обход Ростовского подписал бумагу на правах заместителя директора (растет Роман Романович!). Хорошо, что Ярков ненавидит Ростовского, в пику тому может себе смертный приговор подписать. Не будь этих противовесов, не совладать бы с Русаковым. Сколько ловкости, изворотливости, напористости и многого другого стоило все это Герману Кузьмичу. Ну что ж, игра стоила свеч. Теперь держись. Ничего, что в запасе так мало времени. Надо за четыре месяца подготовиться к пробной эксплуатации, провернуть уйму работ. Установить емкости, обвязать скважины, построить причал. Ни проектов, ни материалов, ни людей... Нагрузка дай бог. Не всякий вытянет...

Словно угадав его мысли, Ярков сказал, что завтра вместе с Мурзаевым вылетает бригада проектантов и специалистов по нефтедобыче. Решено строить зимник, по которому подвезут трубы, емкости и все прочее.

— Доволен?

— Ради этого огород городили. Тяжело, конечно, но...

— Вот-вот. А чтоб поддержать твой боевой дух, так и быть, выдам одну тайну. Госплан прорабатывает вопрос о строительстве нефтепровода Славгород — Энск. Чуешь? Все зависит от хода пробной эксплуатации и мощности разведанных площадей. Можешь оказаться пророком: станет твой Славгород столицей сибирских нефтяников...

Тут Герман Кузьмич даже встал. Вот она, синяя птица. Первая добыча. Нефтепровод. Столица нефтяников. И все из его рук. Главное — дать живую нефть. Чтоб увидели, пощупали, понюхали. Хорошо, что пробную эксплуатацию поручили ему. Сам себя не подведешь... Сейчас все в одну точку. Ни передышки, ни поблажки ни себе, ни другим. Он добудет и вывезет на танкерах тысячу, двести, пятьсот тысяч тонн первой сибирской нефти. Зальет ею глотки и маловерам, и скеп-

тикам, и недоброжелателям... Первая труба тоже потянется отсюда. Ярков — человек осторожный, зря болтать не будет. Если говорит «прорабатывается», значит, почти решено. Хлынет мельниковская нефть потоком... Эх, нельзя на ней свою метку поставить...

Легкой пробежкой Герман Кузьмич несколько раз пронесся по кабинету. «Созвать комсостав. Обговорить. Взвесить. Поручить конкретные узлы...»

В кабинет вошел главбух Будылдин. От порога поздоровался, просеменил к креслу.

С нескрываемым неудовольствием ответил Герман Кузьмич на приветствие главбуха, но тот, нимало не смутившись этим, деловито подсел к столу, долго ворочался в кресле, усаживаясь поудобнее. Видно было, что зашел не на минутку, не ради праздной болтовни, а для долгого и важного разговора.

Этот белоголовый одуванчик был не только ювелирным мастером своего дела, но отличался еще прямо-таки редкостным упрямством. Мельнику уже не раз приходилось дважды визировать тот или иной финансовый документ, заставляя непокорного Будылдина принять расход, что-то списать или оплатить. Вот почему Герман Кузьмич смирился и, обреченно вздохнув, покорно сел.

— Ревизор КРУ закончил проверку,— без всяких предисловий приступил к делу Будылдин, приминая ладошкой белый пух на своей круглой голове.— Все замечания — обычные придирки, кроме двух...— Мельник насторожился.— Я предупреждал об этих банкетах с киношниками и министерской бригадой. Туда мы еще койчто приписали. Почти две тысячи. Сумма попадет в акт — потом не оберешься хлопот...

Умолк, видимо ожидая вопросов, но Мельник тоже молчал, уголком коробка барабаня по настольному стеклу. Так они просидели довольно долго. Наконец лохматые брови Германа Кузьмича шевельнулись, коробок мягко шлепнулся на кипу газет.

— И еще?

— С машинами. Помните? Бульдозер и два грузовика. И трети положенного до капремонта не прошли, а мы в расход...

— Ты отлично знаешь, почему так получилось. Дорог нет. Либо снег, либо грязь по брюхо. Вездеходы не выдерживают. Запчастей нет. Не спиши мы два этих грузовика — остальные десять стояли бы на приколе... Сей-

час, Будылдин, такие события развертываются. Потомки будут завидовать нам, как мы когда-то завидовали конармейцам, комбедовцам, тридцатитысячникам. Чего улыбаешься? Не для красного словца говорю. Ты только послушай...— Пересказал недавний разговор с начальником геологоуправления.— Скоро наш Славгород загремит на всю страну, а может, и на всю планету. Помнишь, как склоняли Шанск, когда мы первое Вавиловское застолбили. Теперь не так загудят. Живая нефть! И в такой момент... Чертовы крючкотворы! Нам теперь надо масштабно мыслить и творить, а не скопидомничать, не цепляться за мелочи. Еще деды знали — без щепы лес не рубят...

— Само собой,— согласился Будылдин.— Только многовато лесу на щепу переводим. Кругом-бегом перерасходы да списания. Баржу с цементом утопили — списали. Катер сожгли — списали. А спецодежда... Да что говорить! Сами знаете. Хоть бы для острастки кого-нибудь наказали. В партийном порядке, что ль, а мы...

— «Наказали!» — передразнил Мельник, сердясь.— Ты тут пригрелся в тепле да в сухоте, вот и брюзжишь. Почаще выезжай в отряды, на буровые. Поживешь там недельку-другую — по-иному запоешь... Ладно. Не дуйся. К слову сказал. В принципе ты прав. «Социализм — это учет». Верно. И экономия, и бережливость... Все правильно. Но...— Мельник развел руками: сам, мол, все понимаю, но иначе не могу.

Все услышанное Будылдин обдумывал по-своему. «Уговорит ревизора. Опять уговорит. Не здесь, в области уломают. Лучшая по производственным показателям экспедиция! Начальник — герой, первооткрыватель. Теперь и вовсе — пробная добыча, нефтепровод, столица нефтяников. Любое колесо нефтью подмажут, и не заскрипит, любую прореху заляпают — не отыщешь. Ловкачи! Шибко нужна сейчас нефть, вот и прикрывают ею и расточительство, и воровство... Вон Юрченко. За руку не пойман, но и не чист. Собрать бы в кучу все рубли, выкинутые на ветер... «Лес рубят...» Хороший хозяин и щепу собирает. Щедры за государственный счет. Послать бы всех подальше, вывернуть наизнанку отчеты, акты, балансы... А чего добьешься? Ладно, до срока на пенсию отправят, а то еще и обвинят: начальник, мол, не специалист, ему недосуг, а ты знал и делал... Бывало уже такое... Скорей бы на пенсию. Тогда — прощай, Си-

бирь».— Мысли главбуха потекли плавно. И лицо преобразилось — потеплело, засветилось довольной улыбочкой.

— Значит, сам не развяжешь?

Захлопал Будылдин белесыми короткими ресницами, с трудом отрываясь от приятных мыслей о безоблачном житье-бытье, до которого осталось тянуть всего полтора года, недовольно пробубнил:

— Никак, Герман Кузьмич.

— Где ревизор?

— На складе.

— Как заявится — позови. Побеседую.

— Ладно.

Посидел еще немного, видно, припоминая, что еще должен сообщить начальству,— не припомнил и, не промолвив ни слова, бесшумно выскользнул из кабинета.

4

— Не помешал? — Юрченко разгладил пышные усы.

— Наоборот. Садись...

Начхоз, как всегда, ухнул в кресло, до отказа подмяв пискнувшие пружины.

— Ну вот, Прокопий Игнатьич, пришел на нашу улицу праздник. Да какой! — И Герман Кузьмич, все более возбуждаясь, пространно рассказал о пробной эксплуатации, о будущем нефтепроводе.— Какая победа! Еще один сильнейший рывок, и заветный блистательный финиш! Нужно собрать в один кулак усилия всех, всех, всех...

Начхоз слушал вполуха, чуя, что все это — только предисловие к тому, ради чего он понадобился. Когда же Мельник начал сомневаться, осилит ли порученное — ни проектов, ни специалистов, ни труб, а до начала навигации, когда прибудут за нефтью наливные суда, всего четыре месяца... года не те, да и здоровье ни ай-ай-ай,— Юрченко насторожился: сейчас наконец-то Герман Кузьмич скажет главное. Нет, не обухом промеж глаз, а, может быть, только намекнет. Тут уж лови каждый взгляд, каждое слово: Герман Кузьмич не любит пережевывать.

Начхоз не ошибся. Выдержав многозначительную паузу, Герман Кузьмич заговорил как бы нехотя, чуточку усталым голосом:

— Не все понимают, какой воз везем. Дурацкими

придирками мешают, суют палки в колеса. Этот несчастный ревизор из КРУ...

Как гончая на стойке, застыл Юрченко. Вовсе не потому, что надеялся услышать что-нибудь неожиданное, а просто, чтобы начальник лишний раз мог убедиться в преданности своего начхоза. Суть дела Юрченко уже разгадал. Он предвидел это и кое-что заранее предпринял. Поместил ревизора в домике, предназначенном для самых высоких гостей, кормил, как на убой, за полцены. Но это мелочи. В наше время появились такие хамы: попьет, поест за твой счет и тебя же... Придется всучить ему что-либо из дефицитного барахла: ультрамодный норвежский свитер или английский костюм джерси для жены, а еще лучше и то и другое. Не бесплатно, конечно. Упаси боже! Бесплатно — значит, взятка. А взятки в наши дни не берут. За деньги. За наличные. Не везде ведь такие достанешь. После, уже не стесняясь, можно поднести сверточек на дорожку, на всякий случай, вдруг в пути перекусить захочется, а в свертке килограмма три балычка осетрового, да пара муксунов свежемороженых, да баночки икорки. Ясно, убытки придется покрывать из своего кармана, но тут ничего не поделаешь. Грешно сетовать на судьбу. В достатке живем, в спокойствии.

— Может, он и не плохой парень.— Мельник поставил на попа спичечный коробок, щелчком повалил его, придавил пальцем так, что коробка хрустнула.— Тут дело не только в личных качествах. Инструктаж, задание. Но то, что жизнь плохо знает,— факт. О геологах судит понаслышке да по бумагам. Возьмись-ка, просвети его. Свози на буровую. Пусть поглядит, через какие дебри продираемся, поближе познакомится с обстановкой, в которой работаем...

В сознании Юрченко эти слова переводились на простой язык так: «Узнай, не увлекается ли он охотой или рыбалкой. Устрой выезд на подледный лов, на охоту. С ухой, с дичью, с коньячком...»

— Когда своими глазами увидит наши дороги, на себе испытает сибирский морозец, по-другому на вещи смотреть будет.

— Совершенно верно.

— Значит, решено?

Чтоб подчеркнуть трудность поручения, Юрченко помедлил с ответом, а потом уверенно пробасил:

— Сделаем, Герман Кузьмич, но...

— Что еще?

— Без тяжелой артиллерии не обойтись. Вы сумеете объяснить лучше нас, что к чему, опять же у вас имя...

— Поговорю.

— Об остальном не беспокойтесь. Будет как надо...

Тут позвонил Сарин:

— Включай радио.

— Что случилось?

— Передача об экспедиции. Мы организовали коллективное слушание. Не отрывайся от масс.— И повесил трубку.

Мельник включил репродуктор.

— Передаем радиоочерк «Солнцу и ветру брат».

Поплыла знакомая мелодия пахмутовской песни о геологах, и на ее фоне звонкий девичий голос произнес приподнято:

Крепись, геолог,
Держись, геолог,
Ты солнцу и ветру брат...

Музыка слабела, голос чтеца набирал силу.

Это был красиво написанный очерк о Пионерской геологоразведочной экспедиции, а вернее, о ее начальнике, Германе Кузьмиче Мельнике. Автор не пожалел эпитетов и сравнений, характеризуя выдающиеся заслуги Мельника «в открытии нового нефтяного континента». Очеркист ничего не забыл из рассказанного Мельником в ту встречу после таежного напитка.

Лицо начхоза в полной мере отражало всю торжественность и важность происходящего. Герман Кузьмич дымил папиросой. В глубине души он был польщен. «Талантлив, черт, этот корреспондент. Мог о другой экспедиции написать, о Сарьинской или о той же Белоярской. Цифры у Лаврова похуже наших, и заметно, зато запасы нефти, быт, культура... Хорошо быть на доброй примете у начальства. Фоторепортеров столичных — к нам, и писателей, и журналистов сюда же. Надо поблагодарить Сапуна, пригласить в отпуск. Отдохнет, материал подкопит. С таким даром можно запросто целую книгу выдать».

И он уже увидел эту книжку в добротном ярком переплете. На обложке броское название — «Дорога к победе», нет, лучше — «Дорога к подземным кладам».

Очень лобово, надо бы с глубоким, внутренним смыслом. «Дорога в Славгород» — это подходяще. Так надо рассказать, чтоб людей тянуло сюда, а не отпугивать новичков, не озлоблять ветеранов. «Сегодня же напишу ему и посылочку с каким-нибудь сувениром...»

Едва смолк последний аккорд музыкальной «закрышки», начхоз воскликнул:

— Сорок минут!

— Им только дай, они наговорят! — с наигранным осуждением промолвил Мельник.

— Это вы зря. Хорошая передача. Складно и душевно, как песня.

— Перебрали немного. Все Мельник да Мельник. «По его инициативе... С его помощью... Под его руководством...» Прямо культ личности...

— Так то ж святая правда! Не спорьте, Герман Кузьмич. Со стороны видней.— Юрченко вдруг загорячился, сытое круглое лицо раскраснелось, голос зазвучал мощно.— Сколько вы за эту нефть перестрадали! И выговора получали, и с работы вас вы... увольняли. А уж критики разной понаслушались. Надо было все это стерпеть. Пренебречь... Первую стежку сюда вы топтали. Первый фонтан — ваш. Первая добыча опять у вас... Это не случай. Думаете, люди не видят, как вы себя на работе мордуете? День и ночь. Ни выходных, ни праздников... Наш народ — прямой. Сейчас вот нефтепровод... новый город. Название ему — и то вы придумали. Знаете, поди, как вас рабочие-то любят. Это надо заслужить. Такое по приказу не делается...

— Спасибо, Прокопий Игнатьич. Спасибо.— Герман Кузьмич протянул руку раскрасневшемуся Юрченко.

Властно загремел телефон. Мельник нехотя поднял трубку.

— Здравствуй, Русаков говорит. Слышал?

— Слышал,— как можно равнодушнее ответил Герман Кузьмич.

— Недоволен?

— Больно много розовой водички.

— Все в норме. Молодцы ребята. Не успел наш Славгород родиться, а его уже во всесоюзной купели окрестили. Добрая примета.

— Пожалуй, верно. Зайди-ка. Кое-что сообщу. Похоже, твое пророчество сбывается — быть Славгороду столицей Сибирского нефтяного континента.

— А что?
— Заходи. Расскажу.
— Иду.

Как только зазвонил телефон, начхоз поднялся и стоял, опершись ладонями об угол стола. Когда Мельник кинул трубку, Юрченко отнял руки от стола. На полированной поверхности остались широкие белесые следы от потных пухлых ладоней.

— Значит, действовать?
— Давай.

Глава четвертая

1

Земля приблизилась к солнцу нашей, русской стороной, и над Россией поплыли теплые ветры с юга.

На Дону и Кубани обнаженные поля дымились паром, наливались зеленью яблоневые почки. В Поволжье звонкая капель развесила по карнизам домов хрустальные сосульки.

Но здесь, на севере Сибири, открытом холодному дыханью Ледовитого океана, еще ничто не напоминало о весне. Окостенелая от холода земля только ожидала часа весеннего пробуждения.

А людям не терпелось. Истомились, истосковались они по теплу. Натерли плечи меховые куртки да полушубки, надоели валенки и унты, стесняли голову ушанки. И едва пахнуло оттепелью, поутих, огрузнев, ветер, налилось золотом солнце, как парни и девушки хлынули на улицу в легких куртках, в свитерах, с непокрытыми головами. Сходились в стайки и гомонили, хохотали во все горло.

Солнышко выманило на улицу и Соню Лучкову. Вышла на минутку понежиться да и забылась, с легкой незлобивой завистью загляделась на простоволосых девушек, заслушалась их неумолчной веселой болтовней.

До самого последнего времени в поселке никто не знал о Сониной беременности. Соня была по-прежнему легка и проворна, и как прежде румянились смуглые щеки, дразняще улыбались капризные губы. Своими руками шитые платья скрадывали округлившийся живот. Не из боязни дурной огласки или людского суда

скрывала она свою беременность. А почему — и сама не смогла бы ответить.

Все раскрылось неожиданно. В конце пятого месяца. Замутило некстати, закружилась голова. Старшая повариха, сорокапятилетняя многодетная женщина, помогавшая Соне прийти в себя, ахнула: «Батюшки, да ить ты брюхатая!» Эти слова, ненароком сорвавшиеся с языка поварихи, в одночасье облетели весь поселок. Судили по-разному. Кто жалел будущую мать: каково-то ей будет одной ребенка вырастить, а кто осуждал: чего ждала, на что надеялась? Иные же оправдывали Соню: коли не вытравила ребенка, значит — хорошая, может, и парень еще прильнет, и заживут как надобно — с любовью да миром. Молоденькие девчонки-официантки только дивились: такая красивая, а сама себя по рукам вяжет.

Что думала об этом сама Соня? Сокровенными мыслями своими она ни с кем не делилась, если ж иная из товарок приставала с расспросами, грубо обрывала: «Не суйся, не твое дело».

Весть о Сониной беременности дошла и до Платона Ветрова. Хоть и с опозданием, и стороной, а все-таки докатилась, как колом по затылку ахнула.

— Сонька-то твоя бывшая забрюхатела,— не тая злорадства, высказала мать давно занимавшую ее новость.— От Мельника, верно. Христова невеста! А ты еще...

— Не троньте ее! — Платона передернуло от бешенства.

— Ска-а-ажи...— протянула ошеломленная мать и смолкла, и больше ни звука об этом.

С той поры забеспокоился, затревожился Платон. Чуть тронь его — сразу на дыбки встает, по пустякам злобится, а пошутить об этом и не помышляй: таким взглядом пробуравит — мурашки побегут по коже, да и кулак у Платона — кувалда.

Закружил Платон возле столовой. Несколько раз вроде бы ненароком с Соней виделся, но разговора не получалось: обстановка неподходящая. А время не медлило. Платон мрачнел, каждый день давал зарок — сегодня же поговорить с ней, но не хватало решимости перешагнуть знакомый порог орсовского барака.

В этот день Платон не искал встречи с Соней: не до нее. Вот-вот соберутся гости Раин день рождения празд-

новать — двадцать два исполнилось. Отец раздобыл рыбы. Женщины занялись пирогами, пельменями, а Платона снарядили за напитками.

Через час магазин закрывался на обеденный перерыв, и Платон торопился, почти бежал. От быстрой ходьбы разогрелся, куртку до пояса расстегнул.

Вдруг он так «притормозил», будто земля под ногами разверзлась.

— Соня?

— Узнал все-таки?

— Здравствуй,— протянул ей руку.

— Приветик,— беспечно откликнулась она.

— Как живешь?

Соня только передернула плечами, дескать, зачем спрашиваешь: вся на виду.

— У меня глаза не рентгеновские, насквозь не просвечивают,— попробовал пошутить Платон.

Не приняла Соня шутки.

— Без рентгена видно.

— Давно хотел поговорить с тобой.

— Чего же не известил, назначила бы время.

— Хватит выделываться,— засердился Платон.— Я серьезно.

— Тогда выкладывай.

— Неудобно здесь. Зайдем к тебе.

— Кассирша твоя узнает — придется объяснительную сочинять,— кольнула Соня, а сама повернулась и не спеша двинулась к бараку.

Казалось, все прожитое — трын-трава, дорожная пыль, отряхнулся — и развеял ветер, и снова шагай себе, пошагивай по жизни: легко и вольготно... До сих пор так оно и было у Платона, а тут... Говорят: отгорело — отболело — отвалилось. Шиш с маслом! И вроде бы отгорело, да не отболело. И пережитое — не мертвый холодный уголь, а живая искра. Чуть дохнуло ветерком — заструилось тепло по всему телу. «Только бы не встретиться с ней глазами: глянет — душу вывернет».

Стараниями хозяйки эта маленькая кособокая клетушка выглядела уютным гнездышком. Щели в полу замаскированы самодельным половиком, темные пятна на стенах прикрыты портретами кинозвезд, вырезанными из «Советского экрана», на тумбочке и подоконнике свежей зеленью поблескивают бегония, герань, плющ.

— Садись,— уныло проговорила Соня, показывая на стул.

Сначала Платон закурил, затянулся до печенки, а уж потом сел.

Соня молча вышла из комнаты и так долго не возвращалась, что Платон забеспокоился. Она воротилась посвежевшая, аккуратно причесанная. Спросила:

— Выпить хочешь?

— Нет.

— Брезгуешь или в трезвенники записался?

— Сказал — не хочу.

— Может, чаю.

— Ничего не надо. Садись.

— Спасибо за приглашение.

— Кусачая стала.— Платон сорвался со стула, присел на подоконник. Прижег новую папиросу.— Чего ты меня избегаешь? Не по росту? Мелковат для тебя?

— К чему я тебе теперь? Говорят, жениться надумал. Невеста — красавица, крашеная-перекрашеная. Живая химия. Зубы и те синтетические.

— Ревнуешь? — подковырнул Платон.

— Ей завидую, себя — жалею.

Платон смешался, деланно закашлялся. Соня понимающе улыбнулась. Улыбка ужалила парня, и он метнул первое, что пришло на язык:

— Сама порушила...

— Не крепко слеплено было, коль так легко порушилось.

Вызывающая неуязвимость, неколебимость и какое-то небрежное равнодушие Сониных ответов разъярили Платона. Первым остановился и заговорил, сам сюда напросился — чего еще надо ей? Какого лешего выкаблучивается? С того и буркнул озлобленно:

— Много ты понимаешь...

— Где уж нам уж выйти замуж.

И мигом влагой подернулись блестящие черные глаза, и душу парня обожгла жалость.

— Как хоть ты?

— Как видишь. Тебе неинтересно мои охи слушать. Не за тем пришел.

— Значит, интересно. Не лебедкой тащили, на своих притопал.

Получался какой-то нелепый, ненужный, пустой разговор.

И желая выпутаться из паутины пустопорожней болтовни, Платон резко сказал:

— Что мы друг перед другом ломаемся? Трудно, что ль, по-человечески-то...

Молча, испытующе Соня поглядела на Платона, большие черные глаза вспыхнули ярким недобрым огнем. Но заговорила она спокойно, как будто даже равнодушно.

— Давай по-человечески. Стало быть, интересна тебе жизнь моя? Ну, слушай. Живу, как монашка. День ото дня не отличается. Наперед знаю, что будет завтра и послезавтра. Скукота.— Умолкла. Облизала пересохшие губы.

— И все?

— Хочешь, чтобы об этом сказала? И так видно. Весь поселок знает...

— Мой?

Горькая усмешка тронула полные яркие губы и тут же отлетела прочь, и мгновенно лицо ее стало отчужденным и гордым.

— Не тревожься. Не от тебя.

— Врешь! — крикнул он, привставая.— Врешь!

— Не ори! — властно и жестко осадила она.— Я ведь не купленная! Может, и вру, а может, нет. Да и чего ради мне врать? Был бы твой — сказала. Ты ведь добрый — посочувствуешь. Зарабатываешь много — помогать станешь... проведывать.— И сразу с откровенным, злым вызовом.— Мой будет только! Единоличный. Я была мамина, и он...

Умолкла, вдруг вспомнив мать, и снова в Сониной душе затеплилось сострадание к одинокой спившейся женщине, от которой семь лет назад бежала, как от прокаженной. Прикрыла ладонью дрогнувшие губы, надломленно согнулась.

«Кончился запал»,— облегченно подумал Платон, по-своему истолковав перемену в Сонином настроении. Сейчас он пожалеет ее, и она расплачется и скажет правду. Он уже было рот открыл, да Соня упредила:

— Не трать нервы зазря. Пригодятся будущей жене. Береги силенки. Спасибо, что проведал. До свиданья... а лучше — прощай...

Вот уж этого он не ожидал. Казалось, кто-кто, а он-то знает Соню от макушки до пят. Всякую повидал. Когда была рядом, всегда чуял на себе ее жаркий жадный взгляд. Уверен был: помани пальцем, с радостью

все простит, все забудет, станет прежней — его Соней. А она гнала его, как напаскудившего щенка, потыкав мордой в лужицу. Этого он не мог стерпеть и завелся:

— Думаешь, прощенья буду просить...

— Нет, не думаю,— перебила она.— Не такие вы, Ветровы, чтобы у кого-нибудь прощенья просить. Да и не за что вроде. Что было меж нами — дай бог всякому. Разлюбил? Значит, тому и быть, а чему быть — того не миновать.

— К тебе по-хорошему, с душой...— бубнил разгневанно Платон.

— «По-хорошему! С душой»,— передразнила она.— И язык поворачивается такое выговаривать. Видно, поглупел с тех пор, как расстались. Так я тебе напрямки скажу. Мне не надо подачек. Ни твоих, ни чьих. Не привыкла милостыню просить. С пятнадцати лет сама себя кормлю, сама себе хозяйка. Я ведь тебя не трогаю и кассиршу твою не задеваю. В душу твою не ломлюсь. Не плачусь. Не навязываюсь. Чего еще от меня надо? Могу расписку дать, что ребенок не твой. Живи в свое удовольствие! Не волнуйся! Не томись! Но и ко мне не лезь! Мне до тебя дела нет.

— Так мне дело! — сердито прикрикнул Платон.— Сын-то ведь хоть наполовину, да мой...

— Ни на вот столечко,— показала кончик указательного пальца. И, глядя прямо в его наливающиеся бешенством глаза, медленно выговорила: — От такого труса и перевертыша я бы умерла, а рожать не стала...

— Да?! — рявкнул Платон.

— Точненько.

— Хлебнешь лиха — по-другому запоешь.

— Дурак,— беззлобно и тихо выговорила она.— Чем пугаешь? Я наперед все знала... Мне зацепка в жизни нужна. У меня ведь нет никого. Всю жизнь — никого. Думала — ты опора. Ладно хоть в самом начале. Есть счастливчики, есть невезучие... Так уж мир устроен. Я не жалуюсь. Да и кому? Хватит! Больше меня не трогай. Не тревожь. И так ни на что бы не глядела. Такое не заняныкать всю жизнь... А она у меня тоже одна. Учил, поди, в школе. Одна!.. Уходи... Растравил ты меня, вот и прорвало, наговорила... Уходи!..

— Соня!

— Иди-иди. А то как сорвусь...

— Да погоди ты, Соня. Я ведь...

— Ну, кому говорю! Шагай своей дорогой.— И распахнула дверь перед Платоном.

2

С того момента, когда разъяренный Платон оскорбил Соню подозрением, унизил, жизнь словно перекувырнулась и пошла колесом: где верх, где низ — не разобрать. Все вроде прежнее, и все совсем иное. Она то ненавидела Платона — до исступления, до ярости, а то любила, как никогда, желала его, плакала о нем. В ее душе, как в дивном тигле, не смешиваясь, одновременно плавились ненависть и любовь.

До недавнего времени из тупика был только один реальный выход — аборт. На два дня слетать в Сарью — и все. Молодости и красоты — не занимать, парней — предостаточно. Свет клином не сошелся на Платоне. Да и она теперь учена-переучена, на водичку дуть станет.

Но именно в те минуты, когда она уже готова была лететь в Сарью, перед глазами Сони возникал ее будущий ребенок.

Это был ее чудесный и единственный сын, а может, дочь — все равно, и пожертвовать им ради того, чтобы иметь под боком мужика... Соня презирала себя за то, что смела помыслить подобное, и еще неистовее ненавидела и любила.

Каких нелепых решений не принимала она в минуты ожесточения и отчаяния. То решала подстеречь ненавистную крашеную блондинку на улице, вцепиться в бесцветные космы, рвать, бить, царапать — до крови, до дикой боли... А то вдруг приходила мысль: заявиться к Ветровым и каким-нибудь немыслимым словом, невероятным поступком разом к чертовой матери взорвать самодовольную, сытую благодать ветровского гнезда...

Как она упивалась бредовыми картинами мести, с трудом отделываясь от них.

Где-то в глубине души все еще теплилась вера в чудо: придет Платон — ласковый и единственно нужный, и она со сладкой болью простит ему все...

И вот чудо свершилось: он пришел. Сам, без зову. На людях. И поманил ее. И она побежала. Пока шла рядом с Платоном, едва держалась на ногах от волнения. Сейчас закроется дверь, думала она, и Платон скажет желанное слово, и черное станет белым, а горькое

сладким. Но Платон то ли сам себя потерял, то ли поглупел, а может, таким всегда был, да она не замечала этого...

Обида ожесточила сердце. Соня, подобрав ноги, забилась в угол кровати. Она все сидела и сидела. Теперь она ненавидела все, что хоть отдаленно было связано с Платоном. «Погодите, постойте...» — мстительно повторяла она.

Вдруг сорвалась с места. Еле попала трясущимися руками в рукава стеганки. Выбежала из барака и растворилась в ночи.

Пока взобралась на взгорок, совсем запыхалась. Остановилась перед льющими свет окнами. В открытые форточки вылетали возбужденные голоса, музыка. Гостей еще не было, но приготовления к пиру шли полным ходом.

«Вот вам подарок!» — Соня попятилась, размахнулась и со всей силы запустила в окно большой круглый голыш.

3

— Стой!

Человек пригнулся и побежал еще быстрее.

— Стой, сволочь!

Черный клубок стремительно катился с пригорка.

Не разбирая дороги, Платон мчался следом, с каждой секундой настигая злоумышленника.

Вдруг остановился, заорал:

— Соня!

Она тоже остановилась, дыша натужно и хрипло.

Медленно двинулся к ней.

— Не подходи! — Голос дрожал. Она изо всех сил распаляла себя, боясь, как бы не угасла ненависть.— Кусаться буду!

— Кусай! — Платон подошел, положил руку на ее дрогнувшее плечо.— Грызи.

Колени у Сони подломились, и она медленно завалилась набок.

— Соня! — Платон подхватил ее.

— Пусти,— жалобно простонала она и, припав к нему, зашлась в неутешном горьком плаче.

Платон поднял ее на руки и, слегка прижимая к груди, понес к орсовскому бараку.

— Пусти.

— Лежи, лежи. И молчи. Ничего не надо...

— Сейчас... сейчас я...— всхлипывая, бормотала она.

— Молчи.

Он шел медленно, осторожно ставя ноги. Когда взбирался на крутое высокое крыльцо барака, затихшая Соня шевельнулась и то ли всхлипнула, то ли невнятное что-то проговорила. Платон склонился, ткнулся в холодную мокрую щеку губами, прошептал:

— Молчи, Сонюшка...

4

Хлопнула калитка, ахнула сенная дверь, на пороге встала раскрасневшаяся, запыхавшаяся Рая.

— Идут!

— Уже,— встревожилась Василиса Ипатьевна, хозяйским оком озирая пышно накрытый стол.

— Платон... Соню ведет.

— Какую Соню? — Лицо Михаила Николаевича побурело от прилива крови.— Ты что, спятила?

— Ой, батюшки... Зачем? Сейчас? Люди придут — стыдобушка. С эким-то приданым...— запричитала мать.

— Папа! — Рая прижала ладони к пылающим щекам.— Я тебя прошу... Платону потом можешь что угодно... но сейчас... Одним словом убьешь ее. Они ведь через такое... Это, знаешь... это настоящее... Пойми.

— Какая тут любовь? — Мать выплыла на середину комнаты и пошла швырять словами: — Бесстыдство!.. Распутство!.. Сама, поди, не знает, от кого понесла...

— Если обидите их, я тоже... я с ними...

— Тихо! — Литой кулак хозяина едва не прошиб столешницу.

В тот же момент распахнулась дверь.

— Иди! — послышался из сеней приглушенный голос Платона.— Да входи же. Не съедят тебя.

С чемоданом в руке Соня пугливо переступила порог и тут же остановилась. Платон взял ее за руку, вывел на середину комнаты. Сдернул шапку.

— Вот... Мы пришли...

За эти мгновения в душе Михаила Николаевича отгрохотал лютый ураган. С головокружительной быстротой, словно кинокадры, понеслось, замелькало... Сенечка, заросший щетиной, с почерневшим лицом и кро-

личьими красными глазами... Мать с хлебом и солью на рушнике встречает у порога своего «старшего» с молодой женой... Зажав в потном кулаке коробочку с Золотой Звездой Героя, он никак не может сдвинуть с места зачугуневшие ноги... Глаза Василисы совсем рядом, они сочатся острой нежностью, а губы еле шевелятся: «Люб ты мне, люб, Мишенька. Никому не разнять нас силой...» Тут выплыло лицо Лаврова, и его голос выговорил: «Не примем! Из уважения к тебе! Из почтенья к твоему рабочему званью!..»

Летели, кувыркались, наплывали друг на друга видения. Тяжелела голова Михаила Николаевича, мягчел, добрел взгляд...

Кашлянул Платон, как в пустую бочку ухнул:

— Моя жена...

— Знакомы уже,— непривычно тонким голосом откликнулся Михаил Николаевич, и все замерли. Побледневшие, вытянувшиеся, напряженные лица. Ветров натужно вздохнул.— Знакомы,— повторил мягче. Шагнул к молодым.— Здравствуй, Соня... Здравствуй, невестка. Раздевайся.

Тут-то Соня и заплакала. Да как! Захлебнулась слезами. Пока через поселок шла — закаменела. Чего только не ждала от первой встречи, но не этого.

Василиса зашмыгала носом, Рая платочком по глазам повела. А Михаил Николаевич все еще не мог унять сорвавшиеся с поводка мысли: «Как поглядела!... Она окно выхлестнула... Догнал и прилип... Его ребенок. Внук будет... Даже Василиса заревела. Вспомнила, поди, старая, как неделю в боковушке пряталась, пока ее батя не смирился. А Райка-то! Ишь ведь как. Вырастили — теперь сами хозяева. И правильно...»

Отогнал липучие мысли, зычно гаркнул:

— Да вы что, ошалели! Праздник в доме, а они слезьми исходят. Кончай панихиду! Заодно и день рождения и свадьбу отгуляем.

Платон облапил отца, крепко притиснул к широченной груди.

— Спасибо...

— Возьму Епифана Качурина помощником,— неожиданно и совсем вроде бы не к месту высказал Михаил Николаевич давно и подсознательно вызревшее решение.

Глава пятая

1

Эта неожиданно разыгравшаяся мартовская метель по свирепости и силе не уступала декабрьским.

Чтобы передохнуть, Сенечка поворачивался к ветру спиной и, втянув голову в плечи, подолгу стоял неподвижно. Обожженное морозом, исхлестанное ветром и снегом лицо больно горело. Когда-то обмороженная правая щека была особенно чувствительна к холоду. Сенечка то и дело стаскивал рукавицы и подолгу растирал немеющую щеку.

В эти минуты он не раз попенял себе за то, что не послушался мастера, не дождался вахтенной машины, а отправился в поселок пешком.

Три дня Сенечку ломала проклятая простуда. Он боролся с недугом испытанным методом — стакан водки на ночь. Засыпал в поту, некрепким, тяжелым сном. Просыпался с гудящей головой, бессильным телом и вязкой горечью во рту.

За завтраком, лениво пережевывая надоевшую котлету, мечтал о стакане горячего молока, о крепком чае с клюквенным вареньем.

Сегодня хворь дожала. Когда по трапу спускался с буровой, закружилась голова, подкосились дрожащие ноги, и если бы не поддержал товарищ... Надо было все-таки ехать на машине. Побоялся совсем раскиснуть, ослабнуть и пошел. Думал: три-четыре километра — не расстояние... Если б не эта проклятая метель... Роба, будто железная, звенит на ветру...

Тропа была то голой и скользкой, вылизанной ветром до блеска, а то вовсе терялась под высокими островерхими барханами снега.

Он обрадовался, завидев огоньки поселка. Почувствовав прилив сил, зашагал размашистей.

Измученный Сенечка тяжело припал спиной к стене какого-то строения и долго стоял, отдыхая на защищенном от ветра пятачке.

Отдышался, и одиноко, грустно стало ему подле забеленной снегом пустой, заброшенной избушки. И поселок сделался чужим. Он может не показываться здесь целый месяц — никто не обеспокоится. Вьюга вымела из его домика тепло. В заиндевелом, насквозь продуваемом

скворечнике давно уже ничто не напоминало о Лиде. Вроде и не было ее. Вроде только приснились, привиделись ему гибкие руки, проворно снимающие кожуру с дымящейся паром картофелины, разбирающие постель, приглаживающие волосы, тонкая девчоночья фигура... Пусто кругом. И внутри. И снаружи. Так пусто, что хочется завыть в голос...

Он представил, как войдет сейчас в свой дом, и зябко поежился. За неделю оттуда живой дух повыдуло. Стены на вершок обросли мохнатым инеем. Печную трубу забило снегом. Досыта наплачешься от дыма, глотку надсадишь кашлем, пока чугунная плита закурится паром и можно будет раздеться, а потом напиться чаю и в постель...

Сенечка облизал шершавые губы. Во рту сухо. Нестерпимо захотелось пить. Сейчас он войдет в ближайший дом, нет, в крайнюю от дороги землянку и досыта напьется...

Тогда мела такая же метель, а может, похлеще. Они промерзли насквозь. Атэзлка то и дело застревала в сугробах. Семьдесят километров от Сарьи тащились целую ночь. Он закутал Лиду в тулуп, а та все равно зябла, и он своим дыханием отогревал ей руки, растирал их. Выпив по его настоянию полстакана водки, Лида уснула, а он сидел рядом, прислушивался к ее дыханию, боясь, как бы во сне не обморозилась. Не заметил, как и ночь прошла и пути конец. Подхватил спящую на руки и понес...

Тогда его промозглая избушка называлась домом. В ней было тепло и уютно: в ней была Лида.

Недавно, увидев ее на дороге, он нырнул в будку у дверей магазина и проторчал там, пока Лида не скрылась за поворотом.

Да, не так надо было. Все не так. Она — нежная, хрупкая, как цветок. Дунь посильней — сломится. А он даже ни разу не сказал: «Я тебя люблю». Не умел, стеснялся. Бородач Грозов, поди, соловьем заливается. Стишки сочиняет... О чем он, Сенечка, говорил с Лидой? Ни о чем. Перекинутся несколькими фразами — и весь разговор. О делах на буровой не рассказывал, боялся — неинтересно ей. О школьных делах Лида тоже не говорила. Да и когда им было разговаривать? По неделям не виделись. Пока отмоется от мазута и копоти — полдня прошло. То дров наколоть, то что-нибудь починить,

запаять — вот и остаток дня. Надо было за руку ее и — в лес, на реку, за грибами, за ягодами. Разве нечего было сказать ей? Буровая когда горела, все газеты об этом писали, а он буркнул только: «Пожар был» — и все. Поделом такому чурбаку, поделом. Сам выпустил свое счастье... Сам...

Наделенный от природы богатырской силой и здоровьем, Сенечка и прежде нимало не заботился о собственной персоне, если же иногда и думал о себе, то лишь в связи с Лидой. «Расхвораюсь — сколько ей хлопот», «Увидит такого — перепугается». Теперь же он вовсе перестал заботиться о себе. Ел, не чувствуя вкуса. Спал где придется. Одевался неряшливо. Иногда напивался. Один в своей конуре...

Мысли путались, рвались. От поднимавшегося жара дышалось все трудней. Сенечка оттолкнулся от стены и шагнул навстречу ветру. Есть же где-нибудь тут живые люди, ему бы только напиться.

Едва не вышиб головой стекло. Перевел дух. Стал нашаривать дверную ручку и услышал грозный собачий рык и тут же до боли родной голос глухо долетел из-за двери:

— Кто там?

Сенечка отпрянул и прямиком, по сугробам кинулся прочь...

2

Лида удобно сидела в раскладном парусиновом кресле, подставив ступни голых ног под горячий поток воздуха от электрокамина. Пес лежал рядом, блаженно щурясь, лениво поводя ушами. Стекла окна дребезжали под напором ветра, того и гляди, брызнут на пол дождем колючих осколков и ветер ворвется в уютную, ярко освещенную комнату и все переворошит, выдует отсюда уют и тепло.

Писк самодельной рации сначала услышала собака, заворочалась, поднялась на ноги, потревожила задумавшуюся Лиду, и та наконец тоже обратила внимание на протяжное попискивание, доносившееся из черного ящика. Сорвалась с места, схватила трубку, прижав клапан на ней, закричала:

— Слушаю! Слушаю! Вас слушают!..

В наушнике невообразимый хаос непонятных звуков.

Лида напряженно вслушивалась в него, и вдруг ее ухо уловило далекий, глохнущий голос Ярослава:

— Лида... Лида... Лида...

Этот голос, рвущийся к ней сквозь взбесившуюся метель, звучал как зов заблудившегося о помощи. В Лиде все замирало и холодело от далекого, бессильного перед стихией родного голоса.

— Да! Да! Я слушаю! Слушаю! — кричала она в свистящую, щелкающую трубку.

А он все повторял и повторял:

— Лида... Лида... Лида...

Вероятно, надо было что-то подкрутить, подрегулировать, но она не знала, как обращаться с рацией, а голос из грохочущей, ревущей и воющей темноты все взывал и взывал к ней.

Она кинула трубку, поспешно натянула меховую куртку и, позвав собаку, нырнула в темноту. На ее счастье, связист оказался в аппаратной. С большим трудом он соединился с буровой Грозова, и Лида услышала голос Ярослава. С ним ничего не случилось.

На обратном пути она наверняка заблудилась бы, если б не Руслан.

Женщина уселась на прежнее место, взяла со стола книгу, но не открыла ее: неожиданно вспомнила, как после бегства от Сенечки впервые пошла в школу...

Она хотела, чтоб Ярослав проводил ее. Тот довел до самого школьного крыльца.

— Дай-ка я пойду с тобой, дрожишь, зайчонок.

— Вот еще! Не девочка. Не беспокойся.

— Если не достигнете взаимопонимания, забирай портфельчик и домой. Я сам объяснюсь с вашим главшкрабом...

Учителя были в сборе. На Лидино «здравствуйте» ответили негромко, вразнобой и сразу попрятали глаза: один в портфеле роется, другой классный журнал листает, третий книгой отгородился. Может, так и прежде бывало, да Лида не обращала внимания на это. Чтобы скрыть смущение, поспешно вытащила из шкафа кипу тетрадей и давай их перетасовывать.

Вошла заведующая учебной частью и прямехонько протопала к Лиде.

В наступившей вдруг тишине необыкновенно громко прозвучал насмешливый голос:

— Вас можно поздравить, Лидия Георгиевна?

Обдало Лиду жаром, покраснела до жжения в лице. С трудом выдавила:

— Можно.

— Тогда подскажите, как это называется?

Прикусив дрогнувшую губу, Лида пристыженно заморгала влажными ресницами — вот-вот расплачется. Тут-то географ — старый молчун, прозванный ребятами Лесовиком,— подлетел к завучу и строго прикрикнул:

— Не к месту острите!

А ведь, бывало, Лесовик за десять шагов начинал раскланиваться с «начальством». Сцена получилась — что твой финал «Ревизора», Лесовик, видно, и сам испугался собственного окрика и тут же просительно промямлил:

— Пожелайте лучше ей счастья, оно...

— Благодарю за совет! — отрезала завуч.— Лидия Георгиевна умеет брать свое счастье за горло.— И неестественно широкими шагами вышла из учительской.

Лида отвернулась к окну и заплакала. Никто не знал, чего стоило ей удержать себя в школе до конца занятий.

А едва шагнула за порог, увидела Ярослава.

— Чуть не опоздал.— Выдохнул облегченно. Испытующе вгляделся в ее лицо.— Ну?

— Все хорошо. Спасибо.

— Дай-ка твой портфельчик. Теперь бери меня под руку. Крепче. По-супружески. Вот так. Ну, господа присяжные наблюдатели, мы готовы...

...Тут мысли ее вернулись к тому, что тревожило и мучило весь вечер. Лида закрыла глаза и вдруг отчетливо увидела поросшее клочковатой щетиной, серое, с синими полукружьями подглазий лицо Сенечки. Таким она видела его последний раз, в суде. Он сам подал заявление о разводе. Сам и с судьей объяснился. «Не по любви за меня пошла, из жалости».

С той поры не виделись. Стороной доходили недобрые слухи. Хотелось повидать Сенечку, поговорить, но...

Собака вдруг вскочила, подбежала к двери и, угрожающе ощетинив холку, зарычала. И Лида услышала странный шум за дверью, не похожий на шум ветра. Подбежала. Крикнула:

— Кто там?

В ответ только метели вой.

Но собака еще долго настороженно стояла у порога,

вслушиваясь и время от времени рассерженно и грозно порыкивая. Лиде стало тревожно и беспокойно. Кто-то был там. Шел к ее окну через метельную замять. Дошел, но не постучал, не потревожил, не окликнул. «Сенечка»,— пронзила ее догадка, и сердце болезненно сжалось...

Глава шестая

1

Всероссийский семинар начальников геологоразведочных экспедиций состоялся в Белоярье в последние дни июня. С первым рейсом прибыли Смолин, министр геологии, заместитель министра нефтяной промышленности, Протуберанцев, Ярков, Мурзаев, Ростовский.

Всю дорогу до Белоярья Смолин и Ростовский втолковывали высоким столичным гостям практическую целесообразность и необходимость немедленного обустройства промыслов неправдоподобно громадного Мертвоозерского нефтяного месторождения, прогнозные астрономические запасы коего были уже на две трети обоснованы и подтверждены.

— Да, болота кругом, ни дорог, ни населенных пунктов, ни связи,— глуховато, с трудом пряча волнение, говорил Ростовский,— но эта торфоилистая губка сможет уже через пару лет выжать десять миллионов тонн нефти в год. Азербайджан ныне дает двадцать...

— За морем телушка — полушка...— притворно улыбнулся Протуберанцев.

— А при полном обустройстве промыслов,— продолжал Ростовский, будто и не слыша Протуберанцева,— лет эдак через десять Белоярье даст сто — сто двадцать миллионов тонн нефти в год, причем самой дешевой в Союзе.

— Ученым, как и всем творческим людям, свойственно увлекаться,— обиженный демонстративным невниманием Ростовского, громче высказался Протуберанцев.

— Ленин считал увлеченность важнейшим качеством большевика-руководителя. Знаменитый русский революционный размах — это и есть увлеченность, помноженная на масштабность и точный расчет,— спокойно сказал Смолин.

— Именно расчет! — подхватил Протуберанцев.

— Мы вам его и предлагаем. Исследуйте, изучайте, оспаривайте, но не отмахивайтесь,— теперь Ростовский обращался прямо к Протуберанцеву.

— Еще разведке не видно конца, а вы уже подсчитали трофеи,— укорил Протуберанцев.

— Считать хорошо готовое,— не стерпел и Ярков, подковырнул Ростовского. Он бы не то и не так высказал, да сдержался при Смолине.

— Готовэнькое считать — удел практиков,— как всегда, неожиданно отмежевался от своего начальника Мурзаев,— тэорэтики прогнозируют, прэдвосхищают события. Туровские ученые во главе с Никитой Павловичем дэлают это отмэнно точно.

— Согласен с вами,— поддержал Смолин.— Если и есть в прогнозах Ростовского просчет, так только в сторону уменьшения запасов. Если он обещает сто двадцать пять миллионов, значит, сто пятьдесят будет с гарантией.

— Зачем же вы торопили с началом пробной эксплуатации в Славгороде? — упрекнул Смолина заместитель министра.

— Славгородская нефть уже на Энском нефтеперегонном. Это первый практический шаг. И не ошибочный, не опрометчивый, не поспешный.— Смолин говорил неторопливо, уверенно.— Спасибо вам за поддержку. Теперь сибирская нефть — не миф. Что касается нефтепровода, его, по нашему мнению, разумнее было бы строить из Белоярья, потом с ним и Славгород связать трубой. К Белоярью следует привязывать все — аэродром, порт, город, железную дорогу. Здесь будет центр нефтедобычи.

— А наш институт заканчивает разработку проекта трубы Славгород — Туровск, — обиженным, пожалуй, даже капризным голосом поведал Протуберанцев.— Причем опять-таки по вашей просьбе, товарищ Смолин.

— Лэгче три раза пэрэдэлать проэкт, чем один раз построить трубу. Зимой еще не до конца ясны были возможности Бэлоярья,— снова неожиданно вклинился Мурзаев.

— Они и посейчас туманны,— сказал министр.— Говорят: лучше один раз увидеть, чем сто услышать. Эта возможность в наших руках теперь.— Улыбнулся примиряюще и заговорил о другом.— Мне кажется, бросок на север — Белоярье, Славгород — рискованная штука.

Надо было прощупать площадь от Шанска на юг...

— Старая и, я полагал, забытая песня,— бесцеремонно прервал министра Ростовский, сердясь,— надо было разворачиваться на север пять, семь лет назад. Помилуй бог! Какие колоссальные средства и силы были бы сэкономлены. Сколько можно обосновывать и доказывать? Последний коллективный труд нашего института об этом переведен уже на английский, а мы все сомневаемся. В сотый раз говорю: Север и только Север! В Заполярье нас ждут новые гигантские месторождения нефти и особенно газа...

Слушая Ростовского, Ярков все время ерзал, словно под ним было не мягкое сиденье, а холодный камень. Ему не терпелось осадить зарвавшегося пророка, сбить с него спесь. «Ишь ты,— клокотал Ярков,— прямо вершитель судеб отечественной геологии». Все сильней становилось желание подкусить, принизить профессора, и, когда стала ясной неодобрительная позиция министра, Ярков сорвался, стал упрекать Ростовского в отрыве от жизни, в неумении и нежелании считать государственную копейку и в иных грехах. Как ни сдерживался, ни умерял он свой гнев, упреки звучали слишком жестко, порой грубовато. Он, вероятно, договорился бы бог знает до чего, если б не перебил Смолин:

— Товарищ Ярков, все это вы сможете высказать девятого июля на бюро областного комитета партии, где будет обсуждаться записка Ростовского о развертывании геологоразведочных работ в Заполярье.

Заминая неловкую паузу, Мурзаев принялся забавно рассказывать, как испытывали первую скважину Мертвоозерского месторождения.

2

Едва ступив на песчаную дорожку Белоярского аэродрома, министр заявил, что желал бы немедленно поехать к Мертвому озеру и своими глазами увидеть ту самую нефть, за которую их долго и страстно агитировали Смолин с Ростовским.

— Покажите нам хоть один настоящий фонтан,— обратился к Лаврову заместитель министра.

— Один из ваших тысячников,— вставил Протуберанцев.

— Хорошо,— согласился Лавров.— Полетим на Р-92.

Суточный дебит скважины две тысячи тонн. Качество нефти первоклассное.— И назвал показатели химического анализа.— Только одно маленькое «но».— Гости разом насторожились, запереглядывались многозначительно, а милейший Протуберанцев принялся довольно потирать ладони. Лавров понимающе улыбнулся.— Кругом болота. Сейчас они оттаяли, ожили. Так что передвижение ограничено. Подвезем вас на вертолете прямо к скважине, покажем фонтан и назад.

Гости смолкли, прильнув к окнам, едва турбовинтовой Ми-8 перемахнул кедровую гриву, в которой запутались ровные прямоугольники поселка, и поплыл над бурой бескрайней болотной равниной. Она была неправдоподобно уныла. Воистину край света, от которого веяло тоской. Лишь кое-где среди грязновато-желтой кочкастой пустыни торчали кучно худосочные редкие сосны иль невысокие кривые березы да посверкивали стеклянно озерца. Разрушая унылое однообразие болот, утопая в торфяной жиже, по раскисшим ледовым дорогам к маячащим вдали буровым тащились «Уралы», «Ураганы», АТТ, груженные трубами, мешками, ящиками.

— Какая силища! — восхитился Ростовский.— С такой техникой наши геологи разбурят дно Ледовитого океана.

— Тут и танки не выдержат,— бормотнул угрюмо заместитель министра.— И отсюда трубопровод? Фантастика!

«Эк, угораздило! Ни ближе, ни дальше, в самую середину болота зарылись»,— подумал Протуберанцев, зябко поеживаясь.

«Давай, давай! — мысленно подгонял Лавров ползущую по топи колонну мощных машин.— Последний рейс до зимы. Поднажмите, ребята!»

Грохоча винтами, вертолет плыл и плыл над мрачной равниной, над безымянными речушками и озерами, над гнилыми колками. И все, следя взглядом за черной, скользящей тенью вертолета, думали об одном и том же, только каждый по-своему.

Вертолет подлетел к плотику из нескольких бревен, наполовину затонувшему в болотной мякоти, но не сел на него, и даже не коснулся. Вслед за Лавровым все попрыгали на настил, и вертолет отлетел далеко в сторону и там завис. По узенькому, еле различимому жердяному настилу Лавров дошагал до фонтанной арматуры. То-

ропливо раскрутил колесо задвижки. Из нацеленной в противоположную от помоста сторону трубы, расширяясь и густея на глазах, с ревом и яростным шипеньем забил черный фонтан. Тяжелые маслянистые струи, тускло посверкивая на солнце, хлестали бурый кочкарник, и тот чернел на глазах, словно бы сплющивался, и залитая нефтью круговина стала похожей на фантастическое черное озеро. А Лавров все еще раскручивал и раскручивал колесо, и все натужней и грозней рокотал фонтан, все длинней, все толще, все черней становился он, и казалось, мощи его достанет для того, чтоб дотянуться до горизонта и перехлестнуть его и затопить гремучей нутряной земною кровью все планету.

Зрелище было настолько великолепно, так взволновало всех, что, зачарованный им, заместитель министра забылся, сделал шаг в сторону, сорвался с бревна и выше колен ухнул в вонючую топь. Выбравшись с помощью товарищей на помост, он не стерпел и сперва выбранил болото, а потом напустился на тех, кто надумал искать под ним нефть. Походя он упрекнул Лаврова за то, что не оборудовали приличной площадки, выговорил своему помощнику: прозевал, не предупредил, не поддержал. Совершенно неожиданно раздраженное его ворчанье завершилось решительным и категоричным «Нет!» разработке здешнего месторождения.

— Самообман, пустая трата сил и средств. Мы не готовы к тому, чтобы взять эти миллиарды тонн нефти, они будут лежать и лежать под болотом...

Разгневанного нефтяника, хоть и с оговорками, не столь решительно, но все же поддержал министр. Но тут бесцеремонно и резко заговорил Ростовский:

— Простите, но вы оба вызываете у меня по меньшей мере удивление, и если нашего нефтяника я еще могу извинить, принимая во внимание неожиданный казус, то вам — помилуй бог! — никакой скидки и поблажки не может быть. Вы что, не понимаете, что теперь значит нефть для страны, для мировой экономики? Вам не известна наша техническая и научная вооруженность? Не пройдет и пяти лет, как здесь будет первоклассный и мощнейший в стране нефтепромысел, а на месте Белоярья поднимется город нефтяников. И это болото будет только попискивать под бетоном. А мы с вами приедем к Мертвому озеру на «Волге» по автостраде, и сюда прямо из Москвы полетят и «Ту» и «Илы». Это

не фантастика — трезвый расчет. Стране нужна нефть.

Подобного поворота никто не ожидал, наступила пауза. Молча поднялись в подлетевший вертолет, молча просидели весь обратный путь. И за три дня пребывания в Белоярье министр не заикнулся больше о том, что нефть отсюда не взять. Но Протуберанцев оружия не сложил и на последней встрече с участниками семинара, правда, не в лоб, но все-таки высказал опасения насчет будущего Мертвоозерского месторождения. Заключительная речь Смолина заставила Протуберанцева пожалеть о сказанном.

— Скоро в ЦК,— сказал Смолин,— будут рассматриваться наши предложения об усилении разведочных работ на нефть и газ и ускорении промысловой добычи нефти. Мы предлагаем в нынешнем году начать проектно-изыскательские работы по обустройству этого месторождения и строительству трубопровода Белоярье — Энск с тем, чтобы через три года взять отсюда как минимум двадцать — двадцать пять миллионов тонн нефти.

Слушая Смолина, столичные гости согласно кивали головами. Не было случая, чтоб подготовленные обкомом расчеты при перепроверке оказались неточными.

Выступлением Смолина и закончился этот весьма примечательный разговор, которому, к великому сожалению, не удалось просочиться за стены лавровского кабинета и стать достоянием тех, кого интересует история открытия и освоения Мертвоозерского нефтяного месторождения. Стенограмма заключительного заседания всероссийского семинара впоследствии таинственно исчезнет, бесследно улетучатся и некоторые иные документы, воссоздающие подлинную картину происшедшего. Зато появятся задним числом начертанные резолюции и целый поток мемуаров, где все будет выглядеть так, как это угодно их авторам...

3

Поначалу Мельник никак не хотел ехать на семинар в Белоярье. Не встреча с Лавровым пугала, а какое-то дурное, тревожное предчувствие беды. Оно томило и злило Германа Кузьмича, как несильная, но незатихающая, ноющая боль. И все раздражало, все сердило Мельника в те дни, и он косил на подчиненных свире-

пым глазом, и покрикивал, и распекал. И чем меньше оставалось дней до семинара, тем мрачней, раздраженней становился он. Можно было сказаться больным, отсидеться в Славгороде, но тогда следовало признаться, что ты — не хозяин, а раб своей судьбы, и не ты управляешь жизнью, как это и было доселе, а она тобой, и значит, ты уже не Герман Кузьмич, а Глеб Лавров!.. Так примерно думал Герман Кузьмич, колеблясь и мучаясь и презирая себя за это.

Полтора месяца назад от Славгорода отошли первые речные танкеры с сибирской нефтью. По всей стране о том прогремела молва. Поселок осаждали корреспонденты, писатели, художники, кино- и телеоператоры. Бог знает кого только не приманила, не притянула сюда живая сибирская нефть. За лето ее отсюда вывезут не меньше двухсот тысяч тонн. Конечно, это капля в нефтяном море страны. Но — первая! Оттого самая приметная и дорогая. Чтоб не затух интерес к Славгороду, не иссякло к нему внимание, немедленно нужна была труба из Славгорода все равно куда — на Энск или на Туровск. Лучше на Туровск: короче, дешевле, легче и быстрей спроектировать и построить. Правда, из Туровска придется нефть развозить по нефтеперегонным заводам в цистернах, но об этом пускай болит голова у нефтяников. Наше дело — качнуть, выдать, обскакать. Пока белоярцы расчухаются, мельниковскую нефть станут мерить уже миллионами тонн. Трубопровод хотя бы на десять миллионов в год нужен как воздух. Из славгородских месторождений столько — убейся — не выкачаешь, но пока строят трубу, могут открыться новые, куда более мощные. А не откроются, можно подключить к трубе Покинское месторождение. Разумнее, конечно, было бы поступить наоборот: из Славгорода трубу на Покино, оттуда на Белоярье и — в магистральный нефтепровод на Энск, прямо к нефтеперерабатывающему заводу. Но тогда в центре окажется Белоярье, и в пристяжные угодит Мельник... Такому не бывать! Будет труба из Славгорода!.. Время работает на белоярцев. По запасам они уже недосягаемы. И по быту, и по организации труда. Лавров не зашумит, пока последнюю скважину не испытает, себя и других не убедит. Но скоро и это случится.

Спешить!

Предрешить теперь же, не мешкая, и трубу, и город,

пока белоярцы доказывают, что их шесть месторождений неделимы и в целом грандиозны, пока есть поддержка Яркова, Мурзаева, Протуберанцева, Хитрова. Пока те, кто вершит, здесь, под боком...

Мельник оттолкнул дурные предчувствия и полетел в Белоярье.

С Лавровым встретились по-приятельски, ни словом не напомнили друг другу о недавнем поединке.

Втайне Мельник надеялся, что расхваленное прессой Белоярье хоть в чем-то да окажется потемкинской деревней: «На безрыбье и рак рыба, вот и раздувают...» Кинув чемоданчик под кровать, он стремительной пробежкой пронесся по улочкам, заглянул в несколько квартир, сунул нос в школу. И в теплицы, и в кафе. «Не может быть, чтоб в поселке ни балков, ни землянок». Обрадовался, завидев на лесной опушке шеренгу палаток, кинулся туда, а это — городок студенческого строительного отряда. Убегавшись до поту, до ноющего гуда в ногах, присел на скамью. Подобного он не видел доселе, и невыносимо едкая зависть опалила душу, и еще нестерпимей стало желание уесть белоярца, омрачить ему торжество. Мельник разыскал Протуберанцева, вместе с ним атаковал разобиженного заместителя министра, и тот охотно пообещал поддержать строительство трубопровода Славгород — Туровск: здешние запасы не до конца просчитаны, не приняты ГКЗ, а затраты на обустройство непомерно велики.

Мельник втайне ликовал, насмехаясь над Лавровым: «Работать и вол горазд. Ограниченным и тупым работягам только бы вкалывать. Копай глубже, рыхли, унавоживай, крот слепой...» И иные, более грубые и оскорбительные для Лаврова сравнения малиновым перезвоном веселили душу Мельника.

Все дни семинара он только тем и занимался, что расширял и укреплял фундамент, на котором должна была вознестись к небу мельниковская слава, и чем больше преуспевал в этом, тем сильней и энергичней действовал. После каждой малейшей удачи ему непременно вспоминалась последняя перепалка с Лавровым, и он спрашивал мысленно: «Ну, кто из нас будущее? Кто раб судьбы?» И ликовал, и зло смеялся, глядя вслед встрепанному, зачумленному хлопотами Лаврову.

Мельник был уверен: пока Лавров добьется признания своего сверхгигантского месторождения, пока сло-

мят препоны Протуберанцева и начнут наконец добывать мертвоозерскую нефть, он будет уже на Олимпе, и на него Лавров будет смотреть снизу вверх. И пусть отсюда потом будут качать сотнями миллионов тонн нефть, протянут пять, двадцать пять нефтепроводов — все равно первооткрывателем сибирской нефти в истории останется Мельник, перводобытчиком — тоже Мельник, основателем столицы сибирских нефтяников — опять-таки Мельник. Это имя не вычеркнешь из указов, постановлений, приказов, из журналов, газет, книг. Уже сдана в набор отменно оформленная книга «Путь к Славгороду», написанная Сапуном, только что вышел короткометражный фильм «Покорители недр». И книга — о Мельнике, и фильм — о Мельнике... На таком попутном ветре... Герман Кузьмич чувствовал спиной могучую струю и не ходил, а летал.

На прощальном ужине к нему подсел седой, сутулый, грузный мужчина и, когда за столом начался обычный при таком многолюдье шум, спросил, склоняясь к самому уху:

— Вы ведь в сорок первом были в последней экспедиции Вавилова?

Спросил просто, посмотрел открыто, и в голосе ничего подозрительного, а у Мельника перехватило дух и сердце прострелило болью. В сознании сверкнуло: «Вот оно! Не хотел ведь ехать...»

— Да. Только диплом получил, хотелось романтики...— ответил он сухо и равнодушно, давая понять, что не склонен предаваться воспоминаниям.

— Еле узнал. Четверть века! Не признали меня? Шустиков. Вы, когда воротились на базу, мне первому и рассказали все...

Поспешно вытащил пачку папирос Герман Кузьмич. «Вот дьявольщина. Старпер! Поднесло его с Вавиловым. Начнутся ахи да охи... И не сгинул ведь. И еще скрипит где-то начальником экспедиции, а то и в министерстве кресло трет...» Сказал улыбчиво:

— Я бы вас ни за что... Был такой бравый, молодцеватый...

— Стареем,— уныло согласился Шустиков.— Я как прочел в газете, что первое месторождение назвали Вавиловским, так и понял: вы — тот самый Мельник. Сергей Александрович очень вас ценил, хоть тогда вы совсем зеленым, извиняюсь, были... Надо же, такая встре-

ча. Нас ведь, пожалуй, никого больше от той экспедиции. Война прикончила...

Мельник, согласно кивая головой, жадно покуривал. И разом померкло вдруг все, что недавно так радовало, и он, пожалуй, впервые в жизни, почувствовал себя действительно старым, обессиленным и за то возненавидел Шустикова и, пообещав непременно еще встретиться и поговорить, ушел от него, подсел к начальнику Покинской экспедиции да и застрял там до конца ужина...

4

Взгляд Германа Кузьмича медленно скользил по карте. Сухощавое лицо напряглось, глаза сузились и утонули под низко нависшими лохмами бровей. Вот зрачки нащупали нужную точку, прикипели к ней. Жилистая длиннопалая рука потянулась к карте. Остро отточенный карандаш клюнул изрисованный разноцветными линиями ватман.

«Чуть-чуть левей»,— послышался за спиной негромкий голос Сергея Александровича Вавилова.

Ноги Мельника подогнулись, с трудом удерживая ослабшее тело. Пересиливая себя, он вздернул подбородок, передвинул острие карандаша чуть левее.

«Так,— проговорил голос сзади.— Точно. Зачем только красным? Возьми черный. Меть крестом. Пожирней, чтоб издали...»

Не оглядываясь, Мельник взял со стола черный карандаш, начертил на карте крестик.

«З-зараза. Вот уж не думал. Институтка. Присесть, передохнуть... Ну же! Ну!» — уговаривал он себя. Стиснув зубы, круто повернулся.

Кабинет был пуст. С трудом оторвав от пола ноги, громко шаркая подошвами, Мельник тяжело и медленно прошел к своему креслу, расслабленно плюхнулся в него.

— Фух! Зараза. Зря отказался от путевки на июль. Годы...

Уперся локтями в стол, положил на ладони голову, зажмурился.

«Черт возьми, неужели так износился? Мерещится какая-то хреновина».

Приоткрыл глаза. Покачал сокрушенно головой.

— Запалился. Так недолго в желтый дом...

Встряхнулся. Резко встал. Пинком откинул кресло. Твердыми шагами подошел к окну, распахнул его, высунулся, жадно глотая припахивающий горелой соляркой воздух.

Не берег, не щадил себя — вот результат. Нервы не железные. Немедленно на курорт. К морю. В Крым или на Кавказ. Лучше в Крым. Развлечься, развеяться... До чего же явственно послышался вавиловский голос, до сих пор в ушах.

Из-за памятника вспомнил. А кто неволил затевать памятник Вавилову? Вавиловская жена завалила письмами, благодарит, обещает быть на открытии. Только ее не хватало... Шустиков этот будто плиту с запретного лаза сдвинул, полезла оттуда всякая муть. При чем Шустиков? Подкопилось, подкатило...

На черта затеял возню с увековечением памяти Вавилова? С какой стати вообще заговорил о нем? С чего забеспокоился? Вавиловское месторождение, Вавиловский уголок в школе, вавиловские портреты... Прорвалось что-то и поперло без удержу...

Собраться с силами, распрямиться — не в чем раскаиваться, не за что казнить себя...

От этих мыслей Герман Кузьмич словно бы отрезвел. Иным, спокойным, твердым взглядом смотрел перед собой.

Сейчас такое время настало — только разворачивайся. Славгород не сходит со страниц журналов и газет. Как грибы после дождя, повырастали всевозможные СУ, СМУ, конторы, тресты — плюнуть некуда. Со всех уголков страны валом валят рабочие. По земле, по воде, по воздуху прут технику, самую новую, самую совершенную. Новый нефтяной район страны! Вот она, финишная, к которой стремился всю жизнь. И в такой-то миг, на пороге цели... Нет! Шалишь. Никому не притормозить, не задержать...

Не зря ему министр намекал о месте начальника управления... Это кресло не уйдет. Не время. Сейчас важнее ведущей шестерней, чем холостым маховиком. Пустят нефтепровод, выстроят город... Тогда — вверх... Весной выборы. Ходят слухи... Геологическое управление преобразуют в главк. Можно начальником главка. Отсюда подальше. Передохнуть, понежиться в лучах цивилизации. Юрченко заберу с собой. Никитского тоже...

Миг — и мечта занесла его в кресло начальника главка. Он покорял, очаровывал, вершил...

Мельник преобразился. От только что устало горбящегося пожилого человека не осталось и следа. Закинув руки за спину, размеренно и твердо, как великолепно отрегулированный механизм, мерил ковровую дорожку самоуверенный, гордый, преуспевающий мужчина. Он знал, куда и зачем идет, и не сомневался — до конца пути хватит сил.

Небрежным жестом Мельник поправил растрепавшиеся волосы, расстегнул верхнюю пуговицу рубахи... Все верно. Все — как надо. Только так...

Победным взглядом обвел стены, усмехнулся. «Без курортов обойдусь. В такое время уехать? Почаще на воздух. Закатиться на охоту денька на три?.. Нет, лучше в город... Нас не сшибить. Не выйдет...»

В кабинет заглянул Юрченко.

— А-а! Прокопий Игнатьич! — приветил его Герман Кузьмич.— Заходи. Очень кстати. Очень. Давай поколдуем вместе. Это план застройки будущего Славгорода. Кумекаешь?

— Мало-мало...

— Ну и как?

— На бумаге все хорошо.

— Не совсем. Надо подготовить замечания по проекту. Смотри сюда. Тут речной причал. А склады вон где. Чепуха получается. Прямой дороги нет. Видишь, какой крюк...

— Чего вы голову ломаете? Мало вам своих забот? Все равно не нам тут хозяевать,— отмахнулся Юрченко.— Вот-вот — и до свидания, Славгород, опять на новое место.

— Кто знает... кто знает...— многозначительно и загадочно проговорил Мельник.— Возьмем и рекомендуем тебя в Славгородский горсовет. Чего улыбаешься? Хозяйственник отменный. Дипломат — высшая школа. Опять же заместитель начальника Славгородской экспедиции. Чем плоха кандидатура? Только мне без тебя туго придется.

— А я от вас никуда не пойду. Ни за какие шанежки...

— Вот спасибо, друг. Обрадовал и утешил...

«Что с ним?» — подивился Юрченко, пытливо вглядываясь в Мельника. А тот либо не понял, либо сделал вид,

что не понимает взгляда начхоза, и как ни в чем не бывало снова заговорил о будущем Славгорода. В конце концов Юрченко втянулся в разговор и высказал немало дельных замечаний по проекту.

— Золотая голова у тебя, Прокопий Игнатьич.

— Да что же вы сегодня хвалите меня, ровно я покойник? — встревожился Юрченко.

— То-то и плохо, что хвалим людей на поминках да при проводах на пенсию. Скупы на похвалу. Непростительно скупы. Уйдет человек — ахаем, охаем, памятник ставим...— Мельник болезненно поморщился.

Глава седьмая

1

Чем старше становится человек, тем настойчивей и чаще стучится в сознание его желание приостановить головокружительный бег времени либо самому остановиться хоть на короткий миг, оторваться от бесконечных дел и забот, освободиться от любых обязанностей, уйти от людей куда-нибудь в лес, в горы, в степь — чем дальше и глуше, тем лучше — и там, наедине с собой, неторопливо перебрать, пересмотреть, перещупать прожитые дни и годы, взвесить добро и зло, содеянное собственными руками, подвести предварительные итоги своего земного бытия и попытаться предугадать будущее. Подобное желание становится особенно сильным в минуты душевного кризиса, душевной ломки, когда человек оказывается на жизненном перепутье и ему предстоит решить: куда повернуть — направо или налево, ибо продолжать путь в прежнем направлении — противно его совести.

Вероятно, потому Пантелей Ильич Русаков решил провести свой отпуск не на Черноморском побережье, не в заграничном путешествии и не в столице, а в уединении, облюбовав для этого приглянувшийся таежный уголок.

Может быть, это и странно, но он стосковался по одиночеству, по лесной молитвенной тишине. Ему хотелось побыть наедине с тайгой, вволю надышаться смолистым густым воздухом, налазиться по чащобам и бу-

реломам, до отвала наесться голубики, брусники, морошки.

С тех пор как Герману Кузьмичу удалось околдовать Русакова видением блистательного стольного града сибирских нефтяников — Славгорода, который возникнет на разведанных ими площадях, и Пантелей Ильич, поторопившись, подписал не до конца проверенные и явно завышенные данные о перспективных и прогнозных запасах нефти, прошло немного времени, но произошло много важных событий. Весной в Славгороде началась пробная эксплуатация месторождения. На окраине поселка выстроилась шеренга гигантских металлических баков — хранилищ нефти. По реке днем и ночью шли нефтеналивные баржи. Сюда — порожние, отсюда — до краев наполненные черным жидким грузом. Со страниц областных газет не сходило слово «Славгород». Из Москвы, Ленинграда, Баку, Уфы, Казани ехали и ехали сюда проектировщики, промысловики, строители. Окрестности Славгорода превратились в огромную строительную площадку. Не умолкая, день и ночь ревели моторы бульдозеров, тракторов, автомобилей, экскаваторов, гудели буксиры и пароходы, стрекотали вертолеты.

В центре этого неохватного, голосистого скопища людей и машин был Герман Кузьмич Мельник. С рассвета до глубокой ночи мотался он от причала к насосной станции, оттуда на вертолетную площадку, спорил, приказывал, разносил.

Вместе с Мельником варился в этом котле и Пантелей Ильич. Он не только не отказывался от множества дополнительных обязанностей и поручений, но и добровольно взваливал их на себя и делал все добротно, с пристрастием, порой с увлечением, но в редкие короткие минуты относительного покоя на него накатывало странное, необъяснимое чувство растерянности, виноватости и тревоги. Когда же он узнал, что принято решение о строительстве нефтепровода Славгород — Туровск, тревога его достигла наивысшего накала.

— Чего такой хмурый? — как-то спросил его Мельник.— Замотался? Бери отпуск. Отдохни. Самое трудное впереди. Нужна будет уйма свежих сил.

— Тут не усталость. Надо бы потолковать с тобой. Но к разговору я не готов. Ты прав. Давай отпуск. На досуге обо всем поразмыслю, тогда и... Дело слишком серьезное...

Нужно было немедленно, тщательнейшим образом все пересчитать, обдумать и тогда уж... вызывать огонь на себя. Иначе и не назовешь то, что замыслил Пантелей Ильич.

О своем местонахождении Русаков сообщил только Мельнику.

«Газик» подвез Пантелея Ильича к тому месту, где когда-то они с Мельником повстречали машину, за рулем которой сидел Ярослав Грозов. Взвалив на спину огромный, туго набитый рюкзак, с ружьем в руках Пантелей Ильич медленно продирался сквозь густые заросли, ориентируясь по каким-то ему одному известным приметам, в конце концов приведшим его к той самой поляне.

Вот то место, где они с Мельником лежали у костра, лакомились зажаренной тетеркой. Все было как и тогда. Только осины еще не облетели и тихонько позванивали краснеющими листьями. И березы зеленели совсем по-весеннему: молодо и ярко. Ничто не напоминало о близкой осени. «Загостилось лето»,— Пантелей Ильич блаженно улыбнулся.

Желтоватый шар солнца висел над поляной, и от него веяло благодатным ласковым жаром. Прогретый им, пропитанный запахами трав и багульника, воздух вроде бы загустел. Сомлев от зноя, одрябли листья папоротника, пожухла осока.

Те двое лежали все так же неподвижно, голова к голове, желтели в зелени голые ребра.

— Как вы тут? — Пантелей Ильич легонько погладил лосиный рог, закаменевший от времени,— молчите? И хорошо: в молчании — самый глубокий смысл.

Скоро солнце так припекло, что Пантелей Ильич скинул куртку и рубаху, подставил горячим лучам голую спину. Перемог соблазн поваляться на траве и принялся устанавливать палатку.

Место стоянки он облюбовал на небольшом взгорке, чуть поодаль от поверженных великанов. Пантелей Ильич был опытным таежником и соорудил свое временное пристанище по всем правилам. И канавкой для стока дождевой воды обвел палатку, и толстым слоем настелил в ней пихтовые лапы, и валежнику натаскал, и нарубил целую поленницу — не сжечь за неделю.

Пока обустраивался, солнце, словно огрузнев, пошло вниз. Тени от деревьев, недавно еще такие густые, рас-

таяли, будто их кто слизнул с земли. Солнечные лучи, не касаясь поляны, заструились верхом, как косой дождь, и воздух стал золотисто-зеленым.

Усталый Пантелей Ильич долго любовался затейливой игрой красок угасающего дня, позабыв и о голоде, и о нераскуренной сигарете.

Дотошно, с завидной размеренностью и неутомимостью стукотил по дереву дятел, рассыпая окрест негромкую, четкую пулеметную очередь. Лениво покрикивала кедровка. Назойливо гудели над ухом большие краснокрылые комары. Паук уже успел разбросить сеть на углу палатки и затаился, подстерегая добычу. Над облетевшим цветком иван-чая слепо кружила бабочка.

Ночью лес наполнился иными голосами. Распрямляясь, шуршали примятые дневным зноем травы, трепетали чуть слышно листьями нервные, беспокойные осины, под напором верхового ветра глухо покряхтывали кедры и ели, где-то близко, не слышимый днем, пел ручей, захлебываясь и в спешке не выговаривая слова бесконечной песни. Ночные голоса — неясные и оттого тревожные — не беспокоили Русакова, напротив, действовали на него умиротворяюще, навевая дрему. И едва он коснулся головой маленькой надувной подушки, как его тут же околдовал крепкий, сладкий сон.

Догорел и потух костер. Выкатилась из-под облачка лимонная долька месяца. Под ее холодным зеленовато-желтым сиянием поляна стала мрачной. Трифоль, папоротники, багульник — все сделалось черным, не отличимым друг от друга. Скелеты лосей тускло посверкивали в стылом мраке. И лес — непроницаемо-мрачный и грозный — как будто ожил и бесшумно двинулся к центру поляны, все теснее смыкаясь вокруг одинокой палатки. Казалось, еще миг — и ее вместе с укрывшимся там человеком поглотит тайга.

Медленно и неприметно растаяла ночь. Поляна озарилась неярким сероватым светом. Русаков чуть приоткрыл глаза и снова зажмурился, прислушиваясь к голосам пробуждающегося леса. Вот сейчас дрозд или другая пичуга протрубит побудку и птичий хор грянет величальную новорожденному дню.

Первым подал голос зяблик. Долго тянул витиеватую звуковую трель и вдруг оборвал ее лихой закорючкой. К песне зяблика присоединился веселый щебет лесного конька. Ему томно откликнулся дрозд-деряба, и

над просыпающейся тайгой зазвенела праздничная птичья перекличка. Вдруг в нее вонзился короткий и глухой стон лося. Русаков приоткрыл полог палатки и замер, до предела навострив зрение и слух.

Вот и лосиха ответно фыркнула. Громче и яростней протрубил самец, и стал отчетливо слышен шум бегущего к поляне зверя. И впрямь Судная поляна, может статься, сейчас на ней случится еще один смертельный поединок.

Пронзительным и долгим разбойным свистом Пантелей Ильич разрушил утреннюю песню тайги, спугнул лосей...

Пока разгорался день, Пантелей Ильич позавтракал, выпил кружку крепчайшего чаю и, прихватив ружье, нырнул в лес.

Воротился с немалой добычей: полная фуражка ягод и десятка два отборнейших грибов. Поев грибницы, Русаков разложил на траве карты, бумаги и погрузился в расчеты...

Предчувствие его не обмануло. Не зря последнее время его все сильнее снедало острое беспокойство, какое испытывает человек, совершивший непоправимую ошибку. И хотя еще многое предстояло пересчитать и обдумать — в главном он уже не сомневался.

С досадой швырнул самописку, пружинисто вскочил. Подкинул в костер валежнику и залюбовался буйным пламенем.

«Красив. Живой и яркий. Тепло, и свет, и бодрость. А отгорит — пепел, холодный и мертвый. Вот весь итог изумительной, нарядной пляски пламени. Чушь! Итог — ревущие турбины реактивных самолетов, пылающие топки локомотивов, клокочущие котлы ТЭЦ и ГРЭС. Не зря мудрецы древности считали огонь источником жизни. И человек ради жизни сжигает нервные клетки, испепеляет мозг и сердце. Опять чепуха! Не ради жизни, а в этом горении и состоит жизнь... Человек — не дерево, он волен решать: жить ему или нет, поперек или по течению. Слаще поперек. «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...» Радость и горечь, обида и боль — все вперемешку — это жизнь. Покой — мертвым... Слишком стремителен темп. К сорока многие выдыхаются начисто. Вообще-то плюс-минус десять лет ни фига не значат. Пока есть запал и сила — жми на пределе... Знал бы Мельник, какую кашу я тут завариваю. Самому

страшно. Смолчать? Сподличать? Лучше уж огонь на себя. Смог же Ветров. Жилье буровикам оборудовал не хуже, чем у Лаврова. Образцовый поселок на колесах. По всем показателям — лучшая буровая бригада. Спасибо Глебу, продрал его с песочком. А Мельник тоже видел, но заглаживал, темнил. С подмоченными легче совладать?.. Это будет крах Германа Кузьмича. Честолюбив, сатана, станет драться до последнего. И те, кто за его спиной — Ярков, Протуберанцев и новоиспеченный доктор Хитров. Сидит здесь, как наседка на яйцах. Себе — докторскую, Мельнику — кандидатскую... Не с этого должна начинаться биография Славгорода... Мельник на меня повалит. Черт с ним, пусть с моей головы начинают...»

Так начал свой отпуск главный геолог Славгородской экспедиции Пантелей Ильич Русаков. Прошло каких-нибудь три дня, а он уже втянулся в своеобразный ритм одинокой таежной жизни. Оказалось, двадцать четыре часа — уймища времени. И по тайге набродишься, и над расчетами голову поломаешь, и о чем только не подумаешь, порой настолько далеком и отвлеченном, что, опомнившись, Пантелей Ильич только диву давался, куда заносит его освобожденная от мелочных забот мысль.

Если бы только не эти расчеты! Но цифры! Неумолимые, коварные цифры с каждым днем накапливались, стекаясь воедино, готовясь нанести Русакову хотя и не неожиданный, но страшный удар. Он-то выдюжит. А вот Герман Кузьмич... Всю жизнь ухлопал, карабкаясь на кручу, к Славгороду. И от заветных ворот такой поворот. «Придется главную вину на себя... По сути, главный геолог для того и существует, чтобы не допускать подобных просчетов. Да, Мельник лишку на себя не возьмет, под чужую беду плечи не подставит...»

От близости тайги человек добреет, а если к тому же он и по характеру добродушен... И Пантелей Ильич начинал придумывать все новые и новые смягчающие обстоятельства для Германа Кузьмича и все беспощаднее казнил себя...

2

Кончался день. Пантелей Ильич сидел у костра, поджидая, пока закипит чай.

— Траствуй,— раздался негромкий голос за его спиной.

Парень был невысок, гибок. Пантелей Ильич невольно залюбовался узкобедрой мускулистой фигурой пришельца. Пристальный взгляд Русакова ничуть не смутил молодого охотника, его смуглое скуластое лицо оставалось спокойным, узкие глаза смотрели чуточку насмешливо и дерзко.

— Откуда ты свалился?

— Из тайка.

— Я не слышал, как ты подошел.

— Охотник ходит — рысь не слышит. Ты — человек, у тебя уши совсем мало что слышат.— И громко засмеялся.

— Садись,— пригласил Пантелей Ильич.— Сейчас чай вскипит. Будем чаевничать.

— Чай хорошо. Очень хорошо. Отнако посижу мало с тобой. Неталеко осталось. Выйту на торога, машина встречу. Повезет экспетиции.

— К нам в гости идешь?

— Ты с экспетиции? Правта? Оттуда?

— Главный геолог экспедиции Русаков,— представился Пантелей Ильич, протягивая парню руку.

Какое-то время парень сомневался, но вот его взгляд скользнул по разостланной возле костра геологической карте, раскрытому блокноту, самописке, и это, видимо, убедило охотника, он заулыбался.

— Вот хорошо! Сторово! Тобой тоговорюсь.

— О чем? — заинтересовался Русаков.

Парень, скинув с плеч котомку, бесшумно присел на груду линялых еловых лап, облегченно вздохнул.

— Отнако устал мало-мало. Километров твести по прямой от наших юрт. Тва дня всего шел.

— Лихо! — восхитился Русаков.— Тут же кругом болота.

— Ага,— весело подтвердил парень.— Болота что? Тело — важней.

Из рассказа молодого охотника Русаков понял, что когда-то в детстве тот слышал легенду о черном идоле смерти, который гнездится в глубоком подземелье под

озером Норкги, оттого и вода в том озере черная да горючая, поднести огонь — вспыхнет...

— Подле этого осера даже еминг-хот лесу ставили, испушка такой святой, как церковь русских, чтоб того идола пересилить. Понял теперь?

Напевную, похожую на песню старую легенду Русаков слушал с удовольствием, нимало не задумываясь над ее смыслом, и оттого не ответил на неожиданный вопрос молодого охотника, только плечами недоуменно передернул: чего, мол, тут понимать.

— Ха! — возмущенно выкрикнул обиженный парень.— Черный кровь черного идола что? Нефть! Понимаешь? Я тва года назад интернат-восьмилетку кончил. Хотел дальше — отец саполел. Сверя бить некому. Братишка, маму кормить. Ушел тайга. И все тумал, тумал этой сказке. Сговорился ребятами, нашел Норкги. Там что? Нефть! Сама через воду из земли выходит. Мы с учителем проверили. Надо туда геологов. Сам приведу, покажу, работать с вами буду. Хочу своими руками сверлить дырку потолке чума идола смерти...

Вместе они отыскали на карте, где жил парень, и озеро нашли. Подшучивая над парнем, Русаков спросил:

— А ты не боишься в чум идола смерти дырку прорубать? Вдруг выпрыгнет?..

Парень засмеялся. Махнул рукой.

— Э-э! Теперь бабушки только верят идолов. В юртах радио, газеты и кино. Вертолет каждый день туда-сюда над нами. Белоярье — снаем, Славгород — снаем. Как земля наша изменилась — витим. А дальше? Ого! Геологам спасибо. Тебе спасибо...

Коренной таежник, правнук тех, кто когда-то первыми ступили в тогда еще безвестную, дикую и угрюмую Югру, верно понимал тот невиданный, крутой взлет, который сулила его краю найденная здесь геологами нефть, и благодарность из уст молодого охотника была Русакову милее любой награды.

Они проговорили почти до вечера, обо всем условились. Пантелей Ильич напоил гостя чаем, накормил, снабдил на дорогу сигаретами, и тот, довольнешенький, ушел. И когда шаги его совсем стихли в близком лесу, Русакова вдруг опалила мысль: «А ведь мы с Мельником их обманываем. Они нас героями, а мы им — липу». Эта неожиданная мысль ошеломила, секунду-другую

Русаков бессмысленно озирался по сторонам, что-то мучительно соображая. «Скорей досчитать, додумать до конца...»

Тихонько похрустывают, шелестят блокнотные страницы, вбирая в себя все новые цифры, шеренги и столбики цифр. Иногда они обрывались, и на белом листе появлялись краткие, отрывочные фразы, отдельные слова, и снова ряды и колонки цифр, а воображение Русакова рисовало яркие картины предстоящей жестокой ссоры с Мельником, неизбежного разноса в геологоуправлении, трудного, неприятного разговора со Смолиным.

Давно накрылась сумерками поляна, круглая, как озерко, а Русаков все писал и писал...

Ночь напролет просидел у костра. Иногда, отбросив блокнот, подолгу, не отрываясь, смотрел на огонь, курил сигарету за сигаретой. Потом снова начинал писать, торопливо и неровно, обрывая на середине слова, ставя вместо букв какие-то закорючки, перечеркивая.

На свету вконец измученный Пантелей Ильич заполз в палатку и, сунув блокнот под голову, сразу провалился в густую удушливую черноту.

3

Вот уж кого не ожидал и не хотел сейчас видеть Пантелей Ильич и оттого так растерялся, что ринулся было от неожиданного гостя прочь, да вовремя одернул себя, и пока Мельник шел через поляну, настолько овладел собой, что сделал несколько шагов навстречу.

— Здорово, отшельник! Не больно раздобрел на чистом воздухе.— Приставил к березке ружье. Расстегнул патронташ, кинул рядом. Перевел дух.— Раздобыл лицензию на лося и вспомнил о тебе. Авось да небось. Давай завтра побродим, может, и наскочим на рогатого. Место лосиное... Зря ты в такую глушь забился. Надо бы где-нибудь поближе к реке. В свежей рыбе много фосфору, а он крайне необходим нашему брату.

Как видно, у Германа Кузьмича было преотличное настроение. Он не переставая скалил в улыбке крепкие, пожелтевшие от никотина зубы, энергично жестикулировал, а его самоуверенный голос, наверное, был слышен далеко отсюда. Приподнятость духа притупила присущую Мельнику острую наблюдательность, и он не сра-

зу заметил состояние Пантелея Ильича, а когда наконец заметил, подивился этому:

— Ты что-то не в себе. Не захворал ли? Прямо великомученик с иконы.

— После поговорим. Садись к огню, отдыхай. Сейчай заварю чай. Грибница закипает.

Русакову было необходимо какое-то время для того, чтобы собраться с мыслями.

— Одиночество не всегда полезно,— разглагольствовал Мельник, ковыряя прутиком в костре.— Если бы можно было выключать голову... ни о чем не думать, а так... Проклятые мысли могут сожрать, их только распусти. Нужен отвлекающий фактор: собеседник, еще лучше собеседница, движения, азарт, в общем, что-нибудь в этом роде.

Как ни старался казаться спокойным Пантелей Ильич, ему это не удавалось. То рука некстати задрожала, и он выплеснул в костер поварешку грибницы, то, забывшись, уставился в кружку с чаем и так, не шелохнувшись, сидел до тех пор, пока его не окликнул Мельник.

А Герман Кузьмич блаженствовал. Громко причмокивая, опорожнил котелок грибницы, выпил две кружки густого обжигающе-горячего чаю и, не прерывая еды, сумел рассказать все последние новости. Они были одна другой приятнее. Завершена пробивка трассы нефтепровода Славгород—Туровск, полным ходом идут проектно-изыскательские работы по строительству сюда железной дороги. Со дня на день ожидается приезд министра. Обком партии и Главгеология думают представлять первооткрывателей к премии, в их числе и Мельник, и Пантелей Ильич...

Русакову вдруг вспомнился угасающий багряный осенний день, сладковатый дымок догорающего костра, пряный аромат багульника. Давно ли это было? Всего год назад. На этом самом месте. Разговор с Мельником тогда был обыкновенный, а след от него остался глубокий.

И еще припомнился неожиданный разговор за обедом, в доме Мельника, после собрания механизаторов. Как он тогда улыбнулся, поднял руки — «пас!». Сдался. Признал свою неправоту...

Память, словно получив команду, заспешила, воскрешая эпизод за эпизодом.

...Лютой зимой Мельник приехал к сейсмикам, а те утопили в полынье самый сильный трактор и топчутся вокруг пролома во льду, спорят, как вытащить. «Спирт есть?» — спросил Мельник. «Найдется»,— ответил молодой начальник отряда. Мельник разделся, схватил стальной трос и нырнул. Он нырял еще дважды, прежде чем закрепил конец троса к потопленному трактору...

...Атээлка, на которой ехал Мельник, провалилась в забитую снегом глубокую вымоину и намертво застряла там. Откапывая машину, водитель подвернул ногу. Мельник на себе тащил водителя до тех пор, пока их не подобрал проезжавший мимо охотник...

«Как же так? Карьерист, обманщик, и такое... Карьерист ли? Обман ли? Сейчас мы поговорим спокойно и начистоту. Может, нефтепровод, дорога, город — просто азарт. Вспыхнул, и нет сил остановиться, попятиться? Избыток чувств? Русский размах? Лихость? Пусть начал ради карьеры — но загорелся по-настоящему. Работал, как зверь... Все не святые. У каждого свои плюсы и минусы, но что-то одно берет верх...»

Русаков вдруг почувствовал странную неприятную раздвоенность мыслей и чувств. Он не только по-прежнему осуждал этого человека, но еще, оказывается, и жалел. «Что за придурь! — рассердился он на себя.— Не хватало приласкать, погладить его по головке. Хлюпик!» Он корил себя, но неожиданно вспыхнувшее чувство упорно топорщилось, кололось, не поддавалось. Надо было немедленно начинать разговор. «Ну же! Ну!» — приказывал себе Русаков и все не решался.

Но вот Герман Кузьмич выговорился и, сладко покуривая, растянулся на траве. И это довольство благодушествующего Мельника разом сдуло все колебания Русакова. «Пора»,— твердо решил он.

— Послушай...— Замялся, не желая почему-то называть собеседника по имени-отчеству и не зная, как же тогда к нему обратиться...— Послушай...— повторил все тем же негромким и как будто спокойным голосом.— Хорошо, что ты сам пришел. На ловца и зверь бежит.

— Кто же ловец, а кто зверь? — дремотно спросил Мельник.

— Неважно... Я завтра собирался в Славгород. Специально для разговора с тобой. Это к лучшему, что ты сам нагрянул. Никто не помешает...

Такое вступление не особенно заинтересовало Мельника. «Опять начнет разглагольствовать о быте. И деться некуда». Но все-таки приподнялся на локте, подпер голову и стал смотреть на Русакова. А тот, глядя куда-то мимо и слегка раскачиваясь, цедил сквозь зубы тяжелые слова:

— Сейчас дам одну бумагу. Письмо в обком. Но сначала несколько слов. Я все пересчитал, перепроверил. Все-все. Мы преступно завысили данные о запасах нашего месторождения. И сделали это сознательно, преднамерен-но! Не спорь. Погоди... До сих пор наши дутые цифры были не так уж страшны: ну, начали здесь пробную эксплуатацию, обустроили месторождение. Не беда! Все равно его обустраивать. Но теперь, когда решен вопрос о строительстве сюда нефтепровода да еще железной дороги, разрабатывается генеральный план Славгорода как центра нового нефтяного района, все становится иным. Суди сам... потом покажу расчеты... Если мы разбурим все разведанные нами площади, то дадим максимум три с половиной, ну пусть четыре миллиона тонн нефти в год, а нефтепровод, который потянут сюда, рассчитан на восемь миллионов. Где же взять недостающие четыре? По данным сейсморазведки, площадь вокруг нас малоперспективная. Стало быть, что? Тянуть сюда трубу из Сарьи? Но это далеко и очень дорого, да и подключив Сарью, мы наберем лишь пять миллионов. Значит, наш нефтепровод — неразумная трата колоссальных средств и сил. Надо тянуть трубу не от нас, а из Белоярья. И не на Туровск: там ведь нет нефтепереработки, а на Энск. Разведанные запасы у Лаврова уже неизмеримо больше наших. Только они, не доразведав, не вопят. А пока строится труба, они будут располагать миллиардными запасами! Тут Ростовский прав. От нас же если и тянуть трубу, то лишь в Белоярье, чтоб влиться в тот магистральный на Энск. В Белоярье надо вести и железную дорогу. Там, и только там, закладывать настоящий город...

— Все? — спросил, как выстрелил, Мельник.

Он уже сидел, напружиненный, подобранный, нервно барабанил пальцами по согнутому колену.

— Сейчас... Если бы мы поняли свою ошибку после того, как все построилось, нас надо было бы нещадно выдрать и к чертовой матери с командных должностей. Но если мы теперь, зная все наперед, сделаем подоб-

ное,— нас надо судить, как преступников. Знаю, тяжко это тебе. И мне не легче. Поверь! Мы не имеем права молчать. Не имеем! Я написал записку в обком. Сейчас прочтешь. Мне хотелось, чтобы мы подписали вместе. Я не прячусь от ответственности, готов на все, лишь бы предотвратить ошибку.

— «Готов на все»,— язвительно передразнил Мельник, дернулся и презрительно фыркнул: — В великомученики потянуло? Думал, все-таки ты умнее. На что же ты готов? Чтоб протрубить запоздалый отбой, на ходу развернуть машину и опрокинуть ее?

— Почему запоздалый? Почему опрокинуть? Все еще можно и нужно переиграть. Пока, кроме бумаг, ничего. Ну, понаехали строители, завезли трубы, так и пусть себе тянут их на Белоярье. Пострадает лишь наш мундир, так он не дороже государственных интересов...— Русаков силился убедить Мельника и долго еще говорил все в том же духе.

— Ну-ну. Давай почитаю.— Губы Мельника кривились, лохматые брови совсем заслонили глаза.

Вместе с блокнотом Пантелей Ильич машинально прихватил транзисторный радиоприемник, и, пока Герман Кузьмич читал, Русаков крутил и крутил колесико настройки транзистора, не включая его.

Болезненно морщась, напрягаясь и как бы пересиливая себя, Мельник прочитал сочиненное Русаковым послание.

— Значит, огонь на себя? — глухо, с затаенной свирепой угрозой выговорил Герман Кузьмич, кроша спички о хрустящий коробок.

Дрожащие руки Мельника вызвали в душе Пантелея Ильича острую неприязнь, напомнив детдомовского директора. Чтоб не видеть этих рук, Русаков подал Мельнику прут с горящим концом, и когда Герман Кузьмич прикурил и с каким-то странным клекотом глубоко затянулся, Пантелей Ильич тихо и буднично ответил:

— Без этого не обойтись.

— Ты много думал, прежде чем написать,— растягивая слова, медленно и скрипуче, непривычно высоким гортанным голосом заговорил Мельник,— а мне на раздумье и часу не даешь. Но дело не в том. Сколько бы я ни думал — никогда не соглашусь подписать... Может быть, в какой-то мере ты и прав с расчетами, но... пятиться сейчас... когда решен вопрос о строительстве

Славгорода и нефтепровода, решается о прокладке сюда железной дороги, о...

— ...представлении Мельника,— вставил Пантелей Ильич.

— Да! Мне нечего стыдиться. Лучшие годы жизни, все силы без остатка отданы сибирской нефти. Четверть века в тайге. Сколько здоровья израсходовано на поиск... Мы — первооткрыватели...

— Остановись! Я знал — ты прихварываешь манией величия. Заставлял себя не замечать этого, прощал, как активнейшему бойцу за сибирскую нефть. После истории с нефтепроводом я прозрел. Ты не только и не столько печешься теперь о нефти, сколько о своей карьере, спешишь воздвигнуть при жизни памятник своей персоне... Постой! Ты всюду рекламируешь себя как первооткрывателя Вавиловского месторождения, а оказывается, на структурной карте Вавилова, составленной им в канун войны, уже были обозначены как самые перспективные на нефть районы возле Шанска и Славгорода... Ты это знал, топтался возле Туровска до тех пор, пока Лавров не вырвался в Шанск. Тогда ты напросился к нему главным геологом и, столкнув его, присвоил себе открытие этого месторождения. Потом ты двинулся по карте Вавилова и раз за разом «открывал» открытое им, но не разведанное...

— Ха-ха-ха! — раскатисто и зло захохотал Мельник. Он встал, упер кулаки в бедра.— Ха-ха-ха! Уморил! Когда-нибудь я доверю тебе написать мою биографию. Это будет для тебя большая честь. Допустим, да, была довоенная карта Вавилова. И что? Я тоже принимал участие в ее составлении. И заслуг Вавилова мы не умаляем. О нем давно бы позабыли, если б не я.

Расширенными глазами смотрел Пантелей Ильич на неистовствующего Мельника и молчал.

А Герман Кузьмич, все более возбуждаясь, уже не говорил, а орал:

— Мы шли по следам Вавилова? Ради этого он и погиб, чтобы шли. И карту составлял не для архива, не для музея...— И совсем другим, тихим, но самоуверенным голосом: — Тебе надо всерьез заняться своими нервами. Осточертела твоя неврастения. И не грозись запиской в обком. Там сидят трезвые люди. Стране сейчас вот так,— полоснул ребром ладони по кадыку,— нужна нефть. Теперь же! Немедленно! Некогда, невозможно

ждать, пока расчухается этот кретин Лавров и утвердит свое архигигантское месторождение! — Он с взвизгом выкрикнул два последних слова.— И даст наконец не бумажную, а живую нефть. Пусть мы дадим три с половиной — четыре миллиона тонн (они на земле не валяются!), но дадим сегодня. Они будут дороже десяти миллионов завтрашних... Вбей это в свою баранью башку!.. Есть известный риск, и что? И главк и министерство поддержат меня! Ты окажешься прохвостом и кляузником. Тебя выпнут из геологии. И поделом! Ты...

— Пусть! — крикнул Русаков, свирепея.— Только и ты — разгаданная загадка. Ты ведь на что рассчитываешь? Те, кто разрешил нефтепровод, не вдруг перерешат. Пойдут комиссии, экспертизы, совещания. А пока суд да дело, пока докопаются до истины, нефтепровод, и дорога, и город начнут строиться, тогда уж назад не повернешь... Да, нефть нужна нам больше золота. Нужна сейчас. Нужна немедленно. А пересчет, перепланировка, новые проекты и сметы оттянут время. Вот твои козыри.

— Козырного туза и открытого не побьешь,— со значением сказал Мельник.— Мне жаль тебя. Ты — не дурак, с людьми умеешь ладить. Чего ж метишь головой в стенку? Запомни! — И как школяру-несмышленышу отчеканил назидательно: — Машина пущена. Манометр на красной черте. Сунься под нее — расплющит. Надоело жить — милости прошу! Дураков не сеют, не пашут...

— И пусть! — надорванно прохрипел Русаков.— Лучше уж честный дурак, чем такой вот умник. Беги, звони Протуберанцеву, бей телеграмму Хитрову, подымай всю свою королевскую рать. Да только торопись! И под ноги, под ноги поглядывай... Я сам отвезу записку Смолину. Из рук в руки. Но учти: я — не Вавилов, от меня мемориалом не откупишься...

— При чем тут откупишься?! — рявкнул, враз освирепев, Мельник.— Ты...

— Помолчи. Помнишь, я не раз тебя спрашивал, как и где погиб Вавилов,— ты отмалчивался. Почему? Не знал? Забыл? — Перевел дух, нервически потер ладонью горло, облизал пересохшие шершавые губы.— Нет! В Туровске после белоярского семинара я до невероятного случайно столкнулся с Шустиковым. А-а! Знаешь, о ком речь! Так это ты оставил в беде человека, которого име-

нуешь учителем, чей портрет распорядился повесить в красном уголке, чьим именем нарек первое месторождение... И даже памятник... даже памятник затеял... Глотни чайку, у меня никаких капель.. .

Если бы в этот миг разверзлась земля и небо встало дыбом, Мельник был бы не так ошарашен.

— У Шустикова есть дневник Вавилова, ему его тогда же передал какой-то охотник вместе с вавиловской сумкой. Черт знает, как это было, не помню, неважно. Ты не смел кинуть раненого товарища. Да, он приказывал, настаивал, а ты не смел, если настоящий геолог. Знаю, чем перед собой и людьми оправдываешься. Молод, неопытен, не мог ослушаться старшего, спешил за подмогой, воротился с подмогой — не нашел. Поверху глядеть — так все и было. Только поверху! Иначе бы не темнил, давно бы вслух сказал об этом, и жене его написал бы как на духу. Она ведь до сих пор ничегошеньки... Шустиков тот дневник — никому. Привозил тебе отдать, да ты его обидел чем-то. Он мне давал прочесть. Вон когда себялюбие-то твое, эгоизм твой непомерный проклюнулся. Он тебе и язык сковал, хоть тут каждый куст напомнил, наверно... Эх, Герман, Герман, хоть теперь-то одумайся! Оглянись! Сам себя в пропасть...

Задохнулся от волнения, открытым ртом втянул воздух и, не проронив больше ни слова, шагнул от костра.

Не успел отойти и нескольких шагов, в спину ударил властный окрик:

— Стой!

Очень медленно Русаков обернулся, встретился взглядом с Мельником.

— Никак жалеешь? — Герман Кузьмич протяжно откашлялся.— Благородный рыцарь дарует сочувствие поверженному. Хм!

По крепнущему голосу, по загоревшимся вдруг глазам и проступившим желвакам на покрасневших скулах Пантелей Ильич понял: сейчас Герман Кузьмич опять ринется в атаку. Но ошибся: Мельник больше не атаковал, хотя и не капитулировал.

— Нам больше из одного котелка не хлебать... Не торжествуй. Вся эта шустиковская ересь с дневником — забава для сентиментальных институток. В геологии есть еще и дисциплина. Я выполнил приказ. Чуть сам не загиб, торопясь на базу. Кинулся с людьми назад. И коли

мучает меня совесть, стало быть, она есть. Так-то! Но я не о том... Жизнь сложна и коварна. Не обнадеживайся. Я — не попячусь. Пощады не попрошу. Но и не пощажу! На снисхождение не рассчитывай. Можешь выйти из игры, пока не поздно. Позвоню в управление — и до свидания. И пусть твое обостренное чувство гражданственности поуспокоится вдали от Славгорода. А мы без тебя доделаем и без тебя отчитаемся перед кем надо. Уловил? — Русаков протестующе вскинул руку.— Ну, что же, пеняй на себя. Знаю — не трус. Предостерегаю из уважения: люблю гордых и отчаянных...

Пантелей Ильич молча повернулся и ушел в тайгу.

Обессиленный Мельник припал спиной к лосиным рогам. Двадцать три года назад оставил он на такой же поляне тяжело раненного в тайге потайным охотничьим самострелом Вавилова. Три дня тащил его на себе. У Вавилова началась гангрена. А тут занепогодило, похолодало. И, вручив Мельнику карту, Вавилов заставил его бежать на базу за помощью. Когда воротились — Вавилова не нашли. Никто не осудил Мельника, не упрекнул ни словом, но он был уверен: на него пала недобрая тень. Как доказать, что не бросил в беде, а по приказу? Кому? Да и надо ли? Можно доказать разуму, а сердцу... С той занозой и ушел на фронт. Добровольцем напросился. В десантные войска. Прослыл отчаянным. Вынырнул из войны, как из чистилища, собственной кровью омытый. Начал жизнь сызнова. Все довоенное померкло, притупилось, вроде его и не было. И первые годы в Сибири не вспоминал о Вавилове. Но однажды, выступая после вручения награды, сам не зная почему, сказал, что благодарен людям, научившим его жить и работать, и в первую очередь — своему учителю Сергею Александровичу Вавилову. С той поры нет-нет да и накатит что-то...

Над головой скрипуче каркнула ворона. Мельник вздрогнул. Что с ним? Где он?

Оглянулся. Встал. Шевельнул плечами. Он чист перед собственной совестью и людьми. Что-то тут говорил Пантелей о записке в обком. А-а!.. Просчитался. Хватит сил устоять и на таком повороте. Переубеждать Русакова — бесполезно. Действовать.

— Действовать! — громко и четко скомандовал себе Мельник и мигом преобразился, став прежним — уверенным и властным.

И в голове его зароились мысли — упругие, в одну точку нацеленные. Есть Хитров, а кто вернее науки решит, правилен ли прогноз? Есть Протуберанцев; а уж Госплану видней, когда, где и что строить. Есть Ярков и Мурзаев — о такой барьер с разбегу — лоб раскрошишь. Главное — опередить. Пообещать этому юродивому подумать, пересчитать — выиграть время. Поверит и ждать будет, а...

— Действовать! — Еще решительной и тверже снова скомандовал себе Герман Кузьмич и зычным раскатистым голосом позвал Русакова...

Эпилог

Собранный, напружиненный, готовый через миг сорваться и лететь, Лавров стоял посреди своего кабинета, когда позвонил Смолин и сказал:

— Принято решение о создании в Туровске геологического главка. Областной комитет партии предлагает вам возглавить его. Что скажете?

— Не знаю,— растерянно вымолвил Лавров.— Не ждал. Не думал.— Одолел растерянность и уже иным, нацеленным, хотя и нетвердым еще голосом: — Мне бы не хотелось уходить из экспедиции, да еще в такое время...

— Товарищ Лавров,— с доброй усмешкой в голосе перебил Смолин.— Вопрос о вашем назначении решен. Через три-четыре дня ждем вас в Туровске. Полетите в Москву... Кого рекомендуете на свое место?

— Морозова,— не задумываясь ответил Лавров.

— Наши мнения совпали.— Помолчал немного.— Ну, что у вас еще? Выкладывайте.

— Собрался лететь к новому месту экспедиции. Еще бы несколько минут и...

— Вот и летите с Морозовым, забивайте еще один первый колышек...

Ми-4 незаметно отделился от земли и наклонно поплыл вверх. По мере того как вертолет набирал высоту, взгляд Лаврова захватывал все большее и большее пространство.

С северо-запада Белоярье опоясали новостройки. Свежевырытые котлованы, поднявшиеся надолбами над землей фундаменты, многоэтажные дома и краны, кра-

ны, краны. С кирпичом, с раствором, с бетонными блоками.

Чуть дальше на север столпились на обнесенной забором круговине шеренги серебристых вертикальных и горизонтальных микроаэростатов — «булитов» и «трапов». Вокруг них замысловатое хитросплетение металлоконструкций, разнокалиберных труб и похожие сверху на жуков бульдозеры и грузовики. Тут будет головная насосная станция нефтепровода Белоярье — Энск.

Вправо от нее птичьим выводком расселись палатки строителей железной дороги Туровск — Белоярье. Триста речек — больших и малых — предстоит перепрыгнуть этой дороге.

И вот они, болота, в лоскутных заплатах еще не стаявшего снега, в бурых пятнах сухого мха. На болотах тоже люди и машины. Броско белеют первые километры бетонки. Гигантскими змеями извиваются трубопроводы. Лижут небо кровавые языки газовых факелов.

Все перевернуто.

Все вздыблено.

Все строится.

Новые хозяева пришли сюда — нефтяники. Надолго. Насовсем.

Геологам пора уходить.

Дальше.

На Север...

1966—1973
Тюмень

Писатель и книга

Автор романа «Одержимые», известный советский прозаик Константин Яковлевич Лагунов, живет в Тюмени. На тюменской земле, под Тобольском, в маленькой таежной деревушке Малозоркальцево прошло детство писателя. Когда началась Великая Отечественная война, ему было шестнадцать лет. Отец и старший брат ушли на фронт, мать мобилизовали для работы в госпитале, и на попечении шестнадцатилетнего подростка остались младшие брат с сестрой да старая бабушка. Лагунов стал работать воспитателем Голышмановского детского дома. Среди его воспитанников были ребята и постарше воспитателя. А в декабре 1941 года семнадцатилетнего комсомольца Лагунова назначают директором детдома. Пережитое им в ту пору нашло свое отражение в судьбе одного из героев романа «Одержимые», Пантелея Ильича Русакова.

Достоверность и искренность — типичные, примечательные черты творчества Константина Лагунова. В основе каждого из его романов, равно как и в основе его повестей и рассказов, лежат подлинные события жизни, исторические факты и документы, в них действуют живые, полнокровные и активные герои. Произведения писателя остроконфликтны, проблемны.

Творчество Лагунова посвящено родной Сибири, мужественным сибирякам. Роман «Красные петухи» повествует о трагических событиях зимы двадцатого — двадцать первого годов, о самоотверженной борьбе большевиков Сибири за хлеб. В романе «Так было» показан сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны, мужество и трудовой героизм тех, кто в тяжелую годину кормил, одевал и обувал Красную Армию, пополнял ее ряды. Роман «Одержимые» воскрешает подвиг геологов,

открывших подземные клады сибирской нефти и газа. Романы «Больно берег крут» и «Бронзовый дог» (это новое произведение писателя опубликовано в 1982 году в журнале «Урал») знакомят читателей с суровой, полной подлинного героизма жизнью тех, кто ныне осваивает богатства Западной Сибири.

В центре внимания Константина Лагунова всегда находится человек труда. Писатель создал целую галерею ярких, притягательных образов современных рабочих. Это Грозов, Сенечка, Валька Буянов, Михаил Ветров из романа «Одержимые»; Иван Василенко, Данила Жох, Ефим Фомин — из романа «Больно берег крут»; Антон Глазунов и Дмитрий Сивков — из романа «Бронзовый дог». Они, эти герои, различны по возрасту, по своему облику и характеру, но всех их роднит безоглядная, самоотверженная преданность делу. «Что значит нельзя, если надо?» — вот их жизненное кредо, ведущая ось их характеров. Нет, они не сверхгерои, они обыкновенные люди — любящие, страдающие, ошибающиеся,— но главным, определяющим в их характерах и образе жизни является чувство высочайшей гражданственности. Эти люди умеют увлеченно подчинить себя интересам дела, коллектива, потому что служение народу составляет суть их бытия.

Есть в романе «Одержимые» образ помощника бурового мастера, добродушного, застенчивого богатыря Сенечки Крупенникова. Судьба посылает ему не одно суровое испытание, но, пройдя через них, Сенечка не ожесточается, не утрачивает доброты и человечности. А как трогательна, чиста и прекрасна его любовь! Жизнь любимой женщины, ее благополучие и счастье дороже Сенечке его собственной жизни и собственного счастья. Крупенников, как и другой герой «Одержимых», Валька Буянов, по праву может называться подлинным представителем современного рабочего класса. Писатель поэтизирует этих героев, укрупняет и заостряет их черты, создавая характеры сильные и яркие.

В этой связи хочется особо сказать об образе старого бурового мастера Михаила Николаевича Ветрова. Шаг за шагом прослеживает писатель в «Одержимых» жизненный путь рабочего-коммуниста. Нелегок этот путь и непрост. Обретя заслуженную славу и почет, Ветров вдруг начинает «бронзоветь», неприметно отрывается от товарищей, от коллектива, и его другу, парторгу экспе-

диции Русакову, приходится вести долгий и сложный бой за духовное оздоровление Ветрова. Но выдержав с помощью товарищей нелегкое испытание славой, старый мастер становится духовно еще зорче, еще взыскательней к себе. Он добровольно приемлет на свои плечи новые хлопоты, активно включается в борьбу с карьеризмом и шапкозакидательством. Образ Ветрова бесспорно один из лучших в романе «Одержимые».

Книгу эту с полным основанием можно назвать гимном сибирским геологам-первопроходцам, их мужеству, самоотверженности и исключительной духовной силе. Образно, ярко и увлекательно роман повествует о том, как шли геологи к природным кладам Сибири, как ломали они сопротивление маловеров и перестраховщиков. Страстно и убедительно повествует писатель о борьбе сторонников активного поиска сибирской нефти с приверженцами «покоя», приспособленцами, маскирующими свои корыстные расчеты высокопарной болтовней.

Нравственный конфликт между начальниками двух геологических экспедиций — Глебом Лавровым и Германом Мельником — один из стержневых в романе. Оба ищут нефть. Оба рискуют, отдавая все силы разума и сердца поиску. Но жизненные линии этих первопроходцев не только не сходны, но и взаимно исключают одна другую. «Найти нефть любой ценой... Победителей не судят» — вот чем руководствуется Мельник. Лавров же добивается, чтобы по пути к сибирской нефти люди не растеряли веру в добро и человечность. Ссылаясь на трудности полевых условий, прикрываясь высокими заработками геологов, Мельник нимало не заботится об их быте и условиях труда. Лавров же, напротив, делает все возможное, чтобы и в дикой глухоманной тайге геологи жили по-человечески, пользуясь благами цивилизации. И если в каждом поступке, в каждом повороте жизненной линии Мельника непременно просматриваются расчет и корыстные, карьеристские цели, то Глеб Лавров в большом и малом бескорыстен, честен и чист. На непримиримом столкновении этих двух жизненных линий и держится главный конфликт романа.

В «Одержимых», равно как и в других романах Константина Лагунова, много молодых героев. Писатель пристально вглядывается в молодое поколение, подмечает новые черты в характере современного молодого человека, видит и то недоброе, потребительское, что при-

вносит жизнь в нравственный облик некоторых представителей нашей молодежи. Такое пристальное внимание писателя к жизни молодежи не случайно. Почти пятнадцать лет (1942—1956 гг.) Константин Лагунов был комсомольским работником. Первый секретарь Голышмановского РК ВЛКСМ на Тюменщине, первый секретарь Вильнюсского укома ЛКСМ Литвы, ответорганизатор ЦК ВЛКСМ, второй секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана... Годы комсомольской работы сформировали характер, закалили волю, выкристаллизовали мировоззрение писателя. Потому-то, наверно, так удаются ему образы коммунистов, партийных работников, которые непременно присутствуют во всех романах Лагунова. Это и секретарь волостной партячейки Онуфрий Карасулин («Красные петухи»), и первый секретарь райкома Василий Рыбаков («Так было»), и секретарь райкома Мягков, секретарь обкома Смолин («Одержимые»), и партийные работники Черкасов и Боков («Больно берег крут»).

Привлекателен образ секретаря райкома Мягкова из «Одержимых». Это человек мягкий, но принципиальный, духовно чистый и неколебимый в своих убеждениях. Его не балуют наградами и почестями, хотя он и лично причастен к тому открытию века, которое свершили геологи на земле сибирской. Мягков — подлинный комиссар геологического легиона, он вдохновляет и увлекает, убеждает и воспитывает, и всюду — первый. Образ этот впечатляющ и действен.

Несомненным достоинством произведений Лагунова, в том числе и романа «Одержимые», является его умение живописать суровую и прекрасную природу Сибири. Незабываемы красочно выписанные автором картины величавой и могучей тайги с ее обитателями. Вспомните, как выразительна сцена лосиного боя на таежной поляне в предрассветный час. Мы чувствуем аромат просыпающейся осенней тайги, слышим голоса пробуждающегося леса, видим яростный поединок двух лесных великанов. Писатель знает и любит родную сибирскую природу, призывает беречь и охранять ее.

Тернистым и долгим был путь сибирских геологов к большой нефти. В своих очерках, повестях и романах писатель показывает, как шли они к этому открытию, какие трудности и лишения преодолели. Лагунов никогда не отворачивается от сложных, драматичных судеб, от не-

удач и житейских бед. Посмотрите, как трагично складывается в «Одержимых» судьба Епифана Качурина, или летчика Матвеича, или Сенечки Крупенникова. Нелегким путем идут к своему счастью Платон и Соня, Валька и Глаха... Жизнь есть жизнь, и со страниц книги она встает во всей ее сложности — неукротимой и яростной, прекрасной и волнующей. Роман отображает действительность многогранно и без прикрас, глубоко и проникновенно. И в этом залог жизненности и долговечности книги, которая получила высокую оценку критики и читателей, была инсценирована, экранизирована и сейчас издается уже третий раз.

Вадим Кожевников

Содержание

Лагунов К. Я.

Л14 Одержимые: Роман/Послесловие В. Кожевникова.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983.— 416 с., портр.

В пер.: 1 р. 80 к. 75 000 экз.

«Одержимые» — одно из самых значительных произведений тюменского писателя Константина Лагунова. Действие романа развертывается в те годы, когда ударили в северной тайге первые черные фонтаны — первые ласточки большой сибирской нефти. Труден и долг был путь героев книги — геологов-нефтеразведчиков — к спрятанным под тайгой и болотами сибирским нефтяным кладовым..

$Л\ \frac{70302-067}{М158(03)-83}$ 4702010200

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 997

Константин Яковлевич
Лагунов

ОДЕРЖИМЫЕ

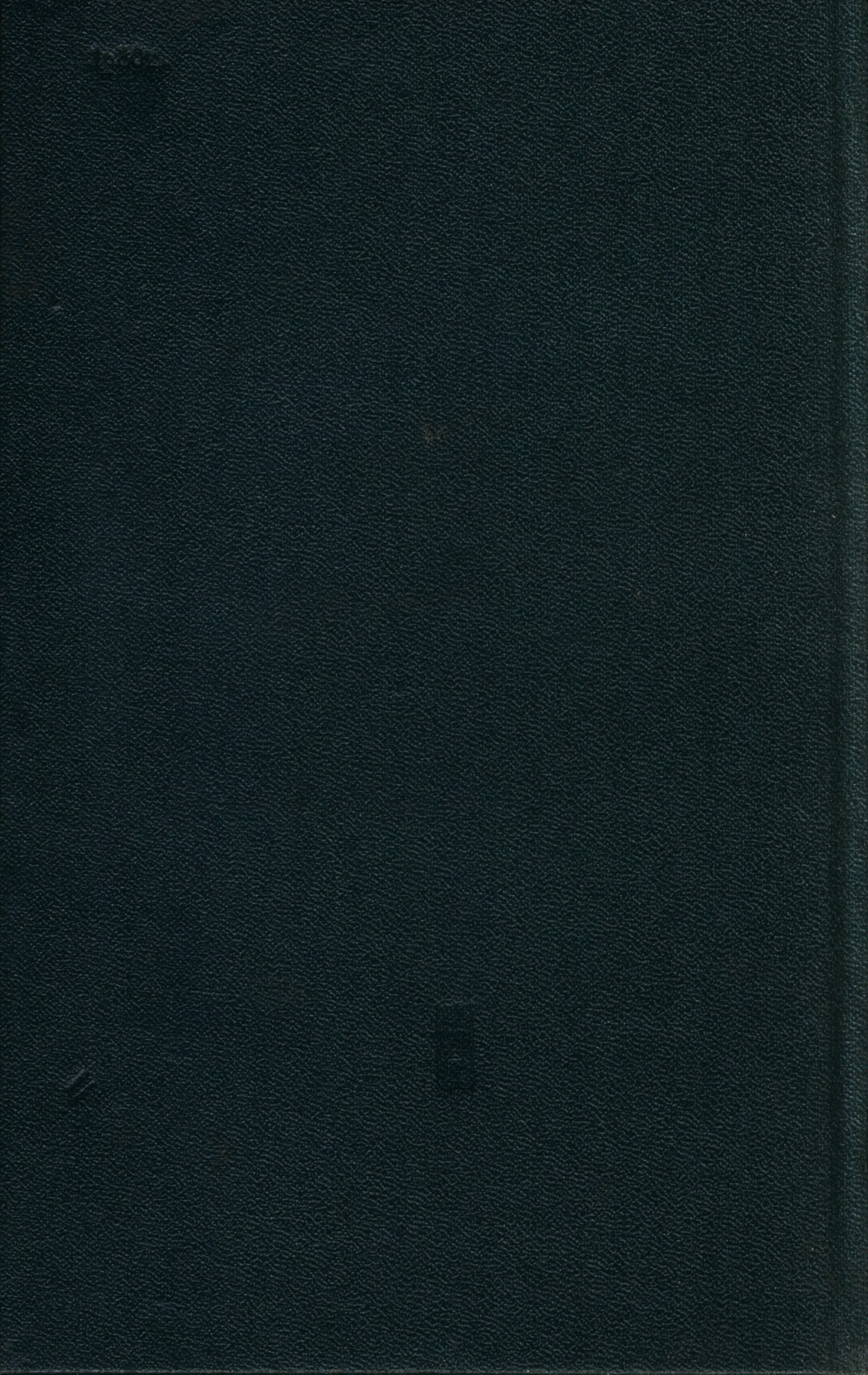
Редактор М. П. Немченко
Художник В. Д. Сысков
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры И. Ш. Трушникова, Г. Г. Быкова

Сдано в набор 16.08.82. Подписано в печать 14.12.82. НС 12698. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,9. Усл. кр.-отт. 21,9. Уч.-изд. л. 22,7. Тираж 75 000. Заказ 409. Цена 1 руб. 80 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

598.
они-
изд.

вск,
ий»,




КОНСТАНТИН ЛАГУНОВ